

**«...Горстка книг да дружества...»**



**Илья Габай**





# Илья Габай

## «...Горстка книг да дружества...»

Составление и редакция Г. Габай-Фикен

## **Илья Габай**

«...Горстка книг да дружества...»

Составитель и редактор Галина Габай-Фикен

## **Џуа Gabay**

“...Gorstka Knig Da Druzhestva...”

Compiled and edited by Galina Gabay-Ficken

ISBN 978-1-934881-44-6

Library of Congress Control Number: 2010940780

Copyright © 2011 by Galina Gabay-Ficken

Copyright © 2011 by M•GRAPHICS PUBLISHING

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

Оформление обложки: П. Крайтман, © 2011

Автор портрета Ильи Габая на обложке — художник-авангардист Михаил Георгиевич Рошаль-Федоров, сын Георгия Борисовича Федорова и Марьяны Григорьевны Рошаль-Строевой (Федоровой). Портрет написан в 1988 г. по фотографии, которую сделал Георгий Борисович в санатории «Успенское».

Published by M•GRAPHICS PUBLISHING

[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)

[info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов batov's hyphenator ([www.batov.ru](http://www.batov.ru))

Printed in the USA

*Эта книга не могла бы увидеть света без помощи и постоянного участия друзей Ильи Габая на всех этапах работы над сборником. Я бесконечно благодарна за эту помощь А. И. Габаю, А. Н. Зарецкому, Ю. Ч. Киму, М. Г. Рощаль, Е. С. Семека, Г. Г. Суперфину, Роберту Э. Фикену, М. С. Харитонову, Г. С. Эдельман.*

*За исключением особо оговоренных, примечания ко всем разделам сборника сделаны мной, также использованы прим. ред. коллегии сборника «Илья Габай. Выбранные места», изд. «Весть», Москва, 1994 г.*

*Письма, помеченные \*\*, публикуются здесь с любезного позволения составителя Г. С. Эдельман и редакционной коллегии сборника «Илья Габай. Выбранные места», изд. «Весть», Москва, 1994 г.*

Галина Габай-Фикен



Много лет тому назад, в июле 1969 года, в Крыму, куда почти насильно отправили меня отдыхать твои и мои друзья, я шептала ночами твои стихи и письма к тебе.

Это были письма к тебе, почти несуществующему.

Это были письма к тебе в тридевятое царство.

Это были письма к тебе в ташкентские подвалы Кащей Бессмертного. Помнишь? Одно из писем кончалось так: «Я люблю тебя. Я глажу твои волосы, целую каждую твою родинку, целую твои близорукие глаза. Я обнимаю тебя всего-всего, мое счастье, моя радость, друг мой, муж мой, свет мой».

Что я могла сделать для тебя тогда? — Ничего.

И я шептала твои стихи и писала тебе письма.

Что я могу сделать для тебя сейчас? — Ничего.

И я снова перечитываю твои рукописи и шепчу письма к тебе, уже несуществующему.

Я любила тебя и люблю тебя. Это все, что я могу.

Твоя Галя.  
*Бостон, 1974 г.*



# Содержание

От составителя	1
Биография	3

## Поэзия

### СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Трудность	11
«Я понял...»	12
Еще о поэзии	14
В день рождения	15
Современное кафе	17
Воспоминание об улице	18
«О, как опасны дальние огни!..»	20
В последний раз в имени родовом...	21
«Ну, как не знать!..»	24

### Из цикла «Посвящается»

Еще одно посвящение	27
«Если вдруг одолеет усталость...»	28
«Мы думали: жизнь — это тракт ...»	29
Баржи. Яхты.	30
Друзьям по институту	32
«Вот и мы с тобой в шестидесятих!..»	34
Мальчикам	35
Предупреждение	36

### ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

Мелодия	38
Пегматит	39
Зарубабель	40
Шолом-Алейхему	42

Иудифь	43
Еврейская мелодия	44

### **Поэмы**

Зиманиана	46
Бессонница	52
Книга Иова	60
Волхвы	75
Выбранные места...	84

## **КИНОСЦЕНАРИЙ**

### **И. Габай, М. Г. Рошаль-Строева**

«До и после»	
<i>Киносценарий по произведениям Ю. Н. Тынянова</i>	119

## **ПУБЛИЦИСТИКА**

К деятелям науки, культуры и искусства	201
У закрытых дверей открытого суда	207

## **Суд**

Обвинительная речь прокурора Бочарова	225
Защитительная речь адвоката Д. И. Каминской	226
Последнее слово Ильи Габая	227

## **КЕМЕРОВО–МОСКВА–КЕМЕРОВО**

### **ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ**

В. С. Агриколянский	247
Переписка с сыном	252
Из писем Галине Габай	283
Елене Гиляровой	320
Александру Гинзбургу	332
Галине Гладковой	334
Семье Зиманов	337
Серее Кану	345

Переписка с Юлием Кимом	347
Переписка с Г. И. Копыловым	359
Эрнесту Красновскому	371
М. Г. Рошаль и Г. Б. Федорову	372
Елене Сергеевне Семека	407
Виктору Тимачеву	420
Марку Харитонову	422
Из писем Р. Хасидман	443
Н. В. Ширяевой	444
Галине Эдельман	454

## ВОСПОМИНАНИЯ

Г. Габай. <i>Интервью на Радио «Свобода»</i>	457
А. А. Галич	467
В. Гершович	468
М. С. Харитонов. <i>Участь</i>	469
П. Г. Григоренко	481
Д. И. Каминская. <i>Из книги «Записки адвоката»</i>	482
Ю. Ким	491
В. Г. Рошаль-Федорова	492
А. М. Некрич. <i>Из книги «Отрешись от страха»</i>	493
Ученики и коллеги вспоминают	495
Е. С. Семека	502

## ПОСЛЕДНИЙ СУД

Жалоба (в порядке надзора) по делу И. Я. Габая	515
--	-----

<b>Фотографии</b>	523
-------------------	-----



---

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

---

Подошла к концу работа и еще над одним сборником произведений Ильи Габая. Началась она почти целую жизнь Ильи назад. Работа же по сохранению его поэтического наследия началась и того раньше. Еще в студенческие годы институтские друзья собрали воедино разрозненные страницы из школьных тетрадей, «беспризорные» листки канцелярских блокнотов, просто клочки бумажек со стиховыми записями, отпечатали их на старом гремучем «ундервуде» и одели эти машинописные листочки размером в полстранички в серо-голубую глянцевиую обложку. Это был самый первый, как Илья называл его, «сборничек» его стихов.

Незадолго до смерти, летом 1973 года, Илья сделал правку «сборничка». В настоящий сборник, как и в «иерусалимский», вошли стихотворные произведения с учетом его последней правки.

До сих пор у нас, близких друзей Ильи, хранятся как реликвии клочки, черновики, обрывки и целые страницы с записанными его рукой стихами, — некоторые в нескольких вариантах. Потому-то и сборники, в зависимости о того, кем составлены (Марком Харитоновым<sup>1</sup>, Галиной Эдельман<sup>2</sup> или Галиной Габай<sup>3</sup>), несут в себе разночтения некоторых строчек, слов, строф. Наличие вариантов помечено в этом сборнике\*.

Написанное Ильей Габаем и сохраненное друзьями легло в основу трех уже существующих сборников («Посох», «иерусалимский» и «Выбранные места»). А сейчас поставлена последняя точка в создании «бостонского» сборника. И каждая следующая книга Ильи Габая по объему превышает предыдущие.

Настоящий сборник вобрал в себя большинство материалов из всех трех сборников. Всё новые и новые воспоминания, письма появляются

---

<sup>1</sup> Харитонов Марк Сергеевич (род. 1937) — институтский друг Ильи Габая, писатель, переводчик, лауреат Букеровской премии (1992); составитель сборника «Посох», изд. «Прометей», Москва, 1990 г.; автор эссе «Способ существования», где целый раздел «Участь» посвящен жизни и поэзии Ильи Габая, изд. «Новое литературное обозрение», Москва, 1998 г.

<sup>2</sup> Эдельман Галина Самсоновна (род. 1938) — институтский друг Ильи Габая; художник, составитель сборника произведений Ильи Габая «Выбранные места», изд. «Весть», Москва, 1994 г.

<sup>3</sup> Габай-Фикен Галина Викторовна (род. 1937) — жена Ильи Габая, педагог-дефектолог, составитель настоящего и «иерусалимского» сборника «Илья Габай. Стихи...», Иерусалим, 1990 г.; автор цикла автобиографических рассказов «Пятьдесят седьмой» — см. сб. Алик Толчинский «Рояль по имени Иннокентий», изд. «М•Graphics», Бостон, 2007 г.

там и сям. Давние друзья, близкие, знакомые, кратковременные жизненные попутчики и те, кто когда-то хотя бы раз столкнулись в жизни с Ильей Габаем, — все хотят рассказать о нем самом или о его творчестве. Но при всем желании не представляется возможным «втиснуть» все эти воспоминания в одну книгу. Скрепя сердце, приходится решать, что оставить за ее пределами — для будущих, быть может, публикаций. Мы постарались включить в нынешний сборник все максимально возможное и, прежде всего, написанное самим Габаем, за исключением самой ранней его прозы. В него впервые включен киносценарий «До и после», нигде ранее не публиковавшийся, над которым Илья совместно со своим давним другом Марианной Григорьевной Рошаль-Строевой<sup>4</sup> работал еще в 1967 году.

Первое упоминание о публикации киносценария сделано И. Габаем в 1968 году в письме из Кинешмы соавтору. После смерти Ильи Габая началось «хождение киносценария по мукам», которое продолжалось тридцать семь лет. Он прошел через издательства Италии, Англии, Германии, Франции и Израиля. Вернулся он ко мне два месяца назад со слепыми страницами от листков бумаги, закрывших текст при снятии ксероксов. Некоторые страницы до сего дня пребывают в «нетях»: они исчезли из авторской пачки неизвестно чьей волей и незнамо куда. Сейчас киносценарий восстановлен настолько, насколько было возможно его восстановить без нанесения ущерба всей работе. Потерянный текст помечен (...).

В сборник включена также значительная часть лагерной переписки Ильи Габая. Некоторые материалы, главным образом, воспоминания, что были опубликованы в «иерусалимском» сборнике, остались за пределами этого издания, что дает возможность предоставить больше места самому поэту. Удовольствуемся же почетной возможностью, выпавшей на нашу долю, — быть гостем на празднике еще одной его книги и, перефразируя Габаевских «Волхвов», с гордостью скажем: «Мы донесли до потомков, до вас, мудрецы, донесли голос книжника, друга, поэта, учителя, гражданина, голос одного из самых замечательных людей нашего времени — ИЛЬИ ГАБАЯ».

*Галина Габай-Фикен*  
октябрь 2010 г.

---

<sup>4</sup> Рошаль-Строева (Федорова) Марианна Григорьевна (род. 1925 г.) — друг поэта; соавтор киносценария «До и после»; кинорежиссер («Белый пудель», «Орлиный остров»); жена Г. Б. Федорова.

---

## БИОГРАФИЯ

---

На Верхней Нагорной, в нескольких шагах от угла улицы Кецхове-ли, в Баку, в январе 1974 года еще был дом, уже полуразрушенный, заброшенный после пожара и заваленный мусором.

В этом доме в семье Якова Ихильевича Габая<sup>1</sup> и его жены Доры Марковны Ридер<sup>2</sup> в октябре 1935 года появился второй ребенок.

Это был Илья Габай.

В семье деда Ильи хранили традиции еврейства и разговаривали на идиш. Привязанность к еврейскому народу Ильи Габай сохранил на всю жизнь, хотя считал себя человеком русской культуры.

Очень рано, в возрасте пяти лет, Илья остается без матери и живет с отцом и сестрой<sup>3</sup>. Его занятия в это время — игра в «перышки» с ребятами на улице, чтение книжек с сестрой при свете керосинки. Он рассказывал, как сестра впервые привела его в библиотеку. Книгу на полке, попавшую в поле его зрения самой первой, он прочитал вслух: «А. Пушкин. «Цыганы». И объявил во всеуслышание: «Я эту книжку знаю!» Он не просто знал эту книжку: он знал её наизусть.

Друзья и книги становятся страстью Ильи, которую он пронес через всю жизнь.

Уже в раннем детском возрасте в маленьком Миле, как звали его в семье, появляются черты необыкновенной сострадательности к людям, чужому горю, понимание человеческой боли. Через много лет студент 2-го курса педагогического института Илья Габай опубликует в институтской многотиражке «Ленинец» стихотворение «Чужое горе».

Ленивый взгляд вокруг себя бросая,  
Из любопытства посмотрев назад,  
Мы очень часто мельком замечаем  
Нам непонятный и тоскливый взгляд.

Наверно, боль легла ежом на сердце,  
Печаль сдавила горло, как лассо,  
И человеку хочется, поверьте,  
Прохожему поведать обо всем.

---

<sup>1</sup> Габай Яков Ихильевич (1887–1946) — отец И. Я. Габая

<sup>2</sup> Ридер Дора Марковна (?–1940) — мать И. Я. Габая

<sup>3</sup> Габай Сима Яковлевна (1929–1988) — сестра Ильи Габая, врач-рентгенолог.

Мелькнуло горе чужеродной тенью,  
Заставило задуматься на миг...  
Но мы прошли, забыв в одно мгновенье,  
Чужую боль,  
Чужого сердца крик.

Своей беды нам ворон не накличет,  
Беда других — ничтожна и мала...  
Наверно, от такого безразличья  
И повелись преступные дела.

Мне говорят: опять мудришь.  
Не знаю,  
Неважно это, слишком мелко, что ли,  
Но я хотел бы, чтобы боль чужая  
Жила во мне щемящей сердце болью.

Так оно и было: чужая боль жила в нем, как своя собственная, и маленький Миля по дороге из магазина домой — они тогда были в десяти шагах друг от друга — всем, кто ни попросит, раздавал военный пайковый хлеб, оставаясь голодным сам и оставляя голодными сестру и отца. Это его свойство быстро узнали ребяташки с соседних улиц и весьма успешно им пользовались.

Когда Илье было 10 лет, умер и его отец. К этому времени относятся первые попытки творчества: Илья сочиняет пьесы, пробует писать стихотворные поздравления к праздникам. И очень много читает. Любовь его к книгам, к чтению поражала в нем всех, кто его знал. Он читал в транспорте, в антрактах в театре, на улице на ходу, не замечая прохожих и натываясь на них, читал под столом на свадебном обеде, читал при любой степени усталости.

Эта страсть привела его в 1950 году в Московский библиотечный техникум. Москва становится вторым родным городом Ильи. Столичная культурная жизнь захватила Илью целиком. Днем он учится, вечерами пропадает в музеях, театрах и библиотеках. Пришла пора споров до хрипоты с друзьями о справедливости и неправде на земле. Об этом времени он писал много позже в поэме «Отчуждение»<sup>4</sup>. А поздней ночью он возвращается «домой», на Якиманку<sup>5</sup>, в девичье общежитие 2-го медицинского института, ночуя под кроватью сестры-студентки тайком от коменданта: у Ильи не было московской прописки, другого дома у него тоже не было.

---

<sup>4</sup> Поэма «Отчуждение» была помещена в стенной газете историко-филологического факультета МГПИ «Молодость» в 1959 г.

<sup>5</sup> Якиманка — улица в Москве.

Первые неприятности общественного характера начались у Ильи здесь, в Москве, в 1952 году. В самый разгар «дела врачей» Илья с техникумовскими друзьями составляет список евреев — врагов народа. Первый в этом списке — Карл Маркс, где-то в середине его — верный соратник И. В. Сталина Л. М. Каганович. Дело начиналось шумно, но было замято со смертью Сталина и реабилитацией врачей. На этот раз Илья Габаю повезло: его политическое дело не состоялось, исключение из техникума тоже. Он успешно заканчивает техникум и уезжает обратно в Баку, где днем работает в школе, а вечерами учится в Бакинском университете на русском отделении филологического факультета. В его родном доме уже давно живут другие люди. И Илья Габай поселяется в семье очень любимого им двоюродного брата Миши, который, по словам Ильи, «баюкал его детство».

Отсюда, в 1954 году, его призывают в Советскую армию. После того, как он отслужил полный срок, его вызвали в военкомат и выдали «белый билет» — освобождение от воинской повинности в связи с близорукостью. Илья шутил, называя это «еврейским счастьем».

В 1957 году Илья поступает на дефектологический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. Через полтора года он переходит на историко-филологический факультет и заканчивает его в 1962 году. За полгода до окончания института он уезжает работать в сельскую школу на Алтай, приезжая в Москву в отпуск на каникулы и для сдачи государственных экзаменов. На Алтае, в Зеленой Роще — так называется село, где он преподавал, он пишет многие из своих стихов, в том числе цикл «Еврейские мелодии», шутивную поэму «Зиманиана», письма-инсценировки и письма-рассказы друзьям.

В 1963 году он возвращается в Москву и преподает русский язык и литературу в 521-й московской школе в Черемушках, в педагогическом училище, читает лекции на подготовительных курсах Историко-архивного института. Потом уходит на редакторскую работу. В эти годы написана им незаконченная поэма «Книга Иова», над которой он продолжает работать почти до самой смерти. И только отступничество его ближайшего друга, Петра Якира<sup>6</sup>, предательство им дружбы и идеала свободы, которым поклонялся Илья Габай, прерывает эту работу и делает невозможным для него всякое дальнейшее творчество.

---

<sup>6</sup> Якир Петр Иванович (1923–1982) — друг И. Габая, историк, сын расстрелянного в 1937 г. командарма И. Э. Якира. Узник ГУЛАГа с 14 лет. Автор книги «Детство в тюрьме». Участвовал в правозащитном движении против реставрации культа личности Сталина. Арестован летом 1972 г. по делу о «Хронике текущих событий». Во время следствия по этому делу вместе с В. Красиным сотрудничал с КГБ; во время пресс-конференции, передававшейся по телевидению, каялся в участии в правозащитном движении. Получил легкий приговор (ссылку в г. Рязань).

К 1965 году относятся первые вызовы Ильи в КГБ «на беседы» в связи с участием его в демонстрации протеста против ареста писателей А. Д. Синявского<sup>7</sup> и Ю. М. Даниэля<sup>8</sup>. С этого момента КГБ не выпускает поэта из-под наблюдения до конца его жизни.

26 января 1967 года Илья Габай был впервые арестован. На этот раз «чужое» горе привело его на демонстрацию на Пушкинскую площадь<sup>9</sup>. Его волнует судьба только что арестованных А. Гинзбурга<sup>10</sup>, Ю. Галанскова<sup>11</sup> и других, и судьбы многих, кто еще будет арестован по новой политической статье<sup>12</sup>, введенной в уголовный кодекс страны за несколько недель до этой демонстрации.

4 месяца Лефортовской тюрьмы — и после этого невозможность преподавательской работы до конца жизни.

<sup>7</sup> Синявский Андрей Донатович (1925–1991) — писатель (лит. псевдоним Абрам Терц), литературовед, эссеист. За публикацию своих произведений на Западе, в частности, романа «Суд идет» был арестован и осужден на 7 лет трудовых лагерей строгого режима. Эмигрировал во Францию в 1973 г. Реабилитирован в 1991 г.

<sup>8</sup> Даниэль Юлий Маркович (1925–1988) — писатель (лит. псевдонимы Николай Аржак и Юрий Петров), поэт, переводчик. За публикацию своих произведений за границей вместе с А. Д. Синявским был арестован и приговорен к 5 годам трудовых лагерей строгого режима. Реабилитирован в 1991 г.

<sup>9</sup> См. «Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22/1–1967 г.» под редакцией П. М. Литвинова. Изд. О. П. I., Лондон, 1968 г.

<sup>10</sup> Гинзбург Александр Ильич (1936–2002). Журналист, издатель, правозащитник. Составитель поэтического альманаха «Синтаксис» и сборника материалов по делу Синявского и Даниэля «Белая книга». Советский политзаключенный. Был обменян на двух советских граждан, обвинявшихся в шпионаже в США.

<sup>11</sup> Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972). Составитель общественно-политического и литературного сборника «Феникс-66», за что был арестован и на т. н. «процессе четырех» приговорен к семи годам лагерей строгого режима. Умер в заключении.

<sup>12</sup> Статья 190-1 Уголовного Кодекса РСФСР предусматривает «... распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной другой форме произведений такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до 100 рублей.

Ст. 190-3 УК РСФСР. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий — наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до 100 рублей.

Весна–осень 1967 года — время работы над киносценарием по произведениям Ю. Н. Тынянова<sup>13</sup>.

Друзья помогают Илье устроиться в археологическую экспедицию на работу землекопа. Там, в Кишиневе и на молдавских раскопах, весной и летом 1968 года были написаны им «Волхвы», «Ну как не знать» и стихотворение о Софье Перовской<sup>14</sup> «В последний раз в имени родовом...». Последнюю попытку учительствования, без которого Илья очень тосковал, он делает осенью 1968 года, уезжая в глухое село Красногорье под Кинешму Ивановской области.

А между тем обыски в его квартире на Новолесной<sup>15</sup> продолжаются. Продолжаются и допросы в КГБ. И каждый следующий обыск уносит в его «дело» стихи, статьи, письма-протесты, личные письма.

Зимой и осенью 1968 года написана им большая часть публицистических работ. Они послужили основой для следующего ареста поэта и обвинительного приговора. 19 мая 1969 года Илья Габай был снова арестован и увезен в Ташкент, подальше от друзей, родных и иностранных корреспондентов. Приговором Ташкентского городского суда<sup>16</sup> ему было определено три года исправительно-трудовых работ в лагере общего режима. В переводе на обычный человеческий язык это означало: поэт и учитель будет жить среди матерых уголовников, законодателей этого рода лагерей, не будучи никак и ничем защищен от их произвола.

Там, в кемеровском лагере, Илья Габай пишет свою последнюю поэму «Выбранные места...». В марте 1971 года появилась возможность передать поэму на свободу: администрация лагеря дала Илье Габаю одну ночь для свидания с женой. Рукопись поэмы незадолго до этого была отобрана у него в один из лагерных обысков и находилась у администрации. Илья записал поэму по памяти. Он писал всю ночь. Писал на форзацах книг, привезенных ему для чтения.

За два месяца до выхода из заключения поэт был вновь перевезен в Лефортовскую тюрьму на новое следствие по делу No. 24 (делу о «Самиздате», о «Хронике текущих событий»). Ему угрожали новым сроком заключения. Но все-таки выпустили из тюрьмы. Однако свобода оказалась той же тюремной цепью, только отпущенной подлиннее.

<sup>13</sup> См. раздел «Киносценарий». Написан в соавторстве с М. Г. Рошаль-Строевой на основе исторических романов и пьес советского писателя, драматурга, литературного критика и литературоведа Тынянова Юрия Николаевича (1894–1943).

<sup>14</sup> Перовская Софья Львовна (1853–1881). Народоволка. Участвовала в покушении на императора Александра II. Повешена.

<sup>15</sup> Улица в Москве, где жил Илья Габай.

<sup>16</sup> См. разделы «Суд», «Воспоминания» Д. И. Каминской. «Шесть дней». Фонд Крым — Нью-Йорк, 1980, Д. И. Каминская «Записки адвоката», изд. «Хроника», Нью-Йорк, 1984 г.

Работы по-прежнему не было, а для бывшего политзаключенного, не раскаявшегося к тому же, и быть не могло. Незадолго до смерти поэта КГБ предложило ему, полуслепому, работу корректора-подчитчика в газете «Лесная промышленность».

Через четыре месяца после «освобождения» Илью вновь начинают вызывать на допросы в КГБ, а после завершения дела № 24 — на «беседы». Вновь и вновь предлагают ему написать раскаяние, признать свои публицистические работы клеветническими, вновь и вновь он отвечает отказом. Ему говорят: без такого заявления никогда не будет другой работы. Кроме того, под угрозой находится его собственная теперешняя свобода, реален новый арест. И не только его, но и его жены.

Измотанный многими годами безработицы, оторванный от любимого дела, без всякой надежды на будущее, истощенный заключением, замученный допросами и добытый предательством, поэт прерывает цепь нестерпимых мучений.

Такова была эта жизнь, оборвавшаяся 20 октября 1973 года. Короткая. Стремительная в радостях и бесконечная в страданиях. Но живут его стихи, живет в тех, кто его любил, память о нем, живет в его детях он сам.

*Галина Габай*

# Поэзия



---

## СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

---

### ТРУДНОСТЬ

Под тяжестью гнулись и самые рослые,  
Швыряли на снег матюкания жёлчные,  
И ветер, холодный и резкий, — нордостовый,  
Дарил  
Таровато  
Глухие пощёчины.  
Я видел сердитые, хмурые лица.  
Мне тоже хотелось нещадно браниться.  
Но трудность — она заключалась не в этом.  
Мне трудность была — чтобы жить — не коситься,  
Чтоб жить — и не верить домашним наветам,  
Остаться собой в незатейливом быте,  
И все же не быть здесь цветком чужеродным,  
Уметь не копаться в неумных обидах  
И помнить о завтра в неважном сегодня.  
И чтобы однажды  
На зыбкой крутине  
Понять, что теперь ты —  
Не крохотный лютик.  
И чтобы тебя, наконец, наградили  
Скупыми улыбками  
Щедрые люди.

*1958 г.*

\* \* \*

Я понял:  
Японию выдумал кто-то!

...Я помню далекие книжные годы...  
Над миром словес и походов тюленых  
Из маленьких книг о больших приключениях,  
Колебля коптящей коптилки миганье,  
Она возникала страной вожделенья,  
Улыбчивых ртов и кривлявых микадо.

Я видел веселье расфранченных улиц.  
Я верил в пленительность гейш Яманаси<sup>1</sup>.  
Я думал, что ходят по улицам кули  
И громко поют про «вставай, подымайся».

А все оказалось похожим на враки,  
И кто-то уже отравил Нагасаки,  
И в утро моих заблуждений  
Японцу  
В лицо заглянуло не солнце,  
А стронций.

Не будут про Будду туманные повести,  
Не будут будить меня книжные новости,  
И мне не дано пошататься по Генту,  
Увидеть Овидия<sup>2</sup> в каждой легенде,  
Болезнь не ангиной — горячкой видений!

О, кто возвратит мне мои заблужденья!  
О, кто возвратит мне мои заблужденья!

А все-таки были цветные, как гетры,  
На небе сирененьком спелые радуги,  
И люди прошли по развалинам гетто,  
Оплакав погибших и стойкости радуясь!

И как позабыл я извечную мудрость,  
Что мрачные ночи сменяются утром?!  
И кто мне позволил стенать, как кликуше,  
Зажмурив глаза и закрыв свои уши?!

...Наверное, это чумное поветрие...  
Но годы идут, и порою, поверьте,  
Я вижу, где надо (а чаще — не надо),  
Носатые тени святого Лаврентия<sup>3</sup>,  
Святого, как святость сама, Торквемада!<sup>4</sup>

Нет, мне не болеть воспаленьем видений.  
О, кто возвратит мне мои заблужденья!  
И кто же виновен в неумных мыслишках?  
Наверно, не книжки. Причем же здесь книжки?

...По-моему, давний мой недруг-ровесник,  
Твердишь ты, что пакость, — как слово из песни,  
Что подлости нам, безусловно, нужны,  
Как нужен по-своему нужный нужник.

Но я для себя непреложно запомнил:  
Не верь патриотам насиженных комнат!  
Слово скажет —  
Тину вижу!  
Не навяжет:  
Ненавижу!

И тычут мне в морду они словесами,  
Что вижу я мир сквозь помойную яму,  
Что я только мрачно и мелко пасую...

Вы врете! Я верю в поруку людскую!  
Я шел к этой вере. Сквозь мысли. Сквозь годы.  
Я понял:  
Японию выдумал кто-то...

1959 г.

## ЕЩЕ О ПОЭЗИИ

Честь какая!  
Беранже<sup>5</sup>.

Сиятельный боров вплывает в бор,  
И, царственно стыд презрев,  
Он лепит уборные возле дерев,  
Телесен, весел и бодр.

С боярскою грузностью в лужу сев,  
Он думает: мир — это теплый хлев.  
Поэтому он так бодр.

Сиятельный боров вступил на ковер  
Дороги, ушитой в грязь.  
И он снисходит до грешных нас,  
Вступая со мной в разговор.

(Познав, как корыто, вселенский двор,  
Он знает, кого отпихнуть — и кого  
Зазвать в эту царскую грязь.).

Сиятельный боров: «Ну есть ли толк  
В писании вздорных замет?  
Мы — смертны. И даже меня, заметь,  
Паяльник и нож увенчают: смерть.

Но если ты сыт и не завтра смерть —  
Картошка — в подпольщиках,  
Птицей — листок,  
Вспорхнувший на целый метр!»

Сиятельный боров сиятельно прав.  
«Сиятельство ваше, не в лесть  
Скажу вам, что вы — безграничны, как лес,  
Глубоки, как корни трав.

Прозрев, я ценю ваш фламандский нрав  
И жизненность ваших фламандских телес  
(С горчицей!) — скажу не в лесть.

Сиятельный боров! Назад заберу  
Былые смешки я. Ужом  
Готов я пред вами ползти под дождем,  
По лужам, как моль по ковру».

Не сказка ль?! Я, серый, сейчас говорю  
С единственным розовым — в этом бору,  
Окрашенном в черный дождем?!

Сиятельный боров поднимается из лужи,  
давая понять, что аудиенция окончена.

*8 октября 1962 г.  
Зеленая Роща.*

## **В Д Е Н Ъ Р О Ж Д Е Н Ъ Я**

А я, закручен, как пола,  
живу с учётом всех поправок  
на жизнь.

А раньше жизнь была  
дотошным собираньем правды!

И быть — как быт. И пыл — как бред.  
И я живу в простудной вате,  
как пешеходы в октябре  
плывут в случайном снегопаде.

С привычной поступью пера  
и, поступательный, как график,  
живу.

А раньше жизнь была  
приобретеньем биографий!

Тщеславный двигатель надежд  
на назидание и броскость  
и — на виду у всех — на день  
неоспоримого геройства! —

Тщеславный двигатель — исчез!  
И лишь, как след его, — порою  
моя неправда: честь — не в честь,  
герои — вовсе не герои...

И оттого, что цел и жив,  
что не страдалось, не томилось, —  
мои стихи, как лейтмотив,  
как рельс, прорезал горький минус.

И не нашлось в стихах моих  
пусть не хвалений — просто нужных  
и добрых слов — за ласку их,  
за милость их и верность в дружбе.

И вот: ломается хорей,  
и слово бьет не в цель, а мимо.  
Так — о друзьях анахорет.  
Так — о любимой нелюбимый.

За то, что так, бесславно, жил,  
что жил, не рвал, не знал сожженья, —  
все стало горьким и чужим,  
как этот трезвый день рожденья.

...Стихи нещадны, как стекло,  
как фельетон, кромсают жалость.  
А я — добрей своих стихов,  
но и слабее их, пожалуй!..

Так что ж? Пройти и близь и даль?  
Искать? Устать? И жизни подле  
похристардничать: подай,  
яви хотя бы малый подвиг?!

А, может, топкий, как волна,  
ломая графики и поступь,  
мой день придет и, как война,  
разделит все на «до» и «после»?..

*9 октября 1962 г.  
Зеленая Роща.*

## СОВРЕМЕННОЕ КАФЕ

«Плюнь — и поцелуй злодею ручку»

А. С. ПУШКИН

Здесь и начинался квазибунт.

Цель его: венец *приоритета*.

Лозунг: «Раздавите Коцебу<sup>6</sup>!»

Тактика:

— ну как же, век ракеты...

век!

И под Давидов щит эмблем,

новых, *прогрессивных*, под эмблему

тех кафе, где нету *правых* стен,

все четыре, как искусство, *левы*,

где амфир разбит, как монолит

дней недавних, где в шеренгах бунта

каждый ригорист и неофит

в чине Занда<sup>7</sup>, Фигнер<sup>8</sup> или Брута<sup>9</sup>.

Будто бунт.

— Но для чего ж давить...

Будто бой святой и будто правый.

— Будто б Коцебу не хочет жить.

Хочет.

...Даже — будто Саперави...

— Хочет!..

Закрывается окно:

— конспи...

(притаенная оглядка)

— рация...

...Лозовое вино

лисы пьют и лизжут лисенята.

Бунт еще не ноль. Еще не ноль,

речь об обратимости ракеты:

— Мы не...

И сменяется ноэль

песней про гуманность *паритета*.

— Мы не де... Не следует пенять.

— Мы не де... К чему дразнить искусом

Коцебу... Они должны понять:

мы не те. Мы тоже хотим кушать.

Увядает тощий ригоризм.  
Он сменен в предчувствии запретов  
и запоров («Мальчики, горим!»)  
самым непотребным *пиететом*.  
Выводы: «бесчеловечна месть...»  
Выводы: «и безнадежна жатва.  
А искусство стоит наших месс  
и не стоит нашей вздорной жертвы».

Арион дюралья и стекла  
Новоиспечен для новой сдачи,  
Трепетный, как этот — у стола  
Служка:  
— Девять пять!  
— Оставьте сдачу.  
Улица. Электротемноты  
Битва с озарением неона.  
Голиаф, конечно, побежденный,  
Гибнет. Ясно: побеждает храбрость,  
Новое. И *новые* ж пшюты  
(озираясь), порицают... ямбы.  
Потому-то и пишу я — ямбом.

23 марта 1963 г.  
Зеленая Роца.

## ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УЛИЦЕ

Печаль подобием клейма  
Неся с собой, я шел в метели,  
Салон отверженных кляня  
И пропадая в мокрусели.

Я был неистов, был готов  
К словам беспомощным и жалким,  
Что повесть временных годов  
Идет к концу, что скоро жатва,

Что в поддыхании — пора  
Иных отверженств и наследий,  
Что — жатва, та, к которой я  
Иду не сеятель — нахлебник.

Толпа валила бугаем  
Нетерпеливо — крайность будто —  
В дворец с большою буквой «эм»,  
Как в домик с маленькою буквой.

Плыли по скомканной земле  
Обмылки нежеланной бани  
И те, кто шел, казалось мне, —  
Обломки Вавилонской башни.

Чужие. Был такой не мед,  
Что я жевал как вязкий мякиш,  
Мысль: все мы — циркульный намет  
В толпе, закруженной, как мячик.

Какой-то, по ранжиру с кругом,  
Монументальный — мне не впрок —  
Для лобызанья сунул руку,  
Как школьник, знающий урок.

И я стоял, оторопев,  
Стоял и чувствовал, померкнув,  
Что мне в толпе — как в тулупе  
Тепло, чужо и не по мерке.

На вертел шла чужая радость,  
Чужая скорбь, чужая ложь...  
К чужому через точку радиус,  
Как *переход*, не проведешь.

Толпа. Тулуп. И мне никак  
Не взять разбег. И неуклюжесть  
Не одолеть.

Но почему же  
Меня с упорством сорняка  
Тянуло к людям, тянет к людям  
В их мокрый съезженный комок?

Я производный их? Я тоже  
Не зацвету, как хвощ, как мох?..  
Но тянет. И безлюдье гложет...  
Осталось: неприметный жест,  
Лоскутья слов, бечевка песни...

Был мокрый день. Большой, как жизнь,  
Антракт в словесной нудной пьесе.

30 марта 1963 г.

Зеленая Роца.

\* \* \*

О, как опасны дальние огни!  
Как близки, как обманчивы они...  
Бродяга шел.

И вот — трактир, как чудо  
вознагражденья за былые дни!

Гремела неказистая посуда  
среди непотребных слов, зловонной груды  
людского мяса. По людской реке  
прополз костер: бродяге стало худо.

Он свален был на низком чердаке.  
Зажгли коптилки. Свет на потолке  
крутился патефонною пластинкой  
чужо и долго — в рыжем ободке...

О чем ты плачешь, хрупкая пластинка,  
о чем ты пляшешь глупо и постыло,  
с девической готовностью на слом:  
что загостился? Что пора проститься?

Озноб прошел, и сразу же пришло  
безумное и душное тепло.  
Оно глушило, но бродяга думал  
про доброту, которая во зло...

## В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ИМЕНЬИ РОДОВОМ...

(Дочь губернатора!

С чего бы ей? А — вот...

— «В последний раз и — на беду — безлунье.  
И дерево бормочет, как колдунья»).

Идет отсчет пророчеств и проклятий,  
привычный, надоедливый отсчет...

(— «И ветки распростерлись, как распятыя...  
Не все ль равно — тюрьма иль эшафот?»).

А для чего? Зачем идти на крест?  
Зачем тебе — в огне, в крови, в железе —  
унылый мир, где каждый чист и Крез<sup>10</sup>  
и все поэты пишут «Марсельезы»?

И то сказать: на взвинченном пути,  
где весь словарь улегся в слово «порох», —  
есть авторы листовок. Есть статьи.  
Но нет поэтов. И не жди их скоро.

И горько знать, но, если бы не казнь  
и если б старость — в охах, вздохах, склоках —  
ты только б и сумела, что проклясть  
падение нравов и ненужность Блока.

Идет отсчет. И цель — как смерть: проста.  
И далеко. И не дожить до Блока.  
И, стало быть, такая есть дорога;  
есть путь такой: поверить в смерть, как в Бога,  
и так же — до конца и до креста.

Но ты прелестна. Только в этом суть.  
Ты — женщина. И правда только в этом.  
И надо жить. Жить — и сберечь красу —  
куда трудней, чем игры с пистолетом.

За что ж — тебе? За тяжкие грехи?  
За что твою прославят душу живу  
не светлые и робкие стихи,  
а боговдохновенные призывы?

И сколько надо Церквей на Крови,  
чтобы понять, отбросив прочь химеры,  
что смертоносна вера без любви,  
как не спасает и любовь без веры.

...Запущены, подобно колесу,  
необратимо: «выстрел...», «порох...», «бомбы...».  
Идет к концу намеченный отсчет.  
А ты красива. Только в этом суть.  
И ты себя готовишь к гекатомбам.  
И все равно: тюрьма иль эшафот.

...В последний раз — безлунный час Вселенной.  
И дерево бормочет. Зябнет пруд.  
Они чисты. Они чужды измены.  
Они просты. Они аборигены.  
Они утешат. Если не спасут.  
Доверься им...

...Но зов предельно весок.  
И пахнет смертью. Всюду гарь и тлен.  
Горят глаза у бесов и балбесов,  
решительных — до первых перемен.

И с динамитом — к равенствам и братствам.  
И все как было: только смертью смерть.  
И нет пути. И вытерпеть — пилатство.  
И святотатство — если не стерпеть.  
И не уйти. И мир пропитан тленом.  
И нет пути. Идет к концу отсчет...

Но — лучше так: пока не на коленях  
и все равно — тюрьма иль эшафот.  
И — лучше так. Пока не победили,  
пока к присяге не пришли умы,  
пока твой друг, мечтающий о крыльях<sup>11</sup>,  
не бьется над созданием Колымы,  
пока поэтов не ведут к причастью,  
пока ни вздохов старческих, ни склок,  
пока стихов еще не пишет Блок,  
и не замучить вам его, по счастью,

пока у «Марсельезы» чистый звук,  
пока твои друзья честны и чисты,  
пока твой друг не маршал, не министр,  
и твой палач — не твой вчерашний друг...

...А время каменеет. И у фраз  
нет свойства передать из давней дали,  
что люди жили, мучились, страдали,  
а не свершали действия напоказ.

Нет горечи и боли у речей.  
Я думаю, что если б не картины,  
мы вряд ли ужасались гильотине  
и братски полюбили б палачей.

И оттого, что смысла в слове нет,  
а правда только в стоне, крике, кличе —  
поклонники заплечного величья  
плодят кумиров и куют венец.

Я, знаете ль, не против горных рек —  
свободная и гордая стихея —  
но мне Ока милее Енисея,  
и, в сущности, я тихий человек.

Как лето ленью пахнет! Вот теперь  
забыть бы все, перечеркнуть, как шутку!  
Но нет пути. Стерпеть иль не терпеть —  
как выбор меж пилатством и кощунством.

Не вытерпеть — на злобе и неверьи  
построить мир, где каждый чист и сыт.  
А вытерпеть — за счет чужих обид,  
чужого крика и чужой потери.  
Ах, слава Богу, мы не Робеспьеры<sup>12</sup>,  
но почему должны терпеть мы стыд?  
Не вытерпеть.  
Пускай грядущий толк  
тебя хвалой или проклятьем метит.  
Когда-нибудь родится мудрый волхв.  
Он все поймет — но не заплатит смертью.

А ты — заплатишь, и грядущий суд,  
как всякий суд неправых и несмелых  
судить не вправе.

Завершен отсчет.

Ты — женщина. И только в этом суть.

(— «Дочь губернатора... Казалось бы! А — вот!..»)  
И ты прекрасна. Только в этом дело.

(— «И все равно: тюрьма иль эшафот»).

18/V-68 г. Кишинев.

\* \* \*

*И быть собой. Собой — и только...*

Ну, как не знать!

И все же — в это лето,  
в очередной осмысленный побег,  
я по-иному ощутил нелепость,  
которой жив нелепый человек.

И то — побег! И разве кануть в Лету  
и убежать подобия страстей,  
когда ни чистых глаз анахорета,  
ни мудрости угрюмых рыбаей.

И в эти дни, без воплей, без бравады,  
я понял: есть предельная черта.  
За ней нельзя нелепость и неправду  
встречать опять ужимками шута.

Спасибо, южный город отчужденья,  
за равнодушный, праздный твой уют.  
Я ощутил до богооткровенья,  
что я погиб. Что лето — не спасенье.  
Что воробы и солнце не спасут.

Я в это лето пролистал страницы  
пророческих косноязычных книг.  
Они открыли мне, как духовидцу:  
пророков нет, и ты давно погиб.

Ну как не знать! Но только этим летом,  
но только в отчуждении, в этот зной,  
я понял: мне отпущен, как поэтам,  
лишь выбор между чернью и чечней.

И дело здесь, пожалуй, не в утратах,  
не в том, что нечто обратилось в прах,  
что, прапорщик, блистательный когда-то,  
ты тянешь ляжку в вечных унтерах,  
что что-то сбилось и сдалось на милость,  
что надо лицедействовать и лгать,  
что что-то не сбылось и не случилось  
(не написано, надо полагать).

Что все — из рук, и с тем пребудет, видно,  
и так живешь уже который год,  
что жаловаться — книжно и бесстыдно,  
а гордость клоунадой отдает,  
что ты не белой кости и не касты  
особенных и что в твоих устах  
простая горечь, скорбь Экклезиаста —  
расхожий лозунг, чуть ли не устав,

что даже сокровенные идеи —  
масонский знак обличья высших каст,  
что горстка православных иудеев  
потешится, а там — глядишь — предаст,  
что спор и крик давно отлились в окрик,  
в высокий жест и барственный приказ,  
что каждый раз рассказ у нас — апокриф,  
что все давно невесело у нас, —

а в том, что возвращенье к полубедам  
заведомо таит в себе побег.

Что не сбежать. Что нет тебе побега.

Что просто ты нелепый человек...

Когда-нибудь (не вечна же тцета  
соединенья бардаков и бардов)  
наступит час Нестрашного Суда.  
Но ты найдешь подобие щита:  
ты примешь суд с ужимками шута,  
со скованной развязностью бастарда...

*29 июня 1968 г.  
Кишинев – Требужены.*

---

## ИЗ ЦИКЛА «ПОСВЯЩАЕТСЯ»

---

### ЕЩЕ ОДНО ПОСВЯЩЕНИЕ

Кому должны? Мы — не должны.  
Ну, может, в сток житейский ввязан,  
Ты мужем у своей жены,  
Как гражданином, быть обязан.

...У смены лет на поводу  
Идет безликая потеря  
не только фраз — скудельных душ,  
не только жестов — строгой меры.

Неточной, правда... Ниткой шит  
гнилой — твое: «Смешно! Не помню!»  
И пьется, чтоб себя открыть,  
как на качелях, до исподнего.

Взрослеют младшие. И гул,  
возню *ненашенских* подножек  
осилит наше: «Не могу  
молчать». А ты научен. Можешь.

Ты спрятал правду в закрома —  
и не от страха, что изымут...  
Не спорю: написать роман  
труднее, чем уйти из дома.

Не спорю: вздорно и смешно,  
воспоминаниям в угоду,  
мельчить. Так жить, круглó, как ноль?  
И — без романа? Без ухода?

С уходом в тень? С плетеньем тин?  
За четырьмя стенами — с старой  
ворчней: «Когда бы хоть один,  
хоть заваливший дрейфусарий?»

Взрослеют младшие. Сердясь,  
ты им поведаеть: терпенье  
в такие годы, как сейчас, —  
фермента род и вид сраженья.

Взрослеют младшие, сердясь  
на мир, — на это — перемирие.  
И вырастут подобьем нас.  
Хоть брюки уже, взгляд пошире —

и то мерси. Когда, как мус,  
подслащен кнут — какие Бруты?  
Хоть в спину камень — никому,  
и то мерси! Мерси за брюки,

за обнадежу, за посул,  
за страхи — якобы-не-страхи.  
Взаимное: не судит суд,  
и среди страдальцев — патриарх ты.

А те сочтут за смелый труд  
твое дотошное корпенье  
над схемой вязких объяснений  
своих бесстыдных амплитуд.

*29 марта 1963, Зеленая Роща.*

\* \* \*

*Леве Аксельроду*

Если вдруг одолеет усталость,  
Станет грустно — стихи подсобят.

Очень мало сейчас осталось  
Утруждающих мыслью себя.

Мы не те, кто проверенным ходом  
Ищет жизнь — чтоб тепла и тиха...  
Мы — извечные Дон-Кихоты,  
Донкихотствующие в стихах.

И за эти слова — рубаки,  
Что умеют, как слезы, душить,  
Мы — последние скинем рубахи  
Без того небогатой души.

Будем жить. И дороги-годы  
Не свернут нас и в стариках.

Мы — извечные Дон-Кихоты,  
Донкихотствующие в стихах...

*1957 г., Павловская Слобода.*

\* \* \*

*Саше Соколовскому<sup>13</sup>*

Мы думали: жизнь — это тракт,  
И не надо  
Сворачивать с торной, широкой дороги...

А жизнь оказалась ходьбой по канату,  
Где нет и в помине «опасностей рока»,  
Где много удач и хорошего риска.

Но есть опасения горше и туже:  
Упасть — и увидеть глаза Василиска,  
А рядом — пустые глаза равнодушных...

Ты югом пройдешь или хвойной тайгою,  
Но где-то в случайных, безвестных Закутах  
Однажды с тобой приключится такое,  
О чем ты юнцом непременно забудешь.

Еще по-мальчишески смутно растерян,  
Ты вряд ли поймешь, что, пробившись сквозь ругань,  
К тебе возвратилась вчерашняя вера  
В большое тепло человеческой поруки...

И только потом,  
Через многие даты,  
Тебя осенит, что в чужом тебе месте  
Ты вдруг отыскал на скользящем канате  
Свой собственный шест  
И — свое — равновесье.

1958 г. Закуты.

## **Б А Р Ж И. Я Х Т Ы.**

*Алику.*

Затолканы до одури,  
Как сельди в бочке, скучены,  
От Волги и до Одера  
Ползли баржонки скучные.

Ловили солнце красное,  
Кряхтели тяжко, грузные,  
Тащили грузы грязные  
И пели песни грустные.

А по гребню, по пенному,  
Взлетали яхты птицами.  
Сверкали бляхи — ценностью,  
Которая не снится вам.

Блестели снасти медные,  
Кокетливо завитые.  
...Ползли баржонки медленно,  
Красоткам не завидуя.

Вдыхала грудь моряцкая,  
Впитала смоль голяцкая  
И жалобы бурлацкие,  
И посвисты пиратские.

А сроки шли. И песни их  
Затихли, словно в приступе.  
На дровяную пенсию  
Свалили их на пристани.

И часто яхты старые,  
Глухие, слепоглазые,  
Брюзжали мемуарами  
И глупыми рассказами

О прежней пышной роскоши,  
О жизни — вспышке искровой...  
И были эти рассказы  
Хвастливы и неискренни.

А баржи беззатейные  
На гравии простуженном  
Плевали на растерянный  
Дуэт старушек в кружевах:

Хранила грудь моряцкая,  
Хранила смоль голяцкая  
И жалобы бурлацкие,  
И посвисты пиратские...

...А вы все славу курите  
Летающим над пропастью!  
Летают даже курицы.  
Попробуйте — поползайте!

Я знаю: там на гравии,  
Храня свое молчание,  
Лежали биографии,  
Достойные венчания.

1959 г.

## ДРУЗЬЯМ ПО ИНСТИТУТУ

Его Святейшество — Безбожие!  
Его Законственность — Безбожие!  
Его Законченность — Безбожие!

Как подобает Светлоликому,  
Пройдя опалы и мытарства,  
Оно вступает в сан Религии,  
Храня, как летопись, реликвию,  
Свое — давнишнее — бунтарство...

... Ты плачешься на бездорожье?  
И на безвременье? Безъярость?  
На то, что мы — могилы ересей,  
А в лучшем случае — музеи,  
На ложность ловких непреложностей  
Его казенных Моисеев?

То хмель гуляет по извилинам,  
Как хлыщ — враскачку, в брюках белых...  
Кому нужна твоя избитая  
Твоя чудная будтосмелость?!

Ведь каждым шагом, каждой поступью,  
Любой неловкостью и ловкостью  
Ты доказал, как это просто  
Все строить с лаком, лыком, с лоском.

...Успехи и ошибки — четкие,  
И все понятно, все не кажется,  
И если ты кричал о чем-то,  
То знал: за это не накажут.

И даже каждая бессонница  
Была — как сон, докука девичья.  
И если ты когда-то ссорился,  
То только мелко, из-за мелочи...

Однажды, начисто исторгнутый  
Дублерами из детских фарсов,  
Ты стал бухгалтером истории,  
Ее приход-расходных фактов.

Ты говорил: в неизвестность канули  
Былые ребусы, задачки, —  
И зачеркнул в скрижалях каменных  
Тех, кто окончил неудачами...

Но из веков протянут щупальца  
Погибшие и неплакатные  
Дела нечаевцев<sup>14</sup>, иштуинцев<sup>15</sup>,  
Живые в эхе казематном.

Увидишь. Ощутишь отчаянье  
И стыд (как нагишом — на стуже).  
И будешь видеть ты Нечаева<sup>16</sup>  
В любом ораторе досужем.

И вот за ним, необязательным,  
Неосязательным, как слово,  
Пойдешь на смуту, на предательство,  
На дно — по зову крысолова.

И не поймешь, глупец, усердствуя,  
Поддавшись на приманку сахаром,  
Что те, кто громко ересействуют,  
Мечтают стать ересиархами,

Мечтают сдать в музей рубища,  
Жить безответно и беспошлинно,  
Напялить бархат и рубины,  
Судить и жечь иных безбожников...

Ты потерял разгадку ребуса,  
А ведь она — разгадка прошлого,  
Безбожье — это безсеребренность.  
Христородавство — не безбожие.

И надо каждодневно верить  
В приход неведомого братства,

Где ереси — не власть, не эрос,  
Где ересь — это не богатство,  
Где ересь порождает ересь,  
А не религии и царства.

*Май 1961 г.*

\* \* \*

*Владику Пронину<sup>17</sup>.*

Вот и мы с тобой в шестидесятых!

Снова либералы народились.  
Снова с говорливою надсадой  
Мирно уживается рутина.

Не свалить зовущим время темам  
Частокол необъяснимых стенок...  
Почему же мы с тобою — с теми,  
Гордыми от маленьких истерик?

Броско. А вчитайся — плоско, тускло  
То, что нам они пролепетали.  
Мы с тобой считали: Заратустры<sup>18</sup>.  
Оказалось: просто либералы.

Это нам, щенкам, кидали кости  
Их несмело смелые таланты,  
Чтобы легче было даже Космос  
Рвать по лоскутам на транспаранты.

Чтоб опять нашествием бессменным  
Воцарился гул победных шествий!..  
Потому что всем нам, добрым, смелым,  
Как-то легче жить без Чернышевских.

*20 июля 1961 г.*

## МАЛЬЧИКАМ

Перестанут умничать юнцы,  
превратятся в практиков и циников  
и внесут в анкетные столбцы  
продвижение в чинности и чине,

вступят в караул надежных вер  
верной и неумолимой стражей.  
Будет и завет их, и совет  
добреньким, проверенным и страшным.

И они юнцам, отвергшим зло,  
тем, кто не прощает и плошает,  
поднесут площадность точных слов  
и — на утешенье — танцплощадность.

(Все б им беспокоиться, юнцам!  
Все бы мельтешить им и мешать им!)  
...Опыт беспощаден к «мудрецам»,  
опыт снисходителен к мещанам.

Мир прозревших точен и гранен,  
и они охочих до протестов  
оглушают истовым враньем,  
как истцы на ведовских процессах<sup>19</sup>.

...И опять межуют твердь и хлябь,  
составляют табель о пороках...  
...Только что-то горше стал их хлеб,  
что-то им невесело порою.

Может, потому, что в зону битв  
входит с непреложностью и сметкой  
память? Та, что с юности «мудрит»,  
И «мудрит» до старости, до смерти?!

*30 сентября 1961 г.*

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Нетипичному лицу.*

И вдруг в разговорах частных  
Остынет горячка мечты,  
И ты на коротком привале  
Примкнешь самолюбье, как штык.

И, сбросив раздумья, как ношу,  
Пойдешь сквозь бесстыдство и ложь.  
До жалкой и горькой Каноссы<sup>20</sup>  
Раскаянье ты понесешь.

И будет в их радости столько  
Злорадства за этот позор,  
Что даже врожденная стойкость  
От боли тебя не спасет...

Но — сдюжишь. И — крепкая шкура! —  
Сумеешь обиду простить.  
Ты даже научишься скоро  
В их хоре фальшиво басить.

На диво недавно рожденным,  
С вчерашним порвав до конца,  
Ты станешь таким убежденным,  
Таким нетерпимым к юнцам,

С такой несгибаемой волей,  
С таким непреклонным пером, —  
Что, черт его знает, твое ли  
Лицо искажает тавро.

Тавро неприкаянной ночи,  
Тавро беспокойства и смут,  
Которое, как ты ни хочешь,  
Но даже изменой не смыть!

Когда тебе скажут об этом,  
Заплачешь: «Трудился... служил...  
Примите, товарищи дети,  
Мои лжесвидетельства в жизнь».

Но дети не примут и в клочья  
Неправые вирши порвут.  
И, если ты глуп, — захохочут,  
И, если умен, — проклянут...

*29 октября 1961 г.*

---

# ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

---

## МЕЛОДИЯ

Желанна или нежеланна,  
Но ты, презрев дневной галдеж,  
Как дождь, возникнешь из тумана  
И захлестнешь меня, как дождь.

Как огонек безлюдной степи,  
Меня, обманная, маня,  
Ты возведешь в иную степень  
Немузыкального, меня.

Меня мелодия завертит,  
Как ветер — горсточку золы.  
Я буду в этой песне ветра  
Песчинкой, поднятой с земли.

Лечу! И значит: вон из кожи!  
Вон из себя! Из пустяков.  
Из давних, на стихи похожих,  
И все же — якобы стихов.

И мне, песчинке безывестной,  
Звенеть, как струнам камыша.  
И в этом созиданье песен  
Мне будут все и вся мешать.

Мешать приток чужих эмоций  
И громкий чужеродный залп,  
И даже этот милый Моцарт,  
Что слишком вхож в концертный зал.

Я буду верен новой вере,  
Я буду все ломать, менять...  
И вдруг пойму, что я — Сальери,  
Что ты уходишь от меня...

*28 июля 1961 г.*

## ПЕГМАТИТ

Этот камень — словно камень пробный.  
Ты не знаешь, прочный он, непрочный,  
Ты его не видел, не видал,  
Ты в его узоры не вплетал

Свой узор — автограф очевидца...  
Но опять бессонной, долгой ночью  
Ты прочел, прочувствовал воочью  
Эти буквы, строгие, как лица.

Ты прочел? И понял? Не пора ли  
Кончить затянувшийся привал?  
Ты по камню, как по книге Брайля,  
Пальцами незрячими провел.

Ты пришел, усталый, мокрый, грязный,  
И тебе — паломнику времен,  
Вдруг открылась правда тех, безгласных,  
Гласных, как история, письмен...

Ты прочел? И понял? Не пора ли  
Кончить затянувшийся привал?  
Ты по камню, как по книге Брайля,  
Пальцами прозревшими провел...

Лживые, красивые, как боги,  
Письмена (а, может, древний стих?)...  
Так шагай по шпатовой дороге!  
Ты же сам хотел по ней брести.

Буквы собираются, как в танец,  
Как в молитву, — в заунывность слов.  
В небо, полосатое, как талес,  
Прячет камень старческую плоть.

Ты пойдешь по ровню, по равнине,  
Где-то от сегодня в стороне,  
Нудной, словно проповедь раввина,  
Долгою дорогой к старине.

А когда почувствуешь усталость —  
Набирай дыханье — и лети!  
Будет не привалом, а штурвалом  
Мудрый и ворчливый пегматит.

Нет. Не будет. Ты не легковерен.  
Будет сон. И, может быть, сквозь стон  
Ты увидишь гибель Маккавеев<sup>21</sup>  
В гибели обветренных писем.

28 июля 1961 г.

## ЗАРУБАБЕЛЬ<sup>22</sup>

*Не обижайте пришельцев, ибо сами  
вы были пришельцами на земле  
Египетской.*

*(Библия. Исход).*

Пришельцы на земле Египетской  
и из земли чужан ушельцы!  
Куда ведут вас? К счастью? К гибели?  
На пьедестал? На дно ущелья?

Нет. Властвуя, как над рабами,  
и указав: безработство — цель,  
им все поведал Зарубабель  
на арамейском языке.

...Идут в нестрой печальных, сонных,  
идут в молитвенной тоске,  
и их подошвы топчут солнце  
и тени сонмищ на песке.

Идут, в разноязычной речи  
свои молитвы утопив.  
Дойдут и опояшут реки  
продольным поясом толпы.

А чтоб дошли и не упали,  
чтоб шли скитальцы ночь и день,  
ты лги, ты лги им, Зарубабель,  
про Палестину, про Эдем.

Пускай их движет наважденье,  
пусть наводнят они пески, —  
ты только право на вожденье,  
как груз, до времени не скинь.

А доползут, дойдут, долежут  
и превратят Эдем в прилавок, —  
ты сгинь: ты стал им бесполезным:  
уставами жреческими Эзры<sup>23</sup>  
им Ягве<sup>24</sup> даст на подлость право.

Вчера рабы, забыв обеты,  
теперь возьмут себе рабов.  
И плач пришельцев безответных  
вплетется в их фольклорный рев.

Живя с приплодом и рабами,  
откроет вещей фарисей,  
что вел не ты их, Зарубабель,  
а Бог. И с Богом — Моисей.

Тебя в степи в победном гаме<sup>\*25</sup>  
швырнут на землю — в грязь и пыль  
и там казнят тебя камнями  
слепой и взмыленной толпы.

Толпа! Ты будешь за камень,\*  
за оскверненный Ханаан  
пришельцем горьким в поколениях  
в земле неласковых чужан.

*28 июля 1961 г.*

## Ш О Л О М - А Л Е Й Х Е М У<sup>26</sup>

За дощатой, почти не стенкою,  
Не из жалости — просто так,  
Вдруг заплакала скрипка Стэмпеню<sup>27</sup>,  
Первозданная простота.

И, прикованы горькой песнею,  
Словно рэбий услышав цик,  
Перестали потрясывать пейсами  
Синагогии мудрецы.

И как будто снова побила их\*  
Черносотья нагайка-нить,  
Замолчали пророки в библиях,  
И бунтарный умолк Маймонид.

Пела скрипка, как динго на севере,\*  
Как на юге седая лань,  
Что на свете самое скверное —  
Это проданный талант.

Пела скрипка давно забытое,  
Пела горькое: оглянись,  
Не задавлены ль сытым бытом  
Первочувство и первомысль?

Пела долго, пророча кару,  
Канифоля смычок сутулый.  
А потом накрылась футляром  
И уснула...

И надолго замолкли жалобы,  
И пророчества замолкли...  
Только дождик стучал по желобу,  
И случайные люди мокли.

И, обрадованные, завыли  
Те, кто сыты и знамениты.  
И опять гундосили библии,  
Заглушая хрип Маймонида...

*Весна 1959 г.*

## И У Д И Ф Ъ<sup>28</sup>

Изменами измены породив,  
Плывут века...

Но что — Азефы? Хуже  
И памятной: донос жены на мужа,  
Поклёп сестры на брата,  
Жесткий гриф  
Бездумной лжи, тупого простодушья...  
...А ты у колыбели их, Юдифь!

Ну что же ты наделала, Юдифь!  
Земля и небо, лебеди и гуси  
Поют один, назойливый и грустный,  
Не ждущий продолжения мотив:  
«Зачем ты это сделала, Юдифь?»

Зачем ты это сделала, Юдифь?  
Из злобы? Из коварства? Для идеи?  
Или для счастья робких иудеев,  
Которые ликуют, не простив  
Тебе своей трусливости, Юдифь?

Зачем ты это сделала, Юдифь?  
Чтобы оставить борозду в преданьях?  
Иль чтобы стать праматерью предательств,  
Воительную кровью напоив  
Свою гордыню бабью, Иудифь?\*

Зачем ты это сделала, Юдифь?  
Ведь если ты оглянешься, наверно,  
Увидишь, как по трупам Олофернов  
Толпа уродиц жадно лезет в миф...  
А ты была — красавицей, Юдифь!..

Зачем ты это сделала, Юдифь?  
На мрачный подвиг от доуки зарясь?  
А может, восхищение и зависть  
В нас, не способных к подвигам, вселив,  
Ты нас звала к оружию, Юдифь?

Но мы не можем. Мы больны...

*30 марта 1963 г.*

## ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Был Крушеван<sup>29</sup>. И нету Крушевана.  
Он может снова быть или не быть,  
как могут вечно жить и — долго жить  
пруты дерев под вязью, кружевами  
снегов. Снегов...

Был, как команда, весок  
и был идейно объясним погром.  
С оглядкою — молитвенный, еврейский  
картавый ветер пробирался в дом,

и заклинал молитвенным наветом,  
и клял словами осторожных злоб...  
А Крушеван был твердый юдофоб,  
издателем и чуточку — поэтом.

И в дни погрома Каллиопы дух  
так прихотливо изменяет лица,  
что видел он не как летает пух —  
как оживают сказочные птицы.

В такие дни смещаются углы  
обычных зрений. И в кромешной пыли  
не полосы матрацные плыли  
— плыли подобья вымерших рептилий.

Он разглядел (так оживляют снег,  
так в миф преображают жалкий иней),  
что радуга купается в пенсне,  
как солнца луч в пролитом керосине.

В клоповнике узрел он: горячась,  
пьют кровь жиды, в крови ж купая пейсы...  
...Дано немало видеть песнопевцу  
в такой, свободный от погрома, час...

Еврейский ветер, нагнетая жуть,  
пел: «Жили-были в гоевой Расее,  
а нынче не бытуют, не живут  
Арон с Рахиль и Сурка с Моисеем».

Он раскачал в молитве облака,  
он жалобой терзал чужие дали  
и трепетной рукой их облекал  
в невидимый и правоверный талес.

Он истерзал и эту даль, и дол,  
и все вокруг своим картавым гудом.  
Он возвеличил скорбную юдоль  
и до времен иных оставил удаль.

Он вел подсчет скорбей, утрат и ран.  
Он счет сводил и с будущим, и с прошлым...  
...Но нищего жалеют не за рвань:  
за то, что он не борется, а просит.

Еврейский ветер звал потоки бед  
на головы неверных, славил бога;  
и в исступленьи  
позабыл пропеть  
что жили-были Гоги и Магоги<sup>30</sup>...

*1 июня 1963 г.*

---

# ПОЭМЫ

---

## ЗИМАНИАНА<sup>31</sup>

**Зиман<sup>32</sup>. Вечер.**

(ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА)

**ТРАГИПОЭМА**

### ПРОЛОГ (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

*П. Когоуту*

Газ шипел. И уходил в окошко.  
Прямо к солнцу. Как бумажный змей.  
Он лежал, взъерошенный немножко,  
Он лежал и размышлял о ней.

Галя, Галя! Помнишь черных окон  
Жалкий и трагический пасьянс.  
Я тебя когда-то брал под локоть  
И водил куда-то на сеанс.

Смерть меня ведет теперь по кручам  
В мой последний, жалкий бивуак!  
Что ж, прощай! Я Гамлет и Петруччо.  
Я и Дос Пассос и Мориак!<sup>33</sup>

#### **ЧЕЛОВЕК В МАНТИИ:**

Что это, Леня?! Поблекли десны,  
Вытянут в рельсы красивый рот!  
Ты думаешь, ты поступаешь честно,  
Но ты поступаешь наоборот...

**ЗИМАН (неистово шепчет):**

Помнишь, ты стояла, как актриса,  
Спрятанная вся в мадеполам!  
Но судьба прошла, как биссектриса,  
Разделив любовь напополам.

Ах, зачем же верил я,  
Сердцу вопреки,  
Что мы с тобой два берега  
У одной реки (умирает).

**ЧЕЛОВЕК В МАНТИИ:**

Зиман!.. Не внемлет... Леня!..  
Устало  
Губы поникли... На них печаль...

(строго)

Я обвиняю Царапкину Галю,  
Всех существующих в мире Галь.  
Вы погубили лоб этот чистый,  
Светлые кудри на этих плечах!  
Я обвиняю вас, методисты!  
Вас, режиссеры! Вас, завуча!

(Человек в мантии снимает мантию, и тогда оказывается, что он не человек в мантии, а обыкновенный человек без мантии)

На столе — безмолвных слез окрошка  
И печаль без шуток и затей.  
Газ шипел и уходил в окошко,  
Прямо к солнцу, как бумажный змей.  
Плакали навзрыд и взапуск реки,  
Водокачка стонет, как вдова,  
И звучат печальные слова,  
Горестней, чем реквием.  
Горестью вселенскою задеты,  
Толпы шли степями и болотами...  
Стариками рассерьезничались дети,  
И, как дети, плакали седобородые.

## 1. НАЧАЛО

Была зима. И утреннюю зорьку  
Укутал серый — в бородавках — снег.  
Как Станиславский, пристально и зорко  
Сова на жизнь смотрела сквозь пенсне.  
В оранжереях расцвели розы,  
И аромат их Ангелом витал.  
Но пьес своих еще не ставил Розов,<sup>34</sup>  
И Леня их, конечно, не видал.  
В глухом лесу своим ритмичным тактом  
Стучался дятел в древесинный свод,  
И выпускал Челябинский завод  
Две тыщи триста сорок третий трактор.  
Седой араб склонялся над Кораном,  
На юге подстригался виноград,  
И для крестьян надежные орала  
Сознательный ковал пролетарьят.  
И, как всегда, интимно пели жабы.  
А так как в небе не летали ТУ,  
Похожие на Леню дирижабли  
Упрямо набирали высоту.  
В Большом театре, там, на «Красном маке»,  
Кричал колхозник: «Мишка, в партер слазь!»

И вдруг, как папиросная бумага,  
Вселенная от крика потряслась.  
Не знали люди, стирая руки  
И выбиваясь из последних сил,  
Что Леня Зиман, стройный и упругий,  
Свое явленье криком огласил.

## 2. СЕРЕДИНА

1. Он придет к тебе, девочка,  
В медальонах дождинок.  
Никуда ты не денешься  
От горячечных фраз.  
Он придет к тебе вечером.

Миллионы слезинок  
Затаит эта вежливость,  
Маскируя экстаз.

Ты почувствуешь ласково  
Мир окрасится красками  
Тициана<sup>35</sup>, Веласкеса<sup>36</sup>,  
Пикассо<sup>37</sup> и Моне<sup>38</sup>,  
Пукирева<sup>39</sup> и Стасова<sup>40</sup>,  
Васнецова<sup>41</sup>, Саврасова<sup>42</sup>.  
Будет горю подпорою  
Автомат без монет.

Он приедет на «Волге»,  
Он приедет на «Зиме».  
Это будет недолго  
И прочней, чем Тибет.  
Будут склоны и клены.  
Будут звать его — Зиман.  
Будут звать его — Леня.  
Он приедет к тебе.

2. Елки-палки! Феньки-пеньки!  
Что мне Ваньки! Что мне Веньки!  
Пионерские ступеньки —  
Это, братцы, вам не веники.

Что мне сказки? Жалкий лепет  
Хочешь верь, а хошь — не верь.  
Леня ходит, словно лебедь,  
По ступенькам вниз и вверх.  
Эти щеки — что сметана,  
Эти брови вперелет.  
То глядит, как Несмеяна,  
То совсем наоборот.  
Но вдали, в дворцах из яшмы,  
Обнажая страшный лик,  
Назревал седой и страшный,  
Непочтительный конфликт.

3. Автобус мчал по линии  
прямой,  
Он мял в лугах полевых  
цветы.  
Автобус мчался с песнями  
домой.  
За ним бежали бесами  
коты.  
Автобус мчал к Колонному,  
и два часа  
Стоит в проходе девочка,  
а Ленечка сидит.  
Сидит и в ус не дуёт  
два часа,  
И девочка думает:  
неужели он не уступит мне место?  
<...>

Но Леня сидит, не беспокоясь,  
Что девочке негде присесть.

#### **ЧЕЛОВЕК В МАНТИИ:**

Где твоя пионерская совесть?

#### **ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:**

Где твоя пионерская честь?  
<...>

### **3. КОНЕЦ**

1. Что ты, Леня! Выпьем с горя кружку!  
Ты сегодня очень много пил.  
Кто, скажи, взманил тебя в избушку  
Под названьем гордым — МеГеПи.

Был ты стройным, стал сейчас сутулым.  
Был ты красным — стал, как майка, бел.  
Ты сегодня уплываешь в Тулу,  
Поплывешь по морю школьных дел.

Что мне запись в судовом журнале!  
Мне милее Лёнины глаза.  
По его безмолвному сигналу  
Бригантина вскинет паруса.  
Будут споры, сборы (но не хлопка —  
сборы и про это, и про то).  
И уйдет рассерженный Охлопков<sup>43</sup>  
Первой машинисткой ВТО.

Напрягай же мускулы и губы,  
Сил своих в боренье не жалеи!  
Он тебя из зависти погубит:  
Ты велик, как Кин, а он — пигмей.

2. С утра болела голова,  
И я ушел туда, на лоно,  
И мне казалось, что трава  
Мне шепчет слышные едва  
Простые русские слова:  
Здесь жил когда-то Зиман Лёня.

## ЭПИЛОГ (ВМЕСТО ПРОЛОГА)

### **МЕКСИКАНЕЦ:**

Санхуро овехунес. Пуэблос мурос вива Зиманос.

### **ФРАНЦУЗ:**

Ле дюшен продюсьен дю музиль ля коньи де Зимен.

### **НЕМЕЦ:**

Гербрайхте либер Зименшаффе цурюк.

### **КИТАЕЦ:**

Ци на пень зи-мань

*март 1961–февраль 1962.*

## БЕССОННИЦА

*Но, к несчастью, не всякому спится.  
(Некрасов)*

### 1

Чьи-то хриплые сны  
В одеялах лоскутных...

Я — опять круглосуточный,  
Как вокзал, как часы,

Как часы, как пила:  
Равномерно шагаю.  
И собаки — как я: не кусают,  
Но — лают...

Лают... Есть у бессонниц  
Записной узелок,  
Заставляющий вспомнить  
Каждый грех под залог.

Под залог — под неблизкий  
День расплат; под залог  
Дня стыда. И расписка:  
Имярек. Узелок.

Узелок — словно токи:  
К столбняку через дрожь...  
...Это время итожить  
Даже малую ложь.

Ложь безделия, ворох  
Скорописных филиппик...

2

Ты не вовремя, возраст непощенья ошибок.  
Мне б, как кадрам, меняться. И грешить. И — засим,  
Как тогда, умиляться строготе епитимий.

Мне б умиленной грусти. Или гордости бра́жной:  
Что, не названный груздем, в кузов лез я отважно.

...В керосине и спирте «эта ночь». И, конечно,  
«Этой ночью» не спится нездешней, негрешной.  
Все расплылось, распалось. Стало ясным признание,  
Что грехи — это пакость под чужие закланья.

3

Поручите заборам  
Заботу о вашей сохранности!  
Поручите собакам  
Охрану золотых и молочных телец.  
Понесите сквозь лес  
Теплоту ваших сонных телес.  
Мы пойдём... Не пойдём!  
Вы, конечно, так рано не встанете.  
Свет в случайном окне —  
Как в стекле закопченном фитиль.  
Мы пойдём до созвездий,  
Сокрестий могил поименных  
Собирать материал для элегий.  
Не выйdet с элегией: в пыль,  
В равнодушную пыль  
Превратятся слова непреклонно.

Буду клясть себя. Буду  
Виниться в пороках себе.  
А потом оправдаюсь,  
Как водится, — складно и ладно.  
Невозможно ж: в одном  
Два миллиарда обид и скорбей.

Я не плакальщик: нету  
Во мне этих двух миллиардов.  
Есть иные могилы...

Я в плену этих тем.  
Я толку свою ступу...

#### 4

*Придут замученные ими.  
А. Блок.*

Эти темы — как тень:  
Неотступны...

Если поднялись бы, если бы встали,  
Если б открыли, как люки, могилы,  
Мы предъявили бы веское алиби:  
Малы мы были, и глупы мы были.

Нет, а мы и в самом деле были тогда ребятами,  
Октябрятами. Очень забавно и трогательно.

Если б открылись могилы, как люки,  
Если бы встали и вышли воскресшие,  
Если бы эти воскресшие люди  
Нас по-отцовски спокойно утешили, —

«Ладно, — сказали бы они нам, —  
вы тогда были ребятами,  
Октябрятами. Вы не очень виноваты...»

Веское алиби мы предъявили бы,  
Твердо сказали бы, глядя в глаза им:  
Это — вы сами царей сотворили,  
Сами и пали от рук помазанников.

Все эти здравицы и славицы мы пели из пятых уст,  
А первыми устами были ваши...

Глупы мы были, и были мы малы —  
Вот оно, алиби, самое веское:  
Мы не в ответе за папу и маму.  
Мертвые ж сраму... Ну, это известно.

Значит, заметано! Никто не в ответе.

Если бы вышли воскресшие, встали,  
Если б спокойно пришли к нам сегодня,  
Мы не подумали и не сказали бы —  
Мы бы склонились в поклоне сыновнем.

Если б открылись, как люки, могилы!

## 5

*Уведи меня в стан погибающих.  
Некрасов*

Давай постараемся разобраться.  
Конечно, это не так просто,  
но все-таки — постараемся разобраться.

Я понимаю, что выглядит поздним  
это ненужное откровенье,  
что неизбежны и жесты, и поза,

жесты и поза, как в стихотворенье,  
в каждом таком разговоре под случай,  
жесты и поза — в таком откровенье.

Вот что меня беспокоит и мучит:  
кем бы хотел я быть — евреем или немцем  
в самом начале минувших мужеств?

Конечно, не немцем, когда конец им  
был неизбежен. Когда влезали  
они в могилы, — конечно, не немцем!

Но кем бы хотел я быть в начале,  
когда и жертвенность, и геройство  
были позором, болью, печалью?!

Вот моя мука. Мое — беспокойство.  
Я буду цифирным и точным статистиком.  
Сейчас в Германии в семь тысяч раз больше,  
чем в годы фашизма, антифашистов.

И, как любят писать у нас, в маленькой Польше  
сейчас по сравнению с сорок четвертым  
коммунистов в семь тысяч раз больше.

.....  
.....

Так и живем. И небесную манну  
сыплют нам тучи. На крайний случай —  
мы — недородки и жертвы обмана,

жертвы почившей в бозе тучи.  
...Память чужая штампует, как график,  
круглые рамки затянутых туго

петель. И в черном овале — багровы  
лики щербатых печей-людоедов.  
Это не нам. У нас — нет биографий.

Перечень вздорных шлепков и пощечин,  
мелкие сдвиги, неровности судеб —  
все это стало дорогой к почету,

к тихим, до грамма развешенным суткам.  
К праву кого-то порочить и к праву  
быть непорочным и быть неподсудным,

к праву на праведность, к праву на праздность,  
праву не кланяться — лишь поклоняться  
для соблюдения неписаных правил...

Чувствуешь привкус дурных декламаций  
наших с тобою обид — на не вышло?  
Чувствуешь привкус дурных деклараций?

Знает всенижний и знает всевышний  
сколько рисовки (как роль — а не клеится!)  
в этих обидах на мог, да не вышло.

Время придет, и все это изменится  
(что-то когда-то должно измениться!),  
и соберутся мои современники,

третье лица, но все-таки лица,  
и задымится беседа родителей  
умная, чуткая. В ней прояснится

то, что они это раньше предвидели:  
смену эпох, тра-та-та поколений,  
то, что они не щадили, как рыцари,

силы свои для подобных свершений  
(«Помните: я!», «Помнишь же: я»,  
«Вот и дошли, так сказать, до вершины»...).

Я появляюсь, сигарету жуя.  
Мое появление будет явлением:  
явление сто третье. Те же — и я...

## 6

Дорогой мокрой и косою  
пройди к себе, минуя бор.  
Не спит соседний двор. Как совесть,  
как съемки ночью — этот двор.

...Там в потайной траве осталось  
желанье взвиться и лететь.  
Полет и легкая усталость —  
как паутина на лице.

А здесь — заземлена по нотам  
Варфоломеевская ночь.  
И режет кур, как гугенотов,  
и точит правоверный нож,

И петли вяжет под покровом  
ночей хозяйственных — один  
созревший с детства для погромов  
историк, истый семьянин.

Их нет, ночей заспинной пики.  
Но, притаившийся, как шпик,  
он ждет, поклонник сала (шпига)  
и не поклонник силы шпага.

Он ждет восторженно. И столько  
томленья в ожиданье дня,  
как согрешившую весталку,  
до срока в землю врыть меня.

Когда-то, глупый, неплечистый,  
да чистый — чтоб не гнуть хребет,  
себя к Истории причислил,  
потом — Историю к себе.

Защита ваша и опора,  
как вы, разноречив и крут,  
и лжив — бобы и травополье.  
Любое — культ и антикульт.

Сегодня в про, а завтра в пропос.  
Усердный, липкий, что магнит,  
он вас сведет в любую пропасть,  
толкнет — и оком не мигнет.

Пока свинью лишили грязи,  
ножа не дали палачу.  
Но режет он и мажет фразой,  
как паутиной по лицу.

Как кур, зарезать протестантов.  
Лишенный сил, он, зол и хмур,  
ночами с подлинным талантом,  
как протестантов, режет кур.

В своем бессилье неутешен,  
он прост (пока). Смотри: сейчас  
он сало жрет и водку хлещет,  
и прячет трешку — про запас.

7

Забрезжил рассвет. Так в былые века  
писали поэты. И, ветки сугуля,  
на соснах всей тушей висят облака.  
Стыдливо. Как нижние юбки — на стуле.

И разве увидишь пророчество бед  
в том факте, что небо — как ситец, пестрится,  
что север стерильно и влюбчиво бел,  
а запад наряжен в лубочные ситцы,

что воздух склоняет (но поздно!) на сон,  
что ветер опять неуютен и колок,  
что крыши горят, и что я отчужден  
от этих взаправду картинных буколик.

И вот сквозь неясность, сквозь белиберду  
приходит некстати ненужная ясность,  
чтоб снова уплыть. Как, простите, во рту  
сейчас уплывут деревенские яства.

Я вновь в ореоле следящих колец  
табачного дыма. Я жду лишь сигнала,  
чтоб выйти один на один — без коллег  
под теплые взгляды юнцов небывалых.

Мне надо, чтоб голос просил и проник,  
чтоб сделан был выбор: корыто иль качка?  
Пусть мне неизвестно, что лучше для них,  
но надо мне верить. На слово. Пока что.

Пусть мне неизвестно искомое зло,  
но я разузнаю — скажу без обмана.  
(Когда не хватает нам трепетных слов,  
бестрепетных много, как в мнимых романах).

А эти слова — на зарплату права.  
За дверью сидят терпеливые дети.  
Я дверь распахну. И повиснут слова.  
Бесстыдно. Как нижние юбки при свете.

*25–26 сентября 1962 г.  
Зеленая Роща.*

## **КНИГА ИОВА**

### **ПОСВЯЩЕНИЕ**

Мне б знать, что что-то, но умею!  
Но вот беда: не обессудь —  
С годами все острее не смею  
Считать искомое за суть.

Мне б знать, что мне доступна малость.  
Но вот беда — насмешник-крест,  
Боязнь моя: к разряду «смелость»  
Попытку смелости причесть.

Так уж весомо, так уж надо,  
Так уж предписано — твердить:  
«Не ошибиться бы разрядом...»,  
«Не обмануться б...», «Не схитрить...».

И не постыдное ль стремленье  
Считать искомое за суть  
В моем заветном убежденьи,  
Что обмануться — обмануть?

Ты скажешь с привлечением хроник  
Моих проступков, как пророк,  
Что я — и не такой уж скромник,  
Что оговорки — тоже роль.

В твоём реестре, в точном тексте,  
Безоговорочном, как страж,  
Все будет правдой — правдой тех, кто  
В моих писаньях видит блажь.

Все будет правдой — не подспорьем —  
Тех, кто не верит, как ни брось,  
Что я пишу — как с вами спорю:  
Косноязычно, на авось.

Ну что ж, твоих реестров точность,  
Твой хроникерски строгий пыл  
Поможет мне по мере сил  
Бежать от ложных многоточий...

Поверь, не с жаждой причаститься  
К судьбе чужой пушусь я вдаль.  
Поэма, — если состоится, —  
Моя поэма. А твоя ль —  
Не мне судить.

### ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ ЗАМЫСЕЛ

*«Ведь не с любым и каждым  
может случиться история...».*

*Т. Манн<sup>44</sup>.*

Был год. Был подлый жесткий год  
Сплошных: «А помнишь?»,  
Год — забот  
Ненужных, жалких, как гостинцы.  
Год не невзгод — когда б невзгод!  
Год ощущенья: загостился...

Был год! Не год — а тень,  
Намек на беды. Ели, пили  
И пели, плакали — затем,  
Чтоб после вспомнить: жили-были

Когда-то, в подлый жесткий год,  
Год — пересмешник, пересменок,  
Год соучастия в изменах, —  
А не невзгод — когда б невзгод!

Какой был год! Год не у дел,  
Но год усталости обманной,  
Он притворялся меломаном,  
А музыки он не терпел.

Он, как прислужник, спину гнул.  
Он щелкал пробками, как плетью.  
Когда б не воробьи и дети,  
Он все б на свете зачеркнул...

Какой сырой простудный год!  
Как было мизерно и худо!  
Год жил не ожиданьем чуда  
И не невзгод — когда б невзгод!

Год был обманчивым клубком.  
Он плел, мотал — и закатился.  
Он честен только был в одном:  
В злорадном факте: загостился.

Он даже шел на срыв, на слом,  
Но это было той же ложью,  
Как смелость тени под подошвой,  
Как стойкость радуг — под веслом...

Год был сродни реке:  
Мутил — не строил и не рушил.  
Он мне нашептывал, что дружбы  
Куда как лучше — вдалеке.

Год был сродни реке: он плыл,  
Мутя.

Он полз улиткой,  
И на обидках, на завидках  
Меня торжественно ловил.

Он воздвигал глухой забор  
И за забором без притворства  
Подчеркивал мое сиротство  
На людях и с самим собой.

Год был сродни реке, и плыть  
Мне, утлой щепке, не мешая,  
Он заставлял, печаль смещая,  
Меня юродствовать, смешить.

Какой был скверный жесткий год!  
Как он мельчил мои усилья!  
Он доказал, что жили, были,  
Гостили в глупостях забот,

А не невзгод — когда б невзгод! —  
И загостились...

### ИЗ ИСПОВЕДИ ИОВА

Сейчас, отбив известный срок,  
Я объявил  
(Как можно громче!), что не Бог,  
А Сатана во всем виновен.

Меж тем, что есть и было, — прочно  
Сейчас воздвигнута стена.  
Я возгласил, что Сатана —  
Совсем не факт, что Бог — порочный.

Я жил и был, не заслужив  
Ни ада своего, ни рая.  
И что такое правда лжи,  
Я, по несчастью, понимаю:

Несчастный опыт мой — правда,  
Вывод из него — ложь.

Я жил и был, не заслужив  
Ни рая своего, ни ада.  
Я вправду — был, я вправду — жил,  
И тайна горьких результатов  
Есть таинство той правды лжи.

Горькое мое прозренье — правда,  
Тайна, в которой я замуровал его, — ложь...

## ЕЩЕ ОДНО ПОСВЯЩЕНИЕ

*П. Якиру.*

У непридуманной беды  
Есть все права — до слова злого,  
До права учинять суды.  
Прости — не мне судить Иова.

Совсем несложно объявить,  
Увидев что-то с полприщура:  
Страданья — та же синекура,  
Точнее, право ею жить.

Ты вправе ль, гордый человек,  
Иметь хоть малое суждение,  
Когда от боли, униженья  
Стенал\* не ты, а имярек?

Ну, скажем так: не улеглось  
Сознание страшного несчастья,  
В котором жертва — соучастник.  
Все так, все правильно. Но злость —  
Не правдолюбец и не пастырь.

Ты вправе ль, зависть затая,  
Искать улики для прошедших  
Сквозь муки и покой обретших,  
Вернувшись на круги своя?

Есть точность фактов бытия.  
Есть факт беды. Факт крика. Крови.  
А что да как — судить Иову,  
А я Иову — не судья...

Ложь — роль правоверного простака,  
вышедшего из горнила страдания, и так  
далее, и так далее, очищенным и  
укрепившимся духом, и так далее, и так далее...

Средь пашен тучных и лугов,  
Среди коров и тучных пашен,  
Жил я, Иов, был я, Иов,  
Как Кочубей, богат и знатен.<sup>45</sup>

А тот, кто знатен и богат,  
К тому ж живет с эпохой в ногу,  
Тот, слава Богу, славит Бога,  
А потому богат стократ.

Ложь — цель моей жизни: не извинить, не оправдать,  
а доказать якобы величие Иовов, сделавших своими  
руками все для того, чтобы их судьба была возможна!

Несчастный опыт мой — правда.  
Ссылка на него — ложь.

Что вы можете противопоставить моему несчастному  
опыту? Слова? Точки зрения?  
Я, Иов, а не вы, имярек, перенесли невыносимые  
страдания, и так далее, и вот я вышел из них. И дух  
мой укрепился, и так далее. И я говорю: во всем  
случившемся виноват не Бог, не идея Бога...

## ПОЗДНЕЕ КРЕДО ИОВА

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,  
Издерганный, юродивый, убогий.  
Не дай вам Бог — любить такого Бога  
И быть, как Он, — не приведи вас Бог.

Я, верно, Бог. Порочный, жалкий Бог.  
Но если я и вправду Лик Пречистый —  
Так дай вам Бог быть мирным атеистом,  
А Богом быть — не приведи вас Бог...

Я, точно, — Бог. Бессильный в толчее.  
По логике смещения четких граней  
Музеи нынче обитают в храме,  
А боги обитают в толчее.

Прости меня за манию величья,  
Но божьего величья нет в судьбе  
Карать себя и отпускать себе  
Грехи — прости за манию величья.

Но божьего величия — карать —  
Не пожелаю ближнему: не смею  
Желать ему таких шахсей-вахсеев.  
Не дай вам Бог — как Бог, себя карать.

Не дай вам — отпущения грехов, \*  
Не дай вам — непощенья опасаться.  
Не дай вам Бог — до Бога опускаться:  
До отпущенья собственных грехов.

Я — только я. Бог — это только Бог:  
Гордыня непомерная и горесть.  
Не дай вам — уповать на божью совесть  
И жить ей вопреки. Не приведи вас Бог! \*

## Я, СЛАВА БОГУ, СЛАВИЛ БОГА!

*«В земле Уц жил Иов, человек богобоязненный,  
непорочный, справедливый, который  
удалялся от зла...»*

Перед тем, как случиться горю,  
Горе было — да не про нас.  
Было Кредо, и было Глория  
Нараспашку и напоказ.

Было Кредо, как свыше велено,  
От признанья, что должно быть,  
Потому что, как с верой — с «Верую!»  
Как-то\* легче и честно жить.

Было Кредо. До самой малости.  
До распетых без фальши строк.  
Ибо: как же без божьей милости,  
Если Бог вдруг и вправду\* — Бог.

Было Кредо. Но — светлое. Чистое.  
(Если верю\* — так в этот свет),  
Потому что еще не замыслили:  
«Славлю Бога, но Бога нет...»

Было Кредо. И было Глория.  
С умиленностью на лету.  
Унижение паче гордости,  
К счастью, гордость не на виду.

Было «Славься». Всечасно, пагубно,  
В назидание лже-Фомам  
Разливался медовый — якобы  
Безсеребрёный фимиам.

Было «Верую!». Было «Славься!».  
До распетых без фальши слов.  
Ибо: как же без божьей святости,  
Если Бог — в самом деле\* Бог?!

Мы прошли через ложь и обыденность  
С невозможностью скрыть, но скрыв,  
Что в размеренных наших гимнах  
Что ни нота — то апокриф.\*

Боль тяжка. Но когда камня —  
Подаяния щедрых рук,  
Здесь — расплата. Не за сомненья —  
За сомненья без должных мук.

### МОЯ ИСПОВЕДЬ\*

Есть честный страх: в текучке лживой  
В такой-то месяц, час, число  
Вдруг променять на живость слов  
Живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,  
Лихим в литье аллитераций,  
Куда как проще, чем пробраться,  
К людскому лиху, чем отдаться,  
Чем сжить себя в людской беде.

Уходит доброта — куда?  
Куда впадает? В злую скуку?  
В немилость? В острословье? В скудость\*  
На милость? В щедрость на удар?  
Куда уходит доброта?

Чужое просто сокрушить: \*  
Легки чужие крах и сломы... \*  
Как мало смысла — много злобы  
На нашу маленькую жизнь!

Так ль слово «жалость» — скверный тон?  
Так ль уж постыдно слово «милость»? \*  
Вы их превыше, ваша милость? \*  
Я — ниже.\* И стою на том.\*

Еще и то: сознание — суд.  
Суд над собой. В самосудействе  
Ни каламбур, ни лицедейство  
От «есть ли в поле?» не спасут.

Необязательность изъятий  
Есть смена лжи и почестей.  
Вот вам пример: с изъятьем ятей  
Слова не сделались честней.

И с разрушением\* слов и чисел  
Не рушились свои мостки.\*  
И ложь, что смелые мазки,  
Есть чистота и смелость мысли!

Слова! Слова!.. Весь этот хлам —  
Не соучастье ль, друг Гораций,  
В постыдной смене докораций  
И париков — без смены драм?

Есть страх из страхов: не прилгнуть,  
Не слицедействовать б! Известно ж,  
Как лёгок до Голгофы путь,  
Когда уверен, что воскреснешь.

Да не простятся никому,  
Иль мне хотя бы не простятся  
Соблазн сезонного страдальца,  
Соблазн героя на миру!

Есть просто — не сложилась жизнь.  
А есть — о жизненном пространстве.  
Есть сказ — о лжи и постоянстве.  
А здесь — о постоянстве лжи.

— Поймешь ли? — Понял. И тогда  
Пойду и к финишу — не к цели,  
Приду, заброшенный, как церкви.  
Не загостился ль? Вот беда —  
Не загостился ль?..

### КОСНОЯЗЫЧНЫЙ СОНЕТ\*

Х: Что — хороши Ока и Енисей?

У: Что хороши?! Добрее не бывает!  
Так много солнца — честно забываешь,  
Что где-то есть дурак и фарисей...

Х: Опять свое!

Да будь чуть-чуть рекой!  
Хоть малость — беззаботными стеблями  
Или ночными желтыми столбами  
Плыви, покуда плаваешь, с Окой!

Да будь своим церквушке, белке, елям,  
Сродни кострам, погостам, турвеселью:  
Прекрасное есть отчужденье бед.

У: Но это созерцательное счастье  
Не разновидность ль тоже соучастья  
В предательстве вчерашнему себе?..

### ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ СВЯТОГО ИСКУССТВА

*«Мой друг рисует горы...».*  
*Ада Якушева.*

А у стеблей, простертых ниц,  
В подыгранной печали  
О лесах,  
Средь ахов по степям  
Вы не встречали бледных лиц,  
И ломких рук вы не встречали,  
Распятых на крестах оконных рам?

Как это трогательно и как здорово:  
Покосившийся домик, речка, леса!  
Как это трогательно и как здорово:  
Колодец, лунный свет.

Но, посещая с гордостью подпольный вернисаж,  
Вы думали о горестях живых пиет?  
Когда крушили косность и смело грызли кости  
каких-то косных, —  
Хоть мимоходом — думали? Хотя бы малость  
думали?

Или в туристской дурости  
Погрязли до жестокости?

Когда-нибудь Манька и Ванька придут и скажут:  
«Не треба!

На кой нам!..»

А пока по крестам оконным  
Ползет благолепное небо,  
А небо навозит корова  
(Как трогательно! Как здорово!)  
И в небе купаются боровы  
(Тоже трогательно! Здорово!)

И в сознании, что это здорово,  
В поисках формы, смелой и редкой,  
Мой друг рисует горы,  
Похожие на редьку.

И все говорят: «О-очень! Вещь!»

А Манька доит корову  
(Как трогательно! Как здорово!)  
И рядом с коровьей сиской  
Похожа на одалиску...

Или на обелиски...

Или на черт знает что еще...

А Ванька прирезал борова  
(Как трогательно! Как здорово!)  
И в обрамлении сала и кала  
Сейчас он похож на картину Шагала<sup>46</sup>,  
Или на картину Коровина<sup>47</sup>,  
Или на картину Архипова<sup>48</sup>,  
Или на черт знает что еще!..

И в сознаньи, как это здорово,  
В поисках формы, смелой и негаданной,  
Мой друг рисует горы,  
Похожие на ягодицы,  
И все говорят: «О-очень! Вещь!»

А вещь — это Маньяка и Ванька,  
Живущие пьянкой и банькой,  
Забывшие возможность распятыя  
В заботе о новой хате,  
Несущие крест свой новый  
С наследственной будьготовностью.

И они говорят: «Не треба!»  
И они говорят: «А на кой нам?»  
И весело ржут над теми,  
Кто распят на крестах оконных.

И в сознании, что жизнь — это все-таки здорово,  
В поисках формы, народу близкой,  
Мой друг рисует горы,  
Похожие на манькины сиски,  
И свет ему очень мил!

Лиши меня краски, звука, слова,  
Лиши любого волшебства!  
Яви мне силы для иного,  
Святого: снятия с креста.

Затем я и явился в этот мир!  
А горы пусть рисует мой друг!

\* \* \*

*Господь — Сатане: «Обратил ли ты  
внимание на Иова...»*

Я знаю цену льстивых слов,  
Но я хотел бы верить в цену  
Затверженных бесстрастных слов.  
Не предавай меня, Иов!

Пусть обещание измены  
В потоке их бесстыдных слов —  
Пускай! Не мне ли знать им цену!  
Не предавай меня, Иов!

Ценой предчувствия измен  
(В их раболепности вассальной  
Всё — почва будущих измен)  
Плачу за слабость быть всесильным,  
Творить и рушить, чтоб затем  
В их раболепности вассальной  
Увидеть признаки измен —  
И всё за слабость быть всесильным!

В затверженности льстивых слов  
Всегда готовность измениться.  
Я так хотел бы обмануться  
В цене бесстыдных льстивых слов.  
Не предавай меня, Иов!  
Мне страшно знать изнанку слов.  
Мне невозможно не взмолиться:  
Не предавай меня, Иов!

Я обессилел от чудес.  
В минуты слабости всесильной  
Я, обессилев от чудес,  
Готов идти дорогой пыльной,  
Готов принять земную плоть  
И на юдоль земного люда  
Сменить бессмертие небес,  
Предать забвенью чудеса,

Забить саму возможность чуда,  
Простить, что в их потоке слов  
Не ожидание Христа,  
А ожидание Иуды.

Я отдаю возможность чуда  
За чудо — хлевное тепло,  
И право высшего суда —  
За перебранки, пересуды.

Я знаю цену льстивых слов,  
Но я б хотел презреть их цену,  
Забить бесстыдство и измену,  
Сменить на хлевное тепло,  
На перебранки, пересуды  
Бессмертье и возможность чуда.

Но, бог и раб бесстрастных слов,  
И я не вправе измениться;  
Мне остается лишь молиться:  
«Не предавай меня, Иов!»

*1964–1965 гг.*

## В О Л Х В Ы

*«Волхвы не боятся могучих владык,  
А княжеский дар им не нужен;  
Правдив и свободен их вещий язык...»  
А. Пушкин.*

*«Не снилось вашей мудрости, Гораций...»  
Шекспир.*

### I

Есть в сморщенных страницах старых книг  
Сыпучая дорога из потемков,  
Неверная, как преданность котенка,  
Непрочная, как ласковость в л а д ы к,  
И, может быть, звучит излишне громко  
П р а в д и в ы й и с в о б о д н ы й их язык,

Он, может, слишком клич и слишком крик,  
И слишком вещ — в расчете на потомков.

Но им не нужен щедрый дар в л а д ы к,  
Они честны. И обещают только  
Неверную дорогу. Из потемков.

И вечный гнев, и вечный грозный крик,  
И вечный посох, вечная котомка  
На сморщенных страницах старых книг.

### II

В больные дни распада чувств и воля,  
Когда себя теряешь без стеснения,  
Есть высшее и мудрое прозрение —  
Есть слово утешительное: волхв.

Когда в пустыне образ свой и след,  
И все, чем был, и все, чем есть, рассеешь, —  
Лишь книжники — еще не фарисеи —  
Зажгут в окошке путеводный свет.

И ты бредешь с надеждой и тоской  
На этот свет, где, с пользой или втуне,  
Но доброту и мудрость Сакья-Муни<sup>49</sup>  
Соединяют с мудростью людской.

И ты идешь на кроткий свет окон:  
Там гордый труд, там можно слиться с теми,  
Кто честно донесет на наше время:  
Все донесет до будущих времен.

И ты летишь, простив или не простив  
Своим утратам, легок и свободен,  
На этот свет: так вечна мудрость их,  
Так и х язык свободен и правдив,  
Так свет в окне их вечно путеводен.

### III

Язык псалмов, пророчеств, притчей,  
Язык мессий, язык заик!  
В радищевском косноязычьи  
Ты захлебнулся, мой язык.

Куда там — мой! Ты слишком вещей,  
Ты слишком праведен и прям,  
Язык кочевников и вечных  
Жидов, нахлебников, чужан.

Ты слишком прям и слишком чистый,  
В тебе так мало малых слов,  
Язык наитий и эпистол  
Изгоев вечных и жидов.

Ты слишком праведный и вещей  
И слишком вечный, как плита,  
Язык, в котором фетиш — ветошь,  
И краски мира — суета.

Ты слишком чистый, слишком скудный  
И слишком чужд страстей, язык  
Первосвященников и судей,  
Язык — извечный еретик.

Ты слишком скудный, слишком гневный,  
Язык — набат, язык — излом.  
Что делать рыцарю и деве  
С таким надменным языком?

Ты слишком гневный и непраздный,  
Язык камней, проклятий, бурь,  
Чужой язык богобоязни,  
Язык призывов и табу.

Ты слишком скорбен, слишком изгнан,  
Ты так недобр и слишком дар,  
Ты слишком мертв: ты слишком избран,  
Моих прапращуров словарь.

...Зачем мне не людской, не птичий  
Язык надрывного величья?  
Как знать, быть может, только в нем,  
В радищевском косноязычьи,  
Залог святой борьбы со злом.

Как знать, быть может, только в нем,  
Во всех возможных измереньях,  
Во всех лесах, во всех лугах,  
Из поколенья в поколенья  
Хранится летоисчисленье  
Святых геройств, святых лукавств!

(Льзя ль избежать соединений  
таких?)

#### IV

Неустроенно, скверно, пьяно  
Ты затеял последний причал  
К уютному слову: камень, —  
К безнадежной вечности скал.

Не историк, а соглядатай,  
Пытолюбец, а не пиит,  
Камень сфинкса и камень клятвы,  
Камень казней и камень плит.

Почему ж, безнадежно зная:  
Камнем рушат и камнем пинают, —  
Ты склонился в тоске ночей  
Перед каменностью Синая?

Потому ль, что дано нам сходство  
Только с Иродом<sup>50</sup> или с юродством,  
Только с камнем или с ничем?

Потому ль, что угрюмость скал —  
Кладовая людских исканий?..  
...Некрасивое слово: Галгал...  
Вечный камень. Бесстрастный камень.

#### V

Волхвы засмеялись и быстро пошли.  
Смеялись и шли. И покинули площадь.  
Прощайте, торжественность, подлость и пошлость!  
Смеялись и шли. Синагога вдали  
Смотрела им в спины, понурясь, как лошадь,  
Потом сиротливо исчезла в пыли.

Но солнце. Но камни. Но этот песок,  
Палящий, как ад. Безнадежность дорог.  
Но страх не вернуться.  
И таяли шутки.

Прощай, безучастная жизнь недотрог,  
Надежная участь любимых ублюдков:  
И ноги в крови, и одежда в пыли,  
И ветер, и версты, и это молчанье —  
Залог непощенья, решимость прощанья.

Волхвы замолчали. Молчали и шли.  
Молчали и шли неизвестно куда.  
Как исстари водится, солнцем палимы,  
По градам и весям плелись пилигримы.

Горела звезда, и не гасла звезда.  
Молчали. И не было бед не для них.  
И не было горя, не бывшего с ними:  
Нетрудно решиться уйти от любимой,  
Но как же уйти от занятий и книг?

Но как не бежать от занятий, когда  
Сегодня зажглась в Вифлееме звезда?!

..Учитель, в безвестности канув, как капли,  
Чем станем, учитель, мы? Посохом? Камнем?  
Дерюжным плащом? Придорожной листвой?  
Мы мирно чуждались и торжищ и капищ,  
Мы гордо хранили свое волховство —  
Так что мы оставим, в безвестности канув?  
Хоть искру? Хоть слово? И праведней ль торжищ  
Чужие смятенья, чужие восторги?

Чего мы добьемся? И чем же мы станем?  
Учитель, не будет точить нас раскаянье  
За то, что мы предали книги, за праздность  
О б ы ч н ы х невзгод, за о б ы ч н о с т ь пути?  
Учитель, нетрудно бежать от соблазнов,  
Но так же нетрудно в обычность уйти!  
Есть кесарь и косарь. Есть жертва и тать.  
И стать им подстать — это мудрость предать.

(Скажи на милость: сердцем прилепились.  
А ведь недавно просто жилось, былось —  
Работалось. И можно ввысь — и вниз,  
Искать — терять, случайно прилепиться,  
А правда рядом: в том, чтоб не лениться  
И делать дело. Только в этом смысл.)

...Но что мы оставим, учитель, чем станем,  
Когда мы исчезнем, в безвестности канем?

...Доносы, войны и возможность,  
Разрушив храм, вползти к верхам,  
И генеральство, и вельможность,  
И все, чем жив вельможный хам,  
Не для волхвов: не по волхвам.  
В часы обид и в дни напраслин,

В минуты бедствий и напастей,  
Как ни были б они тяжки, —  
Есть наш приют и наше счастье:  
Удел волхвов — ученики  
И книги, рукопись и паства.

Таков удел. И с давних пор  
Обычность, суетность, громкость —  
Один наш страх, одна боязнь!  
Но волхв и Ирод? Волхв и казнь?  
Да мимо нас пройдет позор  
Покойной жизни для потомков!

Есть горе, слезы и бесчестье,  
Неведомые мудрецам,  
Но можно ль не открыть лица,  
Коль есть они и нам известны?

Ведь все свершенья, каждый гений,  
В веках оставивший следы, —  
Преувеличенные тени  
Пусть преходящей, но беды.

И затаенно — но пребудет  
Все, что живет для черных буден,  
А не для светлого потом.  
Как слезен мир, и как он труден!  
Спасти его трудом иль чудом.  
И если не волхвы, — то кто?

И если ждет нас поражение,  
И если мы исчезнем в тленье, —  
То мы узнали боль и гнев.  
И только в этом возрожденье,  
Как в корнях срубленных дерев...

...Волхвы замолчали и поступью бодрой  
Пошли, и пред ними разверзлась стена.  
Горела звезда, и не гасла она.  
Песок остывал. И учитель, и отрок,  
Как кладоискатель, дошедший до дна,  
Смотрели на камни с улыбкой и гордо.

Волхвы улыбались. Смеялись и шли.  
Пока не дошли и пока не нашли.  
И чудом звезды, не сгоревшей и сирой,  
И благовестующей правдой тех дней,  
Над скверной и злобой, над рожей сатира,  
Над миром, где счастливы камень и Ирод,  
Неверное, зыбкое чудо детей  
Взошло и не гасло, и правило миром,  
Его недостойным.

И с первой побудкой  
Волхвы поспешили в пустынь от обид  
И мести, в то место, где горстка акрид,  
И капля случайной воды, и минутка  
Счастливой беседы, и тихая шутка  
Им стали заменой и трапез, и книг.

Но лучше акриды, чем трусость и стыд.  
И лучше пустыня, чем участь ублюдков.  
В о л х в ы не нуждались в щедротах в л а д ы к.

## VI

Не страшась лишний раз повториться,  
Не боясь показаться смешным,  
Я ворвусь — вени, види, вици! —  
В муравейник, в затишье, — к ним.

Здесь предстанет воочию, в действе,  
В вертограде значков и систем,  
Как зловещий итог чудодейства,  
Обращенный в Бедлам<sup>51</sup> Вифлеем.

Вас прельстила и не простила  
Суесловия и похвалы,  
Вас сманила и вам изменила  
Одигитрия ваша, волхвы.

Здесь, на радужном парапете, —  
Словно впихнут в больничный двор,  
Где патетик и перипатетик  
Под сурдинку ведут разговор,

Череда воркотни и склоки,  
Непонятиц и общих мест  
Принимается за высокий  
Демиургов завет и жест.

Злое чудо Бедлама ловко  
Обратило всю мудрость их  
В странюлюбие по путевкам,  
В вольнолюбие средь своих —

Муравейника, вертограда  
Безопасная колея.  
Да пребудет мне, как награда,  
Отпадение от близких своя!

VII

Зачем вам, волхвы, сановитость?  
К чему вам осанка, мужи?  
Когда б не боязнь повториться,  
Не страх оказаться смешным,  
Когда б не испуг отпадения  
От близких, когда бы не боль  
Разрыва, не стыд искупленья, —  
Я б высказал вам в откровенье,  
Что школьная дерзость — не бой,  
А шалость, и стыдно гордиться  
Сраженьем без ран и утрат;  
Что вени, и види, и вици —  
Забава для малых ребят;  
Что эти сраженья без риска,  
Премудрость значков и систем  
Отметит лишь крематорийский,  
Привычный к почтенью Шопен.  
А там уж в распаде и тленье,  
В горенье — иные межи  
И счеты. Что вам до Шопена  
В бесславном бессмертье, мужи?

По стежкам, слушкам и по ломким  
Догадкам свершается суд.  
И все донесут до потомков:  
На вас, мудрецы, донесут...

*Июнь 1968 г.  
Требужены.*

## ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...

### 1. БЕССОННИЦА, А ПОТОМ СОН...

Я спутал Талейрана<sup>52</sup> с Тамерланом...<sup>53</sup>

В недоброй тьме, встревожен, зол и хмур,

Я причитал навзрыд и бесталанно:

«Кто крив?

Кто хром?

И кто из них — Тимур<sup>54</sup>?»

Все стало вскоре просто несусветной

Игрой словес («Кто страж-душий? Кто страж

Души?»),

Решетчатый витраж

Угадывался. Длилась безрассветность,

Как долгий срок.

(Дотошных пустяков,

Себяжалений умысел и домысл:

Как невозможность памяти и дома,

Необратимость шуток и стихов;

Как безнадежный храп в ночи, ножей

В тиши бездарность и зловещесть;

Как дряг и краж вседневность и как вечность

Немилостивых зим и сторожей;

А чуть точней — как малоумный лепет

И как нестрашный театральный гром, —

Как показное мужество в нелепом —

Трагедия-с: «Забыть! Кто крив! Кто хром!»)

По-моему, от малахольных слез,

От вздохов лицедейских прометеев

Спасает обещание — затеять

Жизнь, как живет: с шуткой, но всерьез.

Легко сказать! Но жалкие слова

Одни и были с разумом и четки!).

На должном месте витражи решетки

Мерцали — и болела голова.

«Кто — хан?» «Кто — хром?»

    Ни малости не спасший,  
Я всматривался, сбит и сокрушен,  
Как в резко замолчавший телефон —  
В тень витражей на тихих лицах спящих.

.....  
... Мне не сыскать неторопливых слов  
Про все, что стало темой «дальше — позже»:  
Здесь витражи ожили в зримой коже  
Потешных, невозможных полуснов;

Здесь, в этом полусне, как полоса  
Спектральная, как карнавальный остров,  
Расцвел бесцветный оттиск полусна.

Сударыня! —

    дитя!

        старушка!

            ослик!

Вся пращурная мудрость черепах,  
Вся камнеглазость ящерок и змеек,  
Вся праздничность сандалий, тубетеек,  
Косиц, косичек, сёдел и рубах...

(А ну как вдруг немилые черты,  
Но явные — проступят непреклонно?!)

... Все нищие арыки и цветы  
Внушали полуслышно (полусонно):

*«Не самый ль раз, решишь на благосклонность,  
Сподобиться житейской простоты?  
Не самый ли? Не время ли? Не кстати ль  
Вглядеться в чудо — в этот хрупкий сплав:  
Вот ишачок — как сфинкс среди жухлых трав!  
Вот шаловливость резвого дитяти!»*

И в этот самый миг, когда сама трава  
Открыла мне заветное решенье, —  
Как не ожить! — на головокруженье  
И менторство я предъявил права.

Сударыня! Такой веселый сон!  
Врачующие травы и слова  
С ума сойти как праздничны и ярки!  
Дитя и ослик. Чистой жизни соль.  
Обетованной тишины подарки...

## 2. ПОСТСКРИПТУМ

Сударыня! Такой — веселый! — сон.  
Не говорите ж: «Сон — лишь сон — черед  
За сим обмолвок и проступков,  
В душе копанье и копанье в трубке  
И утрешний несвежий анекдот». —

Мне кажется, что сон был суть: я — жил.  
А если мне тотчас не написалось,  
То это малость: недостало малость  
Сиюминутной ясности души.

## 3. ИЗ ДИАЛОГА, ПОДТВЕРДИВШЕГО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОВЕДИ

Куда там — не до сути и не до правд: горю!  
Но жизнь благодарю за сопричастность судьбам;  
За то, что в новый вздор я втянут, бедный, духом  
И слушаю в пол-уха надрывный разговор;  
Что здесь, в картуше драк и счетов, и бесчестий  
Я устоял от жестов и сочиненья драм;  
Что в мельтешне, лютей напраслин и поветрий  
Ни разу не поверил в возможность нелюдей...  
Сударыня! Но строгость и память чистых лет  
Я призван одолеть. Как мой прапращур — бога.  
Не вздумайте, мой друг, что вместе с сменой кожи  
В ревнителе убожеств я записался вдруг —  
Я лишь сумел воздать как факту и обету,  
Что в грязь былых аскетов я втянут: в благодать.

Я различил черты лишь читанного рана:  
Сомнительность сиянья тщеславной чистоты.  
И мне открылось в грубой проверке на Содом<sup>55</sup>  
Кто — кто: кто — крив, кто — хром, кто в мире —  
кривдолюбы...

— «Мне кажется, вам самый раз пора,  
Провозглашая истины простые,  
Поведать нам: наместники Петра —  
Хранители святынь, но не святые.

И тем, кто уловил святой престол  
На мнимом чуде и нескромном платье,  
Ответствовать, что он — живой символ,  
Глашатай, но не тело благодати.

Откуда что берется в этот час?  
Как мы мудры, как мы в сужденьях тонки!  
Как тешат притчи нас и побасёнки!  
Как стыд житейский умиляет нас!

Коль истины удобны и просты,  
Подумайте! — так близко до сужденья,  
Что мы как раз достойны осужденья,  
Коль скоро мы достигли чистоты!..»

— Не говорите так! Не разумом, но кожей  
Я чувствую ничтожество, доносов, краж и драк  
Обкатанную ладно систему, косность, власть.  
Но самому **б не п а с т ь!** А остальное — ладно.  
Мне б самому не быть в героях и кликушах  
И, сдавленный картушем, о душах не забыть.

Мне не до правд: горю. Не до судов и сути.  
За сопричастность судьбам судьбу благодарю.

Я счастлив, что на кручах,  
Узнав хоть краем боль,  
Я обрету не роль,  
А участь, друг мой! Участь.

#### 4. ЗЕВС — АФРОДИТЕ, РАНЕННОЙ ДИОМЕДОМ

(мелическая вариация одной гомеровской темы)

«А ты была красавицей...»  
(из старых стихов).

Девочка! Тебе-то зачем эта Троя?  
Что тебе эта рухлядь: стены  
Пота и баталий, победная песня  
Школьного мифа?

Чем бы был мой мир и чего бы он стоил —  
Сказка для зубрежки — когда б не Елены  
Нежное безмолвье! Когда бы и если б  
Не Суламита!

Чем бы он предстал? Кронидовой кляксой,  
Выданной за росчерк преданий? Уликой  
Вечных сукровицы да воплей? Метой  
Смерти и муки?

Скукою: хвастливой скукой Аякса<sup>56</sup>?  
Скукой: хитроумной скукой Улисса?  
Скукой: кораблей, щитов-гекзамэтра  
Длинною скукой?!

Ты так кротко плачешь: больно. Когда бы  
Мы и вправду были б неробки духом,  
Мы уберегли б тебя от мужлана  
И от обиды.

Мы тогда мужчины, когда вы слабы.

Поручи богиням контор и кухонь  
Бицепсы и битвы — сгубившим в Жанне<sup>57</sup>  
Киприду<sup>58</sup>.

Предоставь сраженья, триумфы, царства,  
Копья, колесницы — пускай их! — оставь им,  
Чтоб тебе пребывать от веков и донныне  
Только Кипридой!

Столько некорысти в твоём лукавстве!  
Столько нестяжания славы — в тщеславьи!  
Неужели ж это однажды сгинет  
В мартовских идах<sup>59</sup>?!

А они право же добрая моя сударыня спорщица созданы только для Брута которым можно быть мгновение и всё ведь если пребывать Брутом год месяц день час если замышлять стать Брутом и хотеть быть Брутом это значит быть просто убийцей и только ну не просто а подобранным неглупые слова но и только и все равно убийцей и еще по-моему вообще непосвященному стать им и не оскверниться так же невозможно как уродице быть несмешной и нежалкой в гриме Елены<sup>60</sup> с вашими волосами сударыня разве змеиное слово «шлемоблещущая» сопрягается как-то с легкими вашими шагами на выставке картин молодых баталистов сбор в фонд комитета защиты мира или с потайным но очевидным ожиданием звонков и избранника...

...Уф!

Воины мы, если вы беззащитны, богини!

## 5. ДИАЛОГ NO. 2, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЕРВЫЙ

— *«Высокоумье мудрецов и нищих,  
Косноязычье тостов и поэм,  
И весь восторг высоких слов и тем:  
Весь ваш масонский код и чернокнижье,  
И всё, что вы, — сейчас оно — зачем?  
Что стало с вами? На каком пути  
Вы подобрали свой испуг и барство?  
Чем порожден он — праздностью? Опаской? —  
Совет покуртуазничать — и баста,  
Совет покрасоваться и уйти?  
Стать статуей на площадях страстей?!*

*Быть каменной средь зла? — как ни судите,  
Вы вечное безвременье сулите  
Призывом пребывать при красоте».*

— Как с книжек обгоревшие листы,  
Страхнув житейский пыл и нищий гонор,  
Мне самый раз, решаюсь на благосклонность,  
Сподобиться житейской простоты.

Вы прямодушны. Очень. Может стать,  
Что вам наскучит скоро этот лепет,  
В моем письме и впрямь не счесть нелепиц.  
Что вам трудиться? — Лучше не считать.

Представьте сами: трубный глас и дым,  
И трупный запах вожденной битвы...  
Сударыня! Доколе ж в мире быть нам  
Посланцами немира и беды?

Мне худо, что, далекий и в узде,  
И ставший непонятым вам отныне,  
Я не могу беречь вас от гордыни:  
Высокомерья неотложных дел.

## 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО СНУ

Но я хотел о солнце и сосне:  
Хотел о сне. Хотел о сне — и сбился.  
Мой сон исчез, сударыня: расплылся.  
Бог с ним совсем — еще жалеть о сне!

Мне не сыскать неторопливых слов  
Про всё, что я так благодарно помню:  
Про конуру, про поленницу дров,  
Древесную прохладу сонных комнат:  
Про все, что ваш странноприимный кров.  
Про утро и про серый снежный сор,  
Доверчиво прижавшийся к ограде,

Про все, что так сродни моей отраде  
Сегодняшней (смотрите выше: сон!),  
Про тихий отрешенный разговор,  
Шуршанье книг и занавесных складок:  
Про все, что Ваша дача — ваша благодать.

Подумать только! — дача! скатерть! бор!  
И как я только мог, тупец и бездарь,  
Лишь (так сказать!) почти у края бездны,  
Почти у рубежей небытия,  
Понять, что бор — не робость. И не бегство.  
Но жизнь. Но жизнь: сакральный смысл ея...

## 7. О НАС — О СЕБЕ

*С надеждой уточнить.  
С надеждой опровергнуть.*

Встают неправо и разбой.  
Но иллюстрации к утратам  
Не разглядеть — не разгадать нам:  
Мы слишком заняты. Собой.

За безопасностью оград  
Храним мы лучшие из качеств:  
Мы — регистраторы палачеств,  
Зоилы дачные неправд.

Нам надо многое сберечь:  
Свою — особенную — муку,  
Свою семью, свою науку,  
Свою — особенную ж — речь.

Нам позволяет наша честь  
Особо знать и значить дневи,  
Раз слезы по распятом древе  
Нам затмевают казни днесь.

Нет мира бедствий, чтоб пробить  
Твердыню зрелища и дела!  
Жить с нами — значит: жить несмело.  
Быть с нами — нетчиком пребыть.

Пожалуй, что теперь за счет,  
Когда кругом в одних уликах?  
Звучит по-эллиински: элита.  
Ползет элита... Доползет?..

## 8. «ВТОРОЙ ЧАДАЕВ<sup>42</sup>»

Откуда что берется в этот миг,  
Когда приходит час надежд внушенных?

Сударыня! Какой нас ветер гонит  
От благодати: от музыки и книг,  
От шорохов загадочных и сонных —  
В базарный зной, сумятицу и крик?

И из какой пустыни наши души,  
Уставшие, подать сумеют весть?  
Сударыня, зачем нас ветер кружит  
И гонит нас — и некогда присесть?

Чтоб радугой, расцветенной без меры,  
Пустившись в свой пленительный вояж,  
Мы бросились в глаза, как эфемеры,  
И возвратились на круги своя ж,

Где будет та же приказка и сказка  
Скудельных душ и притомленных дружб,  
И та же жизнь, — с азартом и с опаской —  
С надрывом: та же вдавренность в картуш?

Но ты отмечен свыше: ты помечен  
Обязностью к действиям вотще...  
Какой же ветер кружит нас и мечет  
И гонит нас — и некогда душе?..



Словарь. Словосклеп. Но воздержимся как-то  
от слез.  
Загублены вирши, но мы-то — живые, не с ними.  
Мой друг Беранже, мы не станем жалеть наших  
славных пиэс:  
Забудутся песни — останется доброе имя.  
Всё — утешение.

## 10. ДИККЕНС

*Мне самый раз...  
Сподобиться житейской простоты.*

Сударыня! Я вспомнил в мелкий час  
Себяжалений и привязок к быту,  
Что мучили меня в те дни обиды  
Да язвы обгорелого плеча —  
И только-то.

Но ежели средь дел  
Я вспомню вновь крикливый южный город,  
Как сызмальства, мне горько сдавит горло  
Недобрый смех не злых — отнюдь — людей —  
И только.

Только давность детских дел  
Так не по мне: в те годы, не по росту,  
Куда больней привычного сиротства  
Я ощутил немудрость **и х** сердец.

Смешной, как в сквере духовой оркестр,  
Большой и старомодный, как мазурка,  
Мой город был сердечен и в мазуте.  
Я б счастлив был, когда б не первый крест.

Я не умею подобрать ключи,  
Чтобы открыться **п р о с т о**, без судейства  
Про город зноя, лоз и алычи,  
И очень копшерфильдовского детства.

Как рассказать о родичах моих  
За давностью без трепета и **п р о с т о**:  
Что были не по детству, не по росту  
Мне вздохи их и сокрушённость их;

Что горше и язвительнее жала  
Был для меня их обреченный жест,  
Парад их скорбных, слышных миру жалоб,  
И непосильность их великих жертв.  
Несносно и старательно, без празднеств,  
Меня в **Н и ч т о** сводила воркотня.  
О, как хвастливой был вконец задражен  
Я добротой, унизившей меня!

И если я в двусмысленный тот миг  
Не закоснел в упрямстве и угрюмстве,  
От ангельской угодливости грума  
Я уберегся если, — горстка книг  
Да дружества, которыми помечен,  
Спасли меня от хмурой хитрецы.  
А город был в мазуте и сердечен,  
И обещали добрые концы  
Зачитанные, ветхие романы,  
Упрямо указующие цель.

И это было верным, необманным —  
Напоминаньем: помни о конце  
Хорошем. Об одном о нем. И слушай,  
Как жизнь обетованна и **п р о с т а**.  
И верь в невечность скучного перста!  
И верь в покой и счастье добродушья!

И как я ни насмешничал, коря  
Себя потом за сказку, — но нетленной  
Она одна осталась, а изменой  
Концам хорошим стала жизнь моя:  
Мы полюбили варварство, мой друг.  
Мы только тем и жили — упованьем  
На проповедь сменившее камланье  
И музы подменивший волапюк.

С ехидцей поддержавшие канон,  
Нам полюбились шаткие подпорки:  
Гражданственные рифмы-оговорки  
И башней взгроможденный террикон.

(Тщедушный пастырь выморочных муз!  
Когда твое непрочное строенье  
Взметнет к чертогам свой надменный груз, —  
Ты, сея лжу, воззиждешь оскуденье  
Среди развала каменных пустынь!).

Но я спешу куда-то всё — а ране  
Я жил, мой друг, в слезах и обещаньях,  
Надежных, справедливых и — *п р о с т ы х*.

Какой волшебю было мне дано  
С упорством непреложным очевидца  
Уверовать, что Англии столица  
И прадедов местечко — все одно:  
Что, как ни различайте чад, — в чаду  
Тщеславия, в торгашеском удушье  
Нелепец — Нестяжатель — Добродушеч  
Зажег свечу в ночи надменных душ.

И потому грядущее растрат  
Душевности сулило мне не просто  
Никчёмного утрату первородства —  
Но Словаря. Но кровного родства.

И потому, когда добра и зла  
Разграничений видеть перестала  
Душа моя — не детство оставляло  
Меня, — но человечность обошла.

Входите ж в адский карнавальный круг,  
Где пляшет козлоного и немудро  
Петрушечник в одеждах демиурга!  
Мы полюбили варварство, мой друг!

Пляши и блей, божественный козел!  
Здесь, в святотатстве лубочного глума,  
Мы — пленники, и нет высокоумья,  
Чтоб оживить озябнувший глагол.

Зачем — для старомодных утешений  
Коснеющих упрямец и тупцов? —  
Оскомины кислицы праотцов:  
Слова досужих жалоб и смятений.

Гляди ж, как вхруст, за годом новый год,  
Сминает жадно площадная челюсть!  
Пляши и блей, божественная нелюдь!  
Исхода нет. И к черту ли — исход?

В такие вот — присяжности — года  
Один и спас: петрушечное зелье  
И в исступленьи бесноватых зрелищ  
Низкопоклонство просто ль угадать?

.....

Но что потом мы скажем, обретя  
Потемки первобытные и пустошь?  
Что был обряд? И не было искусства?  
Что мы молились идолам, дитя?

## 11. ЧТО УНЫВАЕШЬ ТЫ, ДУША МОЯ

*«Что унываешь ты, душа моя,  
И что смущаешься?»  
(из Псалтири).*

Начаток кривды и неправоты  
В надменности душевной: в убежденьи,  
Что ты дошел до смысла и черты  
Сокрытого, что ты проник до корня  
Познания, до азбуки пыльцы.

Вот, за чертой заблудшие слепцы, —  
И ты им — поводырь, креститель, кормщик.

*Если вы хотите обрести  
утраченную человечность,  
читайте Диккенса*

Разбитости начаток и крушенья  
В назойливом, непрошенном крещенье —  
Начаток зла.

И я не поручусь,  
Что я не знал заране: будет груз  
Обрыдлостей, издерган и отринут,  
Я брошусь к благодетельным отрывкам  
Из писем к вам — и горько усмехнусь:  
Такая — непригляднейшая — статья:  
Искать всему конечные ответы,  
Сполна от их никчемности отведать  
И вновь кого-то в чем-то наставлять...

Мне плохо, что, далекий и в узде,  
Я не сумею вам открыть воочью  
В такой ночи — такое чувство нóчи  
Кромешной: это чувство нелюдей.

И лучше безрассветность, чем предел  
Грядущего, при свете дня, бездушья:  
Чем грязный и бесстыдный, как частушка,  
Бездарный, как блатная песня, день.

И всё что я: надежды и слова, —  
Своей нехитрой мерой замеряя,  
День не уйдет, пока не замазает  
Стихи и сны, и даже письма к вам.

Что делать мне? Ночами теребя  
Плаксивый словник заунывных песен,  
Придумать худосочное «Из бездны»,  
Украдкою любясь на себя?

Или свою придумать мерку: «Ад  
Не по грехам», — без вкуса и без меры  
Твердить: «Сие — стигмат исконной веры».  
Подумайте! — парашка — и стигмат.

Что делать мне? Какая даль иль близь,  
В каком краю предстанут мне защитой?  
Так нету сил! (И где мой утешитель?)  
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)  
Так нету сил!

...И, стало быть, пора  
Искать в но́чи не но́чи злобы — лица  
Родные и бесслвно приклониться  
К товарищам по перьям и пирам.  
Я б навсегда укрылся, если б смог,  
(Как в старину сказали бы: под сенью)  
В такую малость, в сущности, — в письмо  
От друга, — кроме — в чем мое спасенье?  
Там, под пятой воинственных систем,  
В проверке человечности и мужеств,  
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:  
Вы дружества не предали. Ничем.

Я не судья вам — мне б один удел:  
Строжайшей и пристрастной охраной  
Вас удержать от ссор и перебранок! —  
Да вот беда: далек я и в узде...

Когда вы притомитесь от борьбы,  
Какие ждут вас пропасти и сшибки?  
Но дай мне бог — грехами и в ошибке,  
И чем угодно — сходным с вами быть.  
Да минет вас замшелый бережок  
Приюта плоти сытой и несытой!  
Пускай звучит по-эллиински: элита!  
Пускай элита круг свой сбережет!

Когда-нибудь при яркой вспышке дня  
Грядущее мое осветит кредо:  
Я в человеках тож: я вас не предал.  
Ничем.

Друзья, молитесь за меня!

## 12. ДАВНЫМ-ДАВНО — И НЫНЕ

Давным-давно, послушник честный книг,  
Я книжное ж слепил стихотворенье  
Про пышное узорное цветенье  
Цветов морозных — про уход их в Nichts  
Без увяданья.<sup>65</sup>

Не мне судить вас (что уж мы цветы  
Морозные влюбились?) — за способность  
Не замечать лукаво низкопробность  
Под машкерадной маской красоты:  
Чем жить, когда бы не притворство книг  
В столпов сверженьи и столпотвореньи —  
Когда бы не узорное цветенье  
Цветов морозных, не уход их в Nichts  
Без увяданья...

## 13. СОМНЕНИЕ

Поэты слепы и в потерях  
Не ведают скорби потерь.  
Я думаю так: не Гомера ль  
Пленительность в сей слепоте.

Так надобен низким и горьким  
Эпохам, живущим на слом,  
Лишь росчерк огня, а не зоркость  
Для трех валтасаровых слов.

От древле вселенских потемков,  
От бранной и льстивой тщеты  
Один и пребудет — и только —  
Взыскующий иск слепоты.

Как совести — ночь одиночеств,  
Как памяти честной — засов, —  
Томленье без рифм и вне строчек  
Любому из огненных слов.

Одни и пребывавшие в мире  
Останки пиров и побед —  
Слова те незрячи, как Лира,  
Слепы́, как причастность судьбе.

И знаете, друг мой, — обидишь  
Неважно кого-то иль нет, —  
Но коль ты ревниво всевидящ:  
Всесведущ, — то ты — не поэт.

Ты вдруг ощутишь, что утерян  
Бесславно язык праотцов:  
Притупленных перьев затеи,  
Попытки натруженных слов  
Легки и пусты — безъязыцы,  
Тревожно и зыбко кружа,  
Споткнутся о скучные лица:  
Бесстрастные лица чужан.

И что им в слезах, горевые  
Уроки исчезнувших дней  
Соседки моей, Ниневии?!  
(«И кто зарыдает по ней?»)

Наверно, надежно порочат  
Любую из трепетных тем  
Представшие в немоте  
Смешные потуги пророчеств!

.....

Тогда-то и будет разгадан,  
До срока припрятанный в стих,  
От детства, от первого шага,  
Мой страх оказаться в смешных...

## 14. НЕЛЬЗЯ НЕ ПРИЗНАТЬСЯ

*«И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу...»*

(А. Пушкин)

*Т о г д а* казалось: долгие года  
Не выветрить из памяти тоскливой  
Урочный час в Совете Нечестивых:  
Шаманский срам Шемякина суда.

Тогда казалось: должно уберечь,  
Как юношам из очерков — мозоли,  
Победный знак еврея и масона:  
*Последнюю*, возвышенную речь.

Сударыня! — суда!.. в суде!.. судом!.. —  
Мы всё о нем — но пред лицом Содомы,  
В который каждый втянут, — пред судом мы  
Куда тяжеле.

Я стою на том,  
Что испытанье пагубой и порчей,  
Проверка униженьем и стыдом  
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.

Вот почему кружением не впрок  
Отмечен каждый божий миг кануна;  
Вот почему всё оказалось втуне:  
Любой — былой и небылой — порок  
Обозначал разрыв с собой и слома  
Конечность, и сегодня этот слом  
Подвиг меня на истинное слово,  
*Последнее* — и пусть оно не ново! —  
**Виновен в чем-то — виноват во всём.**

Уловленный недоброй хмурой тьмой,  
Я и впотьмах сыскал, как видно, тропку,  
И все, что ныне, оказалось робкой  
И малой (не в грехи) епитимьей.

Сударыня! — такой веселый сон!  
Приснится же такое человеку!  
Но сон — лишь сон: в мечтах святой, как Мекка,  
Ты создаешь в яви Вавилон.

Какие лес и дача? — Не взыщите:  
Какая благодать? — Скверна и Содом!  
И нету сил! (И где мой утешитель!).  
И худо мне! (И чем утешит он!).

Утешусь ль тем, что *с л о ж е н* человек?  
Что много в нем намешано от века?  
Что мы, — когда Аврелий<sup>66</sup>! и Сенека<sup>67</sup>!  
Когда поэт! Философ! Имярек! —  
Вчитайтесь! Ну те-с: это ли не Мекка.

А если это вчуже и не впрок —  
Пример велик, но явственно обличье, —  
Утешит, может, тоже столь привычный,  
Священника спасительный урок?

(Роскошество ревнителей убожеств?  
Мздоимство, раболепие святош?  
Всё правильно, — однако вспомним, кто ж  
Низкопоклонник, но хулитель торжищ?)

Откуда что берется в этот час:  
Как мы мудры, как мы в сужденьях тонки!  
Как тешат притчи нас и побасёнки!  
Как стыд житейский умиляет нас!

Коль истины удобны и просты!  
Подумайте! Так просто до сужденья,  
Что вы как раз достойны осужденья,  
Коль скоро вы достигли чистоты...

...Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.  
Мне остается пробавляться ныне  
Запавшей по случайности латынью:  
Memento mori. Помни о конце.

Какие сны и травы? — Не взыщите:  
Какая благодать: лживый, малый сон.  
И нету сил! (И где мой утешитель?)  
И худо мне! (И чем утешит он?)

## 15. СОНЕТ

Такая непрощенность — эта грязь  
И поздний стыд — любая казнь в угоду, —  
Предвестница *последнего* ухода,  
Объявшая меня грехобоязнь.

Невыносимо в сдавленном кольце  
Остаться до конца и сокрушённо  
Сомнительной гремушкой прокажённых —  
Напоминаьем: помни о конце.

Кому напоминаьем и зачем?..  
Непрошено, взхлёб и неспасённо  
О замыслах рассыпанных поэм,

О горькой невозможности забыться  
В каком краю, среди каких языщех,  
Какому собутыльнику повем?..

## 16. СЦЕПЛЕНИЕ ЕЖЕВЕЧЕРНИХ СЛОВ

— Отыщется ль странноприимный кров?  
— Отыщется, я думаю, чего там!

...Вообразим же, коль пришла охота  
До слезных и самовлюбленных снов,  
Молитвенное шествие коров,  
Отверженность и жабью рябь болота:  
Сочувственный и призрачный приют.

Дорожный посох и мешок ковровый,  
В товарищах немилых по оковам  
Как и во мне, застенчиво живут.

Я думаю, насильственно, темно,  
Протянутыми, скучными годами  
Они об этом ревностно гадают  
По стершимся костяшкам домино.

...Вот так и я, ребячливо, навзрыд  
В кругу своих товарищей постылых  
Со стеллажами книжек и пластинок  
Придумал свой пустынножитный скит.

Так милосердно пожалеть о том-  
О сём: себя взжалеть без меры,  
И причитать, в исконность слов не веря:

— Отыщется ль странноприимный дом?

— Отыщется...

...И нет конца, ни крива...

...И посох сбит... И пуст мешок ковровый...

...И долог путь... И беспредельна ночь...

...И безысходна память этой ночи:

Униженность блужданья без помочи,

Паденье ниц и стыд отмёрзших ног...

Так выдумка о ските и стезях,  
Так участь наподобие и в роде  
Вели меня к исчезновенью в роли  
Опасной: в жизнь со снами и в слезах.

Так пишется едва ли не шутя  
В докуке своевольного хотенья  
Образчик благолепного хожденья,  
Апокриф пресвятого жития.

А между тем среди таких забот  
(Турпесенных!) есть чистой зов природы,  
Предвестницы *последнего* ухода:  
Пребыть иным и стать самим собой.

И перед этим счастьем обрести  
Особый знак лица, отечеств, отчеств —  
Что́ вся тщета воителей и зодчих,  
Которая мелькнула б на пути?

...Но вечер — и сцепление тех же слов:  
— Отыщется ль странноприимный кров?  
— Отыщется, я думаю, чего там!  
...И снова путь отринутостей, скит  
В конце пути, загробный вопль болота  
И голос мрака:  
— Путник! Кто ты? Что ты?  
— Я бедный нетчик в час вселенских битв...

**17. «ЗА ПАРТИЕЙ, ОТСТАИВАЮЩЕЙ ПРАВОЕ ДЕЛО,  
Я ПОЙДУ ХОТЬ В ОГОНЬ,  
НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СМОГУ».**

МОНТЕНЬ<sup>68</sup>.

Нетчик? Да-с! Бедный? Думаю, вряд ли.  
Я давно уже шел к этой теме,  
Но сказать не умел — и помог мне  
Рассудительный друг Бозэси<sup>69</sup>.

Долго, значит, я все-таки ждал,  
Если трепетно так и готовно  
К каждой строчке, изящной и едкой,  
Прилепился душой в эти дни...

...Задохнулись в крошечном угаре  
Дети Сарры и дети Агари...

...Значит, должен я выискать место  
В этом крошечке местей и свар? —  
По какому наитью? Родства?  
Но, сударыня, что за родство  
С задохнувшейся речью пророка  
У ублюдка, не пасшего стад?

Значит, должен я выискать место?  
По какому наитию? Чести?  
Но откуда мне ведома честь  
Государственных тяжб и воительств?

Наверно я нарочно оттягиваю ту сокровенную минуту  
собеседования с вами которая право же друг мой  
и спорщица не поразит Вас никакой такой новизной  
так часто мы говорили об этом бывало я знаю заранее  
что Вы скажете слова внушённые мною же так  
уж печально мы устроены что признание я вынужден  
был так поступать воспринимаем как измену  
и как объяснить что понимание не обозначает  
измены своим поступкам ни даже что мы откажемся  
повторить эти поступки хотя знаем теперь и знали  
прежде их подоплёку потому что знали и знаем  
их подоплёку.

В этом крошечке местей и склок,  
Непрощённой беды и обиды  
Погубить себя в мартовских идах  
Никогда не просрочится срок.

Мы едва не презрели межу.  
Мы почти что взорвали преграду:  
Мы, по-моему, были на грани  
Бесноватой любви к мятежу.

Для чего мы пришли в этот мир?  
Для того, чтобы сеять смятенье?  
Чтоб посланцами слёзного мщенья  
Громогласно себя заявить?

Для чего в этом мире, мой друг,  
Мы закружены в бунтах и спешках?  
Чтоб счастливый победный досуг  
Посвятить сотворенью гарроты?

Утешит ль нас странноприимный дом?  
Я думаю, утешит нас, чего там!  
А нет — не поздно грянуть мятежом  
И на досуге изобрести гарроту.

Еще не поздно. Пусть трепещет кто-то.  
Мятеж да казнь — утешьтесь хоть на том...

— Нетчик? Да-с! Бедный? Все-таки, вряд ли.  
Нетчик — «нет» объявивший круженью,  
Возвестивший: помешкай, взглядишь  
В себя — и призвавший к терпенью.

Надо терпеть и ждать —  
А иначе  
Всё обернется  
Любовью к мятежам.  
Надо терпеть и ждать  
Просветлённости душ и умов —

А иначе —  
Развеселый простор честолюбцу,  
Для которого кровь нипочём!

Я предвижу слова которые Вы мой друг вправе  
произнести сейчас слова мною же внушенные  
с глубокой душевной печалью угадываю их потому  
что в них правда от которой я не отрекаюсь нимало  
благо тому кто не блуждает между множеством  
правд всяких там провидцев историков а еще и  
послухов дней своих...

## СОНЕТ

Нелепо думать: мне не по плечу  
Жить ожиданьем, сбыться ль дивной сказке,  
Когда в пути, как к Савлу<sup>70</sup> под Дамаском,  
Раскаянье подступит к палачу.

Исполнен миф — и в сей блаженный миг  
Вам возвестят кимвалы или трубы,  
Что полюбили сырых раболюбы,  
И я обнял тюремщиков моих.

Который год вещает мудрость нам,  
Что путеводна сказочка простая:  
Исполнитесь презреньем к мятежам.

Живите ж горней правды выжидая,  
Незримо словоерсом обрастая  
И кланяясь вельможным палачам.

### 18. СОНЕТ

Итак, смиренно погрузись в себя  
Иль полномочный бунт твори повсюду, —  
Твое мужанье с деревом Иуды  
Цветеньем схоже — со зловещим чудом:  
Терять листву, себя в цвету губя.

Терять листву, себя вконец губя,  
Нам остается истовой и злее:  
Порушить **Я** иль это **Я** взлелеять —  
Все заблудиться в злополучных **Я**.

Своди — но воедино *к а к* свести,  
Ищи рубеж — но *г д е* его найти:  
Мятеж — иль месть? Смиренность — или  
смирность?

И нет жрецов в покинутых кумирнях,  
Которые мелькнули на пути...

### 19. ТОГДА – ТО...

Тогда-то для заблудшего в пути  
Раздастся глас, молитвенный и строгий:  
«Иди вперед! Ищи — *ж и в о г о* бога!»

Совет благой — но *к а к* его найти?  
И *г д е* найти? Ценой каких утрат?

Когда б не знать: меня вблизи чертога  
Уж если не сомненье, не тревога,  
Так боль зубная изведет, хоть плачь!

Простите за кощунство — сам не рад.  
Но мне ли строить Августинов град,  
Раз не страшит погрязшего в безверьи  
Игрушечный — на сон грядущий — ад:  
Весь апокалиптический парад  
Видений дочерей на багряных зверях.

Нет сил для покаяний и молитв.

Я снова нетчик в час вселенских битв.

И, мыслью о спасении горя,  
Я жажду обновления, как влаги.  
Но нет во мне мистической отваги.  
Что мне Инкубы, правду говоря!

## 20. ИТАК...

### 1. ВОСПОМИНАНИЕ?

Старушечья поступь, унылость горба  
В пугливой походке издерганной веры.

А мы не таимся. Чиста и горда,  
И явна для недругов наша вечеря.

И праздничен вечер! За нашим столом  
Бутылей беспечный и радужный слиток.  
И светится имя Мадонны элиты,  
И царственны речи — за нашим столом...

## 2. Б У Д Н И

Мне невозможно жить, я не научен  
Сносить без слов улыбочки наушничеств.  
Мне стыдно, что я жив, когда творят правёж  
Безжалостность и жадность, ложь и вошь,  
И идиотство песенок и гимнов,  
Звучащих здесь: блажной и грязный свал.

Так — что мне книги? Больше: что стихи мне?  
Что мне стихи — и даже письма к вам?

Что стёрты и утеряны черты,  
Являя миру веские улики,  
Высокомерно ль освятить элиту,  
*Сподобиться* ль житейской простоты.

Сподобиться — и дней своих на склоне  
Жить *в простоте*: без гнева, не сердясь.  
*Ж и т ь* в пустоте, причастность Вавилону  
Представив как монашескую грязь!..

## 3. В О Ч Т О Я В Е Р Ю ?

Нам встретиться нужно. За нашим столом.  
И вот мы собрались. Никто не увечен:  
Никто не напуган. И *нечто* увенчит  
Шутливая дружба за нашим столом.

И царствует кубок в сплочённом кругу  
Иль — проще — стаканы. — *Так сдвинем их разом!*  
И нет раболепца — *Да здравствует разум!*  
И нет раболюба в сплоченном кругу.

Нам близко и тесно за нашим столом.  
И шуткам простор и покойно подругам.  
И нету им места — внушенным потугам,  
И склокам, и сыску — за *нашим* столом.

#### 4. В О Ч Т О Я Н Е В Е Р Ю ?

- Я не верю, мои друзья, снам и полуснам  
и в возможность обойтись без них в отчаянную  
минуту;
- Я не верю в существование нелюдей  
и в возможность недружб,  
и что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого;
- Я не верю любви к мятежам: так создается зло  
и не верю в право уклоняться от мятежа:  
так допускается зло;
- Я не верю в возможность ответить на вопросы  
души  
и в право души не задавать их...

#### 5. Н А Ч Т О Я Н А Д Е Ю С Ъ ? (И Т А К)

...что на кручах,  
Узнав хоть краем боль,  
Я обрету не роль,  
А участь, друг мой...

Участь. Я надеюсь на  
Участь. На свою  
У каждого. Какая  
Она ни есть.

*Кемерово, янв. 1971 г.*

**Примечания:**

<sup>1</sup> Яманаси — город в Японии на острове Хонсю.

<sup>2</sup> Овидий — Публий Овидий Назон (43–17 гг. до н. э.) — древнеримский поэт, автор поэмы «Метаморфозы».

<sup>3</sup> Святой Лаврентий (225–258 гг. н. э.) — «Увенчанный Лавром». Архидиакон римской христианской общины. Во время гонений на христиан был заточен в темницу, где исцелял больных и обращал в христианство. Раздал беднякам все имущество церкви. Был изжарен живьем на раскаленной решетке. Почитается и католической, и православной церковью. 10 августа — день св. Лаврентия.

<sup>4</sup> Томазо де Торквемада (1420–1498) — основатель испанской инквизиции. Первый великий инквизитор Испании.

<sup>5</sup> Пьер Жан Беранже (1780–1857) — французский поэт, песенник, сатирик.

<sup>6</sup> Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761–1819) — нем. драматург, автор низкопробных пьес («коцебятина»). Ему приписывалась позиция борца против свобод немецких студентов. Был убит студентом Зандом (1795–1820).

<sup>7</sup> Занд, Карл Людвиг (1795–1820) — нем. студент; убийца русского шпиона Коцебу (см. выше); был обезглавлен.

<sup>8</sup> Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — русская революционерка, народо-волка. Провела 20 лет в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости. Всю жизнь боролась за улучшение содержания осужденных. По «процессу 14-ти» была осуждена на смертную казнь, замененную заключением в крепости и пожизненной ссылкой. Не приняла Октябрьскую революцию.

<sup>9</sup> Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — римский сенатор, один из убийц императора Гая Юлия Цезаря.

<sup>10</sup> Крез (ок. 595–529 гг. до н. э.) — последний царь Лидии. Знаменит огромным богатством, отсюда пошла поговорка «богат, как Крез».

<sup>11</sup> Николай Николаевич Кибальчич (1853–1881) — русский революционер, народо-волец, изобретатель, автор первого в России проекта ракеты для полета человека. За участие в покушении на царя Александра II был повешен.

<sup>12</sup> Максимилиан Робеспьер (1758–1794) — один из лидеров Великой франц. революции, глава якобинцев. Робеспьер развернул террор против врагов революции и сам пал жертвой террора. Был казнен на гильотине.

<sup>13</sup> Саша Соколовский — техникумовский друг Ильи Габая.

<sup>14</sup> Нечаевцы — группа революционеров-анархистов в России.

<sup>15</sup> Ишутинцы — тайное революционное общество в Москве, группа социалистов-утопистов, применявших террор в рев. борьбе.

<sup>16</sup> Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) — русский революционер. Использовал и пропагандировал методы провокации и мистификации. Умер в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости в С-Петербурге.

<sup>17</sup> Владик Пронин — институтский друг Ильи Габая. Вместе учительствовали на Алтае в селе Зеленая Роща.

<sup>18</sup> Заратустра (628–551 гг. до н. э.) — жрец, пророк в иранской религии. Призывал следовать добру и отрицать зло.

<sup>19</sup> Ведовские процессы — инквизиционные суды в Западной Европе, проводившиеся во время охоты на ведьм в XIV–XVII вв. по обвинению в преступлениях против веры. См. «Молот ведьм» (стр. 429).

<sup>20</sup> Каносса — замок в Северной Италии, где отлученный от церкви и низложенный император Священной Римской империи вымаливал прощение у Римского папы Григория VII. «Идти в Каноссу» значит согласиться на позорную капитуляцию.

<sup>21</sup> Маккавеи — Хасмонийская династия правителей Иудеи (167–37 гг. до н. э.).

<sup>22</sup> Зарубабель — глава евреев, вернувшихся в Иудею из вавилонского плена (536 г. до н. э.). Современники пророки (Аггей и Захария) предсказывали, что он станет царем Иудейским. Но этого не произошло.

<sup>23</sup> Эзра (400 г. до н. э.) — жрец персидского двора, установивший догмы иудаизма.

<sup>24</sup> Ягве — имя бога в иудаизме (также Яхве, Иегова).

<sup>25</sup> (\*) Здесь и далее помечено наличие вариантов слов, строк или даже целых строф в рукописях и, как следствие этого — в различных сборниках.

<sup>26</sup> Шолом-Алейхем (1859–1916) — псевдоним еврейского писателя и драматурга Соломона Наумовича Рабиновича.

<sup>27</sup> Стэмпеню — правильно «Стемпеню». Персонаж одноименного романа Шолом-Алейхема.

<sup>28</sup> Имеется в виду библейская история красавицы Юдифи, вдовы из иудейского города Ветилуя, осажденного ассирийцами. Юдифь завоевывает доверие полководца ассирийцев Олоферна, отрубает ему, спящему, голову и приносит ее в осажденный город как трофей.

<sup>29</sup> «Крушеван — молдавский газетчик, организатор погромов...» (комментарий Ильи Габая в письме к другу).

<sup>30</sup> «...гоги и магоги — древние народы, истребленные евреями» (комментарий Ильи Габая в письме к другу).

<sup>31</sup> Согласно редакционному примечанию, (см. сб. «Выбранные места», изд. «Весть», Москва, 1994 г. (стр. 15) эта шуточная поэма была написана И. Габаям на лекции ко дню рождения его друга по институту Леонида Зимана. Другая версия истории написания поэмы изложена самим поэтом в письме к Г. Габай от 22/1–71 г.: «Леня, между прочим, родился 25 февраля. Я вспоминаю, как мы с Владиком (*Прониньм* — Г. Г-Ф.) ездили к нему в Парфеново, до этого на печи сочиняли «Зиманиану»... Адресат шуточного посвящения — автор популярной в то время пьесы «Такая любовь», поставленной на сцене студенческого театра МГУ. Человек в мантии — персонаж пьесы.

<sup>32</sup> Зиман Леонид Яковлевич (род. 1938 г.) — институтский друг Ильи Габая. Педагог и переводчик детской английской и итальянской литературы. Преподаватель детской зарубежной литературы в Московском городском педагогическом университете.

<sup>33</sup> Франсуа Мориак (1885–1970) — французский писатель.

<sup>34</sup> Розов Виктор Сергеевич (1913–2004) — советский и российский драматург и сценарист. По его сценариям поставлены кинофильмы «Летят журавли» (1957), «Неотправленное письмо» (1959) и др.

<sup>35</sup> Вечеллио Тициан (1477–1576) — итальянский живописец эпохи Возрождения.

<sup>36</sup> Диего Веласкес (1599–1660) — испанский художник-портретист.

<sup>37</sup> Пабло Пикассо (1881–1973) — испанский художник. Родоначальник кубизма. Автор картины «Герника».

<sup>38</sup> Клод Моне (1840–1926) — французский художник-импрессионист.

<sup>39</sup> Пукирёв Василий Владимирович (1818–1890) — русский живописец. Автор картины «Неравный брак».

<sup>40</sup> Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — русский музыкальный и художественный критик.

<sup>41</sup> Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) — русский живописец-передвижник. Автор картин на сюжеты русских сказок.

<sup>42</sup> Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897) — русский живописец-передвижник. Автор картины «Грачи прилетели».

<sup>43</sup> Охлопков Николай Павлович (1900–1967) — русский советский актер театра и кино. Главный режиссер театра им. Моссовета в Москве.

<sup>44</sup> Томас Манн (1875–1955) — нем. писатель, прозаик, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 г. Автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» и др.

<sup>45</sup> Перефраз строчки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

<sup>46</sup> Шагал Марк Захарович (1887–1985) — русский и французский художник и поэт.

<sup>47</sup> Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) — живописец, представитель русского импрессионизма.

<sup>48</sup> Архипов Абрам Ефимович (1862–1930) — художник-передвижник.

<sup>49</sup> Сакьямуни, или Шакьямуни (жил между 5 и 4 вв. до н. э.). — «Достигший истины», или «Верховный Будда».

<sup>50</sup> Ирод Великий (73/74 г. до н. э. — 4 г. до н. э.). Иудейский царь, знаменитый своим строительством Иудеи и Иерусалима. В последние годы жизни прославился жестокостью, подозрительностью и казнями по малейшему подозрению.

<sup>51</sup> Бедлам — монастырь 13 века, позднее превращенный в психиатрическую больницу. Бедлам стал всемирно известен, благодаря жестокости в отношении к больным. Слово стало нарицательным, означающим «хаос», «беспорядок».

<sup>52</sup> Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754–1838) — французский дипломат, известный своей беспринципностью. Мастер политической интриги.

<sup>53</sup> Тимур ибн Тарагай Барлас Тамерлан (1336–1405) — полководец, не проигравший ни одной битвы. Один из великих мировых завоевателей.

<sup>54</sup> См. выше Тимур.

<sup>55</sup> Содом — один из двух библейских городов, уничтоженных богом за грехи его жителей.

<sup>56</sup> Аякс — имя двух греческих героев, участвовавших в осаде Трои. (См. Гомер, «Илиада»).

<sup>57</sup> Имеется в виду Жанна д'Арк.

<sup>58</sup> Киприда — другое имя Афродиты, греч. богини красоты.

<sup>59</sup> Мартовские иды — 15 марта, предсказанный день убийства римского императора Гая Юлия Цезаря. Фраза стала нарицательной для обозначения гибели, трагедии.

<sup>60</sup> Елена, жена спартанского царя Менелая, была похищена Троянским принцем Парисом, что послужило поводом для Троянской войны. (см. Гомер, «Илиада»).

<sup>61</sup> Чадаев, Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856). Русский философ, публицист. Друг А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова. Автор «Философических писем», в которых критиковал русскую действительность, за что царь Николай I объявил его сумасшедшим, посадил под домашний арест и под принудительный психиатрический надзор.

<sup>62</sup> Ким Юлий Черсанович (Юлик) (род. 1936 г.) — институтский друг Ильи Габая, педагог, правозащитник, русский поэт, композитор, драматург, лауреат государственной премии им. Булата Окуджавы. Совместно с И. Габаем и П. Якиром подписал «Обращение к деятелям науки, культуры и искусства» (1968 г.). За участие в правозащитной деятельности подвергался внесудебным преследованиям. В 70-е годы выступал под псевдонимом Юлий Алексеевич Михайлов.

<sup>63</sup> Аруэт (точнее «Аруз»). Вольтер, Франсуа-Мари Арузэ (1694–1778) — поэт, прозаик, сатирик, публицист, правозащитник. Один из крупнейших французских философов-просветителей 18-го века.

<sup>64</sup> Валуа — династия французских королей начала XIV-го — конца XVI веков.

<sup>65</sup> Имеется в виду стихотворение «Сентенция», написанное в 1956 г.

Неприветлив морозец и зол.  
И, видать, до художества падок:  
Он расшил по окошку узор  
Распричудливых ёлок и палок.

Неуютно от вышивки той:  
Веет с этих узоров, наверно,  
Необжитою красотой,  
Как от сказочной мёртвой царевны.

Будто людям ненужная ложь  
Нитью льдинок легла по стёклам...  
Разозлишься — и с силой дохнёшь —  
И вода побежит потоком...

Что живет, то и радует взор...

Впрочем, я продолжать не стану...  
В человеческом тёплом дыханье  
Оживает не только узор...

<sup>66</sup> Марк Аврелий (121–180) — римский император, философ-стоик.

<sup>67</sup> Сенека Луций Младший (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский поэт, государственный деятель, философ-стоик.

<sup>68</sup> Мишель де Монтень (1533–1592) — знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения. Автор книги «Опыты».

<sup>69</sup> Этьен де ла Боэси (1530–1563) — французский гуманист, поэт, публицист.

<sup>70</sup> Савл — дохристианское имя апостола Павла. Гонитель христиан Савл по пути в Дамаск услышал голос Христа, уверовал в него, обратился в христианство и стал его апостолом, проповедовавшим новую веру — христианство.

# Киносценарий



---

«ДО И ПОСЛЕ»

---

КИНОСЦЕНАРИЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Ю. Н. ТЫНЯНОВА

На пустом экране возникает эпитафией надпись:

*«Напрасно в годы хаоса  
Искать конца благого.  
Одним карать и каяться,  
Другим — кончать Голгофой».*

Бешено мечется на ветру пламя костра. То и дело дым застилает весь экран. И всё же иногда сквозь языки пламени, сквозь дым можно различить то фигуры николаевских солдат, то очертания Петропавловской крепости, то возы, покрытые рогожами, под которыми угадываются контуры человеческих тел. Монотонно капает кровь и тут же застывает на холодном ветру.

Солдаты греются у костра. Притопывают. Кто-то даже запел «Барыню».

Всё это сопровождают мерные удары топоров, рубящих лёд. В образовавшиеся узкие проруби толкают трупы полураздетых солдат. Полицейские раздевают мертвецов и раненых, срывают с них перстни, шарят по карманам. Мертвецы и раненые прирастают ко льду. На Неве — на всём пространстве от Исаакиевского моста до Академии художеств — продолжают рубить лёд.

Стук топоров слышен пока Фаддей Булгарин<sup>1</sup>, воровато озираясь, идёт по улице; пока он заходит в какой-то дом; пока мелкими шажками, потирая для чего-то руки, проходит в столовую. За столом сидят несколько человек и разговаривают между собой:

— Бежать бессмысленно...

— Так что же? Ждать ареста?..

При появлении Фаддея все смолкли.

— Поговори с ним, Рылеев<sup>2</sup>, — говорит один из собеседников тихо. Рылеев встаёт лениво, выходит из-за стола:

— Тебе, Фаддей, здесь делать нечего, — и продолжает с усмешкой, — ты будешь цел.

Стук топоров сменяется нетерпеливым и настойчивым стуком в дверь. Испуганный Фаддей садится на постели. Полумрак. Знакомый уже нам голос повторяет с усмешкой:

— Ты, Фаддей, будешь цел...

В дверь просовывается усатая голова жандарма:

— Булгарин, журналист? Одевайтесь немедленно. Поедете со мной.

Булгарин застёгивает сюртук, с трудом попадая в петли. «Будешь цел, будешь цел», — звучит у него в ушах то издевательски, то сочувственно.

Полицеймейстер Шульгин сидит за столом в расстёгнутом мундире. Он огромного роста, с пышными бакенбардами. Фаддей ему почитительно кланяется. Тот не отвечает.

— Плохо дело, — шепчет Фаддей, — пропал.

— Коллежского асессора Вильгельма Карловича Кюхельбекера<sup>3</sup> знать изволите? — смотрит вдруг в упор на него Шульгин.

— Кюхельбекера? Я? — лепечет Фаддей («Будешь цел, будешь цел», — повторяет он мысленно, как заклинание) — по литературе, единственно по литературе.

— По литературе, так по литературе. Но в лицо вы его знаете?

— В лицо знаю.

— Наружность описать можете?

— Могу-с.

Рука Фаддея выводит: «Коллежский...». Двойной экспозицией возникает январская позёмка возле одной из харчевен Варшавы. Бьётся на ветру объявление. Около него толпится народ. Кто-то читает по слогам:

— Ассессор Кю-хель-бе-кер, который при-ме-та-ми: росту высоко-го, глаза на-вы-ка-те... .

К толпе подходит высокий сутуловатый человек в тулупе и крестьянской шапке. Своими выпуклыми глазами он всматривается в объявление. Хриплым протяжным голосом он бормочет про себя:

— Волосы коричневые, рот при разговоре кривится, сутуловат, ходит немного искривившись, говорит протяжно... .

Рот у человека действительно кривится.

— Горяч, вспльчив, и нрав имеет необузданный, — это уже читает полицмейстер Шульгин сочинение Фаддея. Шульгин вычеркивает последнюю фразу: «Горяч, вспльчив», — это до примет не относится. — А лет ему сколько?.. За правильность сообщения примет вы отвечаете головой!

У той же харчевни в Варшаве толпится уже другой народ. Только высокий сутулый человек всё ещё там. Бравый военный читает объявление, искоса поглядывая на него: «Отроду ему около тридцати лет...».

Фаддей в кабинете Шульгина приложил руку к сердцу:

— Ваше превосходительство! Не извольте беспокоиться: по этим приметам вы его в сотне людей различите. Это описание — прямо сказать — литературное произведение.

— Можете идти.

— А скажите, пожалуйста, как здоровье его императорского величества? — неожиданно для самого себя спрашивает Булгарин с верно-подданническими нотками в голосе.

Шульгин смотрит на него с удивлением.

— Здоров! — рывкает он. — Можете идти.

Фаддей, от радости пританцовывая, выбегает на улицу. Звучит ликующе: «Будешь цел. Будешь цел!» Он смешался с толпой у костров. Притопывает под «Барыню»: «Будешь цел! Будешь цел!»

Тут всякая уличная шваль: отставной штабс-капитан, какой-то чиновник, солдатня — и среди них танцует толстый, обрюзгший Фаддей Бенедиктыч Булгарин. «Первый друг Грибоедова», «С Пушкиным на короткой ноге», «К Жуковскому<sup>4</sup> и Крылову вхож...», — слышен громкий шёпот узнающих его людей.

А с возов, прикрытых рогожами, продолжает капать кровь. Дым застилает экран.

Вот это уже не дым, а январская позёмка в Варшаве. Медленно отходит от объявления Кюхельбекер.

— Стой! — кричит ему вслед унтер.

— Что вам нужно? — спрашивает с гадливостью Вильгельм.

— Рот кривит! — кричит унтер, вытаскивая тесак из ножен.

— Прочь руки! — в бешенстве говорит Вильгельм.

— Васька, держи его, — говорит деловито унтер солдату. — Это о нем объявление написано.

Вильгельм смотрит бессмысленно в веснушчатое лицо с водянистыми глазами. «Как просто и как скоро», — слышим мы его голос.

Быстро промелькнули в его памяти отрывочные эпизоды побега: от совсем недавних до последних минут на Сенатской площади.

Вот прощается с ним его слуга Семён<sup>5</sup>. Садится в возок и уезжает. Вильгельм остается один... Вот две молодые женщины в заснеженном лесу передают ему паспорт и обнимают в последний раз... Вот переодетый в нагольный тулуп Кюхля обменивает свою городскую шляпу на крестьянскую в каком-то трактире. Семён помогает ему в этом... Вот Виля, грязный, в оборванном фраке, стоит посреди комнаты у тётки Брейдкопф, и та в ужасе смотрит, как с него стекает вода.

Вильгельм ясно видит всё: как на Сенатской площади под тонкое пение картечи дрогнула передняя колонна и заметались матросы, как толпа бросилась бежать, увлекая его за собой.

— Стой! — кричит Вильгельм диким голосом. — Стройся! — и этот худой высокий человек с перекошенным лицом, сжимающий в руке длинный пистолет, приобретает власть над людьми. Они начинают строиться. Но в ответ — тонкий визг картечи. Вильгельм стоит, сжимая в руке пистолет. Все лежат. Он один стоит.

Генерал Сухозанет<sup>6</sup> отдаёт команду:

— Пальба орудиями по порядку!

Картечь врывается в толпу. Десятки людей падают. Кадр застывает. Медленно возникает надпись:

*«На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года  
перестали существовать люди двадцатых годов...»*

*Юрий Тынянов.*

Изображение постепенно светлеет, и на экране один за другим возникают знаменитые пушкинские рисунки: автопортрет, женские головки, виселицы, лицо Кюхли. Рисунки сменяют друг друга, и появляются титры. Тихо звучит песня на слова Пушкина:

«Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли!»

На последнем рисунке мы видим Пушкина, повстречавшего телегу с гробом Грибоедова. Потом в фильме кадр почти точно повторит этот рисунок.

Дороги среди бескрайних просторов. Они пересекаются, вытесняют одна другую. Дороги летом, зимой, осенью. Вот в глубине кадра возникает какая-то точка. Она приближается — это карета. Чей-то высокий надтреснутый голос произносит:

«С утра садимся мы в телегу;  
Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,  
Кричим: пошёл.....»

Карета надвигается на зрителя. «Пошел!» — кричит фореитор, и другой хриплый голос вторит ему: «Пошел!» В этом хриплом голосе неукротимость и неловкость восторга, что-то трогательное и смешное...

Бешено мчится карета: «Пошел!» — кричит фореитор. «Пошел!» — откликается хриплый голос. Рвутся вперед кони. Стучат копыта.

Но вот уже не копыта ударяют о землю, а молот бьет по кандалам: ковыкают Кюхельбекера.

— Пошли, — толкает его начальник конвоя и выводит из помещения. Возникает неясный еще пока музыкальный образ. Потом он будет часто звучать, предвещая то душевное состояние героя, когда ему удается мыслями уйти от действительности.

«Пошел!» — кричит один из конвойных, и возок с арестантом трогается. Мелькают пустынные деревни, бесконечные сугробы, полосатые верстовые столбы. Кюхля сидит между двух конвоиров с одинаковыми тупыми лицами, с одинаковыми ружьями между колен, и все же ему удастся найти такое положение, чтобы конвоир ему почти не заслонял небо, деревья.

И вот за спиной конвоира видит уже Вильгельм улицы Парижа и Ниццы, Берлина и Марсея.

Альпийский луг. Чистое небо. Полевые цветы. Прямо вот так, в кандалах, Кюхля наклоняется, срывает цветок. Добродушно-ласково смотрит на него сановник Александр Львович Нарышкин.<sup>7</sup>

Арестантский возок и роскошная карета Нарышкина как бы сливаются в одно целое. С одной стороны — Кюхля в кандалах и конвоиром за плечами, с другой — Нарышкин. Они ведут непринужденную беседу.

— Вильгельм Карлыч, родной, почитали бы да рассказали. Сил моих нет самому газеты читать, право.

И старый добродушный ленивец откинулся на мягкую подушку.

В закованных руках Кюхли старые газеты.

— А то отложим, — звучит голос Нарышкина. — Я ведь вас люблю, мой дорогой секретарь. Бог с вами, прямо люблю.

Голова Кюхли опустилась на грудь.

Конвоир запел песню. Это колыбельная. «Баюшки-баю», — поет он.

— Знаете ли что, — продолжает Нарышкин. — В Россию брюхом хочется. И что за бес нас сюда гнал. Тут и понять даже ничего нельзя, — он взял одну из газет. — Какие-то Занды, Лувели. Один убивает русского шпиона, другой французского герцога. Революция, восстания, Португалия, Греция.

— Да, троны закачались, — соглашается Кюхля.

Портрет Лувеля в руках юного Пушкина. Рядом с ним такой же юный Кюхля. Они в театре. Пушкин пишет на обороте портрета: «Урок царям» и посылает портрет по рядам.

Высокий человек, до которого портрет дошел, сунул его в карман и шёпотом спросил у соседа:

— Кто писал?

— Должно быть, Пушкин, стихотворец.

...Нарышкин продолжает свое:

— Здесь, скажем, что поют? «Бири-би-бири-би», — напевает он, грасируя, как истый парижанин. — А у нас все понятно: «баюшки-баю».

— Баюшки-баю, — мурлычет конвойный, покачиваясь на ухабах.

— Бири-би-бири-би, — смеется Кюхля.

— Бири-би-бири-би, — хохочет Нарышкин. — А в России и тепло, и удобно, и, главное, все понять можно...

Искаженное лицо Кюхли. Рот его кривится:

— Всё?!

Взмах шпицрутенов. Рука выдвигается, как рычаг, и ударяет шпицрутеном по обнаженной спине. Руки со шпицрутенами продолжают замахиваться, хотя на экране уже видны крестьяне, низко кланяющиеся проезжающему барину.

— Рабство, — говорит Кюхля, обращаясь к набитому битком залу Атенея в Париже. — Рабство, которым пахнет хлеб, посеянный рабом; рабство, в коем поется песня. О, какая ненавистная картина! Как распространяется рабством развращение! Свобода мнений, в которой рождалась гражданская истина, уступила место единой воле. Что могло последовать вслед за этим? Казни, ссылки, раболепное молчание всей страны, уничтожение духа поэзии народной, связанного неразрывно с вольностью. Как все это близко нам и посейчас, хотя несколько веков отделяют рабство древнерусское от рабства нашего! — и Кюхля, задыхаясь, не владея собою больше, пошатнулся и, желая удержаться, задевает графин с водой. Графин разлетается вдребезги. Зал ревет от восторга. В изнеможении Вильгельм падает в кресло.

Что-то быстро строчит человек с водянистыми глазами, сидящий в первом ряду.

Вот он в толпе, окружившей Вильгельма. Кюхля уже оправился и, бледный, отвечает на рукопожатия. К нему подходит седой человек с благородной внешностью:

— Молодой человек, — говорит он, пожимая Вильгельму руку. — Вы нужны своему отечеству! Пока жив хоть один тиран, свобода не может быть обеспечена ни для одного народа, берегите себя!

— О, как вы правы! — восклицает Вильгельм и порывисто обнимает незнакомого человека. «Это еще не голова, но это уже сердце», — слышит Кюхля...

Но вот уже другие руки обнимают Вильгельма. Это руки его сестры Устенки<sup>9</sup>. «Виля, бедный мой мальчик!» — плачет она. А вокруг заснеженный лес, Дуня с открытыми объятиями приближается к Кюхле. Изображение Дуни<sup>10</sup> неожиданно покачнулось.

Возок, в котором везут арестованного, подпрыгнул на ухабе. Зазвенели кандалы...

Тихо позванивают бокалы с шампанским на подносе. Лакей с подносом подходит к группе гостей. Кюхля неловко берет один из бокалов и, разливая половину, передает пятнадцатилетней Дуне Пушкиной. Дуня весела. Движения ее легки и свободны. Она берет бокал.

Искаженное лицо Кюхли-арестанта.

И опять бал.

— Зачем же так грустить? — говорит Дуня.

Трагическое лицо Кюхли-арестанта.

Голос Дуни повторяет: «Зачем же так грустить?»

... — Что же вы натворили, друг мой? — с тоской и испугом говорит Нарышкин из своей половины кареты.

— Глубоко сожалею, — отвечает хриплый голос Вильгельма.

— Вы должны понимать, что подвергаете неприятностям и даже опасности людей, нимало в том не виновных.

Арестованный Кюхля сочувственно качает головой.

— И теперь вам приходится покидать Париж в 24 часа. И всё из-за этой лекции...

— Итак, расстанемся, Александр Львович.

— Ну вот видите, друг мой, — говорит с видимым облегчением Нарышкин. — Ах, до чего вас неосторожность доводит.

— Бири-би-бири-би, — смеется Кюхля.

— Бири-би-бири-би, — поддакивает, смущенно улыбаясь, Нарышкин.

— Баюшки-баю, — поет конвоир.

Вот арестантский возок и карета разделились.  
Возок медленно ползет по дороге, а карета быстро уменьшается  
и исчезает в бескрайних снежных просторах.

Кюхля бормочет свои стихи:

«О Дельвиг,<sup>11</sup> Дельвиг! Что награда  
И дел высоких и стихов?  
Таланту что и где отрада  
Среди злодеев и глупцов?  
В руке суровой Ювенала  
Злодеям грозный бич свистит  
И краску гонит с их ланит.  
И власть тиранов задрожала!»

Кюхля сидит в подводе, обхватив голову руками. Вытянутая шея, нелепая спина. Он слегка покачивается в такт стихам. Это смешит соскучившихся конвоиров. Один из них передразнивает Кюхлю: вытянул шею, сгорбил, выпучил глаза.

Кюхля услышал смех, поднял голову:

— А, Яковлев<sup>12</sup>, — всматриваясь в конвоира, равнодушно говорит он.

— Какой Яковлев? Мы Петровы, — обиделся конвоир.

— Яковлев, Яковлев, — повторяет арестованный.

Яковлев стоит, вытянув шею, сгорбившись и тараща глаза, заунывным голосом читает стихи о Кюхельбекере:

«Явися, Виленька, и докажи собой,  
Что ты и телом и душой  
Урод пресовершенный».

Обступившие его лицеисты хохочут. Пушкин смеется до слез:

— Кюхля, вылитый Кюхля.

Яковлев преображается. Из длинного Вильгельма он становится маленьким и вертлявым, хохочет, подражая Пушкину:

— Кюхля, вылитый Кюхля! — передразнивает он его. И опять все смеются. Тут собрались Дельвиг, Пушин<sup>13</sup>, Горчаков<sup>14</sup>, Корф<sup>15</sup> и другие. Мрачно сжимая кулаки, стоит в стороне Кюхля. На Яковлева сыплются со всех сторон заказы: «Будри!», «Броглио!», «Иона!», «Дьячка с трелями!» Молниеносно преображаясь, Яковлев выполняет просьбы. Неожиданно Яковлев приложил палец к губам. Начесал волосы на виски, расставил ноги и обвел всех ледяным взглядом.

— Александр!<sup>16</sup> Царь! — зашептали сквозь смех лицеисты.

— Да, кстати, — сказал небрежно князь Горчаков, близорукий, румяный мальчик, — вы знаете, что нас собираются посылать на дежурства во дворец?

— Горчаков, это правда? — обрадовался Корф.

— Я лакейской должности не исполнял и не буду, — возмутился Пушкин.

— Дело идет не о лакеях, но о камер-пажах, — примирительно говорит Корф.

— Но камер-паж и есть царский лакей, — возражает Пуцин.

— Только подлец может пойти в лакеи к царю! — выпалил Кюхля и побагровел.

— Кто не хочет, может не идти, а ругаться подлецом низко, — выкрикивает Корф.

— Иди, иди, Корф, — улыбается Пушкин, — там тебе по две порции давать будут.

— Позвольте-с мне, ваше величество, — голосом Корфа говорит Яковлев, у него угодливое лицо, в вытянутых руках, очевидно, ночной сосуд. Горчаков снисходительно улыбается. Кюхля смеется вместе со всеми.

— Забавно, — лениво говорит толстый Дельвиг.

— Теперь что-нибудь новенькое! — кричит Пушкин и усаживается на стул, поджав под себя ногу.

— Любовный дуэт, Минхен и Кюхля, — объявляет Яковлев. Ему не удается договорить, Вильгельм, побагровев, бросается на него. Завязывается драка. Общими усилиями Кюхлю водворяют в келью и запирают дверь. Обхватив друг друга за плечи и приплясывая, лицеисты поют:

«Ах, тошно мне  
На чужой скамье!  
Все не мило, все постыло  
Кюхельбекера там нет!  
Кюхельбекера там нет —  
Не глядел бы я на свет.  
Все скамейки, все линейки  
О потере мне твердят».

Запертый в келье Кюхля яростно колотит кулаками в дверь.

— Подлецы! Подлецы! — кричит он.

В черном прямоугольнике двери открывается «глазок». Чей-то голос произносит:

— Государственным преступникам первого разряда, осужденным к смертной казни, разговаривать и кричать воспрещается.

В ответ раздается глухой стук.

— Бить головой о стенку не полагается.

Кюхля опускается в камере на кровать. Он все еще в кандалах.

— Ах, не скучно мне на чужой скамье! — напевает он надтреснутым голосом.

— И плакать громко тоже нельзя, — раздается тот же голос...

...Радужные круги. Какие-то отрывочные очертания пейзажа. Солнце, пробившееся сквозь листву, отступает под толщей воды. Радужные круги сомкнулись. Отчаянные крики:

— Здесь! Виля здесь!

— Он бросился в пруд! Давайте багор!

Кюхля лежит на арестантской постели. Глаза его открыты. Около него хлопочут юные Пушкин и Пущин...

...Они поправляют одеяло на вытащенном из воды Виле, который лежит в больничной палате.

— Ты пойми, — говорит рассудительно Пущин, — если из-за какой-то шутки Яковлева топиться, так в пруду не хватит места, ты же не бедная Лиза<sup>17</sup>. Вильгельм молчит. Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и крепко ее пожимает.

— Пущин прав, — говорит он. Тогда Кюхля срывается с постели, обнимает его и бормочет:

— Я не мог больше, Пушкин, я не мог больше!

— Тяжелый у тебя характер, брат Кюхля, — Пушкин говорит жестко, как старший, — люблю тебя, как брата, но, когда меня не станет, вспомни мои слова: ни друга, ни подруги не знать тебе вовек...

... — Александр, друг, — мечется по постели Кюхля-арестант. Но вместо Пушкина на экране возникает лицо другого Александра — Грибоедова.

— Спи, дружок, — ласково улыбаясь, говорит Грибоедов. — Завтра солнце рано разбудит.

Грибоедов садится на краешек арестантской постели.

— Знаешь, Александр, какой у меня план созрел: надо Ермолова на помощь восставшим грекам двинуть, — говорит Кюхля и садится на кровати. Это уже другая кровать. Стоит она в комнате у Кюхли на Кавказе. Вильгельм почти красив в белой ночной рубашке. В ногах у него сидит Грибоедов. Он изумленно смотрит на Вильгельма.

— Да, да! Нужно без царя справляться. Если Алексей Петрович<sup>18</sup> сам в Грецию двинется, вся Россия с ним будет, — продолжает Кюхельбекер.

Грибоедов скептически улыбается.

— О нет, Александр, как ты ошибаешься...

— Что там тираны перед вольностью, — убежденно говорит Вильгельм.

— Возмущение народа, дружок, — говорит Грибоедов, — не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль.

Вильгельм порывисто встал:

— Ах, Александр, поверь...

— Верю, верю, что тебе надобно немного остыть. Не то тебя в колдовки успеют посадить... Скажи лучше, мой друг, что в Петербурге слышно?

— Все то же, милый, городские сплетни, мелкие пересмешники. Я осмеян и презрен всеми, — только ты да Пушкин. Я к тебе надолго приехал. Я устал и нигде не могу осесть.

— Всенепременно. Здесь, на Кавказе, по крайности, пунктум. Край забвения. — Грибоедов произносит это почти с удовольствием.

— Забвенье, — горестно шепчет арестант Кюхля у себя в камере.

Пестрая толпа на Невском проспекте. Кюхельбекер и Рылеев медленно и плавно движутся среди толпы. Их узнают, перешептываются, но толпа обтекает их, оставляя свободное пространство. Только человек с водянистыми глазами все время где-то рядом.

— Слышал, всё о тебе слышал, — говорит Рылеев. — Ты теперь стал знаменит. Твоя лекция, читанная в Париже, ходит в списках...

— Право? — просиял Кюхля, — Корф! — вдруг радостно кричит он и бросается навстречу элегантному молодому человеку, расталкивая прохожих. Но Корф резко поворачивается и, только слегка кивнув головой, быстро уходит. Кюхля стоит посреди улицы и растерянно улыбается.

«Кто не хочет идти в камер-пажи, может не идти, а ругаться подлецом низко», — вспоминает Кюхля эпизод в Лицее.

— Иди, иди, Корф, — говорит юный Пушкин, — там тебе по две порции давать будут...

Горчаков снисходительно улыбается.

...К все еще неподвижному Кюхле подходит Рылеев. Берет его под руку:

— Да, друг мой, — эти лекции принесли тебе не только славу... Они вызвали ненависть и страх. Пушкин в ссылке, и тебя в Петербурге не оставят...

Юный Горчаков из лицейских воспоминаний снисходительно улыбается Кюхле в его тюремной камере.

Странная карета въезжает на Сенатскую площадь. Лошади цугом, форейтор впереди. В карете сидит молодой человек в сильно напудренном парике и в очках. Он несколько удивленно смотрит на солдат, выстроившихся в каре, на бегающих людей, на шумящие толпы народа. Проезжая мимо каре, он замечает Вильгельма.

— Кюхельбекер, это вы? — кричит он весело. Вильгельм подходит к карете и вглядывается в молодого человека:

— Горчаков?

— Как у вас нынче людно, — говорит Горчаков рассеянно, — всем как в Лондоне... уже и войска собрались. Я, знаешь ли, опоздал к присяге.

Вдруг он замечает в руке у Вильгельма длинный пистолет.

— Что это такое? — поправляет он очки.

— Это? — смотрит Вильгельм на свою руку. — Пистолет.

— Трогай, голубчик, — решительно говорит Горчаков форейтору.

К Вильгельму подходит странный маленький человек в поношенной темной одежде:

— Я предводитель толпы народной, нам нужно объединиться, нужно организовать толпу, раздать оружие. Толпа хочет присоединиться. Кто предводитель у вас?

— Кто предводитель? — повторяет Кюхля и растерянно смотрит по сторонам.

Густой дым стоит в комнате. Лица в свете ламп неверны, голоса охрипли, мундиры и сюртуки расстегнуты. Все говорят сразу, одни приходят, другие уходят. От одной кучки к другой быстро переходит Рылеев. Он дает поручения, расспрашивает или просто жмет руку, говорит мимоходом:

— Мир вам, люди дела, а не слова.

Рылеев проходит мимо Вильгельма, который, ничего не видя вокруг себя, держит за руку Сашу Одоевского<sup>19</sup>, и тихо касается руки Кюхельбекера. Вильгельм мгновенно содрогается от этой ласки. Рылеев подходит к Трубецкому<sup>20</sup> и Якубовичу<sup>21</sup>.

— Жребий, мечите жребий, кому убивать тирана, — требует Якубович.

— На плаху их! — кричит, багровея, Каховский<sup>22</sup>.

Тогда Рылеев бросается к нему:

— Любезный друг, — говорит он и смотрит с тоской в спокойное лицо Каховского, — ты сир на земле, ты должен пожертвовать собой для общества.

— Я! Я тоже. Вот моя рука! — поднимает руку Вильгельм. Кто-то берет его за плечо. Он оборачивается: Пущин смотрит на него строгими глазами.

— Да, Пущин, — говорит Вильгельм тихо. — Жанно, я тоже в обществе. Они смотрят друг на друга, улыбаясь...

...Кюхля торопливо сбрасывает шинель и подбегает к своему брату. Тот пасмурно и деловито смотрит на него.

— Миша<sup>23</sup>, брат, мы вместе до конца, — обнимает его Вильгельм. Миша застенчиво улыбается. Ему чего-то стыдно. Он спрашивает кратко:

— Ты давно?

— Только что, — говорит Вильгельм, бессмысленно улыбаясь.

— Хочешь завтракать? — спрашивает Миша. Они высоко поднимают стаканы и молча чокаются. Говорить трудно.

— Я к тебе по поручению, — вспоминает Вильгельм, — меня Рылеев прислал спросить, как дела идут.

Миша стал деловит:

— На экипаж можно надеяться твердо... Сейчас ко мне должны придти матросы. Поговори с ними...

...Но вместо матросов перед Кюхельбекером опять оказалось лицо Пущина. Пущин, все еще улыбаясь, смотрит на него.

— На кого же мы можем рассчитывать? — спрашивает с усилием Трубецкой.

— На юге у Пестеля<sup>24</sup> в первой армии готово сто тысяч человек, — говорит Корнилович<sup>25</sup>. Пущин оборачивается к Трубецкому:

— Москва тотчас же присоединится. Я только оттуда.

— Да, но завтра, здесь, у нас совсем нет сил. Может быть, подождать? Ведь у них артиллерия, — говорит Трубецкой. У него дрожат губы.

— Князь Трубецкой, мы избрали вас нашим диктатором, — смотрит на него в упор Рылеев, — чтобы решительно действовать. Непременно действовать. Рылеев берет со стола бумагу. Это копия с доноса Ростовцева<sup>26</sup>.

— Вы забыли, что Ростовцев нас предал? Ножны изломаны. Сабли спрятать нельзя, умирать все равно. Завтра к Сенату: он в семь часов для присяги собирается, мы заставим его подчиниться.

Кюхля восторженно смотрит на него, но возникающая решетка тюремной камеры отделяет их друг от друга. Постепенно изображением реальной камеры, в которой заключен Кюхля, вытесняется воспоминание о Рылееве. Кюхля стоит у зарешеченного окна.

— Да, мы избрали его диктатором, — бормочет он. Он видит, как высокий, легкий Каховский, в одном фраке, пробегает по площади Сената и замешивается в толпу у памятника.

А народ везде. Даже между колонн Сената стоят черными рядами люди, даже на крышах соседних домов. Двое мастеровых схватили в толпе какого-то офицера и держат его крепко, Вильгельм вмешивается и говорит умоляюще:

— Отпустите его.

— Он нас разойтись уговаривает!

— Уговорщиков и шпионов стрелять! — кричит Каховский и, выхватив кинжал, ударяет офицера.

Подходят Рылеев и Пущин.

— Дольше так продолжаться не может, — возмущенно говорит Пущин. — Где же, наконец, Трубецкой? Без диктатора действовать нельзя.

Вильгельм вынимает из кармана пистолет, опять прячет его и снова вынимает:

— Где же Трубецкой?

Вильгельм смотрит на Пущина и хватается за голову. Он бежит по площади. Спотыкается.

— Да пистолет-то спрячь! — кричит ему вслед Пущин.

Бритый швейцар встречает тяжело дышащего, с сумасшедшими глазами человека, смотрит на него недоверчиво.

— Как прикажете доложить?

Вильгельм случайно вместо визитной карточки опять достает пистолет.

— Его нет дома, — любезно говорит княгиня. Лицо ее бледно, губы дрожат.

— Где же князь? — настойчиво спрашивает Вильгельм. — Его ждут на площади.

— Я не знаю, — говорит княгиня совсем тихо. — Он очень рано ушел из дому.

— Как ушел? Его на площади нет.

Княгиня опускает голову. Вильгельм все понимает, срывается с места и бежит вниз по какой-то бесконечной мраморной лестнице.

— Трубецкой на площадь не придет. Он либо изменник, либо трус... Трубецкой на площадь не придет, — без конца повторяет он. В руке у него все еще зажат пистолет.

Белый мрамор мелькающих ступеней застывает белым снегом Сенатской площади.

...Рука Кюхельбекера неохотно роняет пистолет в снег.

— Где Одоевский, Рылеев, Пущин? — спрашивает он у Каховского. Тот молча смотрит на него и исчезает в темноте Сенатской площади.

...Держась за бок, оседает в снег генерал Милорадович.<sup>27</sup> Вильгельм пристально смотрит на пистолет в руках Каховского, который еще дымится.

...Шинель Кюхельбекера сползает в снег, в его руке зажат пистолет. Каховский сыплет порох на полку пистолета Кюхельбекера. Пистолет нацелен на белый султан, который отчетливо виден в темноте. Осечка. Ничего не понимая, Кюхля с удивлением заглядывает в дуло своего пистолета.

...Перед толпой солдат появляется на коне Михаил Павлович.<sup>28</sup>

— С вами хочет говорить брат наследника престола! — кричит истошным голосом адъютант Мишеля.

Мишель пытается что-то крикнуть солдатам, но в ответ раздается:

— Ура конституции!

В это время Пущин говорит несколько смущенно Вильгельму:

— Хотите ссадить Мишеля?

И Вильгельм отвечает еле слышно: «Да, Жанно».

Он незаметно выдвигается вперед. Роняет на снег шинель.

— Я близорук. Который Мишель?

— С черным султаном, — отвечает Пущин.

Вильгельм целится в черный султан. Курок спущен, но вместо выстрела какой-то щелкающий звук.

Мишель и генерал поворачиваются и скачут прочь.

— Что за проклятие? — бормочет Кюхля.

Кто-то накидывает на него сзади шинель.

...Кюхля вскидывает голову. Перед фасом каре маячит белый султан.

Кругом голоса:

— Воинов<sup>29</sup>. Генерал Воинов!

Другой генерал — Сухозанет — подъезжает к москвцам:

— Ребята, положите ружья. Буду стрелять!

Свист, улюлюканье, нечеловеческий шум.

Взмах руки Сухозанета. Тишина. Первый залп. Визг картечи. Звонят стекла Сената. Картечь попадает в людей, облепивших колонны и крыши соседних домов. Падают солдаты. Еще один залп. Все бросаются на снег. Только Вильгельм стоит. Искривленные губы. Сутулые дергающиеся плечи. Рука приросла к пистолету...

...Рука неохотно роняет пистолет в снег.

— Где Одоевский, Рылеев, Пущин? — спрашивает Кюхельбекер у Каховского. Каховский молча смотрит на него. Поворачивается и медленно уходит. Он исчезает в темноте...

...Тихо звучит песня на слова Пушкина: «Бог помочь вам, друзья мои»... В ритме песни аппарат движется вдоль камеры, в которой

заключен Кюхельбекер. Изучает ее. Поднимается к решеткам окна. На окно прыгает кот. Он трется о решетку и мяукает.

Маленький Кюхля как бы зажат колоссальными стенами своей камеры. Кюхля сжался на кровати и с ужасом смотрит вверх на уходящие в бесконечность стены камеры.

Но вот лицо его прояснилось. Вещи-Гулливеры приобретают нормальные очертания. По камере идет пятнадцатилетняя Дуня.

— Друг мой, почему вы так грустны? — говорит она.

— Нельзя, нельзя! — кричит Кюхля и закрывает лицо руками. Очертания Дуни становятся расплывчатыми, и она исчезает. Мелькают лица Пушкина, Грибоедова, Устенки, и снова вторгается лицо Дуни.

— Нельзя, нельзя, — слышен голос Кюхли. Он отгоняет воспоминание о Дуне.

Длинный пустой тюремный коридор оглашается нечеловеческими рыданиями. От одной из стен отходит, гремя ключами, конвойный.

— И кричать нельзя, и бегать нельзя, — бормочет он на ходу. Конвоир направляется к «глазку».

— И плакать громко нельзя, — сочувственно говорит он.

— Тогда я не буду, — слышен голос Вильгельма.

Решетчатое окно наверху камеры. Кота уже нет. Путья решетки почти незаметно превращаются в хлысты-шпицрутены. Они прогнулись, выпрямились, встали.

— И раз, и два, — напевно произносит слова команды чей-то голос.

Окровавленная спина человека между путьями.

Медленно капает кровь с воза, покрытого рогожей.

— Не надо так грустить, — говорит Дуня.

И вот она плывет по длинному тюремному коридору, и конвоиры — одинаковые тупые веснушчатые лица — умиленно машут ей руками.

— И раз, и два, — взмахивают руками военизированные ангелы в такт этому странному темпу.

...Кюхля лежит на кровати, уткнувшись головой в подушку и с трудом сдерживает крик.

Зимний дворец. Царские покои.

Дуня в глубоком реверансе склоняется перед царем. Николай вежлив и галантен:

— Я к вашим услугам, — говорит он и жестом приглашает ее сесть. Холодные глаза осматривают Дуню. Лицо, грудь, талия, руки.

— Ваше величество, у меня к вам просьба, исполнение которой может сделать меня счастливой на всю жизнь.

— Служить счастьем женщины — долг столь же лестный, сколь и неблагодарный.

Грудь, шея, лицо Дуни.

— У меня есть жених, ваше величество, и от вас зависит, смогу ли я с ним соединиться. Имя моего жениха Вильгельм Кюхельбекер.

— Сожалею о вас, — брезгливо усмехается царь.

— Ваше величество, я готова последовать за моим женихом всюду, куда будет нужно.

— Что же вас ждет там? Не лучше ли отказаться от такого жениха?

— Вы заставили бы смотреть на вас как на избавителя!

Николай встает. Поспешно поднимается Дуня.

— Это невозможно.

— Почему, ваше величество?

— Когда я говорю, что это невозможно, излишне спрашивать о причинах. Но, ежели вы желаете знать, извольте. Коллежский ассессор Кюхельбекер покушался на жизнь великого князя Михаила Павловича. Принадлежал к тайному обществу с знанием цели; сам стрелял в генерала Воинова и рассеянных выстрелами мятежников старался поставить в строй. Его надо было повесить с другими бунтовщиками. По просьбе моего брата, Мишеля, я его помиловал. Ваш жених в крепости. Но жениться, согласитесь, находясь в одиночном заключении сроком на двадцать лет, неудобно, — говорит Николай и сухо кивает Дуне головой.

Аудиенция окончена.

Панорама по стене камеры. На ней подписи, оставленные разными людьми. Они процарапаны гвоздем или ногтем.

**«Брат, я решил на самоубийство. Прощайте, родные мои».**

**«Осталось 8 лет 10 месяцев. Болен».**

**«Мучители, душу вашу распять. Наполеон, император всероссийский».**

Хриплый голос Кюхли повторяет текст надписей.

...Метет январская поземка. У одной из харчевен Варшавы стоит долговязый человек и читает объявление. К нему подходит офицер... Тот же хриплый голос Вильгельма успевае прочесть:

— «Лет ему около тридцати...»

Наконец мы видим самого Кюхлю в камере. Он оброс бородой и выглядит гораздо старше своих лет. В руках у него свеча. В камере стол.

На столе книги, исписанные листы бумаги. Вильгельм ставит свечу, садится за стол и начинает писать.

«Александр», — выводит он и говорит, обращаясь в пространство:  
— Александр, ты видишь: я жив, наперекор всему и всем...

И вот уже Кюхля сидит в комнате у Грибоедова и слушает, как тот читает ему «Горе от ума».

Грибоедов за Чацкого:<sup>30</sup>

— Нам, Алексей Степаныч<sup>31</sup>, с вами  
Не удалось сказать двух слов.  
Ну, образ жизни ваш каков?  
Без горя нынче? Без печали?

Реплики Молчалина говорит Корф. Его изображение несколько зыбко.

Молчалин-Корф: По-прежнему-с.

Грибоедов-Чацкий: А прежде как живали?

Молчалин-Корф: День за день, нынче, как вчера.

Грибоедов-Чацкий: К перу от карт? И к картам от пера?

И положённый час приливам и отливам?...

...Кюхля взволнованно ходит по камере:

— Александр, ты преобразуешь весь русский театр! Ты русскую речь на улице берешь! Не в гостиных!

...Опять комната Грибоедова на Кавказе.

Грибоедов-Чацкий: Взманили почести и знатность?

Молчалин-Корф: Нет-с, свой талант у всех.

Грибоедов-Чацкий: У вас?

Молчалин-Корф: Два-с:

Умеренность и аккуратность.

Грибоедов-Чацкий: Чудесных два, и стоят наших всех.

На экране опять камера. Грибоедова нет, но Корф остался. Кюхель-бекер Корфу-Молчалину:

— Только подлец может пойти в лакеи к царю.

Корф-Молчалин: Вам не дались чины;

По службе неуспех?

Кюхельбекер отмахнулся:

Чины людьми даются,  
А люди могут обмануться.

— То ж запрещено ховорить у камери, — раздается в очередной раз голос из «глазка».

— Александр, милый, — шепчет Кюхля, чтобы не было слышно в коридоре. Опять садится за стол и берет перо.

— Что ты теперь пишешь? Как теперь Ермолов поживает? Спорите ли по-прежнему? Сердце как? Неужели так углём и осталось? Скажи, милый, — в волнении Кюхля опять вскакивает и при этом задувает свечу.

Камера погружается в темноту. Слабо светится вечернее небо за решеткой.

И вот уже не окно в камере, а маленькое оконце в комнате на постоялом дворе. Кюхля надевает тулуп.

— Ну вот что, Семен, поезжай домой. Будет тебе со мной возить-ся, — говорит он торопливо. — Дальше вдвоем никак невозможно.

Семен сидит и исподлобья на него поглядывает:

— Как же так, всё вместе, а теперь врозь? — говорит он сердито. — Вместе жили, вместе и поедем...

Грибоедов сидит на балконе. За ним меркнут предгорья. Дверь в комнату открыта. В комнате Кюхля собирает вещи. Ему помогает слуга Грибоедова Александр Грибов<sup>32</sup>.

— Александр, — зовет вдруг слугу Грибоедов, глядя рассеянно на сборы Вильгельма. — Грибов, складывай вещи, я тоже с Вильгельмом еду. Вильгельм радостно к нему оборачивается:

— Саша, неужели?

Грибов не двигается.

— Ты слышал, что я приказываю?

Появляется Грибов, неся охапку шуб.

— Что ты шубы несешь? — изумляется Грибоедов.

— А может, в Расее еще холодно, — равнодушно отвечает Грибов. Грибоедов от этих слов содрогнулся.

— Нет, нет, — быстро говорит он оторопевшему Вильгельму. — Бог с тобой, голубчик, будь здоров, поезжай один.

— Едем на север, — говорит Вильгельм, — здесь от бездействия погибнем. Не все же шататься по большим дорогам.

— Не могу отважиться в любезное отечество, — отвечает Грибоедов и показывает на шубы.

— Саша, дорогой, а то едем, — пристально смотрит на него Вильгельм. Грибоедов поднимает шубу и надевает ее.

— Тяжелая, — говорит он с растерянной улыбкой. — Плечи к земле гнет. Бежать некуда. Край забвенья — и то хорошо.

— Грибоедов, родной, а я не могу.

Кюхля и Семен подходят к занесенному снегом лубяному возку.

— Ну, с богом, — говорит Кюхля, — дома поклон всем передай, письмо не оброни. Устинье Карловне отдашь.

Семен садится в возок, потом, всхлипнув, выскакивает, обнимает Вильгельма и, хлестнув чалку, отъезжает. Кюхля остается один...

...Коляска, нагруженная вещами Кюхельбекера, отъезжает от дома Грибоедова. Вильгельм машет ему прощально рукой. Коляска удаляется. Фигура Грибоедова становится все меньше и меньше...

...Две женщины склонились над письмом. Одна из них Устенка. Она читает:

— Милостивая государыня! Рассчитывая на ваше снисхождение, я хочу поговорить с вами о человеке, который во всех отношениях лучше меня. Что он поделяет, наш добрый Вильгельм, мучимый, не понятый людьми, между тем как он отдается каждому встречному с самым искренним увлечением, радушием, любовью?

— Как он прав, наш дорогой Грибоедов, — всплеснула руками Дуня.

— Нельзя, нельзя! — хрипит Кюхля...

...Изображение Дуни расплывается. Окно дворянской усадьбы, около которого она стояла, сменило опять окно тюремной камеры.

— Как они все ошибались, — бормочет Вильгельм.

...На фоне стены тюремной камеры Кюхельбекера возникает лицо Левашова<sup>33</sup>. Это он вел следственные дела декабристов.

— Вы будете упорствовать? — спрашивает он. — Подстрекали ли вы Вильгельма Карловича Кюхельбекера...

Пушин, который стоит в комнате следователя, отрицательно качает головой.

Искаженное, сумасшедшее лицо Кюхли:

— Жанно, ты же сказал: «Ссади Мишеля».

— Бедный Кюхля, — говорит Пушин и отрицательно качает головой.

— Подстрекали ли вы Вильгельма Карловича Кюхельбекера к убийству великого князя Михаила Павловича? — повторяет Левашов.

Пушин отрицательно качает головой.

Повторяя его движение, качает головой Кюхля у себя в камере.

Мимо него проходят через камеру пятеро со связанными сзади руками. Это Рылеев, Каховский; юноша, почти мальчик, Бестужев<sup>34</sup>, Пестель и Муравьев-Апостол<sup>35</sup>.

— Трубецкой трус или изменник, — кричит им Кюхельбекер. Пятеро молча, не оборачиваясь, идут дальше.

— Я не виноват! — стонет Кюхля.

— Бедный Виля, — говорит Рылеев и ласково улыбается ему.

Какие-то столбы вдалеке, какие-то фигуры качаются между столбами.

Это пятеро качаются на детских качелях.

Взлетает вверх Рылеев. На шее у него болтается оборванная веревка. С сумасшедшим хохотом мечется по камере Кюхля...

На стене возникают отсветы пламени и отражение этой фантастической качки. Но вот все гаснет, стихает. На стене остается одна спокойная тень Рылеева.

Рылеев подходит к Вильгельму, берет его под руку. Они садятся за стол.

— Я испытываю почтение к мечтам моей юности. Опытность часто останавливает стремление к добру. Какое счастье, друг мой, что мы еще не опытны.

— Да, Рылеев, да, — плачет и смеется Кюхля.

— По «Полярной звезде»<sup>36</sup> дела есть. Нужно завтра увидеться. Для журнала нужны стихи. Стихов нет.

— Я уже написал. «Тень Рылеева»:

«Во тьме, на узничьем одре, лежал  
Певец, поклонник пламенной свободы.  
Отторжен, отлучен от всей природы,  
Он в вольных думах счастья искал.  
Но не придут обратно дни былые:  
Прошла пора надежд и снов...  
И вы, мечты, вы, призраки золотые,  
Не позлатить железных вам оков...»

Кюхля достает трубку и в волнении закуривает от свечи.

— У тебя новая трубка? — спрашивает Рылеев.

— Старую я разбил. А я так привык к ней, любил ее; надо же любить что-нибудь!..

...Густой табачный дым в комнате Рылеева.

— Жребий, мечите жребий, кому убивать тирана, — кричит Якубович.

Рылеев говорит тоскливо:

— Каховский, ты сир на земле, ты должен пожертвовать собою для общества...

— Что-то здесь было не так, — говорит Кюхельбекер Рылееву.

Они сидят у подножия пустой виселицы. А всего виселиц пять.

— Не руками же Брутов? Не Брутами же одними?

Качаются на ветру приготовленные уже петли...

...Комната Рылеева.

— Боже, у нас совсем нет сил... Неужели вы думаете действовать? — спрашивает Трубецкой.

— Мы на смерть обречены, — твердо говорит Рылеев, — непременно надобно действовать...

...Снова у подножия пустых виселиц сидит Кюхельбекер. Голос Рылеева читает его стихи:

«Блажен и славен мой удел:  
Свободу русскому народу  
Могучим гласом я воспел,  
Воспел и умер за свободу...»

...Качаются качели. Иногда в отдалении качаются на виселицах пять тел...

... — Зачем вы так грустите? — спрашивает Дуня и исчезает.

... — Виля! — весело кричит Пушкин, стоя на плечах у низкорослого гусара.

Комната полна народа. Гусар бежит вокруг стола, не поддерживая Пушкина руками. «Уронишь!» — кричат за столом. Пушкин ловко спрыгивает на стол между бутылок. Гусары хлопают. Радостно хлопает и подвыпивший уже Вильгельм.

— Прочти что-нибудь, — кричат Пушкину.

— «Ноэль», — спокойно и трезво говорит один из гусаров. Лоб у гусара высокий. Глаза холодные, серые.

— Кто это? — спрашивает Кюхля у Каверина<sup>37</sup>.

— Это наш философ Чаадаев, — говорит Каверин и наливает большую чашу пунша. — За вольность, Кюхельбекер! До конца!

Каверин гримасничает, делая «гром и молнию». Пушкин начинает читать.

...Камера Кюхельбекера. Он опять говорит сам с собой:

— Саша, голубчик мой, радость, пришли мне все, все, что написал... Вообрази, я твоих «Цыган» от доски до доски помню:

«И ваши сени кочевые  
В пустыне не спаслись от бед.  
И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет...»

...Сидящие за столом гусары аплодируют Пушкину. Тот легко спрыгивает со стола. Подходит к Вильгельму.

— Какие люди! Какие люди! — говорит восторженный еще более чем всегда, Кюхля. — Смотри, вот там Бурцов<sup>38</sup>. Потрясающего ума человек!

— Так тебе здесь понравилось? Правда, хорошо? — улыбается Пушкин.

— Слишком пьяно, — неожиданно мрачно отвечает Виля. — Они все насмешники.

Пушкин покачал головой:

— Тяжелый у тебя характер... Люблю тебя как брата, Кюхля, но, помни, когда меня не станет...

«...Ни любовницы, ни друга  
Не иметь тебе вовек!...»

Протяжно и заунывно читает Кюхельбекер свои стихи, сидя на кровати в камере. И снова отсветы пламени на стене камеры. Качаются качели. Мелькают лица. Качаются силуэты повешенных на стене камеры. Слышен сумасшедший хохот Кюхельбекера.

...Длинный коридор тюрьмы. Несется по нему хохот, лай, вой.

От стены отходит конвоир. Звуки все усиливаются... Конвоир наклоняется к «глазку».

Титры: «На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди двадцатых годов».

Дороги среди бескрайних просторов. Они пересекаются, вытесняют одна другую. Дороги летом, зимой, осенью.

В глубину кадра уходит карета. Она делается все меньше и меньше. Чей-то хрипловатый голос произносит:

«Но в полдень нет уж той отваги.  
Порастрясло нас; нам страшней  
И косогоры, и овраги;  
Кричим: полегче, дуралей!..»

По одной из дорог едет карета. Мы приближаемся к ней. В карете Пушкин. Рядом с ним фельдъегерь. Но камера скользит дальше и останавливается на кучере.

— Приехал вдруг ночью жандармский офицер из городу, — говорит кучер, обращаясь прямо к зрителям, — велел сейчас в дорогу собираться, а зачем, неизвестно. Арина Родионовна<sup>39</sup> растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич — ее утешать: «Не плачь, мама, — говорит, — сыты будем; царь хоть куда ни пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу, — кивает он головой на фельдъегеря, — да мы все позамешкались: надо было в Тригорское посылать за пистолетами... Жандарм увидел их и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны.» — «А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать, это моя утеха...»

Карета проезжает, и на экране возникает лицо другого рассказчика:

— Я Николай Лорер<sup>40</sup>, член тайного общества, — представляется моложавый человек с веселыми глазами, — мне посчастливилось услышать этот рассказ от Пушкина. Небритый, в пуху, измазанный, был он представлен к дежурному генералу. С ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя<sup>41</sup>.

— Брат мой, — говорит Николай в знакомом нам уже кабинете, — покойный император сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого наказания с условием не писать ничего против правительства.

Пушкин: Ваше величество, я давно ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал.

Николай: Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири.

Пушкин: Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства.

Николай: Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер!

Пушкин: Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивить одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь.

Николай: Я позволю вам жить, где хотите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором.

Он берет Пушкина под руку и выводит его в коридор. Царедворцы кланяются.

Николай: Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем.

— Дело было не совсем так, — поднимает брови Пушкин. — Меня ввели в кабинет императора, всего покрытого грязью...

Николай задумчиво ходит по кабинету, потом говорит:

— Пушкин, приняли бы вы участие 14 декабря, если бы были в Петербурге?

Пушкин: Непременно, государь: все мои друзья были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одни лишь обстоятельства спасли меня, за что я благодарю бога.

Николай: Довольно ты подурачился, надеюсь, теперь будешь рассудителен. Ты будешь пересылать мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором.

С экрана улыбается Корф.

— Модест Корф, граф. Я слышал эту историю от самого государя. Однажды за небольшим обедом у государя, при котором я находился, было говорено о Пушкине.

Николай: Я впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву, совсем больного и покрытого ранами... от известной болезни, — император иронически улыбается. Подобострастно улыбается Корф: — Государь так и сказал: от известной болезни (хихикает).

Николай: «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. — «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос мой, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим...

Кюхельбекер сидит у себя в камере. Это уже другая камера, светлая, с довольно большим окном. За окном весна. Он тихо читает протажным голосом:

«Служенье муз не терпит суеты,  
Прекрасное должно быть величаво,  
Но юность нам советует лукаво,  
И шумные нас радуют мечты...»

К Вильгельму на кровать подсаживается Пушкин, обнимает за плечи, трется щекой о щеку и читает дальше:

«Опомнимся — но поздно! И уныло  
Глядим назад, следов не видя там.  
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,  
Мой брат родной по музе, по судьбам?»

«Пора, пора, — продолжает Кюхельбекер. Губы его от волнения кривятся. Дыхание прерывается. —

Душевных наших мук  
Не стоит мир. Оставим заблужденья,  
Сокроем жизнь под сень уединенья!  
Я жду тебя, мой запоздалый друг».

Кюхля заплакал быстро, как ребенок, сразу утер слезы и заходил по комнате. Потом он сел к столу и стал перебирать письма.

И тогда к нему пришла Дуня.

— Мой милый друг, — сказала она и провела рукой по его волосам. — Что бы со мной ни приключилось, где бы я ни была, всегда думаю о вас. Поверьте, разлука мне не так тяжела, потому что я уверена, что в то мгновенье, когда я о вас думаю, вы тоже думаете обо мне, и мне достаточно знать, что вы живы где-то, хоть на необитаемом острове, чтобы быть веселой. Какое счастье, Вильгельм, что вы остались живы. Я жду конца вашего заключения, которое ведь наступит же. Мы оба еще достаточно молоды, — она наклоняется, целует Кюхлю в его выпуклые близорукие глаза. Вильгельм закрывает глаза, и Дуня исчезает. Только звучит ее голос: «Целую ваши глаза, мой друг».

Яркий солнечный день. Кюхельбекер верхом обгоняет коляску. В коляске пожилая барыня и молодая девушка. Увидя Вильгельма, девушка захлопала в ладоши и засмеялась. Это Дуня...

Мокрая от росы трава. Застывшие облака. Дуня верхом едет по лесу. Ее белокурые волосы развеваются. Ее догоняет Кюхля. Его нелепая длинная фигура верхом на лошади напоминает Дон-Кихота.

— Я боюсь, что тиран выйдет у вас в трагедии более привлекательным, чем герой, который его убивает, — говорит, хитро улыбаясь, Дуня. — Чтобы можно было полюбить человека, он должен иметь хоть один порок. Вот у вас их много, — добавляет она лукаво и скачет дальше. Вильгельм скачет рядом и не видит ни неба, ни дороги, ни дальнего леса. Только белокурые волосы, развевающиеся на ветру...

...Ветер крутит январскую поземку. С открытыми объятиями Дуня приближается к Вильгельму. По лицу ее текут слезы. Мы уже видели

начало этого кадра. Та же заснеженная роща. Рядом Устенъка. Дуня просто, не таясь, обнимает Вильгельма. Устенъка шепчет тревожно:

— Паспорт теперь у тебя есть. Ты в Варшаву иди. Оттуда до границы близко.

Вильгельм целует мокрое от слез лицо Дуни. Он целует ее еще и еще раз. Ему трудно оторваться от этого воспоминания. — «Нельзя, нельзя», — слышен его неуверенный шепот. Но Дуня не исчезает...

Чиновник в мундире 3-го Отделения смотрит на свет конверт, вскрывает его и вынимает письмо. Это письмо Дуни.

— Вообразите, кого я сегодня встретила на чтении «Бориса Годунова», — говорит голос Дуни, — вашего Александра! Грибоедов был там. Чиновник недовольно морщится. А голос Дуни продолжает звучать:

— Пушкин обворожен Александром. Но мне показалось, что при нем Пушкин как-то жметя и не договаривает... Грибоедов в большом почете...

...К Зимнему дворцу подкатывает карета. Из нее легко выскакивает худощавый человек в очках и парадном мундире. Слышны пушечные залпы.

Грибоедов в сопровождении придворного скорохода торжественно шествует по парадной лестнице. А голос Дуни продолжает:

«...Он привез сюда мир, и его встречали пушками. Кажется, его назначают министром в Персию. Он хлопочет, чтобы перевели вас на Кавказ. О, это ему удастся!»

Из залы в залу четким шагом идет коллежский советник Александр Сергеевич Грибоедов. И в каждом из апартаментов от стены отделяется все более высокопоставленное Лицо, Которое сопровождает Грибоедова до следующей залы и сдает его с рук на руки новому Лицу. Все это происходит бесшумно, как во сне. Все больше и больше золота появляется на мундирах, идущих впереди Грибоедова. За это время мы узнаем, о чем он думает. Мы слышим его иронический голос:

— О чем можно говорить на тесной аудиенции с государственным лицом? Обо всем, что спросят. Если же лицо скажет: «Говори откровенно так, как ты бы сказал родному отцу», нужно понимать это буквально, потому что с родным отцом полной доверенности может и не быть. Это означает другое: можно не так часто повторять «ваше величество», а говорить просто «государь». Как говорить? Но это совершенно известно: весело...

Лицо Грибоедова непроницаемо.

Открывается тяжелая дверь кабинета.

— Ваше величество, — склоняется в официальном поклоне Грибоедов.

— Говори со мной откровенно, так, как если бы ты говорил с родным отцом... — Николай произносит эту фразу заученно и заученным же жестом указывает на софу.

Грибоедов и царь усаживаются.

— Государь, — начинает весело Грибоедов. Но Николай его перебивает: — Я уважил все представления генерала Паскевича. Но боюсь его огорчить. Он представил одного солдата, некоего Пущина... из моих «друзей» по 14 декабря...

Пристальный холодный взгляд царя испытующе задерживается на лице Грибоедова... Но в следующее мгновение он опять любезен и доброжелателен — в офицерский чин. Я полагаю: рано, пусть послужит.

Грибоедов улыбается:

— Я понимаю, как тяжело вашему величеству принять такое решение.

— И притом некоему Бурцову генерал поручил, как слышно, написать историю кавказских войн. Или кому-то другому из тех, из... — Николай привычным жестом указывает на окно. Следя за его рукой, Грибоедов видит на том берегу Невы Петропавловскую крепость. Подножье. Шпиль. Панорама по зарешеченным окнам. На одном из окон взгляд Грибоедова задерживается. Мы слышим его голос:

— Может быть здесь? Виля, бедный Виля!..

А Николай заговорил о другом:

— В Персии могло подняться возмущение черни, — холодно и значительно смотрит он на Грибоедова, — я же предлагаю законных государей. Династия каджаров должна царствовать.

— Но каджары в Персии непопулярны...

Николай удивленно поднимает бровь.

Еле заметный кивок головы его величества. Аудиенция окончена. Расшаркиваются на паркетном полу остроносые ботинки Грибоедова.

...На другом паркетном полу расшаркиваются почти такие же длинноносые штилеты. Их много. Узкие в обтяжку панталоны. Искусственные цветы на плечах дам. Глубокие декольте. Плафоны и лепка на потолках. Это фойе Мариинского театра, где вперемежку со щебечущими дамами, глубокомысленными стариками в костюмах павловских еще времен мелькают ироничные молодые люди а-ля Грибоедов и быстрые а-ля Пушкин. К настоящему Грибоедову подлетает Фаддей Булгарин, ревниво оттесняет от него всех собеседников. Ласково и гордо глядя на него, как на свою собственность, он говорит:

— Ты загорел, ты потолстел, — и гладит, и гладит его ладонью по плечу. Но, увидев приближающегося Пушкина, он быстро запорхал по залу, перебегая от группы к группе, искательно хватая людей за локти.

— Рад вас видеть! — говорит еще издали Пушкин Грибоедову. — Завидую вам, — продолжает он оживленно. — Вы скачете по Персиям, а мы по журналам.

— И так же надоело?

Разговор идет легкий, с оттенком интимной приятельности, но где-то неуловимо — в жестах ли, в интонациях ли — ощущается некоторая принужденность. Время от времени дамы стайками подлетают к ним, откровенно оглядывают и отходят, перешептываясь. С некоторыми то Пушкин, то Грибоедов здороваются. Неожиданно Пушкин увидел Дуню. Он взял ее за руку:

— Как хорошо, что вы здесь. Вы — это вы да еще Вильгельм.

Дуня с надеждой смотрит на Грибоедова. Тот отрицательно качает головой. Глаза Дуни наполняются слезами.

— Ваш достойный друг хорошо знает все свойства моего характера. Он, вероятно, предупредил вас, что во всех обычных мне отклонениях от обычаев и приличий не виновны ни мое сердце, ни недостаток во мне чувства, — тихо говорит Дуне Грибоедов, и, склонившись, целует ей руку. Пока Грибоедов говорит с Дуней, Пушкина отвлек один из его поклонников. Но вот, кивнув обоим Александром, Дуня пошла в зал. Грибоедов и Пушкин остались вдвоем.

— Из-за государя опаздывают, как водится, — нетерпеливо говорит Пушкин. — Я не люблю этого обыкновения, оно отзывается ожиданием в канцеляриях и нравами Александра Павловича<sup>42</sup>...

Легкость и любезность очень трудно даются сейчас Грибоедову:

— Но ведь «начало славных дней Петра» тоже «мрачили мятежи и казни»...

— Государь честен, бодр, прям; того и гляди каторжников вернет, — неуверенно, даже как-то умоляюще говорит Пушкин.

— Да-с, «его я просто полюбил... Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами»... Так, помнится, у вас.

— Я, кажется, с ним помирился. Но я не люблю, когда меня заставляют ждать, — в волнении Пушкин кусает ногти.

— Ну, а он с вами?

Пушкин беспомощен в этой словесной дуэли. И, наверное, почувствовав это, Грибоедов говорит неожиданно горько и доверительно:

— Век умер раньше нас, Александр Сергеевич.

— «Иных уж нет, а те далече», — взгляд у Пушкина задумчивый и тоскливый.

— «Шаруль бело из кана ла садык»: величайшее несчастье, когда нет истинного друга... — у Грибоедова такой же тоскливый и задумчивый взгляд. Перед каждым из собеседников мелькнули короткие воспоминания...

... — Поезжай, Вильгельм, поезжай, родной. Где мне, не могу я, — растерянно улыбаясь, говорит Грибоедов Кюхельбекеру...

...На заснеженном крыльце в Михайловском стоит Пушкин. Подлетают сани, из них выскакивает Пуцин, берет Александра в охапку и тащит в комнату.

— Пуцин! Жанно! — радостно кричит Пушкин, — бесценный друг!..

...И снова фойе театра. Бриллианты и шелка. Снова молодые люди а-ля Пушкин и а-ля Грибоедов. Они даже стоят в таких же позах. А вот и сами кумиры.

— Да, век умер раньше нас, Александр Сергеевич, — грустно говорит Грибоедов, — кумир наш, Чаадаев, плох. — И Грибоедов тронул рукой свой лоб. Пушкин хотел что-то возразить, но в это время...

— Царь прибыл! — зашумели вокруг, и толпа ринулась в зал, отесняя их друг от друга.

(...)<sup>43</sup>

Голос Пушкина:

— Любовь и дружество...

Голос Грибоедова: — А, может, еще «Отчизне посвятим души прекрасные порывы?»

Голос Пушкина: И это. А вы все про сотню прапорщиков?

Голос Грибоедова:

— Я был у вашего философа. Он плох.<sup>44</sup> Почти безумен.

Голос Пушкина:

— Разве?..

... — Петр Яковлевич болен и не принимает, — говорит слуга. Грибоедов молча скидывает к нему на руки плащ, бросает шляпу и входит в комнаты.

— Я страшно болен, — говорит Чаадаев и морщится при виде Грибоедова. Он одет неряшливо: в шлафрок цвета московского пожара, на голове — черный колпак.

— Чем же, — спросил Грибоедов, усаживаясь в кресла и оглядывая комнату, в которой царит страшный хаос.

— У меня обнаружили рюматизмы в голове. Вы на язык взгляните, — и Чаадаев показал гостю язык.

— Язык хорош, — смеется Грибоедов. — Если вы чем и больны, так гипохондрией.

— Вы уверены? — серьезно переспрашивает Чаадаев.

...И опять мы в театре.

На сцене танцует Ацис. Пушкин кусает ногти. Он взволнован. Он тоже вспомнил одну из своих встреч с Чаадаевым.

...В строгой комнате за столом сидит Чаадаев в гусарском мундире. Перед ним на столе лежит перстень. Резким движением Чаадаев смахивает перстень.

— Когда в Риме продавали раба, — говорит он Пушкину, — вместо оков проводили черту мелом...

(...)

В трико Галатеи, с крылышками за спиной, маленькими шажками выплыла из-за кулис прима-балерина. Простое, прекрасное в улыбке лицо Кати Телешовой<sup>45</sup> — Галатеи. Низкий белый вырез. Коричнево-розовые ноги. Все это — глазами близорукого человека: зыбкое, как видение Дуни в камере.

— Невозможно, невозможно, Катя, — шепчет Грибоедов и протирает очки. Катя летит по сцене, как «пух из уст Эола». Пушкин хлопает вместе со всеми. Но видит он совсем другое.

...Нога Чаадаева оттолкнула перстень на полу.

— Вот заколдованный круг, и все мы в нем тонем, — говорит мудрец-гусар Пушкину. — Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся. Ты лучше всех понимаешь время, которое проходит. Чувствуешь время, которое должно настать. «Россия вспрянет ото сна». Всё, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. Главное, что мешает всему, — заразительность рабства. Вплоть до Цезаря<sup>46</sup> все им заражены...

Пушкин откинулся в кресле.

— Дело за Брутом? — спрашивает он...

...Грибоедов тоже откинулся в кресле, уже театральном.

— Невозможно так улыбаться, Катя, невозможно, — шепчет он.

Впереди Грибоедова сидит какая-то высокопоставленная лысина. Лысина наклоняется к своей соседке с обнаженными плечами.

— Видите вот там третий слева? Это ее содержатель, — шепчет обладатель лысины, указывая головой на балерину. Дальше шепот становится неразборчивым. Соседка хихикает. Грибоедов с брезгливой ненавистью смотрит на лысину. Другой разговор слышится ему:

— «Вы в размышлении?» — опять наклоняется лысиной господин к своей соседке. — «Об Чацком». — «Как его нашли по возвращении?» — «Он не в своем уме». — «Ужли с ума сошел?» — «Не то, чтобы совсем...» — «Однако, есть приметы?» — «Мне кажется...» — «Как можно? В эти леты!» — «Как быть! (в сторону) Готов он верить! А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить?»

Лысый господин обернулся в другую сторону: «Вы слышали? — «Что?» — спрашивает с загоревшимися глазами какой-то юнец. — «Об Чацком» — «Что такое?» — «С ума сошел!» — «Пустое!» — «Не я сказал, другие говорят...» — «А ты расславить это рад?» — оборачивается пожилой господин из другого ряда.

Новость уже пошла бродить по рядам.

«Ты знаешь ли об Чацком?» — «Ну?» — «А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать? Примерный случай вышел: его в безумные упрятал дядя-плут... Схватили, в желтый дом, и на цепь посадили». — «Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут» — «Так с цепи, стало быть, спустили».

Грибоедов следит за тем, как сплетня ширится и разрастается. И опять кинокамера скользит по лицам людей из партера.

«Я первый, я открыл! — говорит чиновник в расшитом мундире при орденах. — Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет! Попробуй о властях, и нивесть что наскажет! Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом, хоть пред монаршиим лицом, так назовет он подлецом!...» — «Туда же из смешливых. Сказала что-то я — он начал хотать» — «Мне отсоветовал в Москве служить в архивах» — «Меня модисткою изволил величать!» — «А мужу моему совет дал жить в деревне».

Общий шепот: «Безумный по всему...»

Кинокамера резко возвращается к Грибоедову. Он в той же позе. За кадром звучит мужской голос. Может быть, это голос Чаадаева:

(...)

— ...мундир наденут. О чем писать будете, в мундире-то?

— О милости к падшим, — говорит голос Пушкина. И тут этот голос срывается и быстрой скороговоркой привычно заканчивает: — Государь честен, бодр, прям. Того и гляди, каторжников вернет.

— Да, да, — рассеянно и вежливо говорит голос Грибоедова.

И пока шла эта последняя дуэль голосов, отшумели аплодисменты, люди вставали с места, смеясь и переговариваясь, выходили, и чуть ли не последними, кивнув друг другу издалека, уходили из зала Александры Сергеевичи.

В фойе они встретились вновь.

— Пишете ли? — спрашивает Пушкин.  
— Пишу.  
— Новую комедию?  
— Нет, трагедию. О нашем с вами Кавказе, только голом, диком и простым, и бедном.

«Но нет их! Нет! И что мне в чудесах  
И в заклинаниях напрасных!  
Нет друга на земле и в небесах,  
Ни в боге помощи, ни в аде для несчастных...»

Грибоедов знал, что стихи прекрасны, но Пушкин самим фактом существования своего и своих стихов смущал его. Долгая пауза.

— Это просто. Почти библия. Завидую вам — какой стих! «Нет друга на земле и в небесах...», — в голосе Пушкина не снисходительность — скорее желание приободрить, но и это обидно.

— И еще завидую вам: Вяземский<sup>47</sup> зовет вашего Аббаса аббатом. Давайте меняться, — говорит Пушкин.

— Есть чем.

Что-то в голосе Грибоедова остановило Пушкина.

— Зачем же вы едете? — очень серьезно спрашивает он.

— Я еще не еду. Еще ничего не решено.

— Зачем же вы едете? — спрашивает Пушкин. — Власть?

— Судьба, обновление, — говорит Грибоедов.

Может быть, сейчас между ними должен завязаться единственный настоящий разговор, но прямо на них идет Булгарин с женой, и Пушкин торопливо прощается:

— Мы встретимся. Я рад. Нас немного, да и тех нет...

...Грибоедов входит в актерскую уборную, говорит Галатее-Кате:

— Поедем к тебе... Радость, — добавляет он.

В коридоре — чувствуется, что близко от двери — шум, кашель, смех. Катя быстро взяла голову Грибоедова обеими руками, поцеловала в лоб и оттолкнула к двери...

Черный фрак Грибоедова растворяется в танцевальном зале. По четырем концам вокруг образовавшегося креста пары танцуют котильон....

... — Ленхен, — тащит Грибоедов жену Булгарина к карете. — У вас болит голова, вам стало дурно, я вас везу домой...

... — Дас ист унмёглихь, — говорит Ленхен кокетливо и садится в карету.

— Мёглихь, мёглихь, — говорит Грибоедов и подсаживается к ней.

Закрылась дверца кареты, а голос Грибоедова, в котором чувствуется та же насмешка, но уже безнадежная насмешка над собой, спрашивает:

— Так что же? Любовь? Дружество, Александр Сергеевич?

Пушкин нетерпеливо ждал на станции Залазы лошадей. Он бегло осмотрел стены, но ни портрет Анны Иоановны<sup>48</sup>, Павла<sup>49</sup>, ныне здравствующего государя<sup>50</sup> и генералов в мундирах и с прическами различных эпох, но с неизменно сердитыми глазами, ни картинки на евангелические сюжеты не задержали надолго его внимания.

— Вот уж подлинно Залазы! — сердито сказал Пушкин. Тоскливая грязь облепила его щиколотки, запачкала платье.

— Скучно вам на одном месте? — спросил он у молодой хозяйки, раздобревшей женщины с очень ленивыми движениями.

— Нет, — ответила хозяйка, — чего уж скучно; то туда, то сюда — не заметишь, как день пройдет.

Пушкин отошел к окну, схватился за подоконник и прильнул к стеклам. Дождь, кажется, кончился, но остатки его текли по стеклам в разных направлениях подвижной решеткой.

— Десять лет на этой станции! Помилуй бог, да ведь еще с окончания лица всего 10 лет. — Пушкин прошептал это и резко отвернулся от окна. Теперь руки его схватили подоконник за спиной.

— Сколько перемен. Корф — важная персона и подхалим, — шепчет Пушкин, — Дельвиг — обрюзг, рогат и пьет.

...И вот — трактир, и цыганка Таня поет трогательную цыганскую песню, и маленький хор подпевает ей и приплясывает, и за столом, уставленным пустыми бутылками, прильнув к пушкинскому плечу, плачет человек в круглых очках — лицейский друг Пушкина и Кюхли, поэт Антон Дельвиг, плачет и говорит:

— Ну что, Саша? Прошла, пропала жизнь! Забавно...

...Дебелая хозяйка лениво двигается по комнате, а Пушкин, так и не меняя позы, шепчет:

— Десять лет... Вильгельма и Пущина можно считать мертвыми...

...На открытой поляне около кладбища Пущин говорит Данзасу<sup>51</sup>:

— Слушай, Данзас. Я тебя для чего окликнул: мы здесь начнем мерить шаги, отбивать дистанцию, а ты тем временем разыщешь сторо-

жа. Сторож засвищет бутюшника, дело отложится, и у Кюхли голова остынет.

Данзас хохочет:

— Дуэль и... бутюшник! Дуэль — и вдруг... сторож!

— Ах, так тебе смешно, — негодует Пуцин. — Когда у Кюхли и Пушкина дуэль — это смешно! Черт меня догадал тебя окликнуть!

— Из-за чего все же дуэль? — спросил Данзас.

— Тут целая история, — рассказал ему Пуцин. — Кюхля был у Жуковского, у того болел живот — глупость какая-то. Ну, Пушкин и написал эпиграмму:

«За ужином объелся я,  
Да Яков запер дверь оплошно.  
Так было мне, мои друзья,  
И кюхельбекерно, и тошно.»

Данзас и Пуцин не выдержали — засмеялись, но тут же оборвали смех: послышался звон бубенцов, и появились Дельвиг и Кюхля.

— Когда я представлял себе свой последний час, я всё воображал, но только не то, что ты будешь торговаться с извозчиком. Какая малость! — кричит Кюхля Дельвигу.

— Помилуй, — отвечает Дельвиг, — такую цену заломить! Ты разве при деньгах?

— Как ты черств и непонятлив... Может, ты смеешься надо мной? — укоризненно говорит Кюхельбекер.

— Это твоя первая дуэль? — спрашивает Данзас Вильгельма.

— Первая и последняя, — торжественно отвечает Кюхля.

— Не робей, — прозаически говорит ему Данзас, — главное вовремя поднять пистолет. Как ты станешь к противнику?

— К противнику? — недоумевает Кюхля. — О ком ты говоришь? — и продолжает декламировать: — Пойми: я дерусь за потомство. Если я здесь через час не упаду лицом вниз, меня осмеют. И будут смеяться сто лет.

В разговор вмешался Пуцин:

— А откуда ты знаешь, что будешь убит ты, а не он. И потомки будут показывать твой портрет — вот этот убил Пушкина!

— Я тебя вызываю! — снова кричит Кюхельбекер.

— По уставу нельзя: он секундант, — любезно объясняет Данзас: — Пуцин, отойди, ты секундант противной стороны.

— Почему ты меня все время называешь «противной стороной»? — совсем распалился Кюхля.

— Тебе холодно. Завернись в плащ и прочти свои последние стихи! — просит Дельвиг.

— Но я забыл. «Что несешь мне, день грядущий! Отцвели мои цветы»... Забыл. «Так лети, мечта золотая! Увядай, моя весна!»... Я все забыл!

— О боги! Это романтизм! — сказал незаметно появившийся Пушкин.

— Вздор, — угрюмо проворчал Кюхельбекер.

— Желают ли противные стороны дуэль? Или, может быть, они не желают? — спрашивает Данзас... Кюхля склонил голову. Пушкин махнул рукой:

— Дельвиг, стань на мое место, — кричит он.

— Как? Зачем?

— Здесь безопаснее.

Все засмеялись.

— Смешно! Им смешно! — горько сказал Кюхля и выстрелил. Он пробил фуражку Дельвига.

— Ты цел? Он выстрелил в тебя, безумец! — взволнованно подбежал к Дельвигу Пуштин.

— Я не властен, когда меня дразнят. Прости, — не глядя ни на кого, сказал Кюхля. Он вернулся на место, но Пушкин сразу же затормозил его:

— Руку, ну, руку, Кюхля!

Они обнялись...

...Пушкин так и стоит у окна, покусывая губы и ногти.

— Десять лет, — шепчет он, — Вильгельма и Пушина можно считать мертвыми. Да и моя жизнь не клеится. Невесело...

И в это время — оглушительный звон бубенцов, тройки остановились у подъезда, и в комнату вошел фельдъегерь.

— Наверно, арестант? — тихо спросил Пушкин у хозяйки.

— Да, наверно, — так же тихо ответила она.

Пушкин вышел на улицу. Седой арестант во фризовой шинели отломил ломоть хлеба, посыпал солью и, усевшись, стал есть. К нему подошел арестант помоложе, черный, худой, с длинной черной бородой, тоже высокий и сутулый и тоже во фризовой шинели.

— Кого он напоминает? — неприязненно подумал Пушкин. И догадался: шпион, для доносов или объяснений везут. Он брезгливо поморщился и отвернулся, еще и потому, что черный человек пристально и близоруко смотрел на него.

— Александр, — услышал он хриплый голос в спину. Пушкин остановился, и арестант бросился к нему на грудь, и плакал, и целовал:

— Не узнаешь? Милый, милый...

— Вильгельм, — вздрогнул Пушкин и залепетал: — Брат, ты ли это, голубчик? Куда тебя везут? Я принял тебя за Фогеля, шпиона. Голубчик ты мой! Ты в бороде. Мой милый...

— А ты все тот же, Александр, радость моя...

— Как здоровье? — перебил его Пушкин. — Твои здоровы, видел недавно, все тебя помнят, хлопочут. Каких тебе книг прислать?

— Свои стихи, ради бога. Что-нибудь о смутном времени, о Ляпунове<sup>52</sup>, Пожарском<sup>53</sup>. И свои стихи.

— Дельви́г где? — спросил Вильгельм. — Он жив?

— Он тот же. Мы говорили о тебе тому две недели, в Петербурге.

Кюхля хотел еще что-то сказать, но два дюжих жандарма оттащили его. Третий прикоснулся к груди Пушкина. На все это молча смотрела тесная кучка арестантов.

— Руки прочь, — тихо, с бешенством сказал Пушкин.

На порог выскочил фельдъегерь и схватил Пушкина за руку.

— Вы чего нарушаете правила? Будете отвечать.

Пушкин не слушал его. Он видел, как тащили Вильгельма, как его в полуборморочном состоянии усадили в телегу, поднесли воды.

— Послушайте, — сказал Пушкин фельдъегерю. — Это мой друг. Дайте же, наконец, проститься. Вот тут у меня двести рублей денег, разрешите дать ему. Фельдъегерь крикнул, глядя мимо него:

— Деньги преступникам давать не разрешается.

— Как ваше имя, голубчик? Я о вас буду иметь разговор в Петербурге.

Фельдъегерь слегка оробел:

— Имя мое Подгорный.

— Отлично, — сказал Пушкин, задыхаясь.

— Как арестант есть посаженный в крепость, то ему денег нельзя иметь, — угрюмо сказал фельдъегерь.

— Плевать на твою крепость, — кричал Пушкин, — плевать я хотел на тебя и твою крепость. Я сам в ссылке сидел — небось, выпустили...

Фельдъегерь попятился.

— Трогай, — крикнул он. — На полуверсте ждать.

Телега тронулась. Она исчезает медленно.

Кружит ветер, и снова идет дождь, и в этом шуме долетают слова: «С утра садимся мы в телегу»... «Кричим: пошел!»... «А в полдень нет уж той отваги»... «Катит по-прежнему телега»... «А время гонит лошадей»...

Может быть, это шепчет Пушкин, безнадежно остановившись на бегу; шепчет мокрыми губами, не замечая слез и потеков дождя на лице...

...Когда телега исчезает, Пушкин входит в дом, садится за стол и опускает голову на руки.

— Лошади поданы, — говорит ему хозяйка. Пушкин головы не поднимает...

На экране возникают титры:

«Однажды Вильгельм гулял в саду. Он вспомнил глаза матери и ее сухонькие руки, — и его потянуло домой...»

Навстречу Вильгельму идет молоденький офицер.

— Дядя Павел Петрович! Онкель Пауль! — радостно кричит Кюхля и бросается ему на шею. — Давно вы здесь?

— Н-да, — выдавливает офицер.

— В Павловске давно не бывали?

— Н-да.

— Давно ли матушку видели?

— Н-да, — с откровенной злостью сказал офицер. Тогда Вильгельм обиделся на дядю и с достоинством откланялся. Тот не ответил на поклон, пожал плечами и ушел.

Лицеисты с ужасом смотрели на возвращавшегося Кюхлю.

— Что с тобой стряслось, Вильгельм, ты великих князей обнимаешь, — обратился к нему Пуцин.

— Каких великих князей?

— Ты только что с Михаилом Павловичем объяснялся и за рукав его держал.

— Это Павел Петрович, это дядя, какой это Михаил Павлович?

— Нет, — хохочет Пушкин, — Павел Петрович был папá, а это сынок — Михаил Павлович.

Хохочут лицеисты. И звонкий детский смех продолжается и тогда, когда Пушкин поднимает голову, кивает хозяйке и выходит...

Едет телега. Шумит ветер. Хлюпают лужи под колесами, грязь летит из-под лошадиных ног.

— Какое право имеете с посторонними разговаривать?

— С кем говорил? — строго спрашивает Вильгельма фельдъегерь, вероятно, подсевший на полуверсте.

— Это Пушкин, — усмехнулся Вильгельм. — Неужели не знаете? Тот, который сочиняет.

— Я ничего не знаю, — сказал фельдъегерь, сдвинув брови. — Не возражать...

...Молодой Вильгельм отвернулся от него и закричал Пущину:

— Пойми, я держусь за потомство. Если я здесь через час не упаду лицом вниз, меня осмеют. И будут смеяться сто лет.

— Откуда ты знаешь, что будешь убит? Ты, а не он, — жестко отвечает Пущин. — И потомки будут показывать твой портрет — вот этот убил Пушкина...

...И, зажатый между двумя конвойными, Кюхля думает: «А если бы это произошло». На лице его ужас...

А телега катит и катит по грязной дороге. И вот впереди серое, мокрое от дождя громадное здание. Это Динабургская крепость.

Открылась дверь в приемную, и чиновник сообщил Грибоедову, что его сиятельство, канцлер, граф Нессельрод<sup>54</sup> просит коллежского советника Грибоедова войти.

Карлик с серым лицом, с выпуклыми жидкими глазами стоял у стола и зябко потирал ручки. Потом он надел очки и выдавил улыбку.

— Мы вам одолжены тем, — сказал он Грибоедову, — что трактат был подписан только тогда, когда персы внесли уже первые суммы... куруры... Я хочу лично выразить вам, господин Грибоедов, свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность.

Грибоедов поклонился.

— Условия мира, в котором вы столь много нам помогли, — сказал карлик, — для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми. Грибоедов сделал каменное лицо.

— Превосходный, почетный мир... — сказал Нессельрод.

Не меняя выражения лица, Грибоедов поклонился еще раз.

— Государь говорил мне о вас, — глаза карлика забегали по комнате. Он снова зябко потер ручки. — Мы нашли, наконец, место, достойное вас.

Грибоедов сидел, не мигая, поджав под кресла ноги.

(...)

— Место важное, единственное, — Нессельрод поднял палец и почему-то вздохнул. — Место поверенного в наших делах в Персии.

Что-то дрогнуло в лице Грибоедова. Человек, сидевший на его месте, в зеленом чиновничьем вицмундире, рассердился, но только на секунду, и тут раздался его сухой голос:

— Русский поверенный в делах ныне в Персии невозможен.

Нессельрод выжидательно, даже с некоторым почтением смотрит на него.

— Потому что англичане содержат в Персии своего посла, а все дело в Персии теперь на том стоит, чтоб шагу не уступать англичанам, — продолжает Грибоедов. Нессельрод уставился в одну точку и молчит.

— Государю надлежит там иметь своего полномочного посла, а не поверенного в делах. Я же и по чину своему на этот пост назначен быть не могу. И притом же, я автор и музыкант. Следственно, мне нужен читатель и слушатель. Что же я найду в Персии?

Грибоедов надменно откинулся в кресле и заложил ногу за ногу.

Нессельрод тогда сощурил вдруг глазки и сморщил личико:

— Напротив, уединение совершенствует гения, как, помнится, сказал... — Он помахал ручкой, — как кто-то, не помню, кто сказал, и прибавил беспечно: — А между тем, мы уже пригласили к вам человека, который вполне достоин быть вашим секретарем... — И позвонил в колокольчик. — Иван Сергеевич, — представил он вошедшего.

Грибоедов поднял глаза и вздрогнул: перед ним стоял молодой человек, тонкий, бледный, с унылой усмешкой.

Дальнейшие события может сопровождать голос диктора, а с экрана будут улыбаться или хмуриться их превосходительства, а потом они будут продолжать неслышный пока еще разговор.

— Сухозанет Иван Онуфриевич, — говорит голос диктора, — генерал, командовал артиллерией 14 декабря 1825 года и открыл огонь по восставшим.

Мы его уже знаем, Сухозанета; вот он улыбается с экрана, а вот он в знакомой нам сцене кричит: «Ребята, положите ружья. Буду стрелять картечью. — И площадь хохотом отвечает ему, и он машет рукой. Визгливо поет первая картечь...

А вот он очень мило беседует с министром Грибоедовым.

А теперь голос диктора представляет: «Павел Васильевич Голенищев-Кутузов<sup>55</sup>, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, — и зритель может изучить это честное солдатское лицо, может он познакомиться и с одним эпизодом из жизни славного вояки:

...На кронверке Петропавловской крепости совершается торжество повешения, экзекуцией командует Голенищев-Кутузов. Палач делает свое дело, пять тел качаются на виселице, и вдруг одно падает — «Вешать снова!» — кричит Голенищев и жестом полководца указывает кого и куда вешать. Так, наверное, совершаются жесты истории: берут неприступные крепости, выигрывают безнадежные баталии.

...И вот Голенищев стоит рядом с Грибоедовым, и, так как тот занят разговором с Сухозанетом, рассказывает что-то смешное своему соседу Левашову и похохатывает.

...Левашов, человек, которому поручили допрашивать и судить декабристов, протягивает какую-то бумагу Грибоедову и говорит сухо, лениво:

— Подследственный по делу о 14 декабря коллежский советник Грибоедов, извольте подписать допросный лист...

...Рядом с Левашовым на Невском строгий человек в военном. Диктор представит и его: «Александр Христофорович Бенкендорф<sup>56</sup>, шеф 3-его отделения».

Так и стоят они на тротуаре, напоминая знаменитую группу Пушкина, Крылова, Гнедича<sup>57</sup>, Жуковского: Грибоедов говорит с Сухозанетом, Левашов с Голенищевым, Бенкендорф молчит. Молчат и другие непредставленные генералы.

Один из них обращается к Грибоедову:

— Графа Ивана Федоровича Паскевича<sup>58</sup> я знаю давно, у него прекрасные способности, я его по училищу помню.

Вот и Сухозанет дотронулся до борта грибоедовского фрака:

— Передайте, Александр Сергеевич, генералу Паскевичу, графу Эриваньскому, чтобы он почаще писал старым друзьям, — с легкой укоризной говорит он. — А то я писал, он не отвечает. Я сам воевал, знаю, что некогда, а все пусть напишет хоть два слова.

Левашов хохочет:

— Извольте послушать, Александр Сергеевич. Расскажите, расскажите, Павел Васильевич, всем расскажите, здесь дам нет, — машет он рукой на Голенищева.

Голенищев похохатывает:

— Да я, господа, чего ж, только Александр Сергеевич пусть не взыщет. И, чур, меня графу не выдавать. Так вот, говорят о графе Иване Федоровиче, — Голенищев повел глазами, а некоторые знающие уже анекдот, захохотали. — Говорят, что после взятия Эривани стояли в Ихдыре. Селение такое Ихдыр. Вот и будто бы, — Голенищев покопился на Александра, — граф там тост сказал: «За здоровье прекрасных эриванок и ихдырок»...

Их превосходительства хохочут. Улыбается и ценитель тонких шуток, автор «Горя...».

Проносятся мимо них пестрые детали одежды и лиц Невского.

— С шестью тысячами инфантерии, двумя кавалериями и несколькими орудиями разбить всю армию — воля ваша, это хорошее дело, — говорит один генерал.

— Артиллерия решила, — говорит Сухозанет, глядя на Грибоедова. Грибоедов коротко кивнул и тому, и другому.

— Но правду говорят, что будто характер у графа совсем изменился? — спросил один из генералов.

— Нет, нет, — любезно сказал Левашов. — Просто я знаю Ивана Федоровича, он порывчивый человек. Но когда говорят, что он трактует все человечество как шваль, я прямо скажу: «Я не согласен. Не верю».

Тут не выдержал старый вояка Голенищев-Кутузов и буркнул:

— Ну это вздор. Я по себе знаю: легко ли тут с этим, там с тем управиться. Поневоле печенка разыграется.

И, глядя почтительно в красное лицо генерала, Грибоедов думает:

— Тьфу, Скалозуб. А кто тут Молчалин? Что ж, дело ясное, дело простое: я играю Молчалина...

А мимо них снуют и снуют прически, усы, бакенбарды, шляпки, цилиндры, болонки, тросточки, и круг генералов редееет, и вот идут по Невскому, любезно разговаривая, Александр Сергеевич Грибоедов и Александр Христофорович Бенкендорф.

— Ни слова о заслугах графа, — улыбается Бенкендорф. — Но мне хотелось бы поговорить о моем брате.

— Константин Христофорович — благороднейший рыцарь в свете, — учтиво говорит Грибоедов.

— Благодарю вас, — кивнул головой Бенкендорф, — но граф, говорят, публично радовался отъезду моего брата.

— Я уверяю вас, что это сплетни и недоброжелательство, и только. Бенкендорф доволен. Он на секунду остановился. Остановился и Грибоедов.

— У меня к вам просьба, впрочем, незначительная, — прикоснулся Бенкендорф к пуговице грибоедовского фрака. — Брату хочется получить «Льва и Солнца». Я надеюсь, что граф найдет это возможным. Грибоедов улыбается понимающей улыбкой.

А теперь он один идет по Невскому. А, может быть, он и не один. За ним молча движется человек с водянистыми глазами. Грибоедов слышит: «Это Грибоедов, автор «Горя...» — и не может скрыть горделивую улыбку на непроницаемом лице.

Это — Невский, где все не то, чем кажется. Мелькают шляпки, рукава, прически, лорнеты, фонари, рессоры...

...Вдвинутый глубоко в сад приземистый домик на Пречистенке с темными окнами, с тяжелой низкой парадной дверью. Здесь доживает свои годы в отставке кумир двадцатых годов генерал Алексей Петрович Ермолов.

— Дома ли генерал Ермолов? — спрашивает Грибоедов слугу, и слуга, проводя гостя в комнату, равнодушно говорит:

— Они занимаются в переплетной, сейчас доложу...

В кабинете, куда привел Грибоедова слуга, множество портретов. Это двадцатые годы, это поверженные, но кумиры — хозяин сам и портреты человека в плаще, треуголке.

Грибоедов растерянно оглядывается...

...За ломберным столом Грибоедов, Кюхля, еще один офицер и Ермолов при регалиях. Они сидят в кабинете Ермолова на Кавказе.

— Рескриптец получил насчет Персии, — говорит Ермолов Грибоедову, — беречь ее пуще России. Пускай, мне не жалко.

Офицер раздал карты. Ермолов держит карту, сощуря правый глаз.

— Вот вы, Николай Павлович, — говорит он офицеру, — мемуары будете писать, так что обо мне и запишите: дескать, ничего не хотел, только бы его в покое оставили.

— А жаль, — повернулся он к Грибоедову и лукаво смотрит на него, — ей-богу, жаль, Александр Сергеевич, повоевать бы еще с Персией, Турцией да Хиву с Индией прихватить, ей-богу, недурно было бы.

— Алексей Петрович, — жестко говорит Грибоедов, — вы только по недоразумению не Петр Алексеевич.

— И недурная, братец, мысль, — равнодушно говорит Ермолов, — торговля, торговля восточная нужна нам. Без нее зарез. Пойдем, братец, как полагаете? Надо колеи поглубже нарезать.

— Не жертвуйте нами, ваше превосходительство, ежели объявите когда войну Персии, — холодно улыбаясь, говорит Грибоедов.

Ермолов пожимает плечами.

— А вы, Вильгельм Карлович, — обращается Ермолов к Кюхельберкеру, — что же невеселы?

Вильгельм говорит сухим голосом:

— Человечество устало от войн, Алексей Петрович.

— Вот тебе и на, — развел руками Ермолов, — а сам меня в Грецию звал.

— То Греция, то другое дело. Война за освобождение Эллады не то, что война за приобретение выгод торговли.

— А я вам говорю, — настойчиво и жестко говорит Ермолов, — что за Грецию только для того воевать надо, чтобы Турцию к рукам прибрать. Что греки? Греки торгуют рабами. И Эллады особой нигде не вижу. Эллада — рифма хорошая, Вильгельм Карлович: Эллада — лада, а, может, и — не надо.

— Вы шутите, Алексей Петрович, — Кюхля вскочил с места и говорит возбужденно, брызгая слюной. — Но грекам, бьющимся за освобождение, сейчас не до шуток.

— Горячи вы, Вильгельм Карлович. Каждый делает, что может. Я вот, например, смеяться могу и смеюсь, а то бы плакал.

На стол легла карта, другая...

Рядом с понурым Вильгельмом сидит Грибоедов и офицер. Офицер говорит:

— Не кажется ли вам мысль Алексея Петровича великой?

— Нет, — резко отвечает Грибоедов, — должно соблюдать границы государственные. Нельзя воевать вечно.

— Восток, великое государство восточное, — тихо и торжественно говорит офицер, — это мысль Александра Великого. Я вам довериться могу: нужно восточное государство под властью Алексея Петровича.

Грибоедов остановился.

— Династия Ермоловых?

Офицер выдержал его взгляд:

— Династия Ермоловых.

Грибоедов сказал спокойно:

— А как же с наследником будет? Нужно Алексея Петровича женить спешно...

...Воспоминания Грибоедова прервал старческий кашель. Раздалось шарканье туфель, и вошел Ермолов в шароварах, стянутых книзу, в сером купеческом сюртуке. Грибоедов растерянно улыбнулся и шагнул к нему. Старик остановился.

— Вы не узнаете меня, Алексей Петрович? — спросил Грибоедов.

— Нет, узнаю, — сказал Ермолов и увернулся от объятий.

Грибоедов сел в кресло и закинул ногу на ногу.

— Скоро отправлюсь и надолго. Вы мне оказали столько ласковостей, Алексей Петрович, что я сам себе не мог отказать, зашел по пути проститься.

Ермолов грубо затолкал табак в обе ноздри: часть его просыпалась на жилет и на стол.

— Ласковостей я вам, Александр Сергеевич, никаких не оказывал; этого слова в лексиконе моем даже нет. Просто видел, что вы служить рады, прислуживаться вам тошно, — вы же об этом и в комедии писали, а я таких людей любил.

Ермолов собирается поднести платок к носу.

— Нынче время другое и люди другие. И вы другой человек. Но как вы были в прежнее время опять же другой человек, а я прежнее время больше люблю и уважаю, то я вас частью люблю и уважаю.

Грибоедов усмехается...

— Похвала ваша не слишком заслуженна, Алексей Петрович. Я вас, как душу, любил и в этом хоть остался неизменен.

— Так вы, стало, и душу свою не любили, — Ермолов громко высморкался. — И, стало, в душу заглядываете по пути от Паскевича к Нессельроду.

Слово «Паскевич» он произносит со значением, с особой усмешкой презрительности. Ермолов побарабанил пальцами.

— Стало быть, мир привезли? Сколько куруров отторговали от персиян?

— Пятнадцать.

— Это много. Нельзя разорять побежденные народы.

Грибоедов усмехается.

— Не вы ли, Алексей Петрович, сами говорили, что надо колеи глубоко нарезать...

— То колеи, а то «война или деньги». Это уж по-Паскевичу. Это — «кошелек или жизнь».

После некоторого молчания Ермолов продолжает:

— Аббас-Мирза<sup>59</sup> глуп. Позвал бы он меня к себе в полководцы, не то было бы. Меня же чуть в измене не обвиняют, вот бы он, дурак, и воспользовался.

Старик раскрыл папку и выкинул карту.

— Смотрите, — поманил он пальцем Грибоедова, — Персия. Так? Тебриз — та же Москва, большая деревня, только что глиняная. Я бы на месте Аббаса в Тебриз открыл дорогу. Так? А сам бы атаковал бы на Араксе переправу. Ее уничтожил и насел бы на хвост армии. Он черкнул пальцем по карте.

— А Паскевич единым махом превратился бы в Наполеона на Москве, только что без ума. А Дибич<sup>60</sup> бы в Петербург, к Нессельроду...

Он стал вдруг подавать в нос табак. Табак сыплется на жилет, на стол. Вдруг все в нем заходило ходуном. Он заснул... Грибоедов с ужасом смотрит на него...

...Странный человек, — задумчиво говорит Ермолов Грибоедову в своем кабинете на Кавказе, — друг ваш Вильгельм Карлович Кюхельбекер — славянофил. Тогда уж не Кюхельбекером надо зваться, а Хлебопекарем. Василий Карпович Хлебопекарь. Так складнее.

Грибоедов пожимает плечами. Зато заливается в восторге офицерик.

— Хлебопекарь, — пищит он тонким голосом. — И осторожно добавляет: — Тут для вас пакет от князя Волконского. Совершенно секретно.

— Можете идти, мой друг, — взяв пакет, рассеянно говорит Ермолов офицеру и удерживает жестом поднявшегося было Грибоедова. Он читает, хмурится, бормочет что-то про себя.

— Да, тебе там виднее, — грубо ворчит он и, вдруг обернувшись к Грибоедову, читает ему: «Не сочтет ли возможным ваше высокопре-

восходительство употребить гражданского чиновника Вильгельма Карловича Кюхельбекера в делах, наиболее с риском сопряженных, ибо горячность сего молодого человека вам достаточно известна».

Ермолов в ярости выскочил из-за стола. Брови его сдвинулись. Нижняя челюсть выдалась вперед.

— Накося, выкуси, — сделал он кому-то гримасу. — Так я тебе его под пули и подведу.

И, обернувшись к Грибоедову, говорит с проясненным лицом:

— Наказателем никогда не был.

Он сел за стол, взял перо и бумагу:

— Так, наверно, напишем, Александр Сергеевич: «Полагаю, вследствие недостаточной опасности, сего чиновника в делах наиболее важных пока не употреблять, как требующих наиболее хладнокровия».

Он смотрит лукаво на Грибоедова: — «Остаюсь преданный вашего сиятельства слуга Ермолов», — хохочет генерал...

...А сейчас он спит, нос, губы, плечи, живот ходят ходуном, и Грибоедов с ужасом смотрит на него. Александр снял очки, растерянно вытер глаза.

— Никогда, никогда раньше этого не было, — шепчет он, — за год отставки...

...И вдруг, как ни в чем не бывало, Ермолов заканчивает:

— И Дибич писал бы на него письма. Натуральным стилем. А то у Паскевича стиль не довольно натурален. Он ведь грамоте-то, Паскевич, тихо знает. Говорят, милый, любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль.

— Алексей Петрович, — медленно и четко говорит Грибоедов, — не уважая людей, негодуя на их притворство и суетность, черта ли мне в их мнении? И все-таки, если мне скажете, кто говорит, я, хоть дурачеств не уважаю, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны, и не одной старостью.

— Ну, спасибо, я и сам не верю. Ну, хорошо, — встал он и протянул руку, — бог с вами, поезжайте.

У лестницы он останавливается:

— Мой вам совет, — говорит Ермолов, — не служите вы за Паскевича, он вас выжмет и бросит. Помните, что может называться счастливым только тот, кому нечего бояться... Впрочем, прощайте... Без вражды и приязни.

...Медленно спускается по лестнице Грибоедов. В спину ему смотрит Ермолов. Тяжелая парадная дверь вытолкнула его на улицу. Угрюмая персидская толпа склонилась перед ним в восточном покло-

не...

...У раскрытого рояля в пестром азиатском халате сидит Грибоедов. Сегодня петербургский день. За окном шум чужой надоевшей жизни. Грибоедов, закрыв глаза, упиваясь звуками, а не смыслом, шепчет протяжно и грустно: «Хардам, аз омр миравад нафаси, чун негах миконам, камиид бази...» (Ежеминутно уходит из жизни по одному дыханию, и, когда обратим внимание, их уже осталось немного)... Мелькнула перед глазами красивая нерусская девочка с круглыми глазами и исчезла...

...Потом он подходит к роялю и одним пальцем барабанит «Мальчик-с-пальчик, Мальцов-с-пальцов». Поймал себя на этом бессмысленном бормотании, усмехнулся, а пальцы продолжают барабанить, и вот он заиграл вальс собственного сочинения... — и опять возникло смеющееся лицо нерусской девочки... И Грибоедов слышит знакомые слова:

— Я же автор и музыкант. Что же я найду в Персии?..

Это его голос, и он закрывает глаза и в горькой насмешке кривит губы и говорит слуге:

— Сашка, тебе здесь еще не надоело?

И Сашка отвечает ему:

— Погода, Александр Сергеевич, очень хорошая. Сейчас на Кавказе очень даже тепло, если дождь не идет...

...По улицам Тифлиса плывет спина нерусской девочки...

... — Сашка, пой: «Вниз по матушке по Волге», пой, Сашка, пляши.

...Всплескивают реки, плывут Стенькины струги...

... — Стенька, пой! — кричит Грибоедов. — То-есть, Сашка, пой!

— Пляши! — кричит он Сашке.

Бьется сумасшедшая музыка. Слышен перестук башмаков.

— Полно, — говорит Грибоедов Сашке спокойно, — ты, кажется, с ума сошел. Собирайся, мы едем на Кавказ, на Кав-каз. Что ты, дурак, распелся...

А в тюрьме перед стопкой бумаг сидит Кюхельбекер и пишет:

— Я допишу трагедию, — говорит он, — над лирикой я плачу, а трагедия спокойнее всего.

Боярин Ляпунов:

Жертвовать России я всё обязан —  
И самой тяжкою обидой личной  
Меня пускай обидят — не взыщу.

После этого изменники его убивают. Да вот беда — бумага кончается.

...Где-то в отдалении бьют часы.

— Это еще не голова, — говорит седой человек после лекции в Париже. Но это уже сердце...

...С виноватой улыбкой смотрит в лицо Кюхельбекеру Грибоедов:

... — Что ты поддельваешь, мой добрый Вильгельм, подвергшийся несчастью прежде, нежели успел воспользоваться столь немногими удовольствиями...

... — Вильгельм, родной мой, голубчик, вечный мой Дон-Кихот, — говорит сквозь слезы Пушкин. Группа арестантов молча смотрит на Кюхельбекера и Пушкина на станции Залазы...

...Дон-Кихот свесился с коня.

— Только первый шаг труден, — говорит он Рылееву. Теперь мы видим: это Кюхельбекер...

... — Что-то ты поддельваешь, мой добрый Вильгельм, мучимый, непонятый людьми, меж тем как сам отдаешься первому встречному с самым искренним увлечением, радушием и любовью, — говорит Грибоедов...

И мелькают, мелькают кадры из жизни неисправимого Дон-Кихота.

...Вот он в Дрездене приходит в ярость при виде портшезов с людьми, которые несут носильщики.

— Какое уничижение человека! — возмущается он...

...Вот Ермолов, лукаво улыбаясь, спрашивает Вильгельма:

— Ну-с, так как же насчет Греции?

— Это мы всё у вас, Алексей Петрович, должны бы спрашивать.

— Не угодно ли, — шутиливо говорит Ермолов Грибоедову, — друг ваш меня соблазнить пытался. «Перебросьте, говорит, войска в Грецию, Алексей Петрович, — вся Россия с вами». — Ну, отвечаю, братец, тогда меня и самого перебросят.

Смеются и Вильгельм, и Грибоедов, Вильгельм смотрит на Ермолова влюбленными глазами...

...Смеется человек в зеленом сюртуке, а рядом стонет какая-то черная масса.

Вильгельм летит на коне. Рой мух летит ему навстречу.

— Воды, Христа ради, — стонет черная масса.

— Что это такое? — спрашивает Вильгельм.

— Извольте раньше представиться, — говорит зеленый сюртук, — сосед ваш, помещик Духовщинского уезда.

— Откуда здесь арап? — спрашивает в оцепенении Кюхля. — Почему он привязан?

— Да помилуйте, — хихикает помещик, — да какой же это арап? Это Ванька. Но только он за провинность подвергнут взысканию. Деготьком, деготьком... — Помещик сжал нагайку.

Вильгельм спешился, достал нож и разрезал веревку.

— Помилуйте! По какому праву?

Черный человек медленно ползет по траве.

— По праву? — бормочет Вильгельм и взмахивает хлыстом, бьет помещика по лицу. — По праву?

Он бьет еще и еще раз.

Громко лают собаки. Они несутся вслед коню, на которого успел вскочить Вильгельм...

...Двое мастеровых схватили в толпе человека и держат его крепко:

— Ты что, разойтись уговариваешь? Обманывают народ, говоришь?

— Отпустите его, — с мольбой говорит Вильгельм...

...Вильгельм целится в черный султан. Матрос дотрагивается до его плеча:

— Пожалейте себя, барин.

— Милый, всем умирать, — говорит Кюхля и целится в черный султан...

...Арестант взял один из листков, лежащих на столе, и прочел, близоруко щурясь:

«Боярин Ляпунов:

Впрочем я

За слабость никому не судия:

Иной, быть может, и меня осудит...

Увлекся я горячим буйным сердцем...»

...Странными рядами на тифлисскую площадь входят солдатские роты. В стороне два коня рядом — генерала Сипягина<sup>61</sup> и посла в Персии Грибоедова. Пока на площадь вливаются роты, пока они выстраиваются в каре, Сипягин говорит Грибоедову:

— Я в Паскевича не верю. Он озирается, и в этой черте — весь, как на ладони. Суворов<sup>62</sup> озирался? Нет, Суворов не озирался. Милорадович озирался? И Милорадович не озирался.

В первых рядах солдатские лица с особой печатью. Их надо запомнить, они потом появятся снова.

— Из сенатских? — тихо спрашивает Грибоедов.

— Из этих. Московский кавалергардский бывший, — говорит Сипягин и продолжает, — я человек без предрассудков. Я тактик. Я стратег. Вот что я. Я в своей книге «Руководство для егерей» должен

был написать, чтобы застрельщик не торопился. Ну напишешь так — кто это запомнит? А я написал, пожалуйста:

«Вопрос: должен ли застрельщик торопиться при стрельбании?

Ответ: нет, напротив того».

Потому, что это прямо идет в душу, поэтому и запоминается.

К ним едет офицер. Отдал честь. Сипягин неохотно ответил. Грибоедов кивнул. Капитан медленно отъехал к площади.

— Знакомы? — спросил Сипягин.

— Не имею чести.

— Капитан Майборода<sup>63</sup>. Вознесся доносом своим на Павла Ивановича Пестеля.

У Грибоедова брезгливо дрогнули губы.

— Я вот не люблю сего созданья века, — сказал генерал. — Это роняет, если хотите, гвардию. Ну пусть бы оставили в армии, наградили бы как-нибудь, не то зачем же в гвардию? Это шермицель.

— А в армии можно? — с любопытством спрашивает Грибоедов.

— В армии можно. Куда ж его деть.

Грибоедов положил свою руку на генеральскую.

— И в гвардии можно. Теперь... теперь, генерал, можно и в гвардии. И полковником. И генералом.

Генерал обиделся.

— Зачем же, однако, так на наше время смотреть. На наше время, когда великая рука опять победоносна. Знаете ли, Александр Сергеевич, так неуместно смотреть.

И отъехал. И с площади звучит его голос:

— Солдаты. Вы показали врагам нашим великую руку победоносного его величества войска!

И пока Грибоедов едет на пеструю площадь, на него надвигается голос:

— Солдаты! Кампания окончена с желанным успехом действием военного оружия!

Генерал на белом коне машет белой лайковой рукою. Конь танцует под ним. Дрожат в готовности руки барабанщиков с палочками.

Грибоедов стоит на террасе рядом с митрополитом, еще с кем-то и смотрит туда, где лежат трофеи: трон, семь пушек, библиотека. Их привез полк, который стоит возле них, и впереди полка капитан Майборода.

— Солдаты! — красуется Сипягин. — Вы имели случай изгладить пятно минутного своего заблуждения, проливая кровь при первом военном действии.

На плоских кровлях множество тифлисцев.

— Справедливость и кротость покажет врагам ныне ясно, что не порабощения мы желаем, но ищем единственно освободить их от бедствия и угнетения. Солдаты! Сии трофеи! Сии куруры!..

— Единственное бедствие народа персидского, стало быть, куруры; его от них освободили. А вот и благодетель народа персидского, — говорит молодой чиновник на террасе.

Грибоедов проследил за взглядом говорящего и увидел сизое лицо капитана Майбороды.

Дрожащей рукой стягивает Грибоедов для чего-то перчатку.

Стукнули барабаны. Ровно прокатилось над площадью:

«Ура!» И под этот шум звучит в ушах Грибоедова: «Куруры... которые... капитан Майборода... предатель, доносчик привез... который Пестеля, благодетеля своего... который их на виселицу...»

— Ура! — маршируют солдаты. — «О как это великолепно!» — кричат дамы. И плывет в глазах Грибоедова: генерал... Кюхля... Майборода... собственное лицо его.

И барабаны стучат: «Куруры... куруры... куруры...»

Молодой человек в мундире, подхватив Грибоедова, кричит:

— Александру Сергеевичу дурно! Его превосходительству дурно!..

Белая ночь. Белая неживая палатка. Лица спящих солдат.

Один повернулся:

— Вы не спите, Александр Карлович?

— Не спится, Нил Петрович.

— Как вам понравилось?

— Мне понравилось, Нил Петрович.

— У нас вкусы разные.

— Ранее, когда конфирмацию объявляли, я подумал: «Помилуй бог в солдаты без выслуги. Это что? Это яма, это конец». Но конец вот не настал. Я доволен.

Солдат помоложе сел.

— Я вас понять не могу, Александр Карлович. Это очень почтенно, все, что вы говорите. Но неужели вся цель существования — маршировать, спать на земле!

— Вы молоды, Нил Петрович. Вы еще выслужитесь, даст бог. Вспомните, что друзья наши все в таком же и более тягостном положении.

— Но ведь, Александр Карлович, вы только по дружбе с Пестелем платитесь, и человек ваших лет, вашего состояния ввергнут вдруг в это поругание. Вы что же, это справедливым находите?

Мертвенно белое небо снаружи палатки. И шепот этот мертвенно звучит и здесь.

— А что же делать прикажете, Нил Петрович? В молодости и я полагал, что достаточно ответить по-логически: существует несправедливость — она должна быть устранена. Но ответы ума не так сильны, как кажется. Да и после Пестеля в России не так много ума осталось.

Молодой качается, обняв ногу.

— А парады? А помои красноречия? Не всем друзьям тяжело, Александр Карлович. Кто с террасы-то на нас смотрел в позлащенном мундире?

— А кто? Чиновники.

— Нет-с, не чиновники только. Там наш учитель стоял. Идол наш. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву, — яростно говорит он, — и на сигарки раскурю.

С жаром и отвращением шепчет молодой солдат стихи:

«Когда в душе твоей сам бог возбудит жар  
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,  
Они тотчас: «Разбой! Пожар!»  
И прослывешь у них мечтателем! Опасным!  
Мундир! Один мундир!..»

Он лег на шинель и добавил спокойным голосом:

— А впрочем, он дойдет до степеней известных —  
Ведь нынче любят бессловесных.

А по мертвому белому небу плывет луна; и палатка, спокойная, величественная, напоминает гробницу.

Старший усмехнулся:

— Я комедию Грибоедова не так уж высоко ставлю. Я полагаю, что Чацкий все это на балу говорил. На балу люди танцуют. Он ведь тоже в бальном наряде. И притом уязвлен.

— Но ведь это ж лишь внешность.

— Так и мундир — та же внешность. Вы ведь на него более всего за позлащенный мундир разгневались, а не почему он стоял на террасе.

— Я не понимаю вас, Александр Карлович.

— Я только говорю, что если вы о Чацком по бальному наряду не судите, зачем же вы его автора по позлащенному судите мундиру?

— А как вы сами судите? — робко спросил младший.

— Я так сужу, что, не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости и судить не могу. А теперь нам нужно спать...

Спит палатка. Дымит только трубка старшего собеседника. Плывут облака мимо палатки. Но кажется, что сама она плывет. Четко слышен в ночи шепот старшего:

— О, корабль! Вновь несут тебя в море новые бури.  
О, что ты делаешь? Смело занимай гавани.

...«Хардам аз омр... ежеминутно уходят из жизни...»

Шумно и суетно на тифлисской улочке за окном, в которое засмотрелся Грибоедов. Потом он садится за стол и пишет: «Его превосходительству господину Родофиникину<sup>64</sup>...» Перестает писать и говорит:

— Милый Финик! Пикуло-человекуло, финикуло, я вас знаю, мать вашу дерикуло, и плюю, милейшая букашка, на вас и на вашего сына. Желаю тебе, Финик, заболеть чумой, выздороветь, и помнить преданность беспредельную Александра Грибоедова.

Он выговорил это, откинулся, побарабанил пальцами по столу: мальчик-с-пальчик, Мальцов-с-пальцов, — отдохнул и стал писать: «Ваше превосходительство! Покорно благодарю за содействие ваше...» Но его снова отвлек шум за окном. Грибоедов задумался...

Титры:

«Однажды Вильгельм и Александр услышали на улице необычайный шум».

Грибоедов и Кюхля смотрят в окно. В отдалении крепость, а к ней бегут люди: дети, женщины, солдаты.

— Что такое случилось? — кричит Грибоедов.  
— Джамбот, — ответил ему кто-то на бегу.  
— Джамбот приехал, — кричит еще кто-то.  
— Что такое Джамбот? — спрашивает Кюхля.

Пока они быстро идут по улицам, Грибоедов рассказывает в чем дело:

— Самый богатый в Чечне Кучук дружен с Ермоловым. Но сын его от Ермолова сбежал, и, когда вторглись горцы, возглавил их. С тех пор как их разбили, Джамбот живет у отца. С неделю назад Ермолов послал ласковое письмо и пригласил Кучука и Джамбота для переговоров.

У крепостной стены масса народа. Медленно подъезжают к крепости старик в белой чалме и гибкий юноша с узким девичьим лицом. Их сопровождает свита. Они спешили, отдали коней. Опираясь рукой на шашку, насупив брови, стоит на крыльце Ермолов. Около него толмач в меховой шапке. Направо — рота солдат. Ермолов сделал шаг

и остановился. Низко кланяется Кучук. Склонился в традиционном приветствии и Джамбот. Ермолов не ответил на поклон.

— Скажи ему, — говорит он толмачу, — мне приятно видеть сына моего друга. Но приятнее было бы видеть его у себя два месяца назад, когда он удрал в горы.

Что-то легко и быстро отвечает Джамбот. Толмач переводит:

— Он говорит, что надеется на дружелюбие генерала.

— Очень рад раскаянию, — глухо говорит Ермолов. — Но за старое должно расчесться. Пусть отдаст кинжал и шашку.

Когда толмач, тихо дрожа, перевел это, Джамбот сделал шаг вперед. Грибоедов ловко заслонил спиной от Кучука Джамбота и Ермолова. Старик полузакрыв глаза. Кюхля протиснулся к свите, когда Джамбот сделал короткое движение и схватился за рукоять. Несколько человек взвели курки, обнажили сабли. Ермолов остановил их повелительным жестом.

Джамбот задвинул кинжал и кричит что-то в лицо Ермолову. Трясется голова Кучука, схватившегося за руку Грибоедова.

— Переводи, — кричит Ермолов. — Все переводи.

— Он называет ваше величество шакалом и трусом. Он говорит о вашей подлости. Он кричит: «Взгляни на горы! Вспомни, что это те самые места, на которых растерли в прах наши предки Надир-шаха. А Надир-шах это не ты, собака, это не русская погань! Трусы! Поджигатели, — запинаясь и мямля, переводит толмач. — Кто трусливее, тот начальник у вас. Самый большой трус и самый подлый человек — ваш слабосильный повелитель».

Ермолов кивнул ротному командиру. Тот вытянулся во фронт.

— За оскорбление публичное верховной власти, — сказал Ермолов, — застрелить.

Кто-то пронзительно закричал, и Вильгельм, подняв руку вверх, крича не своим голосом, бросился между Джамботом и солдатами. Его схватил за руку Ермолов, резко потянул и повлек на крыльцо:

— Вы с ума сошли! Прочь отсюда!

В комнате он толкнул его на диван, поднес ко рту стакан воды. Зубы Вильгельма стучали. Ермолов сказал, глядя в упор на офицеров:

— Господин Кюхельбекер подвержен нервическим припадкам.

Во дворе раздался залп. Когда Вильгельм выскочил, там никого не было. Только Грибоедов обнимал старика Кучука, который что-то беззвучно шептал, свесив голову на грудь...

Ночью, вцепившись в кровать, Вильгельм рыдал лающим плачем...

...Вот и сейчас этот лающий звук преследует Грибоедова. Он пытается отогнать его, и это ему удается, потому что входит его слуга

Сашка Грибов. Покосившись на Грибоедова, открывает фортепьяно и начинает барабанить по клавишам.

— Ты что, играешь на фортепьяно? — спрашивает Грибоедов.

— Играю, — равнодушно отвечает Грибов.

Грибоедов подходит к нему:

— Что же ты играешь?

— Разное играю, — цедит сквозь зубы Грибов. — «Барыню» играю.

— А ну, сыграй.

Грибов начинает подбирать.

— Ничего не понимаешь, — говорит Грибоедов. — Франт ты. Только мой фортепьяно портишь. Играй лучше в бабки. Пош-шел. Так надо играть. Он сыграл.

— По-вашему так.

— Ах ты, франт! А по-твоему как?

Грибов ничего не ответил, и Грибоедов в тоске заходил по комнате.

И тогда он вспомнил неопрятную комнату, человека в шляфроке и пожаловался ему:

— Я сел на лошадь, пустился в Иран. Секретарь бродячей миссии. По семьдесят верст каждый день, по два, по три месяца сряду. Промежутки отдохновения бесследны. Так не нахожу себя самого.

— Вот как? — сказал Чаадаев. — Но ведь это болезнь, это называется боязнь пространства, агорафобия. Вы скачете по большому пространству, а затем...

— Положим, однако, — сказал Грибоедов, — что я еще не совсем с ума сошел. Различаю людей и предметы.

— Вот и я тоже: сижусь, сижусь, прислушиваюсь...

— И что же *вы* слышите?

— Многое, — снисходительно сказал Чаадаев...

...В одну из палаток, раскинутых недалеко от Тифлиса, входит Грибоедов. Его встречает полковник Бурцов. Мы уже видели мельком этого офицера на вечеринке у Каверина. И вот сейчас он говорит Грибоедову:

— Садитесь, Александр Сергеевич. Мы с вами не виделись три года.

— Я не помню, Иван Григорьевич.

— Три года — три столетия...

Бурцов оглядывает Грибоедова и тихо напоминает:

«Иных уже нет, а те странствуют далече». Это мы все странствуем с вами.

— Разве вы там были? — изумленно спрашивает Грибоедов.

В палатку проникает зыбкий лунный свет. Она наполняется воспоминаниями.

— Я тоже забыл все, — тихо говорит Бурцов. — Воюем, как видите. Давно я оторвался от России. Я иногда вспоминаю Петербург, но вдруг вижу, что это не Петербург, а Бобруйскую крепость вспоминаю или что-то другое, Москву, что ли.

— Москва изменилась. А Петербург все тот же, Бобруйская крепость та же. Как я мог, однако, позабыть.

— Да ведь помнить горько, — сказал Бурцов. — Вот так же и я «иных уж нет»... Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин...

Июльской ночью 1825 года молодой подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол постучал колотушкой в дверь маленького дома. Из комнаты выбежал совсем молоденький подпоручик.

— Рад вас видеть, Михаил Петрович, — сказал пришедший.

Они крепко поцеловались.

В комнате, где сидели Грибоедов и Бурцов, подполковник мягко повторил, обращаясь к Грибоедову.

— Рад вас видеть. Человек от Михаила Петровича чуть не запоздал. — Я собирался в Тульчин. Иван Григорьевич, здравствуйте: жарко.

Грибоедов обрадованно сказал:

— Я не мог приехать в Киев, Сергей Иванович, не повидав вас.

— А я хочу вас в Тульчин везти. Место зеленое, городишко забавный. Павел Иванович Пестель давно ищет с вами знакомства.

— Лестно мне ваше внимание, но, жалко, — тороплюсь.

— Александр Сергеевич, не благодарите. Вы и не знаете, что здесь вы виною больших беспорядков: все мои писаря вместо отношений переписывают ваше «Горе...». Ждать пока цензура пропустит — состариться...

Грибоедов улыбнулся.

— Авось,ждемся вольного книгопечатания, — сказал он со значением.

— И, конечно, первую его книгой будет ваша комедия, — горячо поддержал его Муравьев-Апостол.

— А сам Сергей Иванович только стихи французские пишет, — подтрунивает юный Бестужев-Рюмин.

Муравьев-Апостол покраснел и погрозил пальцем:

— Вы относитесь безо всякого уважения к начальству, — все засмеялись. — Итак, Александр Сергеевич, вы едете в Грузию? «Иных уж нет, а те странствуют далече». Видели ли Рылеева, Одоевского?

И идет молодой, оживленный разговор. Денщик принес чаю и вина.

...Бурцов и Муравьев-Апостол лунной ночью идут вместе с Грибоедовым. Бурцов откланялся.

Кудрявые деревья. Перестук колотушек сторожей. И голос Муравьева-Апостола:

— ... и, может быть, если будет неудача, мы придем к вам в гости, в вашу Грузию чудесную, и пойдем на Хиву, на Туркестан...

...и светит луна мягким приветливым светом, и видно, как обнялись силуэты двух людей — молодых, порывистых, искренних...

«Иных уж нет, а те далече»... Вот сидят сейчас два уцелевших участника того разговора, и Бурцов грустно говорит:

— Да... а «Горе...» ваше так и не напечатано?

— Цензура.

— Государя видели?

— Видел. Говорил. Он бодр.

— Да, все говорят, что бодр, да, да... так, — начинает Бурцов, — Иван Федорович Паскевич поручил мне разобрать проект ваш. Нам надо поговорить о нем. Я ночь напролет читал, две свечи сжег. Я ничего более завлекательного по этой части, верно, уж не прочту.

Они не заметили, как кончился тихий разговор, как громко звучат сейчас их голоса.

— Идея кампании торговой прямо чудесна. Это новое государство, перед которым нынешняя Грузия — простая арба. Превосходно и завлекательно.

— Ваше мнение? — сухо оборвал его Грибоедов.

— Отрицательное.

После небольшой паузы Грибоедов улыбнулся:

— Это образец критики французской. Сначала: «это вещь весьма остроумная». Потом: «полный провал».

— Я не критик и не литератор, — грубо ответил Бурцов. — Я барабанная шкура, солдат.

Грибоедов стал подыматься. Но Бурцов удержал его рукой и сказал мягче:

— Не сердитесь.

Барабанит дождь. И под шум дождя сухой голос Бурцова особенно неумолим и беспощаден:

— В вашем проекте все есть. Одного недостает.

— Вы разрешите в диалоге нашем драматическом быть без реплик. Я должен, разумеется, спросить: чего?

— Сколько вам угодно. Людей.

— Ах, вы об этом, — Грибоедов откровенно зевает. — Мы достанем людей, дело не в этом.

— Вот, — торжествующе говорит Бурцов. — Ваша правда: дело не в этом. При упадке цен на имения вы крестьян в России даром купите.

— А люди для управления, так они найдутся. Вы вот воюете же у Паскевича. Есть еще честные люди.

— Мало. Но хорошо, что же из вашего государства получится? Куда приведет оно? К аристократии богатств? К новым порабощениям?

Сейчас начнется самая главная часть разговора. Грибоедов развалился и закинул ногу на ногу.

— А вы? — спросил он. — Вы *тогда* о цели думали? Хотите скажу, что у вас получилось бы?

— Что? — быстро и настороженно спрашивает Бурцов.

— То же, что и сейчас: из-за мест свалка бы началась. Павел Иванович Пестель Сибирь бы взял. И наворотил бы. И отделился бы. И войной противу вас пошел бы.

— Я прошу вас, — прыгают губы у Бурцова, — я покорнейше прошу вас... у меня есть еще прямая честь. Я о мертвом говорить не стану.

— Ага, — протянул Грибоедов. — Ну и Кондратий Федорович был человек превосходный... человек восторженный.

Бледный и возбужденный смотрит на Грибоедова Бурцов. А Александр продолжает неумолимо:

— Кондратий Федорович, вкупе с вами, мужичка бы непременно освободил, литературую бы управлял...

И Бурцова прорвало. Он кричит, срываясь иногда на хриплый шепот, бегаем по комнате, бьет кулаками воздух.

— Вот. Договорились. Вот. А вы крестьян российских сюда бы нагнали как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров. В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратитесь хотите! Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами — в яму! С детьми! С женщинами! Это вы, который «Горе от ума» создали!

Этот крик был прерван спокойным голосом Грибоедова.

— А я не договорил. Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плыли. Деньги бы плыли, — он торжествующе смотрит в лицо Бурцова с ходящими желваками. — И сказали бы вы бедному мужичку российскому: младшие братья... — (крупные слезы текут по лицу Бурцова) — временно, только временно, не угодно ли вам на барщине поработать? Кондратий Федорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольной обязанностью крестьянского сословия.

Бурцов медленно идет на Грибоедова.

— И, верно, Рылеев гимн бы написал, — усмехается ему в лицо Грибоедов.

— Я вызываю вас, — тихо с ненавистью сказал Бурцов, — я вызываю вас за то, что вы имя... за то, что вы Кондратия...

Длинные пальцы Грибоедова легли на руку Бурцова.

— Нет, — ласково говорит он. — Не буду драться с вами. Все равно. Считайте меня трусом.

Громко булькает вода. Это Бурцов пьет ее всхлипывая. Он поставил на стол пустой кувшин.

— По той причине, что вы новую аристокатию денежную создать хотите, что тысячи погибнут, — я буду всемерно проект ваш губить.

— Губите, — лениво и равнодушно сказал Грибоедов.

— Я погорячился, кажется, — бормочет Бурцов и вытирает глаза. — У вас те же манеры, что у покойного Павла Ивановича.

Сквозь полотно в углу капает медленный дождь.

Грибоедов поднялся. И тогда так же тихо, как начинался этот разговор, прозвучал грустный голос Бурцова.

— Вы видели мою жену? Она здорова? Это ангел, для которого я еще живу.

Грибоедов вышел, и голос Муравьева-Апостола шепчет ему в спину страстно, восторженно:

— И, может быть, в случае неудачи мы приедем к вам в Грузию. И будет новая Сечь, в которой жить будем...

...Качаются силуэты пяти тел на кронверке далекой Петропавловской. И Бурцов, невидимый, кричит, задыхаясь, всхлипывая:

— Стыдитесь... Негры... В яму... С детьми...

...Кривой обрубок луны висит в небе.

— Не позволю!.. Тысячами в яму!.. С детьми!.. — кричит голос Бурцова, и ночь разносит этот голос, множит и дробит его, и какие-то жуткие, неразличимые звуки летят в спину Грибоедову.

— Где найду странноприимный дом для крови, для сердца, — безнадежно шепчет он.

— Скот... В рабов... В яму... С детьми...

А в камере крепости такая же ночь и краешек такой же луны с куточком темного неба через решетку, и тень огарочного света ползет по стене к этому кусочку свободы. А Вильгельм пишет. Пишет, торопясь, опасливо поглядывая на догорающую свечку. Мы видим кусо-

чек его дневниковой записи: «Всего мне приятнее, когда мне снятся дети. Я тогда чрезвычайно счастлив и с ними сам становлюсь дитятей». Почерк у Кюхли характерный, мелкий и не очень разборчивый, Вильгельм повторяет написанное. Потом наступила темнота. Уплыл обрубок луны, и Кюхля шагнул по воздуху. Яковлев попробовал передразнить его: согнулся, закинул голову и шагнул по воздуху. Взрослый Кюхля ласково смеется. Кто-то из лицеистов махнул ему рукой:

— Виля, сальви!

— Ах, мои старые болезни, — пожаловался ему юный Горчаков со вздохом и старчески заковылял по земле.

— Ах, мои старые болезни, — передразнил его Яковлев и стал похож на Горчакова.

Наверху, качаясь в воздухе, смеется постаревший Кюхля. Раздался звон скрестившихся рапир и засуетился учитель — старый француз с крашеными усиками:

— Вотр кор труа! Аванце! Ан кар! — звенят и сгибаются рапиры, стучат каблуки, хлопают и кричат ребятишки, и Вильгельм сверху кричит:

— Bravo, Александр! — Пушкин сделал великолепный выпад.

А потом заиграла танцевальная музыка и раздался старческий голос: «В пары, господа, в пары». Лицеисты приготовились и среди детей — Пущина, Дельвига, Пушкина, Яковлева, Горчакова, Корфа — взрослый Кюхельбекер, очень старательный и очень нелепый, путающий все команды, машущий невообразимо длинными руками. И каждый раз, когда из-за Кюхли расстраиваются фигуры, лицеисты хохочут.

— Нет, господа, — говорит старенький учитель, — увольте.

Он хлопнул в ладоши, и все с шумом разбежались по лугу. Хохот, крики, мелькание лиц — и среди них лицо взрослого Кюхли — сочная зелень луга, смеющееся плутовское лицо Пушкина...

Крик, шум, гортанные вопли. Кучка полуголых восточных мальчиков бегают взапуски друг за другом и о чем-то разговаривают. Лиц их не видно.

— Кто это? — с ужасом спрашивает Кюхля сверху.

— Это аманаты, заложники, — говорит ему Грибоедов. — У нас здесь так водится — отбирать аманатами детей, всё дети лучших фамилий.

— Детей — аманатами?

— Война, — невесело усмехается Грибоедов.

Шум, возня, гортанные вопли перемежаются с французскими словечками. Бегут взапуски дети в лицейских мундирчиках, полуголые

кавказские мальчишки. Киноаппарат двинулся к крепостной стене, где сидят понурые дети, скованные цепями. В этой группе, отделенные друг от друга полуголыми детьми, взрослые Пущин и Кюхельбекер.

— Жанно, ты же сказал, — наклонился к нему Вильгельм.

Но Пущин засмеялся звонко, по-мальчишески, и отрицательно покачал головой...

...Ермолов перестал писать, потому что он услышал сверху голос:  
— Алексей Петрович, а где родители этих детей?

Ермолов поднял глаза кверху:

— Вы насчет аманатов? Друг мой, это дело не столько военное, сколько экономическое. Аманаты взрослые стоили раньше ужасно дорого, я и стал брать ребяташек. Они у меня играют в бабки, а родители приезжают наведываться. Я их пряниками кормлю, и те, право, предовольны, и еще просеки мне заодно расчищают...

...Веселый детский смех. Растянувшись в длинную цепь, звеня кандалами, по сочному лугу весело бегут дети. Голые смуглые тельца чередуются с лицеистскими мундирчиками.

— По парам, господа, по парам, — кричит учитель танцев. Но его не слушают и бегут по блестящей траве, пока не натыкаются на крепостную стену. Тогда дети повернули обратно. Трава. Солнце. Смех. Гортанные вопли. Французские словечки. Перед ними опять крепостная стена...

...По узкой персидской улице четко шагают русские солдатские сапоги. Звучит песня про небогатую-распроклятую Персию. Стреляют пистолеты, трещат фальконеты. Дробный перестук барабанов. Едет верхом чрезвычайный посол Грибоедов. Он снял очки, и пестрит в глазах: льстивые поклоны роскошных их халатов, угрюмые спины персидской рвани...

...Вельможно усмехается издалека Карлик-Нессельрод:

— Волею его величества, — говорит он Грибоедову, — вы возводите в чин статского советника с назначением полномочным министром российским в Персию.

— А что... если я не поеду?

— Вы откажетесь от милости императора? Тогда я буду откровенен: нужно получить контрибуцию, «куруры». Мы ищем человека, который мог бы это сделать. Этот человек — вы.

Грибоедов желчно рассмеялся:

— Я принимаю назначение с благодарностью...

...Спины и спины. Перестук барабанов. Пистолетные выстрелы. Круп лошади. Спина Грибоедова. И в спину змеиный шепот Нессельрода:

— Какое счастье, что этот человек, наконец, уезжает.

Лошади, мулы, повозки, свита, кладь и лицо нерусской девочки — его жены, Нины<sup>65</sup>...

Ее лоб, волосы, руки... И тогда, выходя из-за стола, Грибоедов взял ее за руку и просто сказал:

— Пойдемте со мной, мне нужно вам кое-что сказать.

— Что? — спрашивает шепотом Нина. Она беззвучно плачет. Слезы текут из ее глаз. Она счастливо смеется...

...«Волоокая девочка. Высокая, нерусская, — думает Грибоедов и качается на коне. — Любовь ты или расчет?»

Перестук барабанов. Плоские крыши. Мечети. Верхом на коне едет двойник Грибоедова Мальцов<sup>66</sup>...

... — Вам, кажется, подражают? — кивает, очевидно, на него, головой Пушкин и смеется.

Они в том же фойе театра.

— Я все знаю, — тихо дотронулся до его руки Грибоедов. — Вы не знаете этих людей. В дело пойдут ножи.

— Зачем же вы едете? — тоскливо спрашивает его Пушкин. — Власть?

— Но судьба, но обновление... — так же тоскливо отвечает Грибоедов...

...И идет, и идет огромная процессия. Отмелькали, исчезли солдатские сапоги. Далеко вперед уехал посол. Кто-то тонко и тошнотворно завыл. Качнулась персидская рвань. Бегут, давя друг друга, люди и кричат:

— Ва Хуссейн! Ва Хуссейн!

Толпу смелó, оттеснило к стене тупика. Затравленно смотрит она на коня Грибоедова и воет:

— Ва Хуссейн! Вазир-Мухтар!

И тогда вышел из толпы какой-то юродивый и завыл:

— Убийца святого имама Хуссейна въехал некогда на вороном коне. Ибн-Саад было его проклятое имя.

— Ва Аллах! — кричит толпа. — Ва Хуссейн!

— Близок черный месяц Мухаррем, когда грудобойцы будут терзать грудь свою, проклиная Ибн-Саада и плача по имаму Хуссейну.

— Ва Хуссейн! — рыдает и вопит толпа.

И, исказив безумное лицо, заканчивает жуткую песню свою юродивый:

— Убийца святого имама Хуссейна въехал некогда *на вороном коне*. Он протянул длинный дрожащий свой палец в сторону седока, Грибоедова, и закончил зловеще:

— Вазир-Мухтар въехал *на вороном коне!*..

В шахском дворце чрезвычайного посла Грибоедова принимал принц Аббас. Он был одет довольно просто. Только переливался камнями кинжал за его поясом. И встреча началась не с долгих и сложных восточных церемоний, а с обыкновенных европейских поклонов. И сразу же был принят тон светской беседы.

— Надобно много времени, — сказал Аббас, — чтобы каждый народ образовать для войны. Мы только начали, мы также имели свое время испытаний.

Он держится с европейским достоинством и любезностью.

— Я рад, что со мной говорите вы, счастливый человек. К моему огорчению, я до сих пор не знаю, что нравится вашей супруге. Может быть, она любит шелк, может быть, конфеты? Так трудно разгадать женские вкусы.

— Ваше высочество, мы довольны всем, и моя жена просит передать вам благодарность за ваши заботы.

Нужно говорить любезности, и Грибоедов говорит их:

— Плоды из сада вашего высочества необыкновенно ароматны.

...Грибоедов входит в боковую дверь дворца. В продолговатом дворе от стены отделились два человека в халатах. Он входит в другой дворик, уже четырехугольный, и два человека в расшитых злотом мундирах... нет, два человека в богатых халатах молча присоединяются к нему. Потом они оказались в восьмиугольном дворике, потом в башне, и везде к нему присоединяются люди в халатах и молча сопровождают его. Солнце играет в разноцветных стеклах, а потом внезапно становится темно и сыро: они вошли в помещение, где полуголые люди на земляном полу разводят в жаровнях огонь. На деревянном троне в белом халате сидит Аббас. Он молча указывает Грибоедову, где сесть и смотрит только на жаровни. Медленно разгорается огонь. Потрескивают дрова, тяжело дышат люди. Огонь разгорелся. Аббас протягивает руку. И люди встают и несут, согнувшись и приплясывая от тяжести, блюда. Аббас показывает Грибоедову, что лежит на блюде: это канделябры древней и прекрасной работы. Блюдо относят к огню. И так относят к огню канделябры, чаши, сосуды. Люди, обливаясь потом, несут и несут блюда. В комнате сейчас светло от ярких струек и завитков огня. Чернобородый Аббас в белом халате сурово смотрит на огонь. Непроизнесенное лицо Грибоедова, и голос диктора говорит:

«... Он не подумал о том, что он, Грибоедов Александр Сергеевич, хоронит империю каджаров. Ни тепло, ни холодно ему не было от этого. И о Персии он не подумал.

Но ему показалось, что он всю жизнь свою просидел заложником в земляном погребке, и рядом сидел на тысячу верст и тысячу лет, более чужой, чем расплавленные канделябры, Аббас, до которого нет ему никакого дела и которого кто-то все же связал, спутал в недобрый час с ним...»

Горит огонь и пустеют блюда. Поднявшись с трона, Аббас сказал Грибоедову, кивнув на огонь:

— 60 тысяч туманов.

Горит огонь, зловеще сверкают голые, раскаленные тела измученных людей. Аббас повторил:

— 60 тысяч туманов. Завтра их отвезут в вашу миссию...

Кюхля оторвался от работы, потому что в камеру к нему пришел Грибоедов и пожаловался:

— Не могу я так дольше жить. Я в обыкновенные времена, милый, совсем не гожусь. Люди мелки, дела их глупы, душа черства.

— Как ты думаешь, Александр, — зашептал Вильгельм, — а нельзя ли отсюда бежать в Грецию? Милый, помнишь Пушкина: «Жаждой гибели горел», как Пушкин это понимает!

Грибоедов повторил глухо:

— Жаждой гибели... А время летит, в душе горит пламя, в голове рождаются мысли, и, между тем, я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Что за проклятье над нами, Вильгельм!

— Едем домой, — сказал Вильгельм. — Здесь от бездействия погибнем. Не все же шататься по большим дорогам.

Он забежал по камере, потом внезапно со слезами на глазах остановился перед Грибоедовым.

— Я готов на преступление, на порок, но только не на бессмысленную жизнь. Куда бежать?

Грибоедов поднялся.

— Бежать некуда. Край забвения — и то хорошо. Не в Москву же ехать. У меня дядюшка на Москве спит и видит, когда уж я статским советником стану...

...Статский советник Грибоедов прощается со своей юной беременной женой. Она ничего не говорит ему, только прижимается и плачет. Вот она села, наконец, в коляску. Вот отъехала она и ее многочисленная свита. Качаются лошади и бьют копытами мерзлую землю. Снег

хлопьями падает на верховых и на крытые телеги. Персидская рвань дрожит от холода, но не расходится. Она с любопытством смотрит на проводы. Процессия удаляется. Грибоедов и его спутник собираются сесть на коней.

— Вазир-Мухтар! — толкнул старик персиянин другого и показал глазами на Грибоедова.

— Сахтыр, — ответил другой и тряхнул головой.

Грибоедов замешкался и спросил рассеянно своего спутника:

— Что такое «сахтыр», доктор?

Спутник достал из кармана небольшой словарик. Он полистал его и ответил, пожав плечами:

— Сахтыр... — жестокое сердце...

...Люди в рваной одежде несут халаты, башмаки, жалкие стертые коврики и бросают их.

— Уплатите немедленно два курура, — звучит голос Грибоедова. Гора вещей растет...

...Его высочество Аббас почтительно принимает в своем дворце хранителей шариата: это старый человек с крашеной бородой и человек помоложе с жирным бабьим лицом. Фанатичное лицо старого человека перекосилось. Прямо глядя в глаза повелителя, он говорит:

— Джахат. Священная война.

Тонкий голос подтверждает:

— Джахат. Священная война. Против кяфира в очках.

Аббас наклоняет голову.

— Да будет воля Аллаха.

И бежит по городу — по его узким улицам, по домам с плоскими крышами, по базару и чайхане — весть:

— Запирайте базар и собирайтесь в мечети.

К персидскому кузнецу забежал его сосед, сапожник, с ножом в руках. Кузнец схватил молот, и они взбежали на крышу. На соседних крышах женщины жадно смотрели в сторону виднеющейся вдали мечети.

— Я достал этот сорт из Франции, но сад мой сохнет, — так же просто, как о саде, Аббас продолжает: — и страна моя сохнет. Мон шер ами, вы уже достаточно осмотрелись кругом. Сложите с меня эти два курура.

...Едут, едут кони, мулы, и рваные халаты согнулись в низком поклоне, их злые, угрюмые взгляды исподлобья чувствует на своей спине Грибоедов; искривив сумасшедшее свое лицо, тычет в него сухой и длинный палец дервиш и что-то кричит и яростно, и беззвучно...

Грибоедов сухо ответил:

— Ваше высочество, разрешите мне быть откровенным, я как раз собирался вам сказать: уплатите немедленно два курура. Дальнейшая оттяжка может повести к несчастью...

...Мерным шагом ступают русские сапоги по дорогам Кавказа. Издалека горько несется песня про небогатую — распроклятую Персию...

— Экселенц. Я бедный сектатор Вюртембергский. Мы высланы сюда на Кавказ. Я знаю, что вы едете в Персию.

Что-то в голосе и в жестах незнакомца тронуло Грибоедова, и он тихо спросил:

— Что вам нужно?

— Мы веруем в Пришествие Христа из Персии. И, если вы, экселенц, услышите о нем там, напишите мне об этом. Я прошу вас, как бедный человек. Моя фамилия Майер.

Глядя в лицо бедного немца, Грибоедов ответил очень серьезно:

— Дайте мне ваш адрес, господин Майер, и, если я встречу в Персии ден либен готт, я скажу ему, чтобы он сам написал вам письмецо. Но знаете ли вы по-еврейски?

— Нет, — сказал немец.

— В таком случае я сильно сомневаюсь, что дер либе готт знает по-немецки. Вы, верно, не поймете друг друга.

Мерным шагом немец уходит прочь.

А в дальней комнате русского посла гораздо спокойнее. Подчеркнуто медленно поправляет Грибоедов прическу, одергивает мундир перед зеркалом. Глядя в это свое-чужое отражение, Грибоедов говорит о себе в третьем лице:

— Измен не было, *он* никого и ничего не предавал. *Он* был прям, добр, прямой ребенок...

Лицо в зеркале неумолимо. И Грибоедов отходит от него:

— Я прошу прощения за промахи, за свою косую жизнь, за то, что ловчился. Прощения за то, что отклонился от первоначального детства. Перед смертью надо душу спасти...

А шум и крики долетают и сюда.

Грибоедов склонился над бумагами. И тогда к нему вошел Кюхельбекер и сказал непривычно строго:

— Дело прошлое, оставь свои бумаги, не хлопочи так над бумагами.

— Джахат, — долетает до них тихое, почти как шепот.

— Присядь, подумай, — говорит Кюхля. — Ты недавно пнул ногой собаку на улице, вспомни.

— Неприятно, — поморщился Грибоедов, — но, вероятно, она привыкла.

А потом сказал тоскливо:

— Жизнь не удалась, не вышла...

— Здесь ты прожил даром, и совершенно даром, — сказал Кюхельбекер. — Зачем ты бросил свое детство? Что вышло из твоей науки, из твоей деятельности?

— Ничего, — тихо ответил Грибоедов, — я устал за день, не мешай мне.

— Зачем ты женился на девочке, на дитяти? Она мучается беременностью и ждет тебя.

«Волоокая девочка, — думает Грибоедов, — высокая, нерусская. Любовь это или расчет?»

— Не нужно было тягаться с Нессельродом, торговаться с Аббасом, это не твое дело. Нужно больше добродушия, милый, даже в чиновничьем положении.

— Но ведь у меня в словесности большой неуспех, — неохотно сказал Грибоедов.

— Может быть, ты убежишь, скроешься? Ничего, что скажут: неуспех.

— Да мимо меня идет чаша эта.

— Вспомни о Кате, ты ведь любил ее.

— Золото мое, — смущенно улыбнулся Грибоедов. — Галатее в балетном костюме. И притом все это преувеличено. Я выйду в павлиньем мундире, и они уймутся.

— У тебя будет сын. Нина будет его качать: люшеньки-люли. Может быть, не поздно еще?

— Поздно-непоздно — отмахнулся Грибоедов и встал. — Я не хочу об этом думать. Я честно исполнял трактат.

Грибоедов подошел к окну и открыл его. На крышах отдирали дрань. Гремели балки; с ножа, который держал мальчик лет пятнадцати, капала кровь.

Вдруг он увидел Сашку Грибова.

— Александр! — крикнул Грибоедов. — Назад!

Сашка не слышал его. Он посмотрел на него только после того, как раздался выстрел. Посмотрел ясным взглядом и согнулся.

— А! — сказал Грибоедов. — Они Александра убили! И стал стрелять. Крики во дворе усилились. Со стен на казаков полетели тяжелые балки.

— Надо отступать в гостиную, — сказал Грибоедову вбежавший доктор. Сверху на крыше топало огромное количество ног. Люди ломались в двери. Вытащив шпажонку, доктор подскочил к двери, потом отступил, разорвал занавеску, вскочил в окно и прыгнул.

— Молодец, — сказал Грибоедов. — Какой человек.

И в это время на него посыпалась известка, рухнули балки, и сверху спрыгнули люди. Они замерли. Несколько человек с кривыми саблями шли на Грибоедова. Он насмешливо улыбался...

Кадр застывает. На этом и на других застывших кадрах последних минут Грибоедова звучит голос Кюхельбекера:

— Я долго колебался, писать ли тебе. Но, может быть, в жизни не представится уже такой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что я люблю тебя по-прежнему, и не ты ли был моим лучшим другом? Хочу верить в человечество, не сомневаюсь, что ты тот же, что мое письмо будет тебе приятно... Прости! До свидания в том мире, в который ты первый вновь заставил меня веровать.

Вильгельм Кюхельбекер.

Титр: «Письмо было написано мертвому человеку».

Человек, очень похожий на Грибоедова, Иван Сергеевич Мальцов, прижался в углу к стене и шепчет:

— Я не виноват, я не виноват, господи. Это он виноват. Я молод. Только бы без мучений, только бы без мучений умереть.

По двору бегут: персиянин, таща огромное зеркало, мальчик с охапкой белья, из которой свисает один рукав рубашки.

— О, я хитрю, я, господи, я жить хочу, — бормочет Мальцов, — пусть все погибнут, господи, если так нужно. Все пусть погибнут. Только спаси, сохрани, помилуй меня. У меня жизнь впереди.

В комнату входит персиянин с узлом и бросает его Мальцову:

— Одевайтесь.

И вот он стоит перед шахом.

— Аллах, — говорит шах. — Вот что сделали муллы и народ тегеранский.

— Мон дъё, — говорит принц Мальцову, — ах, мон дъё, какой позор для всего Ирана. Падишах, видит бог, не хотел этого.

И Мальцов заговорил вдохновенно:

— Нужно быть безумцем и преступником, чтобы хоть на одно мгновение подумать, что его величество падишах допустил бы это происшествие. Я знаю, что дворец падишаха был в опасности. Я единственный ныне русский свидетель того, как милостив был падишах к послу. Я буду говорить правду, — он горестно вздохнул и покачал головой. — Я знаю, кто виноват во всем случившемся. Виноват, к ве-

ликому моему сожалению, русский посол. Он, и только он, — с ненавистью закончил Мальцов.

— Мон дьё, — сказал принц, — как счастливы мы, что здравомыслящий и благонамеренный человек сам был свидетелем печального происшествия и знает, кто истинно виноват. Но не откажетесь ли вы повторить то, что вы сказали, самому его величеству русскому императору, который скорбит чрезмерно, чтоб снять с души его тяжесть.

Мальцов поклонился, выпрямился... Вывеска: «Большая мальцовская мануфактура» мелькнула перед его глазами. Он снова поклонился...

Грибоедов идет во дворец. В каждой комнате к нему присоединяются Лица, Которые Сопровождают. Это идет не Грибоедов. Это юный посланник Персии. И государь Николай I милостиво говорит ему:

— Я придаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие...

Повозка с гробом тронулась из города Тегерана...

Карета подъезжает к театру. Из нее выходит не Грибоедов — молодой посланник Персии. Катя Телешова легко порхает по сцене и смотрит умиленно в ложу, где сидит посланник и друг Грибоедова Фаддей Булгарин.

...Повозка едет по дорогам Персии, по дорогам Грузии... и бьется в рыданиях нерусская девочка...

...Волы поднимаются в гору. Позади — контуры голой крепости. Впереди — мост, веселая речка. Пушкин переехал верхом мост и поравнялся с волами.

— Откуда вы? — быстро спросил он.

— Из Тегерана, — ответили ему с сильным кавказским акцентом.

— Что везете?

— Грибоеда...

Пушкин натянул поводья, снял картуз. Медленно тащились волы. Дощатый ящик гроба стоял между мешками.

Пушкин поехал, удерживая коня. Холмы, дороги. Хриплый всплеск реки. «Могучие обстоятельства, — подумал Пушкин. — Оставил ли он записки?» Начал накрапывать дождь. Пушкин обернулся: волы были маленькими, медленно передвигающимися точками.

«Ему нечего было более делать. Смерть его была мгновенной и прекрасной. Он сделал свое: оставил «Горе от ума»...

Медленно брел конь, и Пушкин вспомнил:

Грибоедов прикоснулся к нему и сказал:

— Я все знаю. Вы не знаете этих людей. В дело пойдут ножи.

— Зачем же вы едете? — тоскливо спросил тогда Пушкин. — Власть?

— Но судьба, но обновление, — так же тоскливо ответил Грибоедов...

... — Но власть... Но судьба... Но обновление, — горестно шепчет Пушкин. «Мы ленивы и нелюбопытны», — думает Пушкин. И вспоминает легкий разговор в фойе театра: «Может быть, Декарт<sup>67</sup>, ничего не написавший. Или Наполеон без роты солдат...»

...По четырем концам вокруг образовавшегося креста пары танцуют котильон. Играет музыка.

Слышен голос Пушкина:

— Что везете?

Гортанный голос кавказца отвечает ему:

— Грибоеда...

Играет музыка.

Играет музыка. Бал. Шуршат шелка. Белеют крахмальные воротнички и манжеты. Пестрые люди снуют по залу. Общее внимание привлекает одна пара. Указывая на танцующую женщину, одна из сидящих дам говорит другой:

— Какая прелесть Наталі, правда? И такая обезьяна ее муж...

Веселая танцевальная музыка. Кружатся пары. За столом взметнулись руки с картами. Покусывая губы, Пушкин проходит мимо игорных столов, мимо флиртующих, беседующих. А голос его повторяет текст анонимки: «Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносца в полном собрании своем единогласно выбрали Александра Пушкина коадьютором великого магистра Ордена Рогоносца и историографом Ордена. Непременный секретарь: граф I Борх».

Играет музыка. Кружится пленительная Наталі.

— Прелесть, правда? — говорит одна из сидящих другой, кивнув на нее.

Горькая складка у губ Пушкина. Играет музыка, и Пушкин лукаво говорит Кюхле:

— Хочешь, Виля, новые стихи?

Кюхельбекер жадно приложил ладонь к уху, и Пушкин четко прочел:

За ужином объелся я,  
Да Яков запер дверь оплошно.  
Так было мне, мои друзья,  
И кюхельбекерно, и тошно...

...Играет музыка, и кружится, и кружится, кружится, меняя напарников, блистательная Наталі.

В зал входит молодой красавец, и какой-то светский остряк, кивнув на него и Пушкина, поднял два пальца, растопырив их, как рога. Пушкин делает шаг...

...Идет по лестнице Кюхельбекер, и кто-то, проходя мимо него, говорит:

— Что-то мне сегодня кюхельбекерно.  
Хохот за спиной Кюхли...

Молодой человек целует руку Наталі. Пушкин делает еще один шаг..

— Историограф Ордена Рогоносца, — шипит кто-то за его спиной.

Хохот. Пушкин оглядывается: отвернувшись от него, смеется группа пшютов, говоря о чем-то своем. Александр Тургенев дружески обнял его за плечи. Пушкин улыбнулся, но руки с плеч снял и быстро пошел к танцующим. Играет музыка. И кружится, кружится с молодым красавцем блистательная, прелестная Наталі...

Едет повозка, и, звякнув кандалами, отодвигается от конвоира Кюхельбекер...

...Волы медленно тащат в горы деревянный ящик, зажатый мешками...

По снежной дороге едут сани. Впереди сидит жандарм. Сзади крепостной и Александр Тургенев<sup>68</sup>. Больше никого нет. Между ними гроб. Сыплет снег и замечает следы полозьев...

Голос диктора читает:

«Катит по-прежнему телега;  
Под вечер мы привыкли к ней.  
И, дремля, едем до ночлега —  
А время гонит лошадей»...

Пока диктор читает, мимо приземистых бревенчатых изб прошла баба с бельем. Стоит у своей лавки лавочник. Идут мужики, чинов-

ники. Кюхельбекер жадно вдыхает холодный сибирский воздух и смотрит подслеповатыми глазами. Качнулась улица. Мелькнула знакомая камера, решетчатое окно — и исчезло. Вильгельм прошел слабыми шагами по снегу, стучит в калитку. Ему открывает человек с суровым лицом в тулупе. Он недоброжелательно смотрит из-под металлических очков на Кюхельбекера. Потом он растерянно спрашивает:

— Вильгельм?.. Эх, борода у тебя седая, — говорит он и прячет глаза: в них слезы.

В дом входит женщина с некрасивым и добрым русским лицом.

— Жена, — говорит Михаил, — брат приехал.

Женщина неловко кланяется Вильгельму. Вильгельм неловко обнимает ее.

— А дочки где? — спрашивает Миша.

— У соседей, Михаил Карлыч.

— Ты у меня отдохнешь, — нежно говорил Михаил Карлыч брату. — Поживем вместе. Потом избенку тебе сложим.

Брат искренне рад, но в комнате царит отчуждение. В дом вошел какой-то человек:

— Ваше благородие, Михаил Карлыч, — говорит он. — Уважаю вас очень, зашел к вам постырить.

— Какое дело? — спрашивает Миша.

— Финаг, ваша милость, хотел у вас занять.

— Нету, — сказал Михаил, — ни копейки нету.

Вильгельм поспешно дал поселенцу ассигнацию. Тот пробормотал благодарность и вышел.

— Что ж ты приучаешь их? — упрекнул Вильгельма брат.

Играет разбитый клавесин. Играют в карты почтмейстер, лавочник, лекарь. Пляшут польку девицы, канцелярист. Вильгельм немножко пьян, добродушен. Подслеповато щурясь, он смотрит на конверт.

— От Дуни, — говорит он брату.

Играет разбитый клавесин, и Вильгельм пытается представить себе Дуню.

... — Почему вы так печальны? — спрашивает она — и расплывается.

... — Зачем вы так невеселы? — спрашивает она — и расплывается.

... — Отчего вы так грустны? — спрашивает она — и расплывается.

Вильгельм не может вспомнить прежнюю Дуню, ее слова и жесты. Он пытается вообразить ее теперешнюю. Мелькают лица составившихся женщин, и Вильгельм, наконец, останавливается на одном лице. Это прежняя юная Дуня, только поседевшая. Она положила сзади руки ему на плечи и грустно говорит: ... но пока она говорит, играет полька, мечутся канцеляристы и дамы.

...«Дорогой мой друг. Ваши последние письма меня чем-то поразили, милый, бедный Виля. Вы меня простите от души: я в них не вижу вас. Ваши крепостные письма были совсем другие. Я догадываюсь: не нужно скрывать от себя, вы отвыкли от меня, от мысли обо мне. Что делать, молодость прошла. Ваши мелочные заботы, верно, не легче для вас. Решаюсь сказать вам откровенно, мой милый и бедный, — я решила не ехать к вам. Сердце стареет. Целую ваши старые письма. Люблю память о вас и ваш портрет, где вы молоды и улыбаетесь. Нам ведь уже сорок стукнуло. Я целую вас последний раз, дорогой друг, долго, долго. Я больше не буду писать к вам».

...Вильгельм неуклюже танцует с толстенькой женщиной. Он очень мил и потешен в неуклюжем своем приплясывании. И, глядя на него, полная женщина говорит своей соседке:

— Слава богу, Дронюшка<sup>69</sup> нашла себе жениха.

...Приподняв левое веко, Вильгельм жадно всматривается в свои рукописи. Кричат дети, зевая и крестя рот, проходит Дронюшка и говорит:

— Ни полушки нет. Хоть бы удавиться, господи! С китайцами жить, в обносках ходить...

Вильгельм жадно всматривается в рукописи. Губы его что-то энергично шепчут. Он отмахнулся от Дронюшки и вспомнил лицейский класс.

...Мелькнули детские лица Пушкина, Жанно, Дельвига, Яковлева.

Стоя на кафедре, профессор достал из кармана рукопись и прочел:

«Страх при звоне меди  
Заставляет народ уstraшенный  
Толпами стремиться в храм священный.  
Зри, боже, число просящих».

Все улыбаются. Профессор не назвал фамилии, только мельком посмотрел на Кюхлю. Но Пушкин и Яковлев проследили за его взглядом, обернулись и захохотали.

— Это есть бессмыслица, — сказал профессор, — не простая, а высший род ее, ибо, если стараться, сего не достигнешь. Это могу уподобить только Третьяковскому<sup>70</sup>...

...Старый Кюхельбекер лихорадочно листает рукописи, а голос профессора быстро и неумолимо в такт движениям его руки продолжает:

— Слог тяжелый, грубый, дикий, шероховатый, холодный, надутый, натянутый, топорный, водяной, булыжный...

Вильгельм перестал теревить листы. Все так же придерживая левое веко, он всматривается в одну из рукописей.

...На авансцену выходят актеры в античных одеяниях. Они вздымают руки, прижимают их к сердцу, становятся на колени, кричат или декламируют, гнусая:

Ксантипп: <sup>71</sup>

Все ближе, — ближе, — к нам... теперь я попирую!

Я расплачусь за все насмешки с ним.

Я желчь и яд придам словам своим,

Я пламень адских мук в груди его раздую.

Кюхля смотрит с экрана и говорит:

— Ахилл входит, шатаясь, с мертвым телом Филона<sup>72</sup> и падает с ним вместе.

Клеон: <sup>73</sup>

Мертв! Мертв! Ах, я его спасти не мог!

Он на крылах убийственного стона

Душою рвется за душой Филона.

Над ним ругаться... Нет, мой бог!

Нет, это сердце не довольно злобно!

Его лицо с лицом Лаокоона<sup>74</sup> сходно...

Архилох:

Прочь! Самого себя напрасно мучишь:

Не вырвешь из руки, Ксантипп!

Прочь! Моего меча ты не получишь:

Ведь дерзкий варвар от него погиб,

Который... О Филон, о мой Патрокл<sup>75</sup>

Прекрасный!..

Кюхельбекер в ужасе швырнул рукописи в ящик.

— Неужели я и впрямь Трелиаковский нового времени?!

Вильгельм идет, шатаясь от слабости.

— Пережить всех — не слишком отрадный жребий, — бормочет он. — Высчитать ли мои утраты?

Он идет мимо деревенских изб, заснеженного колодца.

— Гениальный, благородный, единственный мой Грибоедов. Дельвиг, умный, веселый, рожденный, кажется, для счастья, а, между

тем, несчастливый. Бедный мой Пушкин, страдалец среди всех оболещений славы и лести, которые отравляли его сердце. Он погиб насильственной смертью, а смерть Дельвига от тоски и грусти чуть ли не еще хуже.

«В душе моей всплывает образ тех,  
Которых я любил, которым ныне  
Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех»

Ветер свистит ему в спину и в уши. Он еле передвигает ноги.

— Дедушко, — окликнул его мальчик с телеги. — Садись, дедушко.

Вильгельм лежал в постели, когда приехал Пушин. Пушин наклонился к нему:

— Старина, старина. Что с тобой, братец?

Приподняв веко, Вильгельм взгляделся и сказал, улыбнувшись:

— Ты постарел, Жанно... Наклонись поближе.

И вот они смотрят друг на друга, два рано состарившихся человека.

— Детей не оставь, — сказал Вильгельм.

— Что ты, брат, вылечишься.

Вильгельм спросил спокойным голосом:

— Поклон передать?

— Кому?

— Рылееву, Грибоедову, Саше...

...Грибоедов сидит в зеленом архалуке и смотрит исподлобья на Вильгельма. Слезы брызнули у него из-под очков. Он повернул голову, стал снимать очки.

— Ну что ты, брат, — сказал ему Вильгельм. — Зачем, Александр, милый.

...Кюхельбекер открыл глаза. У постели сидели хмурый Пушин и заплаканная Дронюшка.

...Разговаривать вслух запрещается, — сказал ему офицер у варшавской харчевни. — И плакать тоже нельзя.

— Ну! — удивился Вильгельм. — Значит, и плакать нельзя? Ну что же, я не буду...

...Когда он снова открыл глаза, ничего не изменилось.

— Полегчало, батюшка, немного? — спросила его жена.

Вильгельм пальцем подозвал детей и положил руку им на головы...

По комнате прозвенел тонкий мелодичный звук: так течет ручей...

...Кюхельбекер лежал у ручья под веткой и сквозь зелень улыбалась ему молодая курчавая голова. Она наклонялась все ниже и ниже.

— Ни друга, ни подруги? — спросил Кюхельбекер Пушкина.

— Надо торопиться, — быстро ответил Пушкин.

— Я стараюсь, — виновато сказал Вильгельм. Пора. Я собираюсь. Все некогда.

Он услышал женский плач.

— Кто это? Дуня?

Пушкин поцеловал его в губы.

— Брат, — сказал он Пушкину радостно. — Я, брат, стараюсь...

...У постели человека со вздернутой седой бородой, с острым носом стояли жена с детьми, соседи, Пушин...

У постели Дон-Кихота, человека со вздернутой седой бородой, острым носом стояли Санчо Панса<sup>76</sup>, племянница, бакалавр Самсон Карраско<sup>77</sup>, цирюльник, священник.

— Я умираю, — сказал Дон-Кихот. — Но мне хотелось бы умереть так, чтобы люди удостоверились, что жил я не напрасно и чтобы за мной не осталось прозвание сумасшедшего...

На экране возникла надпись:

А ты о тех, кто этот свет  
Своим дыханием животворили,  
Не говори с тоской: их нет...  
Но с благодарностию: были...

**К о н е ц**

**Примечания:**

<sup>1</sup> Булгарин Фаддей Бенедиктович (1789–1859) — журналист, писатель, издатель газеты «Северная пчела». Сотрудничал с тайной полицией императора Николая I.

<sup>2</sup> Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) — один из руководителей восстания декабристов, поэт, автор стихотворения «К временщику», член тайной революционной организации «Северное общество», ставившей целью свержение самодержавия и установление демократического правительства в России. Повешен.

<sup>3</sup> Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) — лицейский друг Пушкина, поэт, декабрист. После декабрьского восстания в Петербурге был заточен в крепость, затем сослан в Сибирь.

<sup>4</sup> Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, критик.

<sup>5</sup> Семен Балашов — крепостной слуга В.К. Кюхельбекера. Был освобожден от крепостной зависимости сестрой Кюхельбекера Устиней Карловной Глинка.

<sup>6</sup> Сухозанет Иван Онуфриевич (1788–1861) — участник Великой Отечественной войны 1812 г.; во время восстания декабристов 14 дек. 1825 г. командовал артиллерийским расстрелом восставших декабристов.

<sup>7</sup> Нарышкин Александр Львович (1760–1826) — придворный сановник, главный директор императорских театров.

<sup>8</sup> Лувель, Пьер Луи (1783–1820) — фр. республиканец, убийца герцога Беррийского. Казнен.

<sup>9</sup> Глинка Устинья Карловна (1786–1871) — сестра поэта декабриста В.К. Кюхельбекера.

<sup>10</sup> Авдотья Тимофеевна Пушкина — невеста В.К. Кюхельбекера.

<sup>11</sup> Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) — барон, лицейский друг Пушкина и Кюхельбекера, поэт, издатель.

<sup>12</sup> Яковлев Михаил Лукьянович (1798–1868) — лицейский товарищ Кюхельбекера и Пушкина.

<sup>13</sup> Пуцин Иван Иванович (1798–1859) — декабрист, лицейский друг Кюхельбекера и Пушкина.

<sup>14</sup> Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) — князь, дипломат, лицейский друг Кюхельбекера и Пушкина.

<sup>15</sup> Корф Модест Андреевич (1800–1876) — барон, граф, государственный деятель, историк, лицейский товарищ Кюхельбекера.

<sup>16</sup> Александр Павлович Романов (1777–1825) — русский император Александр I.

<sup>17</sup> Бедная Лиза — героиня сентиментальной повести Карамзина «Бедная Лиза», которая от несчастной любви утопилась.

<sup>18</sup> Имеется в виду Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) — русский военный и государственный деятель.

<sup>19</sup> Одоевский Александр Иванович (1802–1839) — поэт, декабрист, член «Северного общества», участвовал в восстании 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Был заточен в Петропавловскую крепость, затем сослан на каторжные работы и в ссылку в Сибирь. Переведен рядовым на Кавказ, где умер от малярии.

<sup>20</sup> Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) — князь, прославился храбростью в Отечественной войне 1812 г.; декабрист, один из руководителей «Союза спасения». Не явился на Сенатскую площадь во время восстания декабристов. Был приговорен к отсечению головы, но казнь была заменена каторжными работами и ссылкой в Сибирь.

<sup>21</sup> Якубович Александр Иванович (1792–1845) — декабрист, участник восстания на Сенатской пл. 14 дек. 1825 г., приговорен к вечной каторге.

<sup>22</sup> Каховский Петр Григорьевич (1797–1826) — декабрист, член «Северного общества». Убил генерала-губернатора Милорадовича во время восстания на Сенатской пл. 14 декабря 1825 г. Повешен.

<sup>23</sup> Миша — Кюхельбекер Михаил Карлович (1797–1859) — брат В. Кюхельбекера, декабрист, активный участник восстания на Сенатской пл. 14 дек. 1825 г. Заключен в Петропавловскую крепость. Сослан на каторжные работы, затем в ссылку в Сибирь. В ссылке открыл бесплатную больницу и школу.

<sup>24</sup> Ростовец Павел Иванович (1793–1826) — декабрист, глава тайной организации «Южное общество». Был приговорен к четвертованию, замененному повешением.

<sup>25</sup> Корнилович Александр Осипович (1800–1834) — декабрист, участвовал в подготовке восстания на Сенатской пл. 14 дек. 1825 г. Заключен в Петропавловскую крепость. Переведен на каторгу, а затем на вечное поселение в Сибирь.

<sup>26</sup> Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) — служащий в гвардии императора. Известил Николая I о готовящемся восстании на Сенатской площади. Принимал деятельное участие в подготовке крестьянской реформы в России.

<sup>27</sup> Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) — генерал-губернатор Петербурга.

<sup>28</sup> Михаил Павлович (Мишель) Романов (1798–1849) — великий князь, младший брат императоров Александра I и Николая I.

<sup>29</sup> Воинов Александр Львович (1770–1832) — генерал от кавалерии. Во время восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. уговаривал восставших разойтись.

<sup>30</sup> Чацкий Александр Андреевич — герой комедии Грибоедова «Горе от ума».

<sup>31</sup> Молчалин Алексей Степанович — персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума».

<sup>32</sup> Грибов Александр — молочный брат и слуга А. С. Грибоедова.

<sup>33</sup> Левашов Василий Васильевич (1783–1848) — член Верховного суда по делу декабристов.

<sup>34</sup> Бестужев-Рюмин Михаил Петрович (1801–1826) — декабрист, член «Южного общества». Повешен.

<sup>35</sup> Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796–1826) — декабрист, один из вождей декабризма, член «Южного общества». Повешен.

<sup>36</sup> «Полярная звезда». Литературный альманах, издававшийся декабристами Рылевым и Бестужевым-Марлинским в 1822–1825 гг.

<sup>37</sup> Каверин Петр Павлович (1794–1855) — декабрист, друг Пушкина.

<sup>38</sup> Бурцов Иван Григорьевич (1794–1829) — декабрист. Был заключен в Петропавловскую, затем в Бобруйскую крепости. Переведен на Кавказ.

<sup>39</sup> Яковлева Арина Родионовна (1758–1828) — крепостная няня Пушкина.

<sup>40</sup> Лорер Николай Иванович (1795–1837) — декабрист, член «Южного общества». Был приговорен к 15 г. каторжных работ. В 1837 г. переведен на Кавказ рядовым.

<sup>41</sup> Романов Николай Павлович (1796–1855) — Николай I, «вешатель», российский император.

<sup>42</sup> Имеется в виду царь Александр I.

<sup>43</sup> Здесь и далее (...) обозначен обрыв текста. В беседе с составителем сборника во время подготовки киносценария к публикации соавтор Илья Габай М. Г. Рошаль отметила, что рукописного текста как такового никогда и не существовало. Работая над киносценарием, авторы записывали текст непосредственно на пишущей машинке. Имеющийся у нас текст («копия») представляет собой ксерокс с первоначального машинописного экземпляра («оригинала»). При снятии ксерокса некоторые страницы были наложены одна на другую. Вследствие этого часть текста оказалась полностью или частично закрытой. Кроме того, несколько страниц «копии» потеряны совершенно.

<sup>44</sup> В местах, где пропущенные слова не являются широко известными или очевидными, пропуск восстановлен по текстам Ю. Н. Тынянова, А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова.

<sup>45</sup> Телешова Екатерина Александровна (1790–1857) — балерина, ученица Дидло, придворная танцовщица.

- <sup>46</sup> Имеется в виду царь Николай I.
- <sup>47</sup> Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — князь, русский поэт, литературный критик.
- <sup>48</sup> Романова Анна Иоановна (1693–1740) — российская императрица, племянница Петра I.
- <sup>49</sup> Романов Павел Петрович (1754–1801) — российский император Павел I.
- <sup>50</sup> Николай I.
- <sup>51</sup> Данзас Константин Карлович (1801–1870) — лицейский друг Кюхельбекера, Пушкина и Пущина. За участие секундантом в дуэли Пушкина был приговорен к повешению, но казнь была заменена заключением в Петропавловской крепости.
- <sup>52</sup> Ляпунов Прокопий Петрович (?–1611) — рязанский воевода, участник ополчения против Лжедмитрия II-го. Присоединился к восстанию Болотникова. Стал главой русского земского соборного правительства. Был убит казаками.
- <sup>53</sup> Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) — князь, глава ополчения, восстановившего русскую государственность.
- <sup>54</sup> Карл Роберт фон Нессельроде (1780–1862) — граф, российский государственный деятель, канцлер, министр иностранных дел.
- <sup>55</sup> Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843) — генерал-губернатор; руководил повешением декабристов. Член следственной комиссии по делу декабристов.
- <sup>56</sup> Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) — шеф III-го отделения (тайной полиции).
- <sup>57</sup> Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт, переводчик. Перевел на русский язык «Илиаду» Гомера.
- <sup>58</sup> Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — граф Эриванский, князь Варшавский, русский военачальник.
- <sup>59</sup> Аббас-Мирза (1783–1833) — принц каджарской династии. Государственный деятель Ирана. Командовал войсками во время русско-персидской войны.
- <sup>60</sup> Дибич Иван Иванович (1785–1831) — военачальник. Отличился в войнах с Францией. Автор плана ведения войны с Турцией. Главнокомандующий при подавлении Польского восстания.
- <sup>61</sup> Сипягин Николай Мартынович (1785–1828) — генерал, русский военачальник.
- <sup>62</sup> Суворов Александр Васильевич (1729–1800) — генералиссимус всех русских сухопутных и морских войск. Величайший русский полководец, не потерпевший ни одного поражения.
- <sup>63</sup> Майборода Аркадий Иванович (?–1844) — капитан Вятского полка, член «Южного общества»; в ноябре 1825 г. донес на декабристов. Покончил жизнь самоубийством.
- <sup>64</sup> Родофиникин Константин Константинович (1760–1838) — русский дипломат, член Государственного совета, действительный статский советник.
- <sup>65</sup> Нина Александровна Грибоедова-Чавчавадзе (1812–1857) — грузинская княжна, дочь грузинского поэта Александра Чавчавадзе, жена А. С. Грибоедова.
- <sup>66</sup> Мальцов Иван Сергеевич (1807–1880) — русский дипломат, промышленник. Первый секретарь русского посольства в Тегеране. Единственный из сотрудников посольства, которому удалось спастись в 1829 г.
- <sup>67</sup> Декарт Рене (1596–1650) — французский философ, математик, физик, физиолог.
- <sup>68</sup> Тургенев Александр Иванович (1784–1846) — историк, российский государственный деятель, один из просвещеннейших людей своего времени. Он отвез тело А. С. Пушкина в родовую усыпальницу Святогорского монастыря.
- <sup>69</sup> Кюхельбекер (Артемова) Дросида Ивановна (1817–1886) — жена В. К. Кюхельбекера.
- <sup>70</sup> Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1769) — один из зачинателей русской поэзии классицизма.

<sup>71</sup> Ксантипп — афинянин, полководец III в. до н. э.

<sup>72</sup> Филон Александрийский — иудейский философ 25 в. до н. э.

<sup>73</sup> Клеон — афинский политический деятель (422 г. до н. э.).

<sup>74</sup> Лаокоон — троянский жрец, предостерегавший троянцев об опасности подарка греков, деревянного коня. Боги, покровители греков, послали морских змей, чтобы уничтожить жреца. Известная скульптурная группа родосских художников изображает удушение жреца Лаокоона и его сыновей змеями.

<sup>75</sup> Патрокл — соратник Ахилла в Троянской войне.

<sup>76</sup> Санчо Панса — персонаж романа Мигеля де Сервантеса (1547–1616) «Дон-Кихот» (1604–1616), оруженосец Дон-Кихота.

<sup>77</sup> Бакалавр Самсон Карраско — один из основных персонажей романа Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–1616) «Дон-Кихот».

# Публицистика



---

## К ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА<sup>1</sup>

---

Мы, подписавшие это письмо, обращаемся к вам со словами глубокой тревоги за судьбу и честь страны.

В течение нескольких лет в нашей общественной жизни намечаются зловещие симптомы реставрации сталинизма. Наиболее ярко проявляется это в повторении самых страшных деяний той эпохи — в организации жестоких процессов над людьми, которые посмели отстаивать свое достоинство и внутреннюю свободу, дерзнули думать и протестовать.

Конечно, репрессии не достигли размаха тех лет, но у нас достаточно оснований опасаться, что среди государственных и партийных чиновников немало людей, которые хотели бы повернуть наше общественное развитие вспять. У нас нет никаких гарантий, что с нашего молчаливого попустительства исподволь не наступит снова 37 год.

Мы еще не скоро сможем увидеть Андрея Синявского и Юлия Даниэля — людей, осужденных на долгие годы мучений только за то, что они посмели излагать вещи, которые считали истиной.

На три года оторваны от жизни совсем молодые люди — Виктор Хаустов<sup>2</sup> и Владимир Буковский<sup>3</sup>. Все их «преступление» заключалось в том, что они публично выразили свое несогласие с драконовскими законами и карательными мерами, пригвоздившими нашу страну в очередной раз к позорному столбу. Судебная расправа над ними — образец циничного беззакония и превратного толкования фактов.

Последний процесс<sup>4</sup> над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой вышел за всякие рамки в посприии человеческих прав. Организации этого процесса мог бы позавидовать и А. Вышинский: он хоть выбивал какие-то признания, свидетельские показания. Прокурору Терехову и судье Миронову не понадобились и пустые формальности сбора доказательств.

Юрий Галансков, физически очень больной человек, осужден на семь лет лагерей строгого режима. Единственное, менее чем косвенное доказательство его вины — показания подлого и малодушного Добровольского.

Александр Гинзбург приговорен к пяти годам лагерей строгого режима *вопреки* всем показаниям свидетелей и вещественным доказательствам.

Искалечена жизнь и Алексея Добровольского, сыгравшего зловещую костомаровскую<sup>5</sup> роль на этом процессе. Если у него есть хоть

капля совести, тридцать серебряников (всего двухлетний срок наказания) — слишком малая компенсация за презрение и отверженность, которые ожидают этого клеветника. Клеймо негодяя, погубившего своих товарищей, оболгавшего их из низменных интересов, — за это нравственное уродство Добровольского в большой мере несут ответственность наши карательные органы.

Вся вина Веры Лашковой<sup>6</sup> в том, что она напечатала несколько материалов и дала почитать своим товарищам книги, которые, с точки зрения суда, являются криминальными. За это она расплатилась годом тюрьмы. Но этого мало. В нашей стране она, по всей вероятности, будет расплачиваться очень долго и дорого: отметкой в паспорте, невозможностью жить, учиться и работать в Москве. Такова судьба подавляющего большинства политзаключенных, отбывших свой срок. (В такие невыносимые условия попал, например, Леонид Рендель<sup>7</sup>, вернувшийся в августе 1967 г. после десяти лет мордовских лагерей. Ему не только не разрешено жить в Москве, но запрещено даже изредка навещать больную мать. Рендель поставлен под надзор местных властей: он обязан каждую неделю отмечаться в милиции, он не имеет права выходить из дома после девяти часов вечера, ему даже запрещено посещать столовую поселка, в котором он проживает, и, наконец, в любое время дня и ночи к нему могут ворваться, обыскать его, проверить книги, бумаги, имущество...)

Атмосфера вокруг недавнего процесса — еще одно звено в цепи беззаконий. Официальные органы нагло дезинформировали западную коммунистическую прессу: в день начала суда было заявлено, что сроки его еще не установлены. Заместитель председателя Мосгорсуда Миронов, назначенный судьей по этому делу, незадолго до процесса отвечал, что такое дело в Мосгорсуд вообще не поступало.

Люди, стремившиеся попасть в суд, подвергались откровенному шантажу и издевательскому унижению человеческого достоинства. Фотографирование, неусыпная слежка, проверка документов, подслушивание разговоров — это далеко не полный перечень того, что происходило в дни судебной расправы. Едва ли не самое страшное то, что среди филеров были совсем молодые люди — юноши и девушки. Вместо пытливого чтения — подслушивание; вместо попытки осознать и понять что-то — донос; и это наушничанье, с точки зрения КГБ, вероятно, и есть тот самый «нравственный идеал», который они противопоставляют «безнравственности» Гинзбурга, посмеявшегося вступить за невинно осужденных людей.

Вы, наверно, хорошо знакомы с письмом<sup>8</sup> Л. Богораз<sup>9</sup> и П. Литвинова<sup>10</sup>. С полной ответственностью мы заявляем: каждая строка в письме — не только правда, это лишь малая часть правды о неслыханных безобразиях и издевательствах над подсудимыми. Организация про-

цесса, поведение судьи, в обязанности которого входит полная беспристрастность, по существу, лишили подсудимых права на защиту, а зоологическое улюлюканье так называемой «общественности» создало вокруг них атмосферу моральной нетерпимости. На суде сидели люди, которые листали журналы или дремали и просыпались только для того, чтобы потребовать прибавления срока.

Власти в очередной раз организовали «гласность» с расчетом на самые низменные черты специально подобранных людей: хамское безразличие к чужой судьбе, бездумье, не нуждающееся ни в информации, ни в анализе фактов.

Пока в зале суда дремали или издевались над подсудимыми кликуши и черносотенцы, в фойе, а потом на морозе толпились люди, составляющие подлинное общественное мнение: друзья и близкие подсудимых и люди, не знакомые с подсудимыми, но желающие знать истину, — писатели, художники, студенты, учителя.

Для людей неосведомленных центральные органы печати подготовили фальшивки, содержащие или прямую ложь, или тенденциозно выхваченные факты. Люди, претендующие на роль идеологических наставников, пренебрегли очень важным: «...Необходимо брать не отдельные факты, а всю *совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без *единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимосвязи... преподносится субъективная стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает... чаще, чем кажется.» Это слова В. И. Ленина (т. 30, стр. 351).

Бесчеловечная расправа над интеллигентами — это логическое завершение атмосферы общественной жизни нескольких последних лет. Наивным надеждам на полное оздоровление общественной жизни, вселенным в нас решениями XX и XXII съездов<sup>11</sup>, не удалось сбыться. Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. Главный расчет при этом делается на нашу общественную инертность, короткую память, горькую нашу привычку к несвободе.

Вот некоторые вехи возрождения сталинизма в последние годы:

1. С самых высоких трибун во вполне положительном контексте называлось имя И. В. Сталина. Газеты сообщали об аплодисментах, раздававшихся при упоминании этого имени. Но они, конечно, молчали о том, что аплодировали люди с лакейской жадной сильной личности, люди, желающие оправдания за свое поведение в не столь отдаленную эпоху.

Как же долго нужно было извращать человеческую природу, если можно аплодировать убийце сотен тысяч людей, организатору пыток и мучительств!

2. Это можно было бы кое-как объяснить желанием объективно осветить историю. Хотя и объективное отношение к палачу — тоже факт нравственной патологии, но это еще можно было бы понять.

Однако объективности почему-то не хватило на то, чтобы рассказать правду о ряде соратников В. И. Ленина, организаторов советского государства. Ведь можно же, оставаясь в рамках партийной дискуссии, честно сказать о них — о том, что они не устраивали террористических актов, не занимались шпионажем и не подсыпали битых стекол в продукты. Но до сих пор официальные историки говорят, например, о больших заслугах в годы гражданской войны И. В. Сталина, который в то время был рядовым членом Реввоенсовета, а деятельность организатора Красной армии, председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого не только замалчивается, но и объявляется предательской.

3. В результате термин «культ личности» стал чуть ли не запретным в нашей печати. Не пропускаются в печать или рассыпаются уже набранные художественные и научные работы, в которых подвергаются критике Сталин и преступления сталинского периода (воспоминания Б. Ванникова<sup>12</sup>, книга Л. Славина о маршале Егорове, фронтовые дневники К. Симонова, мемуары Е. Гинзбург<sup>13</sup> и многое-многое другое). Дело дошло до того, что член ЦК КПСС директор Института марксизма-ленинизма Федосеев рекомендовал употреблять термин «культ личности» только применительно к латиноамериканским диктаторам или к Мао Цзе-дуну.

4. Ни одно из демократических начинаний не доведено до конца. До сих пор литературный или художественный вкус временщика — закон для писателя, художника, режиссера, читателя, артиста. В фильмотеках гниют фильмы, которые сделали бы высокую честь нашему искусству, в тесных мастерских или на чердаках залеживаются прекрасные произведения живописи. В литературе находится место для низкопробных произведений Кочетова<sup>14</sup> и Смирнова<sup>15</sup>, прославляющих, в частности, Сталина. И только немногие счастливицы смогли прочитать «Раковый корпус» Солженицына.

Попытка бороться с так называемым «самиздатом» — внецензурной литературой — обречена на провал. Если бы в русской литературе не было «самиздата», мы потеряли бы роман Радищева<sup>16</sup>, «Горе от ума» Грибоедова и многие стихи Пушкина. И в наше время бережное отношение группы читателей к неизданному слову донесет до лучших времен подлинное творчество наших современников. Временщики не в силах что бы то ни было сделать: ждановы<sup>17</sup> уходят в небытие, а творчество Ахматовой<sup>18</sup> завоевывает поколение за поколением.

Чувствуя это, карательные органы идут на прямые подлоги, как это и произошло в случае абсурдного приобщения создателя книги о деле Синявского и Даниэля Александра Гинзбурга и составителя литера-

турно-публицистического сборника «Феникс-66» Юрия Галанскова к эмигрантской организации НТС<sup>19</sup>.

В общественных науках продолжает навязываться губительный и необратимый диктат конъюнктуры. Отступление от истины — смерть для ученого, а наши историки новейшего времени, философы, политэкономы вынуждены делать это каждодневно. Если же случайно частица правды прорвется в печать, авторы подвергаются гонениям. Примеры этого хорошо известны.

5. Только недавно реабилитировали крымско-татарский народ<sup>20</sup>. Но советские люди почти не знают об этом. Не знают они и о том, что народ, перед которым совершено громадное великодержавное преступление, до сих пор лишен права вернуться на свою родину. А тех, кто пытается это сделать, отправляют назад или подвергают репрессиям.

6. Многие советские люди регулярно испытывают на себе унижительную слежку.

Все это — только некоторые примеры нашей общественной жизни.

Мы еще раз напоминаем: молчаливое потворство сталинистам и бюрократам, обманывающим народ и руководство, глушащим любой сигнал, любую жалобу, любой протест, логически приводит к самому страшному: незаконной расправе над людьми.

В этих условиях мы обращаемся к вам, людям творческого труда, людям, которым наш народ бесконечно верит: поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и ежовых<sup>21</sup>. На вашей совести — судьба будущих Вавиловых<sup>22</sup> и Мандельштамов<sup>23</sup>.

Вы — наследники великих гуманистических традиций русской интеллигенции.

Перед вами пример мужественного поведения современной прогрессивной западной интеллигенции.

Мы понимаем: вы поставлены в такие условия, что выполнение гражданского долга — каждый раз акт мужества. Но ведь и выбора тоже нет: или мужество — или трусливое соучастие в грязных делах; или риск — или присоединение к васильевым и кедринным; или поступиться каким-то благом — или встать в ряд с желтыми борзописцами «Известий» и «Комсомольской правды», посчитавшими для себя нравственно возможным публичный оговор людей, над которыми учинили расправу.

Мы хотим немногого: чтобы наша общественность имела *моральное право* требовать освобождения греческих политзаключенных.

Для этого нужно тоже немного: добиться того, чтобы из многолетнего заключения были возвращены наши несправедливо осужденные сограждане.

Помните: в тяжелых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмеявшие думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к новому судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия, может наступить новый тридцать седьмой год.

Илья Габай, педагог, редактор.  
Москва, А-55, Новолесная ул.,  
д. 18, корп. 2, кв. 83.

Юлий Ким, учитель.  
Москва, Рязанский проспект, 73, кв. 90.

Петр Якир, историк.  
Москва, Ж-280, Автозаводская ул.,  
д. 5, кв. 75.

*(Январь 1968 г.)*

---

## У ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОТКРЫТОГО СУДА

---

*Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...*

*Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.*

А. Пушкин.

В 9 часов утра 9 октября 1968 г. мы пришли к зданию суда Пролетарского района. Через час должно было начаться судебное заседание. Для нас, друзей и товарищей подсудимых, безусловно и безоговорочно разделяющих их убеждения, предстоящий процесс вызывал интерес отнюдь не академического характера.

Мы знали заранее, что будет.

Мы не питали никаких надежд увидеть своих товарищей. Нас привела сюда прежде всего тревога за их судьбу, и мы были готовы стоять на улице долгие часы в ожидании хоть какой-нибудь крохи информации. Все, что занимало нас до этого, — ну хотя бы мысль о том, должны ли были товарищи идти на заведомое самопожертвование, отлично зная практическую безрезультатность своего шага, — все, что могло породить правомерный еще вчера, в достаточной мере выстраданный спор, отошло на задний план, стало неуместным перед фактом: за наглухо закрытыми для нас дверьми решается участь близких нам людей.

Мы уже были приучены к цинизму и бесстыдству работников КГБ, судебной администрации. Мы готовы были сносить неотступную слежку, фотографирование. Но на этот раз нас ждали новые испытания, новый горький опыт, и мы обязаны рассказать об этом.

Обязаны в первую очередь перед людьми, которые приговором этого суда отправлены в лагерь или ссылку. Быть может, это уменьшит досужие рассуждения о бесперспективности, безрезультатности таких поступков, как демонстрация. Быть может, это кому-нибудь поможет оценить душевное величие пустынных сеятелей понятий чести, порядочности и достоинства среди массовой «всегдаготовности» к разгулу зоологических страстей.

*Теперь у меня ни лишних мыслей,  
ни лишних чувств, ни лишней  
совести...*

М. Е. Салтыков-Щедрин  
*«Вяленая вобла».*

Итак, все, что мы предвидели, случилось. Нам «не хватило» мест в зале: они были заняты людьми, которые проходили в здание с черного хода, по специальным пропускам.

По инициативе П. Г. Григоренко<sup>24</sup> было составлено письмо с требованием допустить друзей подсудимых в зал суда. Вот тогда-то и обозначились будущие герои этих заметок.

Откуда-то появились люди в спецовках, и на наши головы посыпалось пока еще не очень энергичное, но достаточно цветистое аргю. Делалось это довольно лениво: может быть, «рабочий класс» берег силы для предстоящих баталий. Просто в спину гуляющих раздавались пустяковые угрозы, уснащенные матом. Кто-то бросился открывать глаза этим «простым труженикам». Можно было с самого начала этого не делать: рядом с ними стоял хорошо нам известный в лицо человек в светлом плаще<sup>25</sup> и время от времени давал им негромкие указания. Несколько дней назад человек этот производил обыск в моей квартире. Руку, дергающую марионеток за ниточки, мог разглядеть каждый, кто хотел видеть. Но по неистребимой вере в магию человеческого слова мы иногда становились невольными участниками этого спектакля...

Между тем, под письмом, написанным по предложению Петра Григорьевича, успели поставить подписи около четырех десятков людей. И желающих подписаться было еще достаточно.

Напротив двери суда находилась веранда<sup>26</sup> — место, где разыгрались некоторые колоритные сцены предстоящего трехдневного спектакля. На этой веранде, вокруг стола, толпилось множество людей. Разобрать, кто с какими намерениями пришел к суду и стоял сейчас здесь, было трудно, да никто и не пытался разобраться. Это потом мно-

гим из нас казалось, что люди, избравшие своим призванием сыск, донос, провокацию, несут неизгладимый отпечаток. Но один из этих людей был известен давно.

Большинство из нас помнило его с прошлой зимы, с процесса Гинзбурга и Галанскова, некоторые — с процесса Синявского и Даниэля. Тогда, два с лишним года назад, он еще пытался играть «своего», заводил провокационно храбрые речи: «Подумать!» — восклицал он, — писателей судят! Где еще это возможно?!» — но ни речами, ни обликом никого не провел. В облике его решающую роль, видимо, должна была играть черная бородка — маска «интеллигента». На зимнем процессе 1968 года его узнали в первый же день, и он не стал вести игру. Он лихо возглавлял толкавшихся там «мальчиков» — дружинников? оперотрядчиков? платных осведомителей? — за отсутствием повязок и иных опознавательных знаков проще всего называть их общепонятным термином «стукачи». Часть времени он проводил в зале суда и потом, изображая «простого человека из публики», любезно информировал иностранных корреспондентов о ходе судебного заседания. Впрочем, они, по-видимому, не хуже нас понимали, кто он, и соответственно оценивали его информацию.

В разгар сбора подписей этот человек выхватил письмо и разорвал его. Он тут же был окружен возмущенной толпой. Диалог был примерно таков:

**Из толпы:** Это хулиганство, и вы за это ответите. Свидетелей много.

**Из толпы:** Надо пригласить милицию.

**Человек с бородой:** Это не хулиганство: я точно так же, как и вы, хотел подписать письмо.

**Из толпы:** С этой целью вы его и разорвали?

**Один из стукачей:** Он его не рвал.

**Человек с бородой:** Я его не рвал. (Обращаясь к П. Г. Григоренко): Вы сами его порвали.

**П. Г. Григоренко:** Это ложь.

**Из толпы:** Это ложь. Мы свидетели вашего хулиганства.

Из сбивчивого и несколько надрывного диалога выясняется, что этот человек — не то представитель горкома комсомола, не то случайно оказавшийся здесь инженер, «Александров Олег Иванович».

**«Александров»:** Я хотел подписать ваше письмо и внести в него изменения, потому что у вас нет классового чутья.

Оставим в стороне терминологию, хотя трудно себе представить, чтобы это собачье свойство — чутье — было частью человеческого достоинства и убеждений. Но в этом высказывании была еще и наглость, с которой молодой провокатор преподавал урок политграмоты генералу, прошедшему войну, признанному и образованному теорети-

ку, человеку стойких коммунистических воззрений (в отличие от некоторых из нас).

Похоже, что оказавшись почти в одиночестве среди нескольких десятков возмущенных людей, «Александров» почувствовал себя несколько затравленным. Не исключено, что события второго дня отчасти были вызваны именно невозможностью безнаказанно творить провокации при таком соотношении сил.

Подтвердить свою личность документами «Александров» отказался. Уклонился от проверки документов и дежуривший у здания суда милиционер, к которому обратились с этой просьбой. В конце концов, по совету этого же милиционера, довольно большая толпа людей отвела «Александрова» в ближайшее отделение милиции. Вслед за толпой потянулись и стукачи.

Работники отделения милиции уже ожидали толпу перед входом и, угрожая наказанием, потребовали немедленно разойтись. «Александров» был пропущен беспрепятственно. Через некоторое время вызвали Петра Григорьевича, затем еще двух свидетелей.

В ожидании исхода дела (правда, исход ни у кого не вызывал сомнений — просто никак нельзя было оставлять Петра Григорьевича одного среди этой публики) пришедшие обменивались впечатлениями и репликами. Уже становилось более или менее понятно, кто есть кто. Внезапно разговором овладел очень молодой на вид человек, который представился студентом экономического факультета МГУ Степановым и был готов даже показать студбилет. Говорил он вежливо, но лгал — примерно так: «Я человек никак не заинтересованный... я случайно узнал в университете и пришел... я случайно присутствовал при инциденте... никто не вырывал бумаги, кто-то из вас разорвал ее... меня интересует только истина...» и т. п. Возможно, этот человек был действительно студент и действительно Степанов. Тем грустнее, что из среды университетского студенчества вербуются филеры. А что учеба в МГУ для этого студента была занятием не самым главным, мы убедились очень скоро.

Никаких неожиданностей в милиции не произошло. У «Александрова» при себе не оказалось документов, всех просили разойтись, а его оставили для выяснения личности. Очень скоро, минут через 15–20 он пошел к зданию суда и, уже не таясь, приступил к своим сыскным обязанностям. Неудавшаяся роль простого инженера была исчерпана.

Возле здания прибавилось так называемых «людей от станка». Простой задушевный мат все чаще оглашал старый московский переулок. Особенно усердствовал один из них, в очках, с доверительным испытанным лицом. Какую-то особую ненависть эти люди испытывали к носителям бород (впрочем, не к «Александрову», тут, видимо, срабатывало

«чутье»). Человек в очках пригрозил одному из бородачей: «Мы вас побреем». Эта изысканная шутка имела успех, и потом уже все три дня не сходила с уст «народных представителей».

Еще было далеко до конца. Люди собирались группками, вели беседы, там и сям возникали споры. Обстановка была достаточно миролюбивой, хотя прибывающие «рабочие» вносили некоторую свежесть в чисто теоретические разговоры. Например, не лишено остроты было их ходовое обвинение: «Почему вы не на работе, а здесь?» Спрашивать их о том же было бесполезно.

Попытки затеять скандал в этот день были обречены на провал. Надо думать, что когда «рабочий класс» оскорблял кого-то, делалось это не без расчета на возмущенный ответ, на перепалку. Но на провокации никто не реагировал. Один из присутствующих<sup>27</sup> нечаянно наступил на неубранный совок с осенними листьями. Люди в спецовках мгновенно окружили его и попытались устроить шумный скандал. Человек отошел, пожимая плечами, и «рабочие» остались наедине друг с другом.

Затевая скандалы и споры, эти люди обычно скапливались вокруг очередной жертвы, вокруг кого-то, кто не смог удержаться и отвечал на слово — словом, на угрозу — уговором, на оскорбление — разумной, но бессмысленной в этих условиях тирадой. Говорил он или замолкал, собравшиеся вокруг него инсценировали оживленный спор, якобы даже между собой, — но стоило ему выйти из круга, и весь кружок, иногда более 20 человек, мгновенно распадался.

Горько думать о том, что и мы сами, непричастные к этим людям, враждебные их бесчеловечной, механической логике, пожиная плоды нынешнего нравственного состояния. Это, в первую очередь, обнаружившаяся здесь подозрительность человеческих взаимоотношений. Сплошь и рядом возникали неловкие ситуации: кого-нибудь из незнакомых собеседников принимали за стукача, давали ему это понять, а потом оказывалось, что это вполне порядочный человек. В первый же день у здания суда оказалась группа мальчиков-студентов, никому незнакомых. Кто-то из них прихвастнул, что знаком с таким-то, а потом оказалось, что это неправда, и они натолкнулись на стену недоверия. Вечером, когда эти ребята уходили, подавленные, они сказали, что больше не придут.

В этом смещении повинны те органы, что установили слежку, перлюстрацию писем, телефонное подслушивание. Но и мы излишне соблюдаем их правила игры: ведь проступков-то, которые надо скрыть, мы не совершаем, а не жалуем нас, как правило только за убеждения. А что уж это за убеждения, которые надо скрывать?

Одновременно с этим некоторые из нас находили какое-то познавательное наслаждение в беседах с заведомо ясными людьми.

Кто-то оправдывал это профессиональным литературным интересом, кое-кто даже надеялся внести переполох в ясное мировоззрение обладателей красных книжечек. Они же при этом были начеку. Молодой математик, преподаватель завода-втуза, встретил своих студентов — активных в провокаторском рвении — и начал уверять их, что они поступают дурно, позорят рабочую честь и т. д. Через неделю математика уволили с работы.<sup>28</sup>

... Разорванное письмо было восстановлено, его подписали 58 человек. И опять подскочил молодой низкорослый человек с лицом боксера, выхватил письмо и, подстрахованный несколькими коллегами, перебежал к зданию суда. Милиционеры расступились, и молодой человек скрылся в дверях суда, недоступных для прочих смертных. Сбор подписей был прекращен, но оставшийся экземпляр — их, к счастью, было два — был отослан.

Киностранным корреспондентам вышел представитель отдела печати МИД<sup>29</sup> Романов. Он объяснил им, что совершенно случайно оказался в зале суда, ничего не знает («Не знаете ли вы, где столовая?» — спросил он у одного из журналистов), но раз уж он оказался здесь, то будет информировать своих коллег о ходе дела. Обещание свое он выполнил: корреспонденты получили самую общую информацию («Кончился допрос подсудимых», «Началась речь прокурора» и т. д.), но для нас и это было хоть чем-то, тем более, что присутствовавших в зале суда родственников подсудимых не выпускали ни на один перерыв.

На вопрос одного из журналистов: «Можно ли фотографировать?» Романов ответил, что это «не в советских традициях». А между тем, нарушая эти самые традиции, беспрепятственно щелкал своим фотоаппаратом уже названный Степанов — тот самый, беспристрастный, жаждущий правды и только правды студент-экономист. Сначала на возмущенный вопрос одного из сфотографированных он ответил с улыбкой, что делает это для факультетской стенгазеты, потом перестал отвечать на вопросы и только четко выполнял работу. Рядом с ним постоянно дежурило несколько человек, которым уже не имело никакого смысла придумывать себе профессию...

Первый день процесса подходил к концу. В 8 часов вечера заседание закончилось, и мы разошлись по домам. Все еще было впереди — и исход суда, и наше знакомство с всплеском уличной стихии. В этот первый день нам особенно запомнились «Александров», «Степанов» и подобные. У этих молодых людей могли бы быть и иные занятия. И вот все, что могло бы составить смысл существования — книги, выставки, научные изыскания, просто порядочные поступки — все это отступило перед практическими соображениями. Какие уж там *лишние* мысли, *лишние* чувства, *лишняя* совесть — полное отсутствие их. Они сами

не раз за этот день называли собачий эрзац разума и совести: *чутье*. Чутье. Нюх. Не просто чутье — они называют его классовым. Кастовое чутье. Воблу десятки лет потрошили, сушили, вялили. Теперь у нее ни мыслей, ни чувств, ни совести — только чутье...

*И вы, мундиры голубые,  
И ты, послушный им народ...*  
М. Ю. Лермонтов.

Как известно из классической литературы, умом Россию не понять, аршином общим не измерить и т. д. Приказано верить, что у нее особенная статья, что она широкою грудью дорогу проложит себе, что банда продажных погромщиков, устроивших вакханалию 10 октября, и есть создатели истинных ценностей, почва, на которой взошли Пушкин, Чаадаев, Достоевский, Скрябин<sup>30</sup>, Врубель<sup>31</sup>. Думается, что у многих из нас в этот день поколебалась эта вера. Нагнали сотню пьяниц — могли нагнать и тысячу. Ограничились оскорблениями, а приказали бы — могли и убивать. И очень может быть, что кое-кто из этой черни действительно токарь 6 разряда и действительно висит на доске почета своего предприятия. Можно пожалеть этих людей — за то, что они такие темные, за то, что так искалечены их души, за то, что они так безнадежно жестоки и слепы. Но нам на самом деле есть кому сочувствовать. Сочувствовать за то, что они так умны, честны, мужественны, за то, что их на долгие годы оторвали от любимых занятий, за то, что им, может быть, безнадежно испортили жизнь...

В 9 часов утра 10 октября во двор суда въехал «воронок», и многие из нас стали выкрикивать приветствия подсудимым, хотя увидеть их мы и не могли. К собравшимся подошел работник КГБ, который уже упоминался в начале очерка (тот, что производил обыск) и сказал: «Что головки тянете? Скоро и за вами придем».

(Несколько часов спустя в одной из групп он попытался разыграть из себя рабочего.

— Какой же вы рабочий? — спросил его один из нас<sup>32</sup>, человек, отсидевший несколько лет в лагере и впоследствии реабилитированный. — Разве рабочие производят обыски?

— Недобитый антисоветчик, — процедил тот и отошел. Во второй половине дня он исчез совсем).

В этот день в зал суда не пустили нескольких человек из допущенных накануне. Среди них была жена одного из подсудимых<sup>33</sup>. Неожиданно в полдень около дверей суда появилась женщина средних лет и начала выкрикивать грязные ругательства. Потом она пристала к жене подсудимого, вылила на нее потоки ругани (особую ненависть

вызвали у нее очки), пригрозила расправой. В центре этого кружка стоял офицер милиции. Присутствующие обратились к нему с требованием задержать хулиганку. Кто-то сказал, что пожалуется на бездействие милиции. Офицер повернулся к этому человеку и сказал: «Вы взрослый человек, а говорите такие неразумные вещи». Женщина на время исчезла.

Около «Александрова» в это время появился разхлестанный пьяный человек и стал кричать на присутствующих. Ему, как уверял он, сейчас не хватает только автомата для того, чтобы стрелять по толпе. Каким-то удивительным образом все народные витии и одинаково думали, и одинаково говорили. В течение этого дня многие жаловались на то, что им не дают возможности стрелять или перетопить всех в Яузе, или, на худой конец, проехаться по людям на бульдозере.

Пьянице пригрозили вытрезвителем, он неохотно отошел, а кто-то обратился к Александрову с вопросом, почему он не вмешивается в эти безобразия и всем своим поведением одобряет их. Александров резонно напомнил, что у нас в стране гражданам гарантируется свобода слова и что он не может помешать рабочему человеку высказать наболевшее.

— Но у нас, кажется, запрещена человеконенавистническая пропаганда, да и хулиганство осуждается довольно строго.

— Вы считаете, что была человеконенавистническая пропаганда?

— А вы считаете призыв пьяного подонка к расправе высшим проявлением гуманности?

Кто-то сорвался.

— Вам следовало бы набрать людей в вытрезвителе. Или, того лучше, выпустить на эти три дня из тюрем воров и бандитов. Другой опоры у вас нет — земля горит под ногами.

Повсюду собирались группы людей. В адрес кого-нибудь из нас (удивительно, как хорошо они знали, к кому следует адресоваться) раздавались обвинения в тунеядстве, паразитизме, связях с капиталистами. Очень многие из нас, к сожалению, поддавались соблазну вносить сознание в массы. Это становилось все труднее. Мгновенно к образовавшемуся кружку подлетали специальные люди, начинались угрозы и ругательства. Разговаривать с воинствующими хамами невозможно, а до поры до времени оттащить кого-нибудь из центра кружка, уговорить не вступать в разговоры было очень трудно. В одном из кружков, где разговор принял особенно воинственный характер, стоял все тот же вездесущий Александров: человека, вступившего в спор с нанятыми людьми, удалось оттащить, и Александрову было сказано: «Не надейтесь, никто не будет вступать в драку, никто не поддастся на провокацию». Александров иронически улыбнулся.

В другом кружке ораторствовал «рабочий» в очках. Он уже успел куда-то отлучиться и сменил спецовку на костюм моды сороковых годов. Смысл его выступления был привычен и доходил до окружающих его людей с «простыми сердцами». Он угрожал кому-то побрить бороду, повесить на суку за определенные места и т. п. В этом кружке все происходило как в плохо дублированных китайских фильмах: «рабочий» произносил остроту, и раздавалось вымученное троекратное «ха-ха-ха». Так продолжалось несколько раз, и эти «ха-ха-ха» казались отрепетированными, как пионерские выкрики на торжественных линейках.

Наверно, среди всего этого разрастающегося сброда были и люди, просто введенные в заблуждение. Один из рабочих (он назвал завод, на котором работает: ЭМА) сказал, что им сообщили о том, что судят валютчиков. Правда, и здесь логики никакой: почему нужно бросать работу и идти к суду, где судят за подобное преступление. Но большинство людей явно было специально подобрано и проинформировано. В этой толпе некоторое время (еще в первый день) находился человек, который во время демонстрации 25 августа избил Файнберга.<sup>34</sup> Его узнали, он заметил это и исчез.

...Наступило некоторое затишье. Кое-кто потянулся отдохнуть в соседний двор. Во дворе, большом и просторном, стояли длинные столы для настольного тенниса. На одном из этих дощатых столов была установлена батарея водочных бутылок, раскрытые банки рыбных консервов, нарезанные холмы хлеба. Вокруг угощения топтались знакомые по только что прошедшим бурным дискуссиям наши оппоненты «из рабочих»...

Пошел дождь, и все забились на веранду. Шли разговоры в своих кругах, споры не вспыхивали. Внезапно прозвучал пьяноватый голос, «рабочий» в очках обращался к иностранному корреспонденту:

— Что вы вмешиваетесь не в свои дела? Уходите отсюда.

Пьяная безграмотная, лишенная логики речь не была подхвачена даже собутыльниками. Журналист пожал плечами. Окружающие растерянно улыбались. Кто-то обратился к «Степанову» (в этот день он щелкал затвором еще усерднее; на нем был невообразимый белый костюм; «Униформа?» — спросил его кто-то из наших утром).

— Остановите его, — сказали Степанову, — это же стыдно.

— Я не милиционер, — отвечал он, — и еще не хватало, чтобы я зажимал рот рабочему человеку.

Самое тяжелое началось вечером, часов в 7–8. Рядом с милиционерами ходили откровенно нетрезвые люди, бранились, угрожали — милиционеры хранили спокойствие сфинксов.

Появилась женщина, которая затеяла скандал еще в полдень. Она была уже недалеко от последней черты опьянения, а может быть, немножко и подыгрывала: была в ее действиях определенная си-

стема. Вокруг нее толпились пьяные рабочие. На людей сыпалась брань, самая отборная и гнусная. Пьяницы как будто состязались в мерзостях и хамских угрозах. Заводилой была эта пьяная женщина. Цеплялись к чему угодно: к тем же злополучным бородам и очкам, к покрою костюма и прическам девушек. Оскорбили беременную женщину.<sup>35</sup> Мужчины говорили похабные гадости девушкам — милиционеры слушали и безмолствовали. Рядом с милиционером минут 5–7 стоял пьяный и угрожал кулаками уже не всем вообще, а конкретному человеку. Он много раз подряд пообещал ему вырвать двенадцатиперстную кишку (почему-то именно этой деталью исчерпывались его познания в анатомии) — милиционеры слушали и молчали.

В центре толпы, почти рядом с пьяной женщиной, стоял кагебист, который во второй раз вырвал письмо с подписями. Он был непременным участником и организатором массовок.

— Я рабочая, — кричала женщина, — если я и выпила, то на свои деньги.

Пожилой человек сказал ей:

— Вы лжете. Вы не рабочая. У вас нет чести. Вы просто нанятый хулиган.

Толпа двинулась к нему. Женщина материла его самым изощренным образом.

— Кто вам дал право так разговаривать с пожилым человеком? — спросили ее.

Теперь гнев толпы обрушился на спросившего?

— А вы почему здесь?

— Здесь судят моих друзей. А вот, что делаете здесь вы?

— Ваши друзья фашисты и убийцы. И вы все такие же.

Далее следовали знакомые сетования на отсутствие автоматов.

— Кто же фашисты? — спросил этот человек. — Разве не вы призываете уничтожать людей?

... На некоторое время этот сброд остался в одиночестве. Вокруг пьяной бабы по-прежнему стояла кучка тех же людей, в их числе и тот, что вырвал письмо. Баба показывала какому-то парню с грязной белой повязкой через глаз на противоположную сторону. Парень подходил туда, заглядывал людям в лицо и возвращался. Внезапно женщина стремительно перебежала на другую сторону и подошла к Григоренко. Вся ее свита, несколько десятков человек, ринулась за ней.

— У меня нет никакого желания с вами разговаривать, — сказал Григоренко.

Толпа упорно наседала на него. Один из его знакомых привел милиционера. Милиционер удивился, зачем его позвали: он не нашел ничего особенного в том, что несколько десятков пьяных хамов пристают

к пожилому человеку. Равнодушие милиционера вдохновляло толпу, некоторые кинулись на того, кто привел милиционера. Когда этот человек отвернулся и спокойно отошел, вслед раздалось: «Жидяра, разговаривать не хочет».

Если что-то в этот день и удержало от прямых побоев, то, наверное, только присутствие иностранных журналистов. Хулиганы были проинструктированы. Это чувствовалось не только по непременно участию во всех сценах сотрудников КГБ или по явному сговору с милицией. Мы были свидетелями такой сцены. К иностранному корреспонденту подошел один из активных скандалистов, но, убедившись, что перед ним иностранец, почтительно ретировался. Через некоторое время, услышав, что корреспондент хорошо говорит по-русски, хулиган вернулся к нему и, угрожающе замахнувшись, сказал: «Ты такой же американец (далее следовали слова непечатные), как я эскимос».

Скандал, очевидно, начал выходить за пределы задуманного. В конце концов кумир толпы — пьяная женщина была отправлена домой. К 11 часам вечера, когда заседание кончилось, всё более или менее вошло в свое русло. Возможно, что подействовал телефонный звонок в министерство охраны общественного порядка.

В последний день суда народу собралось так же много, как и в предыдущие дни. Полемика между друзьями и недругами подсудимых продолжалась, но споры эти носили более спокойный и академический характер, чем накануне. Большинства участников вчерашних провокаций уже не было.

На собранные деньги купили цветов для адвокатов. Цветы лежали в автомобиле одного из родственников, присутствовавшего на заседании. Машина стояла за углом, на набережной, на глазах у одного из милицейских постов, и, конечно, была заперта на ключ. Когда мы подошли к машине, чтобы открыть ее и вынуть цветы, обнаружилось, что машина открыта и пуста. Конечно, снова собрали деньги и поехали за цветами. Искать похитителей было некогда. Капитан милиции, которому сказали о краже, ответил: «Это кто-то из ваших украл — Якир, наверно», — и сам обрадовался собственной шутке.

Около двух часов дня представитель МИДа вышел из здания суда и пригласил иностранных журналистов войти и выслушать сообщение о приговоре.

Вся толпа придвинулась вплотную к дверям суда и в напряженном молчании ожидала известий о приговоре. Наконец, двери суда открылись, и из здания начали выходить один за другим те люди, что каждый день попадали в зал по особым пропускам и с черного хода (поэтому мы увидели их впервые). Толпа, расступившись, образовала узкий проход, через который они шли молча, с важными, каменными лицами. «Какой приговор?» — спросил кто-то. Они не отвечали, слов-

но боясь вступить в контакт с «нежелательными элементами», один только злобно буркнул: «Какой? Слабый...». Кто-то еще из толпы сказал: «Да не спрашивайте вы их!»

Потом вышли родные подсудимых, и мы узнали приговор.

Пронесся слух, что адвокатов хотят вывести через черный ход. Часть толпы бросилась по набережной в обход здания к черному ходу и, наткнувшись на кордон милиции, остановилась.

Адвокаты, однако, вышли со стороны главного входа. Все снова сбегались, дарили букеты, суматошно объясняли, почему так невелики букеты.

— Цветочки, цветочки не забудьте! — кричал нам в спины все тот же человек, что вырвал письмо. Стоящие вокруг него подобострастно хихикали.

И когда мы уходили, вслед нам неслись те же угрозы, та же брань, только теперь ленивые. Разошлись синие мундиры. Исчезла и чернь, выдававшая себя за рабочих.

*Я всегда думал,... что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом,... что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл, что не в людской толпе рождается истина.*

П. Я. Чаадаев

«Апология сумасшедшего».

Вот именно.

Так бы и следовало закончить эти беглые заметки, написанные по памяти. Трудно обольщать себя надеждой на то, что люди, прочитавшие это, почувствуют то же, что и мы. Но, может быть, эти записки выльчат кого-нибудь от иллюзий.

Карательные органы делают ставку на сброд погромщиков, людей злых и неразумных. Эти люди могут принести много бед: у них нет привычки к размышлению, нет и потребности в свободе и гражданском достоинстве. В эти три дня только приоткрылись клетки, и сидящие в них звери только показали коготки. Когда-нибудь весь этот зоопарк может быть выпущен на улицу. Ранних христиан бросали в клетку со львами. Это логично: с идеями, мыслями, с личностями можно расправляться только по законам зоологии, такая расправа вне человеческих норм.

Уже в XIX веке отличали народ от холопства и черни. Но в XX веке десятки лет именем народа уничтожали все, что можно уничтожить: от генетики до человеческих жизней. Все грязное и жестокое в нашей истории прикрывали именем народа и кликами всенародного одобрения.

Может быть, кому-то эти заметки помогут быть взыскательнее к себе: в конце концов, разница между рукой хулигана, поднятой на ближнего, и рукой интеллигента, поднятой против ближнего на собрании, меньше, чем это может показаться.

А кому-то наши записки объяснят и поведение наших товарищей — осужденных демонстрантов. «Здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл», и что еще остается делать в этом болоте, среди воинственных куликов, как не отстаивать свою честь и свободу — свою душу живую. Даже если это слишком рано — до звезды.

*(9–11 октября 1968 г.)*

#### Примечания:

<sup>1</sup> Статья была написана Ильей Габаем в январе 1968 г. по следам «процесса четырех».

<sup>2</sup> Хаустов Виктор Александрович (род. 1938) — один из первых диссидентов, был арестован в январе 1967 г. вместе с Владимиром Буковским и Ильей Габаем за участие в демонстрации протеста на Пушкинской площади против ареста Гинзбурга и Галанскова. Тогда же был осужден на 3 года лагерей. После повторных арестов и многих лет лагерей и ссылок избрал духовенство.

<sup>3</sup> Буковский Владимир Константинович (род. 1942) — биолог, политический и общественный деятель, один из основателей правозащитного движения в СССР. Провел в лагерях, тюрьмах и на принудительном лечении в псих. больницах 12 лет. Автор книги «И возвращается ветер...» о демонстрации на Пушкинской пл. в Москве 22 января 1967 г., в которой он участвовал сам и за участие в которой был впервые арестован Илья Габай. В перерыве между арестами весной 1971 г., навещая Галину Габай, когда Илья был в Кемеровском лагере, отозвался о поведении И. Габая на следствии по делу: «Хорошо быть в одном деле с Ильей». В 1976 году советское руководство обменяло его на коммуниста Карвалана. В настоящее время живет и работает в Англии.

<sup>4</sup> Процесс Ю. Галанскова, А. Гинзбурга и др. 1968 г.

<sup>5</sup> Имеется в виду роль, сыгранная историком Костомаровым Н. И. (1817–1885) во время следствия и суда по делу Кирило-Мефодиевского братства (1849), членом которого он был.

<sup>6</sup> Вера Лашкова — правозащитница, одна из осужденных на «процессе четырех».

<sup>7</sup> Леонид Рендель — студент историч. ф-та МГУ, участник т. н. «группы Краснопевцева», политзаключенный, проведенный в лагерях и тюрьмах 10 лет (1958–1967).

<sup>8</sup> «Обращение к мировой общественности» Л. И. Богораз и П. М. Литвинова о судебном процессе Галанскова, Гинзбурга, Лашковой, Добровольского (январь 1968 г.), т. н. «процесс четырех». Текст «Обращения...», подписанного множеством граждан (около двухсот человек, в том числе и И. Габаем), был вручен работникам КГБ и иностранным корреспондентам тогда же, 11 января 1968 года, у здания суда. Многие подписавшие «Обращение...» были подвергнуты внесудебным репрессиям: уволены с работы, исключены из высших учебных заведений и т. д.

<sup>9</sup> Богораз-Брухман Лариса Иосифовна (1929–2004) — лингвист, диссидент, участница демонстрации на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии советской армией в августе 1968 г. Вместе с П. М. Литвиновым написала «Обращение к мировой общественности» по поводу беззакония на «процессе четырех».

<sup>10</sup> Литвинов Павел Михайлович (род. 1940 г.) — физик, педагог, диссидент, составитель сборника «Правосудие или расправа» о демонстрации на Пушкинской площади в январе 1967 г. Арестован и сослан в Сибирь за участие в демонстрации на Красной пл. в Москве против оккупации Чехословакии советскими войсками в авг. 1968 г. Эмигрировал в США в 1974 г.

<sup>11</sup> На XX (февраль 1956 г.) и XXII (октябрь 1961 г.) съездах коммунистической партии Советского Союза были раскрыты и осуждены преступные действия И. В. Сталина.

<sup>12</sup> Ванников Борис Львович (1897–1962) — нарком боеприпасов. Арестован в 1941 г., но освобожден Сталиным, как необходимый специалист. Руководил работами по созданию атомной бомбы. В 1958 г. уволен на пенсию. Автор мемуаров «Записки наркома». Эта работа имеется в виду в «Обращении...» Габая и др.

<sup>13</sup> Мемуары Гинзбург Евгении Семеновны (1904–1977) «Крутой маршрут» о жизни в советских лагерях, где она провела 10 лет после ареста в 1937 г. как «троцкистка».

<sup>14</sup> Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973) — советский прозаик социалистического реализма, апологет официальной линии коммунистической партии и правительства в литературе.

<sup>15</sup> Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) — советский прозаик, собиравший материалы и писавший о героях Великой Отеч. войны (1941–1945). Участвовал в травле Б. Л. Пастернака, в чем позднее раскаивался.

<sup>16</sup> Радищев Александр Николаевич (1749–1802) — русский писатель и философ, автор антикрепостнического произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790).

<sup>17</sup> Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — соратник И. В. Сталина, партийный идеолог СССР. Ярый защитник соц. реализма в искусстве и литературе. Осуждал поэзию А. А. Ахматовой, прозу М. М. Зощенко, музыку С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др.

<sup>18</sup> Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) — классик русской поэзии. В 1946 г. после разгромной статьи партийного идеолога А. А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» началась ее травля. Творчество Ахматовой стало замалчиваться, ее перестали печатать. Опыт жены и матери «врагов народа» запечатлен в ее поэме «Реквием».

<sup>19</sup> НТС — народно-трудовой союз, обществ.-полит. организация, пропагандирующая солидаризм, надклассовую и надпартийную центральную власть, личную свободу граждан и равенство всех перед законом. В основу НТС были положены принципы, изложенные в сб. «Вехи» (1909 г.).

<sup>20</sup> Крымско-татарский народ — см. ниже воспоминания Д. И. Каминской об Илье Габае.

<sup>21</sup> Ежов Николай Иванович (1895–1940) — «железный нарком», глава органов госбезопасности в 1937 г., осуществил массовые репрессии и стал их символом: («ежовщина», «чистки»). Был арестован как заговорщик и шпион. Расстрелян

в 1940 г. Решением Военной Коллегии Верх. Суда Рос. Фед. был признан не подлежащим реабилитации (1998 г.).

<sup>22</sup> Вавилов Николай Иванович (1887–1943) — биолог-генетик. Президент Академии сельскохозяйственных наук. Арестован в 1940 г., погиб в заключении.

<sup>23</sup> Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — поэт, переводчик, литературный критик. Арестован в 1933 г. Погиб в заключении.

<sup>24</sup> Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987) — генерал-майор, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Был арестован в мае 1969 г. по делу крымских татар и отправлен на принудительное лечение в Черняховскую спец. больницу. Эмигрировал в США.

<sup>25</sup> Имя его неизвестно. Он же увез за день до обыска Илью и Галину Габай в Лефортовскую тюрьму, где их продержали запертыми в камере, т. н. «комнате для свидетелей» в течение 8 часов, после этого допросили по очереди. В это время в квартире Габай был сделан предварительный обыск, о котором они узнали по тому, что книги на полке стояли не в том порядке, в каком обычно.

<sup>26</sup> «Веранда» была скорее беседкой (прим. Е. С. Семека, которая была у здания суда вместе с бывшим узником «Сухановки», диссидентом Е. А. Шаповалом (1931–2003)).

<sup>27</sup> Илья Габай.

<sup>28</sup> Гершович Владимир Аркадьевич (род. 1935) — математик. В описываемое время преподаватель на заводе-втузе ЗИЛ. Друг Илья Габая с институтских времен. После увольнения перебивался случайными заработками в течение 4-х лет, вплоть до отъезда в Израиль в октябре 1972 г.

<sup>29</sup> МИД — Министерство иностранных дел СССР.

<sup>30</sup> Скрябин Александр Николаевич (1872–1915) — русский композитор и пианист.

<sup>31</sup> Врубель Михаил Александрович (1856–1910) — русский живописец-символист.

<sup>32</sup> Тельников Владимир Иванович (1937–1998). Провел 6 лет в Мордовских политических лагерях. В описываемое И. Габаем время работал преподавателем английского языка в одном из московских техникумов. Эмигрировал в Израиль (1971 г.). Переехал в Англию. Работал на радиостанции Би-Би-Си.

<sup>33</sup> Майя Литвинова.

<sup>34</sup> Файнберг Виктор Исаакович (род. 1933) — участник демонстрации на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии советскими войсками в августе 1968 г. При аресте работники КГБ ему выбили зубы. Был направлен на принудительное лечение в спец. больницу, где провел 5 лет. Освободился 11 ноября 1973 г. Эмигрировал в 1976 г. Живет попеременно в Израиле, Франции и Англии.

<sup>35</sup> Адель Гершович (ныне покойная) — инженер-электрик одного из московских заводов, жена В. А. Гершовича.



Суд



---

# ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД<sup>1</sup>

---

19 января 1970 года

## ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОКУРОРА БОЧАРОВА

«Габай — человек очень умный, в смысле хитрый; карьерист, запасшийся к суду блестящими характеристиками с разных мест работы и многочисленными друзьями, готовыми свидетельствовать в его пользу. Также из карьеристских соображений Габай клеветал на советский общественный и государственный строй».

Прокурор сказал, что образование дало Габаю то самое государство, которое он обливает грязью.

Далее прокурор перечислил письма и статьи, написанные и подписанные Ильей Габаем, крымско-татарские информации, отрецензированные Ильей Габаем, и заявил, что этими документами доказан факт клеветнических измышлений Габая и распространение этой клеветы.

Кроме того, сказал далее прокурор Бочаров, обвинение Габая в распространении клеветы на советский общественный и государственный строй доказано показаниями в предварительном следствии свидетеля В. Пронина и других.

В заключение прокурор Бочаров попросил суд о трех годах заключения в исправительно-трудовой колонии общего режима.

## ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА Д. И. КАМИНСКОЙ<sup>2</sup>

Д. И. Каминская сказала, что она не собиралась особо говорить о личности своего подзащитного, так как выступления свидетелей, характеристики с мест работы и письменные заявления, поступившие в суд, не оставляют никакого сомнения в бескорыстии и благородстве Ильи Габая, в том, что он человек исключительных нравственных качеств. Но коль скоро этого вопроса коснулся прокурор, она вынуждена остановиться на этом вопросе специально.

«Стыдно пользоваться положением человека, находящегося под охраной, и бросать ему в лицо ни с чем несообразные оскорбления. О какой карьере говорит государственный обвинитель? О той, которая привела Габая на скамью подсудимых? Или прокурор не понимает, что, ставя свою подпись под различными протестами, Габай исключил для себя возможность какого бы то ни было преуспевания?»

На замечание прокурора о том, что государство дало Габаю образование, адвокат Каминская заметила, что государство всем дает возможность получить образование, но не каждый проявляет необходимую целеустремленность и готовность проделать огромную многолетнюю работу, требующуюся для получения образования. Илья Габай, со своей стороны, сделал все необходимое и достиг этой цели.

Анализируя документы, инкриминируемые Илье Габаю, Д. И. Каминская показала, что факты, изложенные в этих документах, судом не опровергнуты, и, следовательно, не доказана объективная сторона преступления. Что же касается субъективной стороны дела, то Илья Габай безусловно верит в правдивость всего написанного и подписанного им.

Адвокат Каминская Д. И. протестует против того, что судья Писаренко трижды прерывал ее защитительную речь, хотя не сделал ей при этом ни одного замечания. И в заключение адвокат просит суд вынести Илье Габаю оправдательный приговор.

## ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ИЛЬИ ГАБАЯ

Я хочу сделать заявление прежде, чем начну свое последнее слово.

Суд позволил оказывать на себя давление со стороны тех органов, которые вели расследование по нашему делу. В зале судебного заседания на протяжении всех дней процесса присутствовали работники КГБ<sup>3</sup>. Ни один уважающий себя суд ни в одной уважающей себя стране не позволяет этого.

.....

Суд не одернул клеветника-прокурора. На этом суде прозвучала прямая клевета. Характер обвинения, когда прокурор говорит, ссылаясь на мои характеристики с мест работы, якобы свидетельствующие о моем приспособленчестве, — прямая клевета.

Суд не прервал клеветника и собирается вынести приговор, руководствуясь при этом известной логикой: «Этого не может быть, потому что это невозможно». Обвинение прокурора в карьеризме смехотворно, нелепо. Я не карьерист и, будучи заместителем директора школы, сделал все возможное, чтобы от этой должности избавиться.

Политические вопросы — это не основные интересы в моей жизни. Мои интересы — в других сферах.

У меня нет политического тщеславия, но если представить, что это так, то зачем ставить свою фамилию под обращением к общественности? Для того, чтобы себя компрометировать. Ведь обращение «К деятелям науки, культуры и искусства» — не есть политический капитал в нашей стране.

Впрочем, суд не входил в это.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (КОНСПЕКТ)

### 1

Я привлечен к уголовной ответственности за то, что открыто поставил свою подпись под документами, в которых излагалось близкое мне отношение к некоторым фактам нашей жизни.

Иметь *свое*, отличное от официального, мнение по вопросам внутренней и внешней политики — завоевание более полуторавековой давности. Я думаю, что ради этого естественного человеческого права и совершались в предшествующие века самые приметные действия: штурмовали Бастилию, писали трактаты о добровольном рабстве или «Путешествие из Петербурга в Москву». Страны, не придерживающиеся этих законов жизни, в настоящее время выпадают из общей нормы. Это признает и Конституция нашей страны, предоставившая своим гражданам свободу слова, совести, демонстраций.

Тем не менее, время от времени появляются одни и те же оговорки, позволяющие квалифицировать недовольство, несогласие, особое мнение — как преступление.

Более ста лет назад одна провинциальная русская газета писала: «Говорят о свободе слова, о праве на свободу исследования — прекрасно... Но не там, где речь идет об *общем благе*.<sup>4</sup> В виду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии».

Далее газета добавляла: «Недаром «Норддойтшен Цайтунг» поучает нас и впредь действовать в том же направлении».

В переводе с пошехонского языка на современный эта благонамеренная сентенция напоминает разговоры с разоблачениями абстрактных свобод, суждения, клеймящие инакомыслие как посягательство на великие и единые цели. Недаром, — добавляется и в этом случае, — западногерманские реваншисты (или «Би-Би-Си», или «Голос Америки») встречают бурным одобрением это инакомыслие.

Я плохо улавливаю в таких случаях, какое отношение имеют реваншисты к аресту, например, председателя колхоза Ивана Яхимовича<sup>5</sup>. Возникает другой, более важный вопрос: почему официальная точка зрения обязательно общенародная. Неужели для достижения общего блага необходимо было в порыве единомыслия считать Тито — палачом и наймитом империализма, кибернетику — лженаукой, генетику — прислужницей фашизма, а творчество Шостаковича — сумбуром вместо музыки? Или народу для достижения его счастья крайне необходимы были вакханалии 37, 49 и 52 годов?

Остается повторить вопрос Салтыкова-Щедрина: «Разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным?»

А если не вменяется, то почему время от времени недовольные отправляются в отдаленные места? Потому что именем народа говорят люди, считающие лучшим медицинским снадобьем бараний рог и ежовые рукавицы? Или потому, что, говоря словами того же автора «Убежища Монрепо» — «Протест не согласуется с нашими традициями»?

## 2

В этих случаях обычно возражают: мы судим не за убеждения, а за распространение клеветы. Стало быть, за два преступления: за то, что лжешь, клеветешь, и за то, что эту ложь делаешь общим достоянием. Против подсудности таких преступлений не решился бы возражать ни один человек, тем более, что на нашей памяти немало доказанной клеветы. В этом случае можно было бы ожидать какого-то судебного решения по поводу прозаика Ореста Мальцева<sup>6</sup> и драматурга Мдивани<sup>7</sup>: они рассказывали о связях Тито с фашистами; по поводу профессора Студицкого<sup>8</sup>, приобщившего к тем же фашистам ученых-биологов; художников Кукрыниксы<sup>9</sup>, журналистов Грибачева<sup>10</sup> и Кононенко<sup>11</sup>, обливавших грязью группу крупных советских врачей. Но названные лица поют благополучно новые песни, приспособленные к новым временам; народилась смена молодых и ретивых ненавистников, но на скамье подсудимых время от времени оказываются все те же люди, не укладывающиеся в традиции безудержного ликования.<sup>12</sup>

Клеветать — на всех языках и во все времена означало говорить то, чего не было. А в ходе следствия ни один факт не был проверен и опровергнут. Основанием для приобщения нашей информации к разряду клеветнической послужил веский, проверенный временем аргумент: «Этого не может быть, потому что это невозможно».

Я отрицаю, что документы, которые я писал или подписывал, носили клеветнический характер. Я допускаю, что выводы, которые я делал, могут быть кому-то не по вкусу. Кто-то вправе считать, например, что положение татар — не только нормальное явление, но чуть ли не эталон национальной политики. Я считаю иначе и считал так на основании фактов, которыми располагал и которые следствие не дало себе труда опровергнуть.

У меня не было, как мне кажется, никаких мотивов для распространения клеветы. Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие, но если даже предположить, что я писал из политического

тщеславия, то трудно логически увязать открытое, за личной подписью, обращение к общественности с извращением легко проверяемых фактов. Писать для того, чтобы себя компрометировать, и при этом идти на многие жизненные неудобства — от потери работы до потери свободы — такое встречается, наверно, только в практике психиатров, а я, как видно из материалов дела, не входил в их клиентуру.

Что касается распространения, то тут я должен сказать следующее: убеждения, на мой взгляд, не только мысли, в которых человек убежден, но и мысли, в которых он убеждает. Доверительным шопотом, под сурдинку, сообщаются воровские замыслы или сплетни, но уж никак не открытые взгляды. И если речь шла только о том, давал ли я читать то, что писал и подписывал, то следствие могло и не утруждать себя: открыто подписанное обращение к общественности предполагает, что будет сделано все возможное, чтобы этот документ дошел до адресата.

Я считал и считаю, что писал правду, хотя не исключаю возможности какой-нибудь частной оговорки. Больше того, я считаю, что документы, которые здесь называются клеветническими, охватывают далеко не все претензии, которые могут быть у моих сограждан и у меня: чувство реальности удерживало меня от того, чтобы затрагивать вопросы, не поддающиеся простому решению или выходящие за пределы моей компетентности. Факты, которые я считал нужным довести до сведения моих соотечественников, казались мне вопиющими, и умолчание в некоторых случаях было для меня равносильно соучастию.

Я не выдумывал псевдонимов, не прятал бумаги в подвал, так как был уверен в своей правоте и в правдивости. Я и сейчас считаю необходимым доказать, что документы, написанные и подписанные мной, продиктованы чувством справедливости и преследовали одну единственную цель: устранить все, что мешает ее торжеству.

### 3

Во многих документах, автором или соавтором которых я себя считаю, поднимался вопрос о том, что в практике общественной жизни последнего времени прослеживаются тревожные аналогии со временем т. н. «культы личности».

В ходе следствия следователь выдвинул возражение, которое кажется мне симптоматичным. Оно сводилось примерно к следующему: вот вы говорите все: «сталинизм», «сталинизм», — а вас никто не пытается, не допрашивает ночами, позволяют не отвечать на вопросы и т. д. Если понимать сталинизм таким образом, то заявление о его симптоматичности, действительно, выглядит сильным преуве-

личением. Но я считаю ежовское варварство крайностью сталинизма. Без него он выглядел бы менее жестоким и кровавым, но все равно оставался бы антигуманным и тираническим явлением XX века. Я далек от того, чтобы проводить какие-то параллели, но считаю нужным напомнить, что итальянский и румынский фашизм обошелся без «ночей длинных ножей» и без Освенцима, но не перестал быть фашизмом.

Для меня, да и, насколько я знаю, для многих, то, что условно называется сталинизмом, охватывает целый круг социальных аномалий.

*Прежде всего, сталинизм — это вечно указующий и вечно грозящий перст в сложной и противоречивой области мысли, убеждения, творчества.*

В документах говорилось о том, что в последнее время вокруг развенчанной фигуры Сталина появился ореол, и этому способствует, к сожалению, позиция наших крупных журналов, издательств и даже государственных деятелей. Если бы это была точка зрения, существующая равноправно с противоположной, то это могло бы вызвать досаду — и только. Но, по существующей традиции, некоторые органы печати представляют собой род кумирни, обладающей правом единственного слова, и позиция журнала «Коммунист» или издательства «Мысль» безоговорочно исключает иную точку зрения, даже если мысли этих органов печати противоречат их собственной недавней позиции. Так оно и случилось, и в свет стали выходить одна за другой работы, доказывающие прозорливость и мудрость Сталина. Это привело, конечно, сразу же к автоматическому забвению других авторитетных работ, в которых доказывалось, что и прозорливость и мудрость часто изменяли Сталину самым роковым для страны образом. Была рассыпана книга бывшего наркома, изъята из библиотек другая книга, в которой подводились практические итоги военных исследований за послесталинское десятилетие.

В одном из журналов появились стихи, автор которых вожделенно тоскует по кинокартине «Падение Берлина», чуть ли не по воскресению великого учителя, великого кормчего. Для этой пародии на романтическое ожидание, когда из гроба встанет император, и на нем будет «треугольная шляпа и серый парадный сюртук»<sup>13</sup>, для этих, начисто лишенных художественности опусов Чуева<sup>14</sup> о «нашем генералиссимусе» нашлась бумага и место — для «Реквиема»<sup>15</sup> или «Воронежских тетрадей»<sup>16</sup> их не нашлось.

В конце концов, недостаток мудрости, хотя бы такой, зафиксированный не так давно недостаток как «субъективизм руководства», может обернуться сильной, но поправимой бедой. Если даже допустить, что Сталин обладал всеми качествами крупного государственного деятеля, что действия его способствовали всеобщему благу, все равно

от поклонения ему должны были бы удержать хотя бы соображения нравственной стерильности. Никакое количество стали на душу населения не может быть индульгенцией за душегубство, никакое материальное благосостояние не вернет жизнь 12 миллионам людей, и никакая зажиточность не сможет компенсировать свободу, достоинство, личную независимость.

Из всех эмигрантских публицистов (а среди них есть очень крупные фигуры) в последнее время очень сочувственно назывались в печати имена Питирима Сорокина<sup>17</sup> и Соловейчика<sup>18</sup>. Причина этой благосклонности в том, что они считают лучшей из свобод отсутствие безработицы. Если следовать этой бездуховной прагматической точке зрения, если взять всерьез на вооружение саркастический совет великого русского писателя: «Какое основание прибегать к слову «свобода», коль скоро есть слова, вполне его заменяющие: «улучшение быта», да при этом закрыть глаза на действительные условия жизни сталинского времени — Сталин как символ бараньего рога и дешевой водки может действительно показаться высшим воплощением государственной мудрости и справедливости.

Но в этом случае расхожие лжеистины потеснят выстраданные цивилизацией представления о гуманности, в этом случае будет происходить постоянная утрата моральных прав, и если новым поколениям будет успешно внушено, что тридцатые годы — годы трудовых успехов — и только, то кто сможет отказать другой стране в благоговейном воспоминании о времени, когда тоже с избытком хватало и силы, и веры, и почитания, и энтузиазма, и страха, и зрелищ, и стали на душу населения...

#### 4

Во многих документах, написанных или подписанных мною, говорилось именно об этом. Понятие «сталинизм» расшифровывалось, и делалось это потому, что оценка Сталина представлялась мне и, надо полагать, и моим соавторам вопросом отнюдь не академическим. Архаический пласт, который, по наблюдениям мудрых людей, всегда в той или иной степени есть в любом обществе, чрезвычайно чувствителен к такой реабилитации изуверства и несвободы, какую неизбежно несет с собой реабилитация имени Сталина. Признать Сталина лицом положительным — это положительно оценить и навязанные им силой условия, это вообще коренным образом переоценить те представления о человеческих взаимоотношениях в обществе, которые в робкой, недостаточной, противоречивой форме, но все-таки выработывались с 1956 по 1962 год. Что так оно и есть на самом деле, свидетельствуют многие факты: от окриков в адрес историков, писателей,

режиссеров, осмелившихся отрицательно трактовать личность Ивана Грозного, до участвовавших аргументов, оскорбляющих мое представление о человеческом достоинстве — о победах при Нем, о смерти с Его именем. Идолопоклонство это опасно тем, что оно автоматически ведет к представлению о непогрешимости всего происходившего и происходящего. Мы писали о том, что сейчас, когда еще последствия сталинизма воспринимаются очень многими как личная трагедия, т. н. «объективность» его оценки не может не восприниматься как кощунство, как надругательство над его жертвами. Тем более, что эта «объективность» самым магическим образом ни на кого, кроме Сталина, не распространяется, во всяком случае, она не распространяется на его оппонентов. Я мало что смыслю в партийной борьбе, да и интересы мои мало соприкасаются с этой сферой; я готов поверить, что противники Сталина были неправы то слева, то справа, то с центра, а он всегда был прав, что они были некорректны в споре, а Сталин был образцом корректности. Но мне известно, что не они прибегли к такому полемическому аргументу, как клеветнический навет и физическое истребление. И тогда такая объективность оборачивается очень опасным смещением понятий, при котором уничтожение миллионов кажется пустяком по сравнению с неправильной позицией в дискуссии о профсоюзах.

## 5

В связи со своими пристрастиями я особенно остро ощущаю несвободу в творческой и вообще гуманитарной деятельности. В одном из наших документов говорилось о том, что временщики портят жизнь и условия работы деятелям культуры, диктуют в императивной форме всем без исключения свои вкусы. В этом непрошенном, злом и невежественном посредничестве я усматриваю одно из самых характерных проявлений сталинизма, и как бы резко ни звучало слово «временщик», и как бы категорически не выглядело это утверждение, я, к моему глубокому сожалению, не могу снять его. Мартирологи самых талантливых людей нашей страны — Бабеля<sup>19</sup>, Прокофьева<sup>20</sup>, Зощенко<sup>21</sup>, Платонова<sup>22</sup>, Ив. Катаева<sup>23</sup>, Ахматовой, Мандельштама, Петрова-Водкина<sup>24</sup>, Фалька<sup>25</sup>, Заболоцкого<sup>26</sup>, Булгакова<sup>27</sup> — мешают мне отказаться от этого утверждения. Мне трудно забыть, как в уже новые, внушавшие мне некоторые иллюзии времена один временщик<sup>28</sup> выгонял из страны, как из своей вотчины, ее гордость — Бориса Пастернака<sup>29</sup>, а другой<sup>30</sup> с апломбом преподавал азбуку живописи виднейшим советским художникам. И как же не временщики — эти люди, затерявшиеся сейчас в списках номенклатурных лиц. Сейчас ясно, что пребывание Семичастного не оставило неизгладимого следа

в истории нашего молодежного движения, но в свое время он был наделен полномочиями говорить от имени всей молодежи и даже всего народа. Разруганные в 1962–1963 году картины сейчас висят в Третьяковской галерее, но практика непререкаемого чиновничьего суждения осталась неизменной. Запреты изданий, выставок, спектаклей и кинокартин, запреты, большей частью не поддающиеся никакому логическому объяснению, показывают, что эта чиновничья забота об искусстве целиком и полностью укладывается в нехитрый, но вечный прием будочника Мымрецова: «Тащить и не пущать»<sup>31</sup>.

Люди, любящие искусство, не склонны видеть политическое событие в явлениях чисто художественных, и политическую сенсацию вокруг имени очень большого современного писателя делают не читатели, а те, кто, не брезгуя действительной, а не мнимой клеветой, льет потоки неудержимой брани на это творчество. Особенно грустно, что это ненавистничество культивируется зачастую печально знакомыми лицами. Закон, по которому может быть тема колхозная или военная, но не может быть лагерной, придуман теми, кто, кажется, рад был бы из всей живописи оставить картину «Сталин и Ворошилов в Кремле»<sup>32</sup>, а из всей литературы стихи о зоркоглазом и мудром наркомЕ Ежове и пьесы о происках космополитов.

## 6

Культ Сталина — это не просто вздорное языческое суеверие. За этим стоит опасность торжества мифической фикции, за этим стоит оправдание человеческих жертвоприношений, ловкая подмена понятия свободы понятием быта. Оправдать исторически зачастую означало сделать это эталоном своего времени. Сталину понадобилось возвысить Ивана Грозного, сейчас кому-то понадобилось возвысить Сталина — сравнение слишком бросается в глаза, и не говорить об этом — невозможно.

Я буду рад, если мои опасения окажутся несправедливыми, но и возможная опасность требует какого-то действия, даже с такими малыми силами, как наши, и с такими мизерными результатами.

## 7

Подавляющее большинство инкриминируемых мне документов — протест против осуждения людей по политическим мотивам. И это не случайно.

В деле есть свидетельства моего оптимистического настроения во время XXII съезда<sup>33</sup>. Напоминая об этом, я ни в коем случае не хочу

подчеркивать свою лояльность. Истина требует честного признания, что эти настроения — следствие присущей мне восторженности и склонности к иллюзиям. Если я говорю об этом, то только для того, чтобы объяснить, почему я писал и подписывал такие письма, хоть заведомо знал безнадежность своих действий.

Я не хотел и не хочу оказаться в положении людей предшествующих поколений, которые не заметили исчезновения десятка миллионов людей. Я убедился в том, что короткая историческая память и постоянная готовность к ликованием — лучшая почва для произвола и что названные миллионы, в конечном счете, слагались из тех единиц соседей, сослуживцев, добрых знакомых, которых ежедневно теряли люди 37 года.

Подмена полемики репрессиями — факт не только частного истязательства, конкретной несправедливости (что важно в первую очередь), но потенциальная возможность новых массовых аутодафе, общей атмосферы немоты, страха и взвинченного энтузиазма. Я очень могу понять, что многие не разделяют взглядов Гинзбурга, Яхимовича, Богораз и Григоренко, но слово есть слово, и подменять спор тюремой — это значит бросать вызов людям, остро почувствовавшим жуткое каннибальство нашего века, и постоянно напоминать им о его каждодневной возможности.

Нелишне напомнить также, что эти аресты неизбежно влекут за собой грубые процессуальные нарушения, соглядатайство, доношительства, диффамации в прессе, что в самом деле, по-настоящему, порочит государственный и общественный строй.

В обвинительном заключении приведено место из одного из таких писем: «Мы никогда не примиримся с репрессивными акциями, направленными на ущемление законных прав и достоинства наших сограждан». Я и сейчас стою на том, и если усталость или чувство безнадежности заставят меня когда-нибудь решиться на пилатство — это не прибавит мне уважения к себе<sup>34</sup>. Есть такой способ общественного существования: «Плюнь — и поцелуй злодею ручку». Но мучиться философией дядьки Савельича<sup>35</sup>, кажется, никогда не считалось примером, достойным подражания. И я надеюсь, что меня минует судьба ее проповедника.

## 8

Некоторые из документов затрагивают или специально разбирают вопрос о крымских татарах. Я не татарин и никогда не жил и не стремился жить в Крыму, но у меня есть, я убежден, серьезные личные основания принимать этот вопрос близко к сердцу.

Я хорошо помню последние годы Сталина, когда я особенно остро ощутил полную незащищенность человека национального меньшинства. Ведь антисемитизм того времени не ограничился очередным произволом по отношению к еврейским писателям, артистам или врачам. Он поднял те самые архаические пласты, о которых уже говорилось выше, вызвал к жизни самые дремучие и злые побуждения, и, когда я иногда слышу, как рассуждают о татарах люди, которые как сейчас помнят нашествие Батыя на Рязань, я возвращаюсь мысленно ко времени своих личных обид перед лицом этой самоуверенной и неразумной силы.

Легко представить себе в известной книге «Миф XX века» примерно такое место: «Евреи всегда были врагами рейха, подрывали благосостояние немецкого народа, совершали предательство по отношению к фатерланду» и т. д. Но когда такие слова: «Татарское население в Крыму никогда не являлось трудолюбивым и в годы Отечественной войны открыто проявило враждебное отношение к советской власти», — когда такие слова произносит не Розенберг, а советский общественный деятель, — любое выражение для определения интернационализма такого рода выглядит бледным и вялым.<sup>36</sup>

Правда, эти слова Кулемин произнес в давние времена, но вот совсем недавно, как я узнал, лектор Становский произнес буквально следующее: «Да, абсолютно все крымские татары, даже дети, были предателями. При выселении татар я тоже участвовал, но никакой жалости ни к детям, ни к женщинам не испытывал».

К слову, — это тоже симптоматическая примета: один деятель, довольно крупный, публично заявил, что работа в НКВД<sup>37</sup> в известную эпоху не мешает ему спокойно спать, другой гордится участием в репрессиях по отношению к целому народу. Спокойный сон сталинистов-практиков вряд ли может внушить излишнее спокойствие.

Я должен сразу сказать, что не был очевидцем и что всю информацию о татарах черпал из материалов их движения. Но десятки тысяч подписей — достаточно убедительное свидетельство, которое могло заставить меня поверить и побудить к некоторым действиям солидарности.

Мне известно, что татары — аборигены Крыма, что, вопреки утверждениям фальсификаторских работ, они созидали на своей исконной территории высокую материальную и духовную культуру. Должен напомнить, что потемкинские деревни возникли в Тавриде только в 18 веке, когда туда привнесли свои хозяйственные традиции русские завоеватели. Об этом в свое время, пока по мановению волшебной палочки татары не превратились в предателей, говорилось и в советской печати.

«Свыше 7 веков — писали авторы «Очерков истории Крыма», — Крым является родиной крымских татар, создавших из Тавриды пло-

дотворнейшую и богатейшую страну». Позднее уже возникли у казенных историков или литераторов типа Павленко<sup>38</sup>, Первенцева<sup>39</sup>, Лугового невообразимые легенды с очень недорогим смыслом. Они легко сводятся к приведенным словам Кулемина или к глубокомыслию «правдивейшего» из историков — Надинского: «Разбойничьи набеги явились профессией крымских татар».

В обвинительном заключении сказано: «В частности, этот народ назван Габаем (следует читать: «клеветнически назван») многострадальным». Так и надо понимать: огульное обвинение в предательстве, изгнание, гибель около 110 000 человек, непрекращающаяся клевета — все это страдания «недостаточные».

Позволю себе заметить: если бы действительно татары перешли на сторону немцев — это было бы трагической ошибкой народа, но не давало бы никому права распоряжаться их родиной. Ведь не пришло же никому в голову заняться переселением румын, венгров или итальянцев.

Но факты свидетельствуют, что это не только огульное обвинение, — это прямая ложь. Факты свидетельствуют, что многие крымские татары воевали на фронтах, что 32 600 мужчин были партизанами и подпольщиками, и вообще в партизанские отряды Крыма входило от 43 до 55 процентов крымских татар. Для справки. Надо напомнить, что в 37 году на территории Крыма проживало 208 тыс. человек — 25,4 процентов крымского населения.

В Указе от 5 сентября 1967 года сказано: «Отменить соответствующие решения государственных организаций в части, содержащей огульное обвинение в отношении граждан татарской национальности». Из этого логически может вытекать только одно решение: вернуть этому народу, так же, как вернули чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, калмыкам отнятую у них территорию и государственность. Я не встретил в печати ни одного объяснения, почему именно для крымских татар было сделано исключение.

Крымско-татарский народ продолжает оставаться в состоянии морального и физического угнетения, по отношению к нему допускаются циничные, бесчеловечные надругательства.

Гражданка Касаева сообщает, что в мае 1968 года милиция во главе с подполковником Косяковым оцепила группу татар, из них насильно составили спец. поезд «врагов советской власти, которые предавали и предают», и в этом качестве везли среди кавказских народов. Чудовищная практика находит чудовищное воплощение в теоретических разглагольствованиях. Другой работник милиции, подполковник Пазин, заявил татарам: «Крым не для вас. Ваша родина — Турция». В юбилейной информации сообщается о выдворении 5 000 человек из Крыма, хорошо известны общественности события в Чирчике<sup>40</sup>, Симферополе,

Москве — и таких примеров множество. В «Информации по состоянию на 1 августа 1968 года» сообщается, что в квартире героя крымского подполья Эмирсалаева, которому власти отказали в прописке, живет человек, осужденный в свое время на 15 лет за измену родине. Татар не принимают на работу только за то, что они татары, в то время как, по свидетельству той же Касаевой, пустует более 10 тыс. домов, и Крым задыхается от недостатка рабочих рук, а татары неоднократно заявляли о своей готовности жить и работать в любом уголке Крыма; постоянные массовые выселения сопровождаются издевательствами и избиениями — знание об этом не могло не вызвать восхищения этим народом, сочувствия к нему, не могло оставить меня безучастным.

Немного об информации No. 77. Я не считаю себя ее автором, так как мое участие в ее составлении ограничилось скромной стилистической правкой. Отказ от авторства не связан у меня со страхом нести ответственность за эту информацию. Все, что я сказал выше, должно убедить суд, что я рад хоть в малой степени разделить с татарским народом честь его мужественной и справедливой борьбы.

## 9

Несколько слов о Чехословакии, так как ряд документов — статья анонимного автора под названием «Логика танков», статья Комарова «Сентябрь 1969 года», мои заметки «Еще и еще раз» и «Возле закрытых дверей» прямо или косвенно откликаются<sup>41</sup> на события 21 августа 1968 года.

В том, что происходило в 1968 году до этой даты в Чехословакии, я видел светлую возможность доказать, что репрессии и несвобода, гибель Трайчо Костова<sup>42</sup>, Ласло Райко<sup>43</sup> или Сланского<sup>44</sup> не вытекают из социальной системы Болгарии, Венгрии и Чехословакии, а связаны со злой волей бывших руководителей этих стран.

К акции 5 держав я относился и отношусь неоднозначно — как к интервенции и произволу сильных держав. Меня в то же время восхищали мужество и благородие, интеллигентность и высокое чувство достоинства, проявленные в эти и последующие дни чехами и словаками. Считать такое отношение клеветой нет никаких оснований: это была точка зрения многих общественных деятелей мира, в том числе коммунистов, это была точка зрения руководства оккупированной страны и большинства ее народа.

Председатель национального собрания Чехословакии говорил в те дни: «Государство и его суверенитет, свобода, развитие наших дел и безопасность, и существование каждого гражданина подверглись смертельной опасности... Мы должны были вести спор под тенью танков и самолетов, которые оккупировали нашу страну».

Я полагаю и полагаю, что государственные деятели Чехословакии имели большее основание для квалификации своих внутренних дел, чем наши журналисты.

Изменение в руководстве Чехословакии не может изменить моих взглядов, точно так же, как не влияют на мои убеждения перестановки в руководстве нашей страны. Поэтому я не собираюсь отказываться от своих заметок. Я разделяю также точку зрения и выводы Комарова, изложенные в его статье «Сентябрь 1969 года».

Что касается статьи «Логика танков», то здесь я должен сделать несколько оговорок. Мне в какой-то степени чуждо сочетание резкого тона и анонимности, хотя я допускаю, что у автора были серьезные основания не называть своей фамилии. Терминология автора, его стиль противоречат моим представлениям о корректности. Но если отбросить эти и другие частности, то автор по существу вопроса о Чехословакии занимает близкую мне позицию, и я не жалею, что несу ответственность за перепечатание его статьи.

## 10

Я должен, наконец, специально остановиться на своих заметках «Еще и еще раз»<sup>45</sup> и «Возле закрытых дверей», которые с разных сторон затрагивают важный для меня вопрос о том, что такое общественное мнение. Обе заметки — отклики на арест, а потом на осуждение группы демонстрантов. Эти люди, как написано в заметках, выступили против произвола сильной державы и убедили меня еще раз в мнении, что истина подтверждается не массовыми собраниями, что она не может быть выведена никаким организованным количеством подсчетов.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не ставил своей целью противопоставлять интеллигентов народу, культивировать глубоко чуждое мне высокомерие. Я просто писал о том, что действия 5<sup>46</sup> людей, обладающих, с одной стороны, твердым знанием существа дела и, с другой, мужеством поступать в соответствии с этим знанием и убеждением, вытекающим из него, а не применительно к обстановке, выражают действительную позицию общественности.

Герцен в статье «Концы и начала» с горечью писал об интеллигентах, «независимых в своем кабинете и благоразумных на площади», и я мог гордиться своими согражданами, которые перешагнули через эту постыдную храбрость под сурдинку. Конечно, действия Бабицкого, Богораз и др. предполагают некоторую пустынную и обреченность, но это никогда не означало неправоту. За этим стоят убеждения многих людей, которые по тем или иным причинам не могли перешагнуть через «благоразумие на площади».

Когда в той же статье Герцен писал: «За эту чечевичную похлебку (имеется в виду известная степень комфорта и безопасности) мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему», то эти слова, на мой взгляд, были скорее чем упреком, проникнуты горечью бессилия. Я отлично понимал, что действия моих знакомых были близки к самозакланию, что гораздо более невинные поступки (например, письма в государственные организации) приводили их авторов к катастрофическим последствиям.

«Дорогой ценой приходится платить нашим согражданам за каждый шаг честной мысли», — писал я в одной из заметок, ссылаясь, в частности, на массовые увольнения людей за подписи. Приводимый с легкостью в действие известный механизм замены специалистов кантонистами прямо способствует фальсификации общественного мнения. Репрессии принуждают к немоте, и тогда успешно срабатывает ставка на неосведомленность и готовность к скоропалительным, со шпаргалками, выводам. А выводы эти частенько имеют далекие последствия. У меня долго хранилась газета 1936 года. Шел в это время процесс Смирнова, Эйсмонта и др., и рабочие ряда заводов требовали смертной казни этим, ныне полностью оправданным людям. Спекуляция на слове «рабочий», «народ» и т. д. развязывает в известных случаях темную стихию классового чванства. В более или менее безобидных случаях это выражается в том, что работница швейной фабрики в 1963 году учила поэтов писать стихи так, как это делает она (газета «Вечерняя Москва» предоставила ей трибуну). В менее безобидных — они выступают на процессе ленинградского поэта как глас народа — и говорят буквально следующее: «Мы не читали стихов такого-то поэта, но требуем сурового наказания за их содержание». Или, откликаясь на лживую статью, пишут в газету: «Мы прочитали вашу статью и возмущены тем, что таким-то преступникам вынесли слишком мягкий приговор».

К дежурным речам и письмам, как правило, в таких случаях примешиваются действия из откровенных хулиганских побуждений. В частности, я сообщал, что избивание одного из участников демонстрации 25 августа сопровождалось антисемитскими выкриками, что письма к Литвинову включали в свое число и безграмотную мешанину грязных подзаборных ругательств с отборной черносотенной терминологией. Так как точка зрения этих людей совпадала с общепринятой, я имел право писать о патриотизме в лучших традициях дореволюционного черносотенства. Включение этих слов в обвинительное заключение без упоминания контекста выглядит прямой диффамацией.

Великий немецкий писатель Томас Манн писал: «Мы знаем, что обратиться к массе как к народу — это толкнуть ее на злое мракобесие».

Истинность этих слов подтвердилась в дни судебного процесса Бабицкого и др., и этому посвящены заметки «Возле закрытых дверей...», предвзято истолкованные в обвинительном заключении. Речь шла о бесчинствах людей, которые должны были своей массовостью разыграть общественное мнение. Эти бесчинства были организованы на наших глазах спец. работниками, и это не единственный пример не очень благородных и чисто плотных действий людей этой профессии.

Т. Манн писал далее в том же романе «Доктор Фаустус»: «Чего только не совершалось на наших глазах и не на наших глазах именем народа! Именем бога, именем человечества или права такое бы не совершилось». История нашей страны знает немало подтверждений этих выстраданных слов. Действия организованной толпы в те дни заставили меня вспомнить позабытое слово «чернь» и укрепили меня в мнении, что истинность убеждений не может проверяться их распространенностью, что убеждения масс часто бывают не только досадными заблуждениями, но и внушенными предубеждениями.

В заметке приведены слова Чаадаева: «Здравый смысл народа во все не есть здравый смысл... не в людской толпе рождаются истины».

Напомнив еще раз о своем разъяснении, какой смысл я вкладываю в этом случае в слово «народ», я хочу сказать следующее: эти слова относятся не только к документу «Возле закрытых дверей...», а ко всему, о чем здесь говорилось и за что меня судят.

Сознание своей невиновности, убежденность в своей правоте включают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен временем.

***Решением Ташкентского городского суда  
19 января 1970 года Илья Габай был приговорен  
к трем годам лишения свободы.***

**Примечания:**

<sup>1</sup> Материалы о суде над Ильей Габаем и Мустафой Джемилевым см. «Шесть дней» (Белая книга), Фонд Крым — Нью-Йорк, 1980 г.; Дина Каминская «Записки адвоката» изд. «Хроника», Нью-Йорк, 1984 г.

<sup>2</sup> Каминская Дина Исаковна (1919–2006) — адвокат Ильи Габая на Ташкентском процессе. Выступала защитником на многих политических процессах. Под угрозой ареста в 1977 г. эмигрировала в США. Автор книги «Записки адвоката» (1984). Член Хельсинской группы защиты прав человека. Работала на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки».

<sup>3</sup> В первый день суда И. Габай ходатайствовал, чтобы суд не позволил присутствовать в зале заседания подполковнику КГБ следователю Абушаеву.

<sup>4</sup> Здесь и далее выделено И. Габаем.

<sup>5</sup> Иван Яхимович, председатель одного из колхозов Латвии. За протест против суда Галанскова, Гинзбурга и др. был арестован и направлен на принуд. лечение в психиатрич. больницу, где пробыл с апреля 1970 г. до апреля 1971 г., см. «Хроника текущих событий No. 7».

<sup>6</sup> Орест Мальцев (1906–1972) — советский писатель, автор романа «Югославская трагедия», где искаженно изображена борьба югославских партизан. Роман был удостоен Сталинской премии за 1952 г.

<sup>7</sup> Мдивани Георгий Давидович (1905–1981) — типичный представитель социалистического реализма в драматургии и кино, прославлявший И. В. Сталина.

<sup>8</sup> Профессор Александр Николаевич Студитский (1908–1991) пропагандировал взгляды Т. Д. Лысенко, участвовал в разгроме генетики и ученых, работавших в этой области биологии в 40–50-е годы в СССР.

<sup>9</sup> Кукрыникисы — группа художников Куприянов (1903–1991), Крылов (1902–1990) и Соколов (1903–2000). Создавали шаржи и карикатуры в советских газетах и журналах, отражали и поддерживали официальную линию коммунистической партии Советского Союза.

<sup>10</sup> Грибачев Николай Матвеевич (1910–1992) — журналист, апологет советской политики.

<sup>11</sup> Елена Кононенко — журналистка, клеймившая в советской печати арестованных врачей как врагов народа (1952–1953).

<sup>12</sup> В суде И. Габай произнес: «А на скамье подсудимых — люди, которые не укладываются в традиционное «ура!».

<sup>13</sup> Илья цитирует строку из баллады нем. поэта Зейдлица «Воздушный корабль» в переводе М. Ю. Лермонтова:

«Из гроба тогда император,  
Очнувшись является вдруг;  
На нем треугольная шляпа  
И серый походный сюртук».

<sup>14</sup> Чуев Феликс Иванович (1941–1999) — апологет социалистического реализма и линии партии в советской литературе.

<sup>15</sup> «Реквием» — поэма А. А. Ахматовой.

<sup>16</sup> «Воронежские тетради» — сборник произведений О. Э. Мандельштама.

<sup>17</sup> Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) — эсер. Был выслан большевиками из советской России в 1922 г. Русский, американский социолог и культуролог.

<sup>18</sup> Соловейчик Симон Львович (1930–1996) — педагог, корреспондент журнала «Пионер» (1953 г.) и газеты «Комсомольская правда» (1960-е гг.).

<sup>19</sup> Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) — сов. писатель, автор «Конармии» и «Одесских рассказов». Арестован в 1939 г. по обвинению в антисоветской заговорщической деятельности. Расстрелян в январе 1940 г. Реабилитирован посмертно в 1954 г.

<sup>20</sup> Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) — великий композитор, чья музыка официально была объявлена «формалистской» и «антинародной» (1948 г.).

<sup>21</sup> Зоценко Михаил Михайлович (1894–1958) — сов. писатель-сатирик. Официальным «Постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 г. его произведения были объявлены «безыдейными, бессодержательными вещами с антисоветскими выпадами».

<sup>22</sup> Платонов Андрей Платонович (1899–1951) — русск. сов. писатель, поэт и драматург.

<sup>23</sup> Ив. Катаев (1902–1937) — русск. писатель, один из создателей «Литер. газеты». Расстрелян в 1937 г., реабилитирован в 1957 г.

<sup>24</sup> Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) — живописец-символист, график, театральный художник, теоретик искусства, педагог.

<sup>25</sup> Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958) — российский живописец-авангардист. Входил в сообщество «Бубновый валет». В 40-е годы был обвинен в формализме.

<sup>26</sup> Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958) — русск. поэт, переводчик. Арестован в 1938 за «антисоветскую пропаганду». Несмотря на попытки, отказался оклеветать других (Н. Тихонова и Б. Корнилова). В лагерях переводит «Слово о полку Игореве» на современный русский язык.

<sup>27</sup> Булгаков Михаил Афанасьевич (1911–1940) — русский советский прозаик, драматург. Автор «Белой гвардии» и «Мастера и Маргариты». Многие годы его работы замалчивали и не печатали.

<sup>28</sup> Имеются в виду Семчастный Владимир Ефимович (1924–2001) в бытность его Первым секретарем ЦК ВЛКСМ и его речь 29 октября 1958 г. на пленуме ЦК ВЛКСМ, где он, в частности, сказал: «А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического... Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай». На следующий день эта речь была опубликована в газете «Комсомольская правда». Глава КГБ (1961–1966).

<sup>29</sup> Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — русский поэт, переводчик, прозаик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1958 г.). Автор романа «Доктор Живаго». Был подвергнут травле за написание этого романа и публикацию его за границей. Один из лучших переводчиков Уильяма Шекспира на русский язык.

<sup>30</sup> Имеется в виду Н. С. Хрущев, который во время посещения выставки художников-авангардистов 1-го дек. 1962 г. непечатными словами характеризовал некоторые картины, заявив, что такая живопись не нужна советскому народу, и приказал запретить выставки.

<sup>31</sup> «Тащить и не пущать» — слова будочника Мымрецова из рассказа Глеба Успенского (1843–1902) «Будка» (1868 г.).

<sup>32</sup> «Сталин и Ворошилов в Кремле» (1938 г.) — картина А. М. Герасимова (1881–1963), любимого художника И. В. Сталина и личного друга К. Е. Ворошилова. Герасимов был наиболее «придворным» художником «социалистического реализма» советской эпохи. Писал портреты государственных и политических деятелей СССР.

<sup>33</sup> XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза (17–31 октября 1961 г.) продолжил начатое развенчание культа личности Сталина.

<sup>34</sup> В суде было произнесено: «...я перестану уважать себя».

<sup>35</sup> Персонаж повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

<sup>36</sup> Было произнесено: «...когда такие слова произносит... советский общественный деятель — это пропаганда нацизма».

<sup>37</sup> НКВД — Народный Комиссариат Внутренних Дел, предшественник КГБ.

<sup>38</sup> Павленко Петр Андреевич (1899–1951) — советский писатель, апологет партийной линии и сталинизма в литературе и искусстве. Автор militarистской повести «На Востоке», «культовых» киносценариев «На границе», «Яков Свердлов», «Падение Берлина». Сотрудничал с органами безопасности и присутствовал на допросах писателей.

<sup>39</sup> Первенцев Аркадий Алексеевич (1905–1981) — советский прозаик; изображал крымских татар как изменников, сотрудничавших с нацистами. Автор романа «Честь смолоду».

<sup>40</sup> События в Чирчике (город на севере Узбекистана) 21 апреля 1968 г. Имеются в виду массовые аресты крымских татар (более 300 чел.), отмечавших свой национальный праздник «Дервиза» и день рождения В. И. Ленина, по чьей инициативе была создана Крымско-татарская автономная республика. Прокурор Бочаров, обвинитель на процессе Габая и Джемилева, присутствовал при этом событии; по некоторым свидетельствам — руководил операцией, в которой отмечены избиения

и обливание из пожарных машин химическим раствором участников праздника, в большинстве женщин и детей.

<sup>41</sup> Перечисленные документы инкриминировались Илье Габаю как клеветнические.

<sup>42</sup> Трайчо Костов (1897–1949) — болгарский политический деятель. Работник Коминтерна. Арестован в 1949 г. и обвинен в антисоветской деятельности. Казнен после пыток.

<sup>43</sup> Ласло Райк (1909–1949) — венгерский коммунист. Арестован в результате ложного обвинения. Казнен. Реабилитирован в 1955 г.

<sup>44</sup> Рудольф Сланский (1901–1952) — чешский и словацкий полит. и партийный деятель. При московской поддержке был арестован по обвинению в свержении правительства, реставрации капитализма и сионистских связях за рубежом. («Дело Сланского»). Был казнен в Праге.

<sup>45</sup> Единственный экземпляр этой статьи был изъят при обыске в квартире И. Габая и до сего времени находится в его «деле» в КГБ.

<sup>46</sup> Оговорка, читай: 7.

# Кемерово–Москва–Кемерово

переписка с близкими и друзьями



## В.С. АГРИКОЛЯНСКИЙ<sup>1</sup>

14/XII–71

Москва

Дорогой мой!

Пишу коротко, дабы сообщить о новом адресе (не подумай, что дали новую квартиру).

(...) С Галей<sup>2</sup> толковал по телефону. Я, грешным делом, боялся, что тебя рассердит мое письмо своими умствованиями по касательной. Рад, что не так. И рад, что книги по душе. Что прислать в следующий раз? Черкни.

Прости, что пишу коротко: у нас дома лазарет.

(...) хожу, держась за стенки. Болезнью пользуюсь, дабы полистать кое-что из ранее отложенного. «Аэропорт» Хейли в «Ин. л-ре», который сейчас в Москве моден, по-моему, посредственная беллетристика. А Ремарк — «Тени в раю» (там же) все-таки трогает. Хотя и это беллетристика и совсем не первоклассная. В нем есть что-то завораживающее, что не сразу и объяснишь.

Я пишу тебе под аккомпанемент моей младшей дочери, которая читает вслух стихи Олейникова о таракане (к ужасу бабушки, которая боится, что она прочтет их на Новый год):

*«Его косточки сухие  
Будет дождик поливать.  
Его глазки голубые  
Будет курица клевать».*

Очень шустрые растут дочери.

С Леной<sup>3</sup> вижусь время от времени. Она во всю читает Ауэрбаха<sup>4</sup> и, кажется, думает об аспирантуре всерьез.

Прости еще раз за сумбур. Напишу к Новому году. От Оли<sup>5</sup> поклон.

*Валерий.*

Р. S. Видел Вл. напарника по «Лит. Газете». «О злодеях — говорит — материалы собираю». — «О дэмонах», — попробовал уточнить я. — «Нет, нет, — просто о злодеях», — сказал он, улыбаясь своей медовой улыбкой.

1971 г. (Без конверта)

Дорогой мой!

Конечно, жаль письма, потерявшегося на каком-то почтовом перегоне. Но я рад, что твое молчание объяснилось столь просто. У меня все сложно и скорей нехорошо. Кое о чем тебе расскажет Галя, до других подробностей время придет в конце весны будущего года.

До прозаических кусков я так и не добрался и, наверное, виноват в этом сам, поскольку читаю очень мало и с трудом. В частности, «Иностранную литературу» — почти всю — откладываю про запас. После долгих поисков среди своих книг набрел на «Былое и думы» Герцена и читаю уже целый месяц по 10–15 стр.<sup>6</sup> И (нрзб) в день.

Попытаюсь воспроизвести некоторые свои размышления о тех отрывках,<sup>7</sup> которые дошли до меня.

Как и в прежних поэмах, сохраняется своего рода незамкнутость — в смысле возможности подключения новых кусков и открытая композиция. (Скорей не поэма, а цикл стихотворений.)

Прости за почерк. ...

Свободная композиция — едва ли твой недостаток, это скорей внутренняя потребность в повествовании, не связанном внешним сюжетом. Но одновременно ушли в (нрзб.), нагрузка на сквозную лирическую линию, а она затемнена (сознательно?), поэтому поэма и распадается на отдельные куски. Не знаю прозаических частей, но подозреваю, что общая картина не изменится.

Есть еще один момент, который способствует затрудненности восприятия: это невнятные биографические реалии, по поводу которых делаешь усилие для их разгадки, что не всегда получается. Впрочем, я не вполне уверен: нужно ли это делать (стремиться к разгадке). Работая в институте, я метался между двумя крайностями: то мучил студентиков творческой историей произведений, то требовал «чистого» анализа путем отсеечения всего (нрзб) материала. До сих пор этого вопроса я для себя не уяснил, а истина, наверное, где-нибудь посередине. Когда-то Б. И. Пуришев<sup>8</sup> похвалил меня за фразу в докладе: «Биография романтиков — тоже часть истории литературы». В случае с тобой вникания в реалии не может не происходить («Забудутся песни, останется доброе имя»). Поэтому в некоторых случаях, наверное, есть некоторая чрезмерность, когда контакт с текстом превращается в разгадку ребуса. И это не только мое ощущение. Юлик, забежав ко мне на день рождения, спросил меня о некоторых реалиях, ибо сомнения оказались и у него.

С первого раза отрывки у меня пошли сложно: знаешь, что мне помогло? То, что я все прочитал вслух (забрался я в академический

санаторий «Узкое», ходил вокруг пруда и читал в полный голос). Это и позволило выявить лирическую линию (прости за ужасную терминологию) и приглушить неясности, на которые натыкаешься при медленном чтении про себя. Твои мифологически-библейские аналогии при этом или прояснялись в какой-то степени общей тональностью или приглушались ею (в старых стихах, наталкиваясь на эти аналогии, я стеснялся тебе признаться в своей полуграмотности).

Тебя, м.б., сердят эти литературоведческие пассажи? Но они в какой-то мере необходимы. Подобно твоему сыну, я в последние годы ушел назад — к Пушкину, считаю его целую лирику лучшим, что есть в русской поэзии. Очень тяготею к простоте формы и ясности мысли.

Теперь о некоторых отрывках. Удивительно хороши полусны. Это, м.б., лучшее у тебя. По-моему, в них ты обретаешь ту пушкинскую полноту восприятия жизни, которая мне столь мила. Восточная тема (дитя, старушка, ослик, потом — арыки). Такая бездна тоски и любви! Или другой полусон — дачный. У меня ощущение, что все это было со мной, и если бы я был профессиональным плагиатором, то украл бы у тебя именно этот кусок.

Позволь еще раз утомить тебя отступлением общего характера. Мне кажется, в прежних стихах ты не всегда доверял живой жизни (повседневной). В этом смысле ты родственен Воскресенскому (разумеется, речь не идет о подражании, хотя в твоём отрывке: «Ты так горько плачешь» я вдруг услышал его интонацию). В чем же рабство? Повседневную, живую жизнь ты часто ассоциируешь с бытом, с мещанской устойчивостью. Ты бунтуешь против нее, расщепляя ее мыслью. Живая жизнь подчиняется мысли, стих становится несколько рационалистичным. Это опять-таки твоя особенность, но мне она мила в гармонии с каким-то минимумом конкретностей живой жизни (дитя! старушка! ослик!). Знаешь ли ты перекрасную статью Н. Я. Берковского,<sup>9</sup> которого я чту, и одного из лучших советских литературоведов. Берковский в статье об Ибсене приводит суждение о нем Чехова: «Слушайте... у него же нет пошлости. Нельзя писать такие пьесы». Берковский комментирует это так: «Может показаться, что Чехов шутит — Чехов требует от Ибсена пошлости. Мысли своей Чехов придал несколько вызывающую форму. Пошлостью Чехов, конечно, назвал обыкновенную жизнь в обыкновенном ее течении и обвинил Ибсена, что эта жизнь изъята из его драм. Конечно, пошлости, дела обыкновенной жизни, имеют свое место и в драмах Ибсена, однако тотчас погашаются и в художественном, и философском их осмыслении».

Не относится это в какой-то степени и к тебе? Нет ли избытка осмысления? Я столь назойливо говорю об этом, поскольку в некоторых полуснах (особенно в «Возвращении к полусну») я уловил ту гармонию пошлости жизни и ее осмысления, желание которой не моя прихоть,

а необходимость и неизбежность (еще раз перечитал воспоминание о даче, как хорошо! И финал: сакральный смысл ея (!!)).

Великолепен «Диккенс». Он, по-моему, родствен твоим ранним рассказам. Тем же непрощением унижающей доброты. Это целая повесть — глубокая психологически, умная, жесткая, удивительно емкая.

Раз уж речь зашла о литературных реминисценциях — то и о Беранже. Тоже одна из лучших главков, и концовка хороша. Кстати, концовки глав у тебя везде удачны. Это афоризмы высокой пробы. Они настолько отточены, что порой я думаю: не с них ли ты начинаешь писать отдельные части.

Главку о Чаадаеве я не понял. В том смысле насколько она соотносится с названием.

Что унываешь, душа моя? Это тоже удивительно и для меня очень лично. Мои сложности. — Не возмездие ли это за душевную надменность, к которой я был причастен какое-то время. Вообще я многое из своих сложностей воспринимаю, как возмездие, и это тот укус, которым я уже почти три года поливаю свои раны. Но это все отступление. Если вернуться к главке, то каждый раз, когда я дочитываю ее до конца, я начинаю плакать.

Видишь, какой сумбур. Я опять-таки больше о себе, чем о твоих «Выбранных местах». В них бездна интересного и важного: и о обретении участи и неверии в нелюдей. И если я к чему-то и придираюсь, то потому, что для меня все это слишком важно и значительно по-человечески, чтобы я отделался комплиментами.

Хотелось бы поговорить еще о многом, но котелок не варит...

...Но все-таки в заключение: перефразируя Достоевского — сегодняшнего любимца начальства, в очередной раз погубляемого — теперь в подписных истериках — все мы вышли из «Думы» Лермонтова. Тебе не кажется, что в «Выбр. местах» можно говорить о «Думе», как одном из отдаленных, но все же источниках (интонация, жанр и т. д.), м. б., я и не прав?

Кончаю. Не перечитываю, иначе не отошлю. Жаль письма, где обо всем говорилось много пространней и логичней.

В кухню, где пишу, вошла Оля. (...) Она тебе кланяется. Очередная глупость:<sup>10</sup> «В. И.! Что ты жуешь?» — «А я, П., не жую, я носки стираю».

*Обнимаю тебя. Валерий.*

**Примечания:**

<sup>1</sup> Агриколянский Валерий Сергеевич (ныне покойный) — институтский друг Ильи Габая.

<sup>2</sup> Галя — здесь и далее Галина Габай (если специально не оговорено), жена Ильи Габая.

<sup>3</sup> Если специально не оговорено, здесь и далее Лена — Гилярова Елена Николаевна, поэт, прозаик, член Союза писателей России, институтский друг И. Габая.

<sup>4</sup> Эрих Ауэрбах (1892–1957) — нем. филолог, историк романских литератур.

<sup>5</sup> Оля — жена В. Агриколянского.

<sup>6</sup> Сноска в письме сделана В. Агриколянским: Я буквально влюбился в Герцена; после него на очереди Бакунин (и вообще вся эпоха — моя, личная).

<sup>7</sup> Имеются в виду отрывки из поэмы И. Габая «Выбранные места...».

<sup>8</sup> Пуришев Борис Иванович (1903–1989) — профессор МГПИ им. Ленина. Преподавал курс зарубежной литературы.

<sup>9</sup> Берковский Наум Яковлевич (1901–1972) — выдающийся литературовед и критик, исследователь немецкого романтизма.

<sup>10</sup> «...очередная глупость...» — один из серии сатирических анекдотов о герое Гражданской войны, советском полководце Василии Ивановиче Чапаеве и его ординарце Петьке, весьма распространенных в 60–70-е годы в Советском Союзе.

## ПЕРЕПИСКА С СЫНОМ<sup>1</sup>

*(9/IX–1969 г., Ташкент  
следственный изолятор КГБ)*

Алеша!

Привет из командировки! Этот дворец<sup>2</sup> я подарю тебе, если ты будешь читать умные книги, гулять и учиться как можно лучше.

Будь здоровым, умным, веселым.

Поцелуй за меня маму, бабу, деду, бабу Балю и всех дядю и тетю, которые приходят к нам как друзья.

Старайся получить этот дворец.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*11 марта (1970 г.)*

Здравствуй, папа!

Как ты поживаешь?

Как ты живешь?

У меня по контрольной по математике пять с минусом! Не скучаешь ли ты? Вот я думаю!

Я был в театре «Сказки Пушкина»!

Я читаю «Мальша и Карлсона, который живет на крыше»<sup>3</sup>!

Алеша!

\* \* \*

*(31/III–1970 г. Ташкентская  
пересыльная тюрьма)*

Здравствуй, сынок!

Я тебя очень давно не видел, не слышал, не хвалил и не бранил, и скучаю по тебе очень сильно. Ты, наверно, сейчас очень большой и умный, говоришь только по-французски, так что к тебе и не подсту-

пись. А еще я тебе завидую, потому что у тебя есть библиотека, а у меня ее сейчас нет. Только Мое Величество обеспокоено, что ты мало читаешь из этой библиотеки, и это, как сказал Хоттаб Старикыч<sup>4</sup>, — «Бисмилла шурум-бурум». Тебе, наверно, интересно учиться? Вот я тебя и прошу: учись, соображай, думай, а еще гуляй и читай, и тогда я очень скоро приеду. И еще я тебя прошу: передай привет Мите Дикову, Галочке Зиман, Машеньке и другим серьезным и мудрым человекам.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*30 июня (1970 г. Москва)*

Здравствуй, папа!

Ты угадал не все! Я знаю только одно французское слово «av revire», потому что мы начинаем учить французский язык со второго класса, так что ко мне подступись. Читать я стал много.

Я тебя очень люблю. До свидания.

Алеша Габай Ильич.

\* \* \*

*(18/VIII–1970 г., Кемерово)*

Приветик, сынок!

Сейчас я могу писать письма и получать их. Поэтому садись-ка, братец, за стол и пиши мне все о себе.

Скоро новый учебный год — я тебя с ним поздравляю. Очень был бы рад, если бы ты хорошо учился бы во втором классе. Много знать — это совсем неплохо. И хорошо бы резвился. Пиши мне обо всем, что у тебя происходит, какие ты прочел книги, с кем поссорился и с кем собираешься поссориться. Ну а я тебе буду отвечать. И еще. Неплохо бы тебе научиться защищать себя. Ты молодец, что не любишь обижать ребят. Обижать — это гадко. Но и себя постарайся не давать в обиду.

Передай привет твоему другу Митьке и скажи ему, чтобы он сказал своей маме, чтобы она сказала папе, чтобы он написал мне немедленно письмо. Будь веселым и счастливым и не ешь компот из сливы.

Крепко целую тебя, Алешка.

Папа.

\* \* \*

27 августа (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Ты не знаешь у меня новые пластинки «Бременские музыканты», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Слоненок-турист», «Приключения Буратино», «Малыш и Карлсон», «Приключения Нулика», «Сказка об учтивом Разбойнике» и другие. «Мэри Поппинс», «Золотой ключик». Такие я прочитал книжки. Отравил Сальери ли Моцарта? Как ты думаешь?

До свидания.

Алеша.

\* \* \*

(3/IX–1970 г., Кемерово)

Дорогой мой Алешка!

Наконец-то ты мне, сынок, написал письмо. Молодец, что ты прочитал так много книг. Только все ли они интересные, вот этого я не знаю. Я ведь не все читал. Поэтому ты мне их понемногу рассказывай, ладно? Скажи, пожалуйста, у тебя «Мэри Поппинс» с картинками? Я когда-то видел мультфильм, его ставил и рисовал Дисней. По-моему, ты его знаешь немного? Нет ли в твоей книжке его рисунков?

Мама пишет, что ты увлекся балетом. Это очень хорошо. А я вот, когда ходил на балет, так только послушать музыку. В танцах я ничего не понимаю. Так что ты мне разъясни, что такое «па» и кто такие «пуанты»? Домашние животные, что ли? Ходишь ли ты на выставки? Что тебе нравится? А футбол совсем не мешает любить театр. Только и то и другое должно быть красивым. Но я тоже театр, пожалуй, люблю немного сильнее.

А что касается того, убил ли Сальери Моцарта, — этого никто точно не знает. Я бы очень хотел, чтобы нет. Потому что музыканты должны писать музыку, а не убивать хороших композиторов. И даже плохих тоже убивать все-таки не следует. Но Пушкин все равно написал очень красиво. Как ты думаешь?

Пиши мне чаще и, если можно, чище. Привет всем, всем, всем — и большим и детям.

Целую тебя.

Твой папа.

8 сентября (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Книжки все очень интересные. «Мэри Поппинс» с картинками но не с цветными. Диснея я знаю в одной книжке «Пиноккио». А нарисовал ли он «Мэри Поппинс» я не знаю и посмотреть не могу, поскольку это не моя книжка. Ни «па» ни «пуанты» никакие это не домашние животные, «па» — это движение в танце, пуанты — розовые туфли женщин.

До свидания А. И. Г.

\* \* \*

13 сентября (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Сегодня я слушал интересную музыку Рахманинова. Скажи, пожалуйста, когда ты приедешь?

Мы и так редко видимся.

В мультфильме «Маугли» один из волков сказал, что человек должен идти в свою стаю. Волшебники есть ли на самом деле?

До свидания. Алеша.

\* \* \*

(20/IX–1970 г., Кемерово)

Дорогой Алеша!

Я так рад получать от тебя письма, сынок, что стыдно тебе будет, если ты будешь лениться. Какую музыку Рахманинова ты слушал? Я очень люблю этого композитора.

Волшебники, кажется, правда, куда-то исчезают со временем, но ничего хорошего в том, что они исчезают, нет. Так что ты не торопись не верить в них, так я тебе советую.

Мама пишет, что тебя выбрали в начальники. Надеюсь, что ты не важничаешь?

Приеду я, Алеша, еще не скоро. Постарайся, чтобы маме было с тобой легко и весело. А когда я приеду, я буду тебе хорошим отцом и то-

варищем. Привет деду, бабушке, Миче, Томочке, Златке и всем твоим друзьям.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

20 сентября (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Я написал тебе песню и сейчас пишу письмо. Как ты чувствуешь себя? Хорошо ли ты живешь? Скоро ли ты приедешь. Я тебя всегда вижу, так так у нас в комнате твой портрет. А ты меня?

До свидания. Алексей Ильич Габай.

*Я на солнышке лежу  
я на солнышко гляжу  
все лежу и лежу  
и на солнышко гляжу.  
Носорог рог рог идет.  
Крокодил дил дил плывет.  
Только я все лежу  
и на солнышко гляжу.  
Рядом львенок сидит.  
И ушами шевелит,  
только я все лежу  
и на львенка не гляжу.*

Песня. Из сказки про Африку.

\* \* \*

(23/IX–1970 г., Кемерово)

Алешка!

Мама пишет, что ты «Анфан терибль», и я с ней согласен, потому что от тебя нет писем.

Тоже нашел причину — уроки! Ты и уроки изволь делать, и письма мне писать. И письма мне писать, и уроки делать. И старательно. Только при этом не высывай языка, как делают некоторые взрослые, когда бреются.

Я ни одной книжки, которые ты мне назвал, не читал: такой я не-образованный. Так что ты мне не только называй, но и рассказывай.

Вытащи маму или деда в Третьяковку, в музей восточных культур, к грекам и египтянам в музей им. Пушкина — и напиши, что тебе нравится. То же, что мне, или наоборот.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*25 сентября (1970 г., Москва)*

Здравствуй, папа.

Что за штука «морская балесн»? Перестань быть не дома. Если ты не получишь это письмо. Я умру. Смотри, привези его назад. И побыстрее, мне уже надоело жить без тебя. И когда ты, наконец, приедешь? Но все-таки вы с мамой неправы, я вовсе не анфан терибль, я анфан Тибул. Все. Я устал.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

*(28/IX–1970 г., Кемерово)*

Приветик, Алешка!

Ты молодец, что пишешь мне письма. Только хорошо бы, если бы ты писал их поподробнее. С кем ты дружишь? Мама пишет, что тебя любят нянечки в школе; это меня радует, значит, ты неплохой человек. Но я хотел бы, чтобы у тебя было много хороших товарищей, потому что, по-моему, самое главное — хорошие товарищи и хорошие книги. Про «па» и «пуанты» ты мне все очень здорово разобъяснил, я это на всю жизнь запомню. Спасибо. А теперь вот я не понимаю, что это за собака Питер? Разъясни мне, будь добр.

Все картины не могут нравиться, потому что бывают и плохие. Это ты не очень подумал, когда писал.

Получаешь ли ты какие-нибудь журналы? Как живут Митька, Жека, Машенька, Антошка, видишь ли ты их?

Жду твоих писем и целую тебя.

Папа.

(29/IX–1970 г., Кемерово)

Дорогой Алешка!

Мама пишет про тебя очень приятные вещи. Я надеюсь, что ты скоро совсем переберешься за мой стол. И письма у тебя все лучше и лучше. Я подумал сперва, что песню про носорога и крокодила ты сам придумал и очень обрадовался. Но песня все равно хорошая, и я рад, что она тебе нравится.

Ты не очень скучай по мне. Помнить — помни, а скучать не надо: у тебя много интересного, нового — и людей, и книжек. Жду твоего описания японских кукол и всяких твоих писем.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

30/IX–1970 г., Москва)

*Тише, тише!  
Кот на крыше!  
Чем он занят?  
Ловит мышек!  
Хочет он их поймать,  
пострашнее испугать!*

Эти стихи я сейчас сочинил, потому что я твой наследник. Сегодня я получил сардель-терьеровую дочку и назвал ее Аффой<sup>5</sup> Питеровой Габай, подарил мне ее Сергей Александрович Семека. Она уже пила молоко и сейчас греется около батареи. Я ее не боюсь и играл с ней. Теперь у меня и сестра и щенок.

Твоя шутка «разобъяснил» так меня развеселила, что я упал в обморок от смеху. Вчера я сажал тополь, ходил в магазин и убирал посуду. До свидания.

Алеша.

\* \* \*

2 октября (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Питер, это собака, которую ты называешь «сардель-терьер». Рахманинова я слушал адажио из Второго концерта для фортепьяно с оркестром. И, кроме того, я ходил на фильм «Чайковский».

В какой книге говорится о пиратах?

До свидания. Алеша.

\* \* \*

(2/X-1970 г., Кемерово)

Сынок!

Чего это ты так грустишь? Я, правда, приеду еще не очень скоро, но все равно грустить не надо. Учись, читай, дружи — и время пройдет быстро.

Я очень рад, что ты — хороший товарищ, не забываешь товарищей, когда они болеют. Здоровы ли сейчас Жека и Антошка? А в библиотеке надо брать книги, которых нет дома, иначе какой же смысл записываться в библиотеку, верно? Морская болезнь — это, по-моему, когда неважнецки себя чувствуешь на пароходе. Только и всего.

Я очень хочу, чтобы ты все время занимался за моим столом. Постарайся, ладно? Мне тогда будет легче жить далеко от тебя. И не огорчай маму, ей сейчас очень трудно.

А Тибул мне тоже нравится. Значит, тебе надо постараться и стать смелым и совсем справедливым.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

6 октября (1970 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Сегодня я был в музее, но японских кукол я не видел. Не видел потому, что зал, где японские куклы, был закрыт. Больше всего мне понравилось то, что было из слоновой кости. Еще я видел индийского бога Шиву, который танцевал, и у него шесть рук. Антошка здоров, а Жека вышел из больницы.

До свидания. Алеша.

(2/X–1970 г., Кемерово)

Здравствуй, Алешка!

Прилечу я еще очень не скоро, потому что я не волшебник, а только учусь. Но когда-нибудь я обязательно прилечу, и нам будет очень весело. Вот только я еще не знаю французского и потому боюсь, что ты меня заговоришь. Ты меня жди, а пока учись, читай, дружи с интересными ребятами, вообще будь хорошим товарищем. И почаще пиши мне обо всем.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

(9/X–1970 г., Кемерово)

Здравствуй, Алешка!

Вот теперь я понимаю, кто это такой — Питер. И сразу мне стало немного грустно, как только я понял. Любишь ли ты теперь настоящих, а не только нарисованных собак? Давай, когда я приеду, мы заведем еще раз щенка. Только — ладно? — будем оба теперь внимательно следить за ним.

2-й концерт Рахманинова я хорошо помню. Хочешь, напою тебе начало?

Трам — татам-та-там-та-та-там.

Тара — та-та-там-та-там-та-та-там

А вот о книгах о пиратах я тебе совсем ничего не могу сказать, так как совсем забыл детские книжки. Только помню «Остров сокровищ» и песню «Бригантина», и дяди Юлика:<sup>6</sup> «На синем океане...» и «По бущующим морям». Вот к дяде Юлику или к Марату<sup>7</sup> ты и обратись.

Мама пишет, что ты по-прежнему дружишь с дедом и бабушкой. Я этому очень рад и передай им от меня большой привет. Часто ли ты занимаешься за моим столом? Жду твоих писем и крепко целую тебя.

Папа.

\* \* \*

*(20/X–1970 г., Кемерово)*

Привет, Алешка!

Сначала я подумал, что стихи не твои, но с третьей строчки я понял, что твои. Скажи маме: пусть отправит их в журнал. Он называется «Вестник мышеводства».

Я очень рад, что ты получил такой хороший подарок, как Аффю. Только смотри: это живое существо, с ним надо обращаться бережно и ничего не забывать. И про тополь ты мне все правильно разъяснил. Буду ждать фотографии, где ты и Аффа сняты возле тополя.

Ну, учись и воспитывай Аффю.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*(22/X–1970 г., Кемерово)*

Алеша!

Где твои письма? Еще немного, и я рассвирепею. Тигра все любит. Он только не любит, когда ему не пишут собственные дети.

Как поживает пират Барматур эль Доска Лалейра-Чичера? Взял ли он на бордаж судно голладца Вана Ваана? И если да, сколько там было рома? И ромовых баб? И ромовых дедов?

Жду подробного письма обо всем этом.

Целую тебя. Твой папа (римский).

\* \* \*

*29 октября (1970 г., Москва)*

Сочинение

#### ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА

В воскресенье я ходил с Машей гулять. И с Аффой тоже. Мы играли роли танкистов. Аффа — собаку. И еще с нами были два мальчика, вот почему нас было четверо танкиста, а не двое. Причем я споткнулся два раза. Мы все время бегали. Даже волка видели. Это все было за нашим

домом. Дети очень удивились, когда увидели волка, откуда же в Москве волк? И потом пошли домой.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

(2/XI–1970 г., Москва)

Салют, Алеша!

Редко ты мне пишешь, но я неправ, когда тебя ругаю. Я все забываю, что ты человек занятый: и школа, и музей, и Аффа.

Я хотел бы, чтобы ты очень заботился о щенке. Это живое существо, и без человеческой помощи оно беспомощно. Когда она вырастет, ты сам почувствуешь, как хорошо делал, что не жалел для нее ни времени, ни забот. Вот так-то, Алексей Ильич.

Вообще, если хочешь знать, самое главное — быть кому-нибудь очень нужным: пусть это будет пока щенок, с которым ты меня через полтора года познакомишь.

А про японские куклы ты мне напиши подробно. Я весь сам их в глаза не видел — такое безобразие.

Привет всем твоим друзьям.

Учись, умней, добрей. Целую тебя.

Pará (по-французски).

\* \* \*

(2/XI–1970 г., Москва)

Приветик, папа.

Вчера в концерте я слушал музыку, 1-й концерт для фортепьяно с оркестром Шопена и неоконченную симфонию Шуберта. Приезжай быстрее, чтобы я не беспокоился о тебе. Мне очень нравится ходить в концерт: и в Октябрьский зал Дома Союзов, и в Большой зал консерватории, и в Гнесинский зал. А какая музыка мне нравится, я не знаю сам. А еще до концерта я был у тети Лены Себеки. А все-таки мне нравится «Петя и волк» С. С. Прокофьева.

Счастливо, благодарю за суп отменный.<sup>8</sup>

А. И. Габай

\* \* \*

(11/XI–1970 г., Кемерово)

Алешка!

Ничего я о тебе очень давно не знаю. Ну и об Аффе поэтому ничего не знаю. И о новых детских книжках. Прочел ли ты уже «Серебряные коньки»? Я раньше, то есть когда не был таким большим, очень любил эту книгу, а сейчас ничегошеньки не помню. Хорошо, если бы ты мне напомнил.

Как ты кончил первую четверть?

И когда я тебе, человеку с улицы Бассейной, смогу подарить насом всем свой письменный стол?

Жду от тебя писем и верю, что ты живешь умно и весело.

Салютик и приветик.

Папа.

\* \* \*

(16/XI–1970 г., Кемерово)

Алешка!

Я приеду через полтора года. Ты будь мужчиной и ничего не придумывай, а терпи.

Я очень рад, что ты интересно проводишь время, слушаешь хорошую музыку, читаешь правильные книжки. Это поможет тебе подождать меня.

Ты, конечно, человек самостоятельный, но знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы ты был вот каким:

1. Начитанным; интересующимся; любопытным.
2. Чтобы у тебя было много товарищей.
3. Чтобы наш щенок любил тебя больше всех в доме.

Вот тогда я приеду — и нас с тобой водой не разольешь. Жди меня, а пока умней. Целую тебя.

Папа.

\* \* \*

22 ноября (1970 г., Москва)

Салют, рарá (по-французски).

Сейчас я нахожусь у бабушки с дедушкой рядом с ним, а дедушка заучивает наизусть книгу. А бабушка слушает радио. Да, я забыл тебе сообщить про то, что семнадцатого я был на выставке Нади Рушевой. И мне понравилось все, кроме Понтия Пилата и Марка Крысобоя. Больше всего мне понравилась картина про Амура и его стрелы. Которые он запускал и они обязательно попадали кому-нибудь в сердце. И мужчины начинали любить женщин. Или наоборот.

До свидания. Aleqsisse (по фр.)

\* \* \*

29/XI–1970 г., Кемерово)

Дорогой Алешка!

Спасибо за письмо и за подарок. Шоколад был очень вкусный — прямо не шоколад, а анчоусы. Когда-нибудь я тебе построю шоколадный дом, и ты сможешь есть крышу, стены, половицы.

Передай от меня большое спасибо всем моим и маминим друзьям. А собакешу скажи, что книгу не грызут, а читают. Пусть учится читать, если хочет иметь дело с книгами.

Я очень надеюсь, что во второй или в третьей четверти ты научишься петь, рисовать и ходить в ногу. А во всем остальном, как рассказывает мама, ты молодец, и мне очень даже приятно.

Расти большой и умный. Целую тебя.

Атá (по-турецки)

\* \* \*

(3/XII–1970 г., Кемерово)

Алеха!

Ты, наверно, получил уже мое письмо и написал мне уже 14 ответов? На меньшее я не согласен, учти это.

Знаешь, о чем я мечтаю? Вот о чем: приедет ко мне мама в марте и покажет табель за вторую четверть. А там будут такие отметки:

1. Русский язык –5
2. Прусский язык –5
3. Арифметика — 5
4. Кибернетика — 5
5. Пение –5
6. Терпение — 5
7. Корпение— 5
8. Швамбрания и синхрофазотрония — 5

Это возможно? Постарайся, а то я перевезу свой письменный стол в Кемерово, а Аффу отдам в колонию малолетних преступниц. Это я все шучу. Но ты все равно постарайся. Умней, но не задавайся. Целую тебя.

Фатер (по-немецки)

\* \* \*

*13 декабря (1970 г., Москва)*

Здравствуй, папа.

Сегодня в студеную зимнюю пору я был с мамой в театре и слушал концерт. Мне понравилось все, только в музыке я ничего не понимаю. Но слушать все равно люблю.

Почему я люблю, а не понимаю слушать — разобъясни. Однако сейчас я, догадайся, где нахожусь.

Счастливо. Алеша.

\* \* \*

*(20/XII–1970 г., Кемерово)*

Алешка!

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе быть:

- веселым;
- нужным всем или хотя бы очень многим;
- неплохим учеником и очень хорошим товарищем;
- собаколюбивым;
- не очень ленивым, то есть писать все-таки почаще единственному отцу, понимаешь!

Поздравь за меня с Новым годом и передай самые добрые пожелания бабушке, дедушке, Томе, Миче, Златке и вообще всем.

Если у тебя будет в этом году елка (надеюсь, что будет?!), я хотел бы, чтобы под ней стоял Дед Мороз с очками.

Арабатобанейро (по-риодежанейрски)

\* \* \*

*(22/XII-1970 г., Кемерово)*

Алеха!

Спасибо за программу и за то, что ты поделился со мной своими впечатлениями. Знаешь, у меня тоже почти всегда так бывает, что очень нравится музыка, а я не все понимаю. Это потому, что музыка требует серьезных знаний, а мы с тобой ведь совсем не учились ей. И все равно — надо ее почаще слушать. По-моему, сразу как-то живешь умнее и интереснее. Тебе тоже так кажется? Попроси маму, чтобы она тебе еще несколько раз поставила пластинку с Первым концертом Листа; она у нас есть.

Хотел бы я, чтобы ты не очень огорчал, сын, учительницу на уроках пения, рисования и физкультуры. Приложи все силы, ладно?

Я еще раз поздравляю тебя с Новым годом. А как ты проведешь каникулы, ты, по-моему, мне подробно напишешь.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*(3/I-1971 г., Кемерово)*

Алешка!

Ау! Я так кричу потому, что письма твои заблудились, и я их никак не могу найти. Потому что ты их не пишешь.

Ты, наверно, сейчас на какой-нибудь елке-палке, и тебе не до писем. А, может, ты увлекся пением и рисованием, а то и физкультурой?

Ладно, сейчас каникулы, поэтому я не сержусь. А после каникул напиши и пришли мне сочинение «Как я бездельничал в зимние каникулы и не писал отцу».

Как поживает нога нашего собакеши?  
Надеюсь, хорошо, как ты и все твои друзья.  
Жду твоих писем и крепко целую тебя.

Па-па! Па-па-па! Па-па-па!  
(это из Моцарта).

\* \* \*

*12 января (1971 г., Москва)*

Здравствуй, папа!

Седьмого января я был на вечере Блока. Как ты думаешь, Блок писал только стихи или писал что-нибудь другое? Когда ты ответишь, я тебе напишу, что я слушал, пока это еще тайна. Мне очень хотелось послушать «Незнакомку». Ходил я на вечер с Сереей и тетей Леной.

Прощай до встречи в новом письме.

Алеша.

\* \* \*

*(22/I-1970 г., Кемерово)*

Дорогой Алеша!

Я получил программу вечера Блока и очень рад, что ты слушал такие хорошие стихи. Писал ли Блок только стихи? Нет, конечно. Он еще писал статьи, рассказы, пьесы. Кроме того, я думаю, он писал в свое время диктанты, изложения, решения задач и обязательно письма родным. Так что если ты будешь писать хорошие стихи, то станешь вполне как Блок.

Алешка! Ты помнишь на вечере такие стихи:

«Доколе коршуну кружить?  
Доколе матери тужить?»

Сделай, мой дорогой, все для того, чтобы мать поменьше тужила. Это твоя обязанность, потому что ты дома единственный мужчина. Хо-

рошо бы, если б у тебя в школе было все в порядке — и вообще чем можешь, облегчай ей жизнь.

Когда я приеду, мы с тобой походим на вечера, концерты, в музеи — и поговорим.

А пока я жду встречи в новом письме и целую тебя.

Папа.

\* \* \*

*(9/II-1971 г., Кемерово)*

Алешка!

Я уже позабыл, какой у тебя почерк — так редко ты мне стал писать. Ленивым ты что-то стал к старости, батенька!

Как ты себя чувствуешь теперь в свои девять лет? Не тянет ли писать воспоминания? Разрешил ли ты вопрос: ногаўта все-таки или тэка?<sup>9</sup>

Я жду рассказа о твоём дне рождения, о твоей учебе и досуге. Не ленись, старик, пиши.

Крепко тебя целую. Папа.

\* \* \*

*14 февраля (1971 г., Москва)*

Приветик, папа.

Вчера на дне рождения у меня были Митя, Маша, Марат, Оля Рыбакова и Вася Павлов. Вчера мы играли в прятки. А сегодня я был в музее восточных культур. Там я видел картины, разные самоделия из слоновой кости, из серебра, из меди, из глины керамика. Мне запомнились и понравились две картины: картина Рождественского<sup>10</sup> «Азиатский чай» и Петрова-Водкина «Виноград и яблоко». И еще я видел японские куклы, их было очень много, больше всего мне понравились обезьяна и пантера. У меня есть новая книжка «Стихи Блока для детей». Мне нравятся стихи про розы. «Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом, еще трава полна прозрачных слез, и гром вдали гремит раскатом».

\* \* \*

*(17/II-1971 г. Кемерово)*

Алеша!

Где твои письма ?!?!?!!!!

Ты передай привет нашему щенку и скажи ему, что если я от тебя еще неделю не получу писем, я стану переписываться с ним, а тебе передавать приветы. Понял?

Как прошел твой день рождения, хотел бы я знать? Закусывал ли ты после каждой рюмки лимонада? Смотри!

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*(19/II-1971 г., Кемерово)*

Алешка!

Вот я и узнал от мамы, что твой день рождения прошел интересно и весело. Я очень рад этому. Только почему же не было Митьки Дикова, здоров ли он? Или вы теперь редко видите?

Мама написала мне, что ты дружишь с хорошим человеком — Васей Павловым. Я рад, что у тебя хорошие друзья. Ты береги их. И знаешь, как лучше всего это сделать? Во-первых, самому быть хорошим товарищем, а, во-вторых, — надо каждый день узнавать и придумывать что-нибудь интересное. То есть надо быть любопытным и много читать.

Передай привет всем твоим товарищам и Аффе.

Аффе скажи еще раз: если Алеша не будет мне писать, я затею скоро переписку с нею.

Целую тебя и жду твоих писем.

Папа.

\* \* \*

*22 февраля (1971 г., Кемерово)*

Здравствуй, Алешка!

Я получил, наконец, твое письмо, и очень оно хорошее, умное. Я рад, что ты так правильно, по-моему, растешь.

И еще я рад, что написал ты, а не Аффа: она еще маленькая, ей трудно так писать. Кроме того, признаться, я не все понимаю в собачьем языке.

Когда я приеду, ты меня поведешь в музей восточных культур, ладно? А то я уже мало что помню из него.

Мне тоже нравится стихотворение Блока о розе. Какие там еще есть стихи?

Знаешь, что я тебе посоветую? Скажи маме, чтобы она тебе сделала большую этажерку или несколько полок на стеллаже отдала тебе. И ты можешь потихоньку перетащить к себе некоторые общие книги, но только те, которые ты читаешь от начала до конца. И пластинки свои можешь туда поставить.

Мама пишет, что ты огорчен, что день рождения уже прошел и целый год его не будет. Но, ты знаешь, если бы каждый день были бы праздники, это было бы совсем невесело.

В том-то и дело, что люди веселятся нечасто, поэтому так хорошо бывает, если праздник удастся.

Как тебе учиться? Как тебе дружится? Я рад, что среди твоих гостей были и старые друзья — Митька, Марат и Машенька.

Ты, наверно, рад, что «Динамо» стало проигрывать в хоккее, а мне мою команду жалко. Ей все время не везет в этом году — и в футболе, и в хоккее, ты заметил?

Ты не жалеешь, что у нас нет телевизора? Не жалей. Иначе ты бы только и знал про хоккей, не был бы в музее и не читал Блока. То есть ты был бы гораздо менее интересным человеком.

Пока. Целую тебя. Папа

\* \* \*

(12/III–1971 г., Кемерово)

Алешка!

Мы с тобой уже лет сорок восемь не писали друг другу. Тебя же не застанешь дома, ты все где-то по больницам прохлаждаешься.

Как ты себя сейчас чувствуешь, отрок? Сильно ли отстал от школы? Догоняй, если так, бегом и вприпрыжку.

Мама пишет, что ты увлекаешься Пушкиным. Я очень рад этому, потому что всегда любил его — и в твоем возрасте, и в своем возрасте. Напиши, что тебе у него нравится и почему.

У тебя, кажется, скоро каникулы. Что ты собираешься делать? Смотреть чемпионат по хоккею у деда? По-моему, это хорошо, но мало. Тем более, что «Динамо» сошло с первого места.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*(1/IV–1971 г., Кемерово)*

Алеха!

Очень хорошо, что мы с тобой увиделись, даже вот так: бестолково немного. Ты мне очень понравился во время свидания. Я надеюсь, что ты и впредь будешь любить книги, задачки, пластинки, товарищей. Ну еще — движение, солнце, снег. Между прочим, все, что я перечислил, как раз так и называется: хорошая жизнь! А я только этого тебе и желаю, сынок: хорошей, умной жизни с друзьями, книгами и свободными движениями. Жду твоих писем. Ты ведь мастер их писать, так что не ленись.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*2 мая (1971 г., Москва)*

Здравствуй, папа.

Сейчас я читаю книгу под названием «Артемка»<sup>11</sup>, вторую часть «Артемка в цирке», пятую главу этой части «Рыболовы». О том, как негр Пепс, Артемка и Артемкин друг Костя пошли ловить бычков. А Пепс испугался, когда Артемка и Костя предложили это. Негр сказал: «Нельзя чужой бик жарить. Я не хочу тюрьма сидеть».

Артемка и Костя ответили хором: «Ты не понимаешь, наловим рыбу, принесем домой, пожарим и съедим».

Я узнал, что Сальери не отравил Моцарта, что Моцарт умер от нервной лихорадки.

До свидания. А. И. Г.

\* \* \*

3 мая 1971 г. (Кемерово)

Алешка! Г д е?! Т в о и??!  
П и с ь м а???!!!

Сыграем заочно в крестики-нолики.

Габай А.

	X	

Габай И.

\* \* \*

10 мая 1971 г. (Кемерово)

Алешка!

Я в детстве тоже читал про Артемку. И обе повести — про шкатулку и про цирк мне понравились, потому что они добрые.

Ты, наверно, все правильно узнал про Моцарта. Только Пушкин все равно умно и правильно придумал. Зачем он это сделал, ты узнаешь позже.

Мама пишет, что ты ленишься читать. Это жалко. Я уверен, что ты постарайся знать побольше и еще — будешь настоящим и верным товарищем.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

(19/VII–1971 г., Кемерово)

Здравствуй, папа.

Я тебе шлю эту открытку с бабочкой и васильками, купленную за 4 коп. 2 медными монетами по 2 копейки. Я гуляю по набережной

и смотрю купаются в реке и катаются на лодках. Еще раз до свидания, увидимся в марте.

Алеша. До свидания.

\* \* \*

*25 июля 1971 г. (Кемерово)*

Алешка!

Ты молодец, что приехал на свидание, что не очень скучал и что написал мне письма из «Томи». Нам осталось до встречи не так уж и много: осень, зима, весна. Думаю, нам с тобой будет весело и интересно. А ты пока постарайся так же — весело и интересно — жить. И почаще рассказывай мне о себе. Я буду ждать твоих писем; глядишь, и время пройдет быстрее.

Целую тебя крепко. Папа.

\* \* \*

*2 августа (1971 г., Москва)*

Здравствуй, папа.

Я нахожусь на почте и шлю тебе низкий поклон и желаю скоро приехать домой. Я только что приехал с дачи. Читаю «Приключения Гекльбери Финна». Остановился я на том, что Том Соьер уплыл на бревне, а Джо Гарпер и Гекльбери Финн отправились его искать и нашли на корабле морских разбойников, и все трое стали пиратами.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

*8 августа (1971 г., пл.43 км)*

Здравствуй, папа.

Сегодня стоит жаркая погода, и я ходил купаться. У меня есть одно желание, я хотел бы учиться в бассейне. Как ты на это смотришь? Можно мне ходить в бассейн или нельзя? Напиши мне об этом, когда получишь это письмо. Плавать я еще пока не умею, а нырять научился и поэтому желаю попасть в бассейн. Я прочитал вторую главу приключения Гекльбери Финна. В этой главе говорится про то, что Гек вернулся

домой от бога и подслушал разговор вдовы Дуглас и ее гостей, а потом ушел обратно к богу. Я живу на даче и гуляю.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

*(19/VIII–1971 г., Кемерово)*

Алешка!

Я получил твое письмо и очень рад, что ты собираешься заняться плаванием. Я сам плаваю не очень, но на воде держусь, так что в следующее лето посоревнуюсь.

Поздравляю тебя со скорым новым учебным годом. Надеюсь, тебе все будет в третьем классе интересно и весело.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

*(29/VIII–1971 г., Москва)*

Я, папа, был в театре и слушал «Маленькие трагедии» Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Все это было точка в точку, как и в книге; только в книге были слова Дон Гуана: «О, тяжело пожатье каменной его десницы», а в спектакле этих слов не было. То ли артист их забыл, то ли совсем не знал, то ли еще что-нибудь.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

*18 октября (1971 г., Москва)*

Здравствуй, папа.

Я получил твое письмо, и вот на какие вопросы я могу ответить. Вчера я ходил в концерт и слушал Брамса. Сегодня я слушал новую пластинку, но она мне не понравилась. Я прочитал «Тимура и его команду» и так как это книга не моя, я хочу, чтобы мама купила книгу не библиотечную, а настоящую.

Я записан в секцию по физкультуре, хожу на хореографию, вчера я смотрел картины и среди них больше всего мне понравился «Московский дворик» В. Д. Поленова<sup>12</sup>. С Васей мы еще на разлучились.

До свидания. Алеша.

P. S. Картины я смотрел в «Передвижниках». Это альбом.

\* \* \*

2 ноября (1971 г., Кемерово).

Алешка!

Я рад, что ты ходил на концерт и завидую тебе, как Сальери. Как тебе учится? Нравится ли? У вас же начались такие мудрые предметы, просто ужас.

«Настоящую» книгу Гайдара достанем, это не беда, не горюй.

Когда я приеду, мы с тобой по Оке съездим в Поленово, где жил художник. Это очень красивые места, и там есть его хорошая картина «Христос и грешница». Она есть еще в Русском музее, но это совсем далеко — в Ленинграде. Когда-нибудь мы и туда выберемся.

А пока я тебя целую и еще раз советую не горевать. Ни при каких обстоятельствах.

Папа.

\* \* \*

28 ноября (1971 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Сейчас я не могу поехать вместе с мамой к тебе и очень об этом жалею.

Но я считаю дни до мая месяца, когда мы встретимся с тобой дома. Для меня это будет великая радость. И до мая мы еще встретимся в марте. А сейчас обо мне не беспокойся, я не пропаду. Я сегодня ходил в концерт и слушал «Дон Жуана»<sup>13</sup>.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

14 декабря (1971 г., Кемерово)

Дорогой Алеша!

Знаешь, как я тебе завидую. Читаю программу, которую ты прислал, и завидую. Вспоминаю, что у тебя столько кружков — и тоже завидую: драмкружок, кружок по фото<sup>14</sup>, это тоже значит что-то.

Недавно я получил письмо от Мити Дикова и написал ему. Звоните ли друг другу по телефону? Он очень хороший человек, жалко, что вы так далеко живете сейчас друг от друга.

Митя<sup>15</sup> читает «Спартака», которого ты прислал. Он ему нравится. Летом, наверно, почитаешь ты сам.

Ты знаешь, я никогда не слышал музыки Шёнберга<sup>16</sup>. Ты меня переигнал. Ну как не завидовать?

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

20 декабря 1971 г. (Кемерово)

Алешка!

Поздравляю тебя с Новым годом. Я очень хочу поскорей тебя увидеть, сходить с тобой в музей, в театр, на концерты, подробно поговорить с тобой. Давай пожелаем друг другу, чтобы поскорей пришло это время, побыстрее наступил месяц май! Припаси к этому времени хорошее здоровье, бодрость, знания, ладно?

Крепко тебя целую. Папа.

\* \* \*

12 января (1972 г., Москва)

Папа, здравствуй.

30 я ходил в театр Станиславского на спектакль, который называется «Робин Гуд».

«Робин Гуд». Этот спектакль очень интересный. Начался он тем, что младшая дочь шерифа заблудилась, на нее напал медведь, и Робин Гуд ее спас. Кончается тем, что, обманув шерифа Натингамского, Робин Гуд спасает своего друга. Раньше я написать не мог. Мне прописывали очки.

До свидания. Алеша.

Сочинение.  
ученика 3 класса «Б» 18 спец. школы  
Габая Алексея.

(...)

РОБИН ГУД

В каникулы я ездил в театр Станиславского на спектакль «Робин Гуд». Робин Гуд был благородным разбойником, он грабил богатых, а их деньги отдавал бедным. Жил Робин Гуд в Англии в средние века. Был он смелый, резвый, шустрый, беспокойный, хитрый. Однажды Робин Гуд в одежде рыцаря Гая Инсборна приехал к шерифу Натингамскому и, обманув шерифа, освободил своего друга. Спектакль мне понравился.

\* \* \*

18 января (1972 г., Москва)

Здравствуй, папа.

15 я ходил к Митьке на день рождения и там познакомился с новыми друзьями. Этих детей зовут так:

Мальчики: Илюша, Андрей, Вова, Артемка.

Девочки: Маша, Ира, Даша, Оля.

Позавчера я ходил в консерваторию, в концерт. В концерте я слушал трех композиторов: Вилла-Лобоса, Де Фалью, Оннегера.

Вилла-Лобос родился и жил в Бразилии, отец Вилла-Лобоса хотел, чтобы Вилла-Лобос стал врачом, но Вилла-Лобос любил музыку и бежал из дома. Не учась музыке, стал композитором, так как имел огромный талант. Я слушал Бразильскую бахиану No. 2. Эта бахиана мне очень понравилась. После концерта я ездил к тете Лене, а затем к ее маме. Там я смотрел показательные выступления.

Чемпионы.

Женщины:

Марина Титова (СССР).

Мужчины:

Ондре Неппала (ЧССР).

Парное катание:

Ирина Роднина, Алексей Уланов (СССР)

Спортивные танцы:

Бук-Бук (ФРГ)

До свидания. Алеша.

\* \* \*

23 января (1972 г., Москва)

Здравствуй, папа

Я сегодня сочинил стихи, потому что прочитал книгу «Мастер и Маргарита». В этой книге рассказывается о поэте, о мастере, о королеве ведьм, о двух девушках, о трех дьяволах, об украденной из гроба голове, об Иешуа Га Ноцри и о коте Бегемоте.

Эта книга мне понравилась. А не понравились мне: Аркадий Семплеяров, Босой, Алоизий Могарыч, Лиходеев, Петрахов, Петрахова, Софья Павловна и другие.

А кончается книга тем, что Мастер и Королева ведьм сходят к дьяволу, чтобы днем гулять под вишнями, а вечером слушать музыку Шуберта. Понравились ли тебе мои стихи?

До свидания. Алеша.

Алексей Габай.

НА УЛИЦЕ САДОВОЙ...

На улице Садовой  
Есть дом 302-бис.  
А рядом с этим домом  
Театр был Варьете  
И в этом самом Варьете  
Работал Варенуха,  
И очень-очень много  
Он сделал для людей.  
Однажды появился  
С веселой свитой Воланд  
И черной магии сеанс  
Успешно бы провел,  
Если б не Жорж Бенгальский,  
Бенгальский безголовый,  
Который был конферансье.  
Но зрителям соврал,  
Что будет разоблачение  
Веселой черной магии,  
Которую составляли  
Фагот и кот Бегемот.

\* \* \*

24 января (1972 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Я вчера ходил в ЦДЛ слушать стихи Самойлова,<sup>16</sup> которые мне понравились. Новые стихи такие я запомнил:

«Конец Пугачева».

«Ночной сторож».

«Поэт и гражданин».

«Мост»

Есть и другие новые, но я их не запомнил. Остальные все, кроме трех. Я познакомился с Давидом Самойловым, и он меня пригласил к себе. Познакомила меня с ним Дина Саковна.<sup>17</sup> Я мечтаю отправиться летом со Златочкой и новой собакой в Америку.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

1 февраля (1972 г., Москва)

Здравствуй, папа.

30 я ходил в Октябрьский зал дома Союзов слушать концерт. В концерте я слушал сонату для скрипки и фортепьяно ля минор No. 1 и интермеццо Шумана, фантазию до мажор Шумана-Крейслера, фантазию Шёнберга<sup>11</sup>, сонату для скрипки и фортепьяно фа мажор Гайдна и сонату-пастораль и фугу Шнитке. Все эти произведения мне очень понравились. Сегодня я был в гостях у бабушки Васи Павлова, и мы там играли в письменную чепуху, в лото и играли в детском парке в войну. Я хотел отправиться к Лене Холоту, но я сегодня отложил это дело на послезавтра или лучше пригласить его к себе.

До свидания. Алеша.

\* \* \*

7 февраля (1972 г., Кемерово)

Дорогой мой Алешка!

На всякий случай еще раз поздравляю тебя с днем рождения и желаю быть счастливым и удачливым во всем хорошем, что ты задумаешь.

Я рад, что тебе нравятся стихи очень хорошего поэта Самойлова и что ты с ним познакомился. Если ты будешь у него в гостях, скажи ему, что я очень давно люблю его стихи и передай ему от меня пожелания творческих успехов.

Постарайся писать поаккуратнее, раз учительница требует. Почерк, конечно, — не самое главное, но писать так, чтобы тебя понимали, очень даже нужно в жизни. Не бери пример с моих недостатков.

Целую тебя. Папа.

\* \* \*

13 февраля (1972 г., Кемерово)

Дорогой мой Алеша!

Поздравляю тебя с десятилетием. Оно было для тебя очень интересным, а следующее будет вообще необыкновенно хорошим. Я тебе этого очень желаю, значит, оно так и будет.

Я очень рад, что ты читаешь хорошие книги, слушаешь хорошую музыку. Когда-нибудь (теперь уже недолго) мы будем это делать вместе.

В следующее десятилетие ты еще раз перечтешь Булгакова и многое поймешь совсем иначе. Ну, а стихи — это очень серьезная вещь, мы с тобой поговорим об этом не раз.

А пока я тебя крепко целую и очень жду встречи с тобой.

Папа.

\* \* \*

22 февраля (1972 г., Москва)

Здравствуй, папа.

Пишу тебе письмо. В воскресенье я был в цирке. Там был клоун Олег Попов. Потом там выступали собаки. Они учились. У них был урок ма-

тематики. Учитель вызывал к доске собаку, но она пряталась под парту. Потом учитель вызывал другого пса, и та собака, которая пряталась, неправильно подсказывала. Учитель спрашивал, кто подсказывает, и эта собака снова пряталась. Наконец, выступили 8 тигров, 4 льва и по 2 пантеры, леопарда и рыси. Вот какие номера я запомнил. Все представление называлось «Цирковые сувениры».

До свидания. Алеша.

\* \* \*

6 марта 1972 г. (Кемерово)

Алеша!

Мама передала мне, что ты ждешь от меня разбора твоего стихотворения. Давай, сынок, отложим все-таки до встречи этот разговор. Я только хочу сказать, что поэт должен быть искренним человеком, его должно многое волновать и трогать, он должен уметь сочувствовать, понимать других, любить красоту. Это далеко не всем дается в течение целой жизни; а ты еще все-таки малыш и еще не волшебник, а только учишься. Читай, слушай, смотри побольше, умей дружить и быть нужным многим людям — это должно помочь писать хорошие стихи.

Со следующего года у тебя будет много учителей. Учиться, наверно, будет труднее и интереснее. Вообще тебе предстоит еще много трудного и интересного; я бы даже завидовал тебе, если бы не радовался так сильно за тебя.

Посмотри в календаре, на какой футбольный матч мы пойдем в конце года.

Крепко тебя целую. Папа.

### Примечания:

<sup>1</sup> В письмах сына сохранено написание, сделанное ребенком в подлинниках.

<sup>2</sup> На обороте открытки — фотоснимок одного из самаркандских дворцов.

<sup>3</sup> Повесть шведской писательницы Астрид Лингрен (1907–2002).

<sup>4</sup> От «Старик Хоттабыч», название детской повести Лазаря Иосифовича Лагина (1903–1979).

<sup>5</sup> Аффа — собака Алешки, сына И. Габая.

<sup>6</sup> Имеется в виду Ю. Ч. Ким.

<sup>7</sup> Марат Ким (род. 1959) — художник-график, иллюстратор, племянник Ю. Ч. Кима, в то время одиннадцатилетний школьник. Один из многочисленных детей-друзей Ильи Габая. Ему принадлежит слово «габаяние», которое сразу же стало

ходовым среди друзей И. Габая. Делал художественное оформление сборника Ильи Габая «Посох», изд. «Прометей», Москва, 1990 г.

<sup>8</sup> Алешка цитирует строчку из записки Ильи, написанной мне еще до ареста.

<sup>9</sup> Игра слов.

<sup>10</sup> Родственник Василий Васильевич (1884–1963) — художник, один из основателей группы «Бубновый валет».

<sup>11</sup> Повесть детского писателя И.Д. Василенко (1895–1966).

<sup>12</sup> Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) — русский художник-передвижник.

<sup>13</sup> Опера В.А. Моцарта (1756–1791).

<sup>14</sup> Строчка из стихотворения «Болтуня» детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981).

<sup>15</sup> Солагерник, см. о нем в письмах к Г.Б. Федорову.

<sup>16</sup> Шенберг Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор, дирижер, педагог, музыковед, создатель «венской школы». В 1933 г. эмигрировал в США.

<sup>17</sup> Давид Самойлов (Кауфман Давид Самойлович) (1920–1990) — русский советский поэт. На этом вечере Самойлов со сцены читал свои стихи. В одном месте он вдруг запомнил следующую строчку. Алешка, любивший и знавший всего Самойлова наизусть, со своего места из зрительного зала продолжил чтение стихотворения. По-видимому, этот эпизод Давид Самойлов имел в виду в беседе с М.С. Харитоновым. (См. М.С. Харитонов, «Способ существования», изд. «Новое Литературное Обозрение», Москва, 1998 г., стр. 408).

<sup>18</sup> Дина Исааковна Каминская, друг Д. Самойлова и адвокат Ильи Габая, присутствовала на этом вечере. После выше изложенного эпизода она провела Алешку за кулисы и познакомила его с поэтом. Радости ребенка не было конца, особенно после того, как, позднее, Д. Самойлов подарил Алешке «для папы» сборник своих стихов с дарственной надписью. (У Алешки уже был «свой» идентичный сборник, подаренный ему ранее художником Сидуром).

## ИЗ ПИСЕМ ГАЛИНЕ ГАБАЙ

*(18 августа 1970–13 марта 1972)*

*кемеровский штемпель*

*18/VIII–70*

Добрый день!

Вот я и дома — после долгого путешествия по этапам. Не могу похвастаться изобилием путевых впечатлений, да и те немногие впечатления, которые осели в памяти, — несколько специфичны, для дам, а значит, и для тебя, моя дражайшая супруга Галя, не то, что не интересны, но инородны. Скажу только, что на этапах я постоянно терял обретенных приятелей-попутчиков и, тем не менее, книги довел благополучно. Остается только сохранить их — это довольно трудно; во всяком случае, риск увидеть вырванные страницы висит над моей душой как первородный грех. Отсутствие любви к книге едва ли врожденное качество; людей, которые рвут книги (скажем мягко — «на папильотки»), можно только пожалеть и пр., и пр. — но боюсь, что, если это случится, никакие евангелические правильности не спасут меня от удрученности. И всё-таки очень хорошо, что я мужественно довел весь этот неподъемный книжный груз: на месте выяснилось, что существует ряд ограничений, крайне огорчительных для меня. В первую очередь, это ограничение не только количества, но и состава бандеролей. Нельзя, оказывается, посылать книг, письменных принадлежностей и т. д. — их можно только выписать без ограничения через посылторг.

Ума не приложу — как можно через посылторг выписать хорошую книгу. Они же не дураки — посылать такие книги в провинцию, в глушь в Саратов. Впрочем, попробуй постарайся, а то я захирею, опущусь, оторвусь от духовной жизни и стану разводить парниковые огурцы на продажу.

Что тебе сказать о впечатлении от лагеря? Пока трудно что-нибудь путное сказать. Труд обычный; я всегда мечтал о физическом труде, и он есть у меня. Говоря серьезно, думаю, что втянусь, привыкну, скажется, может быть, школа Георгия Борисовича<sup>1</sup>, и тогда я с гордостью смогу сказать о себе: да ты сделал все по заветам твоего любимого стихотворения: «только тех, кто любит труд, октябрятами зовут». Надо еще оглядеться, осмотреться, освоиться. Попадаются и очень хорошие

ребята: начитанные, пишущие (как пишущие говорить не стану, — меня в суждениях тянет на вкусовые отталкивания, в основе которых — между нами и — увы! — конечно же, нескромность).

Очень удручает меня повальное отсутствие бескорыстия, попрошайничество просто из жадности и из тщеславия «сделать дело». Слава богу, у меня мало что есть; книг, наверно, не попросят. Да и не жаль совсем барахла — скверно видеть людей, которые кланчут *просто так*, без нужды.

Сейчас у нас карантин. Как долго он продлится — бог весть, но в это время ты не сможешь прислать мне бандероль (килограмм табаку) и, к глубокому моему огорчению, — приехать на свидание (с ним, говорят, — без этого очень острые проблемы). Как только можно будет, напишу.

Чтобы покончить с делами, скажу сразу о том, что меня волнует. Насколько я выяснил, подписка здесь по полугодиям и на год. Стало быть, где-то в ноябре я смогу подписаться на январь и дальше.

И здесь возникают некоторые материальные разговоры. Деньги, которые я получу из тюрьмы, придут нескоро, а когда придут, их рационально использовать на ларек. Не исключено, что я более или менее длительное время не смогу на него заработать. Если я потрачу деньги на подписку в счет заработка, то, скорей всего, не смогу вообще рассчитаться. Поэтому самое лучшее, если бы ты смогла прислать мне к концу октября определенную сумму на подписку и включить туда еще дополнительно рублей 12 на сапоги. Это сняло бы все проклятые вопросы. Незачем и предупреждать тебя, что речь о присылке денег может идти только в том случае, если это никак не скажется на вашем с Алешкой<sup>2</sup> житье-бытье.

Позвони в КГБ (в тюрьму), узнай, отослали ли они деньги по лагерному адресу: хотелось бы купить махорку по возможности скорее. Я сейчас на курительном пределе, и никто не может меня спасти от этого, кроме лефортовского начальства.

Еще соображение о моем бытье. Помимо статьи, которая, естественно, вызывает некоторую настороженность, я вывез из Ташкента 10 суток карцера с очень острой формулировкой. Это все усложняет мою жизнь, приходится нервничать из-за того, что вынужден быть осторожным, чтобы опять не поставили лыко в строку. Получить тюремную прибавку из-за комментария к тому или иному моему слову, мне неохота — оттого время от времени я нервничаю. Ну и все с этим.

Теперь о книгах. Я прочел все в журналах, которые были со мной. Очень понравились мне Морриак<sup>3</sup>, Айтматов<sup>4</sup>, (нрзб.) статьи в «Новом мире» и «Волях». Я сначала жадно схватился за славянофильскую дискуссию, но потом она осточертела. Все цитировали и цитировали, а — умри Денис! — лучше чем в «Не наших» у Герцена не скажешь. Вообще

«Былое и думы» — умнейшая книга; мне очень жаль, что я ее со школьных времен перечел только сейчас. Зато перечел с упоением.

Со славянофилами вообще, кажется, трудно не впасть в одну из крайностей: или политграмоту или в апологию всего русского. Уже есть примеры, как увлечение церквами почти исторгло из людской памяти существование, например, готики. Нечто подобное может случиться и сейчас. Станет пахнуть одной Русью, а такие запахи всегда не без последствий.

Ну это я всё между прочим.

А главное — я жду и жажду писем от всех. Напишу сейчас коротенькие письма Якирам<sup>5</sup>, Зиманам<sup>6</sup> и по всем присланным тобой адресам. Скажи всем, чтобы писали мне побыстрее: иначе обязательно начну разводиться парниковые огурцы. И пусть вкладывают в письма пустой конверт — иначе отвечать будет нечем.

Я жду от тебя рассказа о Володе Тельникове <sup>7</sup>. Может, есть что-нибудь утешительное?

Сердечный привет всем.

Целую Илья.

Алешке — особо.

\* \* \*

28/VIII-1970

(...) Пишу тебе второе письмо. Я уже восьмой день в зоне, немного огляделся — но ни тяжелее, ни легче не стало. Оказалось, что за время тюремных бдений я совершенно отвык от кино (там казалось, что я жадно кинусь на любое зрелище). Библиотека здесь бедная, на мой вкус — никакая. Книг, привезенных мною, должно хватить надолго (читаю я от силы часа два: спасает несправная жизнь).

(...) В предыдущем письме я наврал, что напишу по всем адресам, которые имею. У меня не хватило ни сил, ни фантазии: как-то трудно начать. Передай бога ради, всем, что я буду аккуратнейшим образом отвечать — пусть мне поскорее пишут. Без писем как-то грустновато, и, кажется, они в общем-то могут подвигнуть меня на какую-то работу. В черновики свои (тюремные) я еще так и не залез. А там, возможно, есть неплохие начала стихов. Боюсь, еще долго не сумею залезть — пока и читаю не без некоторого волевого усилия. Но читаю всё-таки регулярно: это прямо-таки род приятной епитимьи. (...) Напиши мне о делах Володи Тельникова, Дины Ис. Каминской — обо всем подробно.

кемеровск. штемпель  
28/VIII–70

(...) Кажется, у нас разрешили бандероли. Бога ради, пришли мне 1 кг табаку. Лучше всего в такой же пропорции, как ты мне, Галя, передавала в Лефортово<sup>8</sup>: «Руно» или (нрзб.) и «Моряк». Если позволит вес — пришли несколько конвертов, я на тебя расходую последний. (Когда-нибудь ты оценишь мою жертву). Или трубку, если она есть под рукой. Но чтоб вес был не более 1 кг. Вот и вертись.

Я явно тоскую из-за отсутствия писем, воображаю всякое и остро реагирую на всякую мелочь. Любая ссора (...) воспринимается мной как операция враждебного стана. Надо себя обуздывать, я и стараюсь: глушу себя текстами индийской философии (с радостью отметил в 1 томе имя Лены Семеки).

Первые «интеллигентные» знакомства меня несколько разочаровали (...) грустно отметить упомянутое мною ранее отсутствие бескорыстия.

Целую тебя, Галя, а Алешке особую эпистолу.

\* \* \*

2.9.70

(...)

1. Бандероли посылаются раз в 6 месяцев (две в год) весом до 1 кг. Книг туда вкладывать нельзя. Пошли мне сейчас 1 кг табаку (или немного меньше и трубку, у меня уцелела только одна — с Великим Инквизитором)<sup>9</sup>.

2. Книги через посылторг («Книга почтой») можно посылать неограниченно. Но трудность в том, что они посылаются наложенным платежом, то есть я должен иметь запас заработанных денег (что будет не скоро или совсем не будет). Я зашел по этому поводу к администрации, и мы пришли к такому компромиссу: если вам удастся наладить посылку через магазин книг, шлите ее так: п/я 1612/40<sup>10</sup>, зам. начальника подразделения по политическо-воспитательной работе (для Габая). Иначе такие посылки будут считаться очередной передачей.

\* \* \*

(13/X–70)

(...) У меня осталось буквально несколько конвертов. Предупреди всех, кого можно, чтобы они присылали мне по конвертику в письме.

Иначе (...) оборвётся переписка, а меня мысль об этом просто удручает.

\* \* \*

(15/X-70)

(...) Очень меня обрадовала телеграмма Федоровых<sup>11</sup> о премии дяди Исяя<sup>12</sup>. Надеюсь, скоро уточнится, что именно за премия. Если стоящая и будет возможность, поздравь его за меня.

\* \* \*

(20/X-70)

(...) Пишу через силу: хвораю. (...) Очень обрадовался щенку.... Художника, который рисовал говорящие камни, я, кажется, знаю. Видел его у Геры<sup>13</sup>. (...) К тому, что я тебя просил, прибавляю: трубка и *зажигалка-пистолет*. Последнее нужно не мне, но очень нужно, постарайся раздобыть и напиши, получилось ли.

(...) Лавка писателей — это грандиозная мысль. Там ведь есть всё, что угодно. Договорись, что ты будешь сама приходить по членскому билету Георгия Борисовича, и можно будет его не беспокоить.

\* \* \*

(22/X-70)

(...) Настроеньице у меня вполне сносное, вот только чирьи замутили: ветру хватает, ну я и запаршивел, как мимоза: шею не поверну.

\* \* \*

(30/X-70)

(...) Я вообще отношусь как к сказочному счастью к знакомству со своими друзьями. Несколько специфический, но всё же немалый опыт этих полутора лет подтвердил, что за пределами нашего микромира не существует не только культуры — обыкновенной доброты и порядочности во взаимоотношениях.

(2/XI–70)

(...) Что тебе посоветовать с «Горе от ума». Всякое сравнение с современностью бывает грубой натяжкой. Попробуй так что ли:

1. Реакция на героев «Горя от ума» через несколько десятилетий.

Возьми Щедрина. У него есть книга «В среде умеренности и аккуратности». Там главный герой — пореформенный Молчалин и очень зло печется о том, как с Чацкого слетело вольнодумие и он стал вполне благополучным мужем Софьи и другом Молчалина. Об этом можно (если выйдет) поспорить в классе, но, во всяком случае: это дает возможность для главного: книгу эту можно прочесть и увидеть по-разному.

2. Как подтверждение этого возьми постановки последних лет, — хотя бы Товстоногова<sup>14</sup> и Евг. Симонова<sup>15</sup>. Надо поднять «Театр», кроме того, Леня Зиман тебе в силах рассказать многое! Поспори.

3. А дальше — если ты примешь Товстоноговскую трактовку, можно взять какие-то параллели с книгами.

Чацкий — как уязвленный «без кожи» человек.

Молчалина и Репетилова обязательно, если получится — Скалозуба — и хватит, пожалуй.

С Чацким можешь взять современную зарубежную литературу — всех «сердитых»<sup>16</sup> — «Оглянись во гневе» Осборна<sup>17</sup>, например, благо это пьеса, ее можно быстро прочесть; кроме того, я порекомендовал бы тебе в этом плане «Над пропастью во ржи»<sup>18</sup> и «Глазами клоуна»<sup>19</sup> — вещи (нрзб.) в пересказе.

Ну а отриц. героев — поройся в последних книгах и в моралистических статьях «Комсомолки» и «Известий» — там столкнешься с соответствующими персонажами.

Методически это можно как-то оформить исходя из возможностей твоей школы, а в процессе работы у тебя, поди, появятся идеи. Поделись со мной планчиком.

Вообще делись со мной планами и пиши, не ленись. И всех побуждай к этому.

\* \* \*

(7/XI–70. Кем. штемпель)

(...) «Земляничную поляну»<sup>20</sup> посмотри непременно (впрочем, уже поздно советовать). Я смотрел два раза, и оба раза с упоением: так это меня глубоко захватила эта проблема — спасает ли наука, профессия от обязательностей повседневной человечности. А «Брода»<sup>21</sup> я никакого не видел и не слышал ничего, по-моему, о таком фильме. Придется и мне по приезде следить за рекламами «Повторного фильма».

(...) Сфотографируй Алешку и Аффу<sup>22</sup> на фоне книг и привези мне. Очень согреет это мое сердце — сын, книги и щенок: такой комплекс счастья. Не знаю, как там будет настроение по приезду, но мне кажется, что я недели две не выходил бы из дома, расставлял бы книги, гулял бы да читал. Много ли человеку надо? (...)

\* \* \*

9/XII-70

(...) Иметь своим соседом по койке А.К. Толстого<sup>23</sup> было бы неплохо. Я бы обязательно стал четвертым или пятым в Прутковском<sup>24</sup> сообществе. Кроме того, у нас приблизительно одинаковые взгляды на Иванов Грозных — по нашим временам — и на том спасибо, уже единомышленники.

(...) Со времени твоего отъезда я получил много писем, но от многих и не получил. Ленился стал народец. Юлик прислал мне письмецо Володи Гершуни<sup>25</sup> — человека чистого и святого. Куда ему писать, ума не приложу, так как обратного адреса у меня как раз и нету. Письмо его наполовину состоит из филиппик в известный адрес, наполовину — из перевертней, от всего этого повеяло домашним, чем-то от весны 1969 года.

\* \* \*

28/XII-70

(...) Письмо мое, это письмо, дойдет, конечно, только после нового года, но я не очень-то скорблю по этому поводу, потому что уже раз 200 поздравил и тебя, и твоего неразговорчивого сына, который упорно не пишет (хотя я и упрекал его за это и в этих же словах) своему единственному отцу (надеюсь!)

(...) Я здесь немножко повеселился на твой и мой, наш, стало быть, счет. Еще до свидания, когда я забеспокоился, было, насчет перебоев в письмах, один из моих товарищей проявил добрую инициативу: написал родным — узнайте, мол, живы там все и здоровы? Пришел ему такой ответ: написать-то мы написали, но уверены, что дома у твоего товарища (у меня, значит) все в порядке. Просто он, наверно, так же осточертел всем, как и ты (я, значит, осточертел) вот ему и не отвечают...

(...) Я сам убедился: *лучший* тон отстаивания своих убеждений — корректность, воспитанность. О сем предмете, впрочем, мы с тобой более или менее подробно говорили (на) рандеву. Парень твой, я по-

нимаю, назвал Лермонтова революционером из болтовни, для отписки. Но вообще-то, если не понимать слово это как тождественное функционеру, оно все-таки близко к истине. От Лермонтова ведь никак не отнимешь радикализма в неприятии, нетерпеливости, склонности к максималистским оценкам и требованиям. Но разговор этот особый. Жаль, что до тебя не дошли мои методические «указания» по философской лирике Пушкина. Поищи в конспектах. Может, я назвал как-нибудь иначе — «Тема жизни и смерти», например. Включи обязательно «Подражание Корану» и «Когда для смертного умолкнет шумный день».

У Блока не одна статья про Аполлона Григорьева<sup>26</sup>. Не знаю, о какой именно ты с таким восторгом пишешь. Впрочем, кажется, все хороши. С большим интересом прочитал привезенную тобой статью Бурсова<sup>27</sup> о Достоевском. Его оценка Мережковского<sup>28</sup>, Л. Шестова<sup>29</sup>, Бердяева<sup>30</sup> (их исследований по Толстому и Достоевскому), совпадает, в основном, с моей (может, и к моему стыду). А так вообще строгое суждение по этой статье невозможно, то есть я не готов к нему: оно требует все-таки особых — архивных — познаний. Кто поручится, что бурсовские обширные исследования эпистолярного творчества Д. не вырваны из контекста.

Статью о критиках Грибоедова посмотри тогда в первом издании Блока. Это, собственно не статья — университетская работа вроде курсовой. Я помню, что в том же томе интересная статья о заговорах и заклипаниях.

\* \* \*

3/1-71

Приветик, супруга, уже из нового года!

Ещё годик и ещё полгода — глядишь, и мы с тобой встретимся покапитальнее и на подольше, чем 28 ноября.

(...) Очень меня беспокоят ваши с Петей<sup>31</sup> отношения. Будь ты хоть здесь повзрослей и попокладистей. Если мое письмо к нему не дойдет, поздравь его от меня 20-го числа с днем рождения и передай, что я никак не меняюсь в своих отношениях с друзьями и хотел бы, чтобы между всеми нами не вставали нервотрёпные мелочи. Их и тут, как я тебе уже описывал, хватает, и с избытком.

(...) получил ряд писем, на которые уже ответил полностью, и две телеграммы от Якобсона<sup>32</sup> и Улановской<sup>33</sup> и от Зиманов. Вот только гораздо труднее прошлого я стал переносить всякие местные свары и недоразумения. Они-то и подпортили малость новогоднее настроение.

(...) я уже как-то устал от умных книг, привезённых с собой, и рассчитывал некоторое время читать подписку. Только когда-то появятся первые номера журналов — бог весть!

\* \* \*

17/I-71

(...) Письма вообще сейчас идут медленно. Здесь сплошные метели и заносы и невозможно, конечно, чтобы аэродромы принимали так нужные мне вести.

Я сейчас очень благодарен за хлопоты о моих товарищах, и совестно, разумеется, что я тебя и других наших юристов вовлекаю в них. Завязываю с этим на будущее. (...) Я думаю, что в будущем адвокаты будут тебя держать в курсе дела, ты будешь осведомлять заинтересованных лиц, а это ведь не очень обременительно, верно?

(...) Я тебя уже просил раньше и еще раз настоятельно прошу сейчас: не хлопочи по поводу моих глаз. Кроме двусмысленного и чрезвычайно неловкого для меня положения ничего из этого не выйдет, а ты ведь знаешь, как я чувствителен ко всяким таким испытаниям самолюбия.

Дочитал Дороша<sup>34</sup>. Из всего там написанного мне очень понравилась предисловная статья (о работе Веселовского; я знал её из «Новых миров») и начало самой последней, где речь идет о работах Рыбакова<sup>35</sup>, Лихачева. Очень мне захотелось прочитать сейчас «Поэтику древнерусской литературы» Лихачева<sup>36</sup>. Нельзя ли достать к марту. Вообще будет время, сообщи мне в феврале, что у нас есть из новинок, а я напишу, что из книг привезти. Возвращаясь к Дорошу, я хочу сказать, что поспешил в прошлом письме сказать о нем уничижительно. Дело, наверно, в том, что статьи о живописи, зодчестве и пр. нельзя читать не имея перед глазами хотя бы репродукции и фотографии. Тем более, статьи неспециалиста — восторг тогда кажется неестественным. А вот в этих статьях я почувствовал очень умного и эрудированного единомышленника; приятно. Еще у него есть заметка о «Самостоятельных людях» Лакснаса<sup>37</sup>. Читала ли ты этот роман? Если нет, почитай; у нас есть — роман гениальный, по-моему. Для меня он где-то в одном ряду с самыми великими житейскими книгами как: с Фолкнером<sup>38</sup>, с отрывком о зоопарке из романа о Костоглодове<sup>39</sup>, с эпизодами, где участвует мать из «Гроздьев гнева»<sup>40</sup> и т. д. (...)

\* \* \*

22/I-71 г.

(...) Смотри, старушка, держись, болеть тебе никак не пристало, и мне от этого (извини за эгоизм) очень худо. Вот я тебе и желаю, в проведении твоего дня рождения именно этого: здоровья и терпения.

(...) письма идут куда как медленно, так что я решил перестраховаться. Петю и Леонида Васильевича<sup>41</sup> я уже поздравил (...) Леня, между прочим, родился 25 февраля. Я вспоминаю, как мы с Владиком<sup>42</sup> ездили к нему в Парфеново, до этого на печи сочиняли «Зиманиану» — трогательное и теплое было то сибирское время, и люди были (и есть) теплые. Хорошо нам с тобой, старушенция, в таком обилии хороших людей (...) Болеть тебе нельзя сейчас; скоро март, ты по теплу поедешь на пару часов ко мне, потремся — и все будет очень даже неплохо.

\* \* \*

24/I-71 г.

Дорогая Галя!

Нынче понедельник, и я получил от тебя несколько писем. Спасибо тебе, друг мой, за неизменную заботу и хлопоты — без них мне было бы много хуже. Только мне хочется тебе еще и еще раз сказать (надеюсь окончательно): ты абсолютно не вправе казниться; больше того, ни ты, ни кто другой не вправе были меня удерживать от чего-то — я поступал находясь в здравом уме и памяти. От самого главного — от вынужденности трудного общежития — ты меня освободить никак не можешь, а всё остальное ты сильно преувеличиваешь. Поэтому теперь уже слёзно прошу тебя перестать хлопотать на мой счёт...

(...) Легче было бы, если б имелись серьезные бытовые возможности. Для того, чтобы написать сейчас свою длинную графоманскую штуку, я пошел на некоторые изменения в своем режиме жизни.

(...) Очень меня удручает, что книги портятся. Из-за полного отсутствия места мешок с книгами валяется на сыром полу, выглядит, как мешок старьевщика, обложки и страницы намокают. А отказаться от новых книг — это поставить на себе крест.

(...) Я не музыковед, и мне трудно что-то сказать, но Вагнера<sup>43</sup> я люблю. Как раз «Полет Валькирий»<sup>44</sup>. То что фашисты не любили Гейне<sup>45</sup> или Мендельсона<sup>46</sup> (не только потому, что они евреи), конечно, много говорит об этих людях, но вряд ли порочит Гете<sup>47</sup>, Бетховена<sup>48</sup> или того же Вагнера пристрастие к нему названной нелюди:

любой диктаторский режим одним лакейским искусством своего времени пробавляться не может и охотно ищет фундаментальную опору в прошлом. Благо, ни Гете, ни Вагнер защитить себя не могли; живые, как правило, защищали: противопоставляли себя Гитлеру, — что всё-таки ставит, при всех взысках самой немецкой совести — очень высоко немецкую интеллигенцию, много выше «народа» (случай до боли знакомый; у англичан или французов таких «ножниц» нет; между прочим, есть и аналогия в древности: восточная интеллигенция, пророки особенно). Я чувствую, что говорю вещи, и без меня понятные, но я действительно так думаю.

(...) У меня гора с плеч, что у Дины Исааковны<sup>49</sup> всё обошлось благополучно. Передай ей сердечный и огромный привет от меня и скажи, что я очень сокрушаюсь, что невольно вовлек своего адвоката в такие житейские неурядицы.

\* \* \*

9/II-71

(...) Из письма Леночки и Лени узнал, что в Москве очень интересные выставки. Была ли ты на Чапыргине (так кажется)? А на французях. О невозможности попасть на последнюю выставку я сожалею особо: потому, наверно, что с ними уже связано не простое любопытство, что здесь прочное чувство устоявшихся ценностей. Многие персональные выставки последних лет (Тышлера<sup>50</sup>, например, или Фешина, даже Фалька<sup>51</sup> — я беру первые вспомнившиеся выставки) оставляли какое-то серьезное ощущение эфемерности, интересного эпизода в искусстве — и только. Это, наверно, объясняется моей небольшой, недостаточной образованностью: в литературе-то я ведь не чту одних Достоевских, довольствуюсь просто хорошим романом, поэмой и пр.

\* \* \*

11/II-71 г.

Дорогая Галка!

Это письмо пролежало пару дней и вернулось обратно. Я полагаю, что по ошибке, так как никакими указаниями цензора оно не было сопровождено.

(...) Из твоих писем я узнал, что (...) часть моей корреспонденции всё-таки попала по назначению. Гора с плеч! — я просто уже стал неменяем из-за этих почтовых эпопей.

(...) Ни одного из 4-х Петиных писем я не получил, что очень и очень жаль. Меня очень огорчают все эти автозаводские хворости: передай им, пожалуйста, самые горячие пожелания скорого выздоровления ну и слова о моих неизменных отношениях к их дому.

(...) В «Театре» дельная и интересная, по-моему, статья «Бабанова<sup>52</sup> и её театральное время». Интересная по материалу пьеса Коростылева<sup>53</sup> «Шаги командора» — о последних месяцах жизни Пушкина. По традиции последних лет там «неглупый» Николай, но Пушкин ведет себя в противоречии с документами о нем: прямо как молодой Пушкин времен Александра и никакой «подлости в коленках», на которую он жаловался.

Алтайские стихи ты должна знать: они есть в сборничке<sup>54</sup>.

\* \* \*

17/II-71 г.

Дорогая Галка!

Получил от тебя сегодня 5 писем, обрадовался — и сразу же сделал огорчившую меня глупость: выронил одно из этих писем из кармана.

(...) посылки в марте мне не высылай, а бандероль (табак и трубку) вышли.

(...) Рад был прочитать в «Иностранной...» Харитошины переводы<sup>55</sup> (он перевёл речь Бёлья и ответ фон дер Грюна).

(...) Стыдно, но «Декоративное искусство» я всерьёз увидел впервые. Журнал действительно очень красивый. Он весь посвящён архитектуре Москвы. Я прочёл с половину. Авторы пишут популярно (то, что мне в этой области в самый раз), некоторые даже слишком газетно, а некоторые очень умно. Архитектура и декор — та область, в которой я уж никак не могу судить самостоятельно, приходится умным суждениям верить на слово. Надо только будет удержать себя потом от соблазна, усвоив точку зрения профессионалов, говорить ничтоже сумняшеся на эту тему с «учёным видом знатока». Не знаю, как ты, но я смолоду был грешен этим.

(...) Рассуждения Т. Манна о времени я помню (в общих чертах). Это его любимая тема: он ее в новых качествах всё время варьирует, если ты помнишь, в «Иосифе...». Но я понимаю, что когда сам чего-то очень ждёшь, самое оригинальное и мудрое суждение помогает мало. Но ждать всё-таки надобно. Может, (нет худа без добра) случившееся научит нас терпению: этого умения мне в жизни частенько не хватало. Жду твоих писем...

19/II-71 г.

(...) Зима, по календарю, идёт к концу, и была она по здешним условиям мягкая. Очень морозных дней было немного, да и те аборигены считают пустяковыми... Осталась ещё одна зимушка, остальное не в счёт, остальное — только ожидание без особых, мне кажется, тягот.

В прошлом письме я тебе писал о новых соображениях по поводу предстоящего свидания, обязательно напиши, получила ли ты его, это уж очень важно — важнее некуда.

(...) Ты мне не пишешь, получила ли ты, и — ещё важнее — Алёшка мои деньгожденные поздравления. Я пишу, что Алёшка, потому что Алёшка должен как-то издали чувствовать, что мне памятна дата его явления в мир. Очень мне приятно, что он провёл этот день в кругу сверстников. То, что ты недооценивала порой, — умение с детства, не теряя себя, жить среди людей — качество жизненно нужное. Мне оно в течение 21 месяца, по-моему, очень до сих пор помогало, и при этом я не ловлю себя всё-таки на воспоминаниях о каких-нибудь принципиальных компромиссах, тем паче — серьёзной неискренности. Накопилось ли у Алёхи достаточное множество собственных книг? Если да, то надо думать о фундаментальном книжном угле (со временем стенки) для него. По мере его возрастания часть книг (классика в первую очередь) сможет перейти в его владение. Мне как-то мечтается, чтобы он заразился моим азартом тратиться на книги, ловил их. Только *внушать*<sup>56</sup> это бесполезно, хорошо, если это будет органично.

Тима<sup>57</sup> прислал мне пашкину<sup>58</sup> фотографию. Чего он так по-зековски острижен, не знаешь? Майе<sup>59</sup> передай от меня поклон

(...) самых моих журналов (кроме «Иностр. л-ры») — т. е. «Нового мира» и «Вопросов литературы» так по сию пору и нет. Выходили ли они?

Пиши, не забывай; спасибо на добрых слов (ах) и делах — весь в долгу. Целую тебя. Илья.

P. S.

Большой, очень большой привет моей сестричке. Надолго ли она в Москве и почему не у нас? Илья.

\* \* \*

22/II-71 г.

(...) Последнее твое письмо... пришло одновременно с Алешкиным. Письмецо моего чада меня растрогало: умно и со вкусом он пишет о своей интеллектуальной жизни; правда, письмо его не дописано —

видно, весь порыв и умственные силы сильно притомили его — но всё равно хорошо, умненько. Вот бы ему сохранить интересы да еще ратормозиться физически, найти свою ноту сообщения с людьми.

(...) опубликована поэма Вознесенского<sup>60</sup> «Лед-69». Ты, поди, читала её? Слушай, я готов признать, что в связи с моей книжной старомодностью от меня ускользают какие-то специфичности — от скоростей и норм нашего времени — детали и образы. Но он пишет о гибели молодой девушки — и вот такие роботные, долженствующие поразить воображение технократа строки, сплошные самоповторения — и ни грана человеческой теплоты, сердечности. Положа руку на сердце: меньше всего я хотел бы быть автором такой поэмы.

У Алеши совпали с тобой художественные вкусы. Живописца Рождественского<sup>61</sup> — стыдно — я тоже никогда не видел. Вообще, этот ориенталистский музей я знаю поверхностно, надо будет взглядеться. А вообще меня тянет больше на пейзажи и краски средней полосы. Попасть бы, скажем, прямо по приезду на выставку Борисова-Мусатова<sup>62</sup>.

Узнай, пожалуйста, только что вспомнил, «Верблюды» — это Рождественского? Я видел такую картину в институте физ. проблем, в день рождения Капицы.

Книгу отзывов ты описала очень весело. Меня всегда тянуло на такие глупости; только, боюсь, что больше меня не хватит на это: нужно какое-то при этом совершенно раскрепощенное состояние духа, безудержное и ненормальное желание дурачиться — я себя таким уже мало представляю.

Не уставай писать мне письма, и пусть твоему примеру следуют все хорошие люди. Аминь.

\* \* \*

26/II-71 г.

Здравствуй, Галка!

Последнее письмо, я, согласно заведенному мной кондуиту, отослал тебе 22 февраля. За эти три дня накопилось несколько твоих писем и одно Алешкино. Вот сегодня ничего нет, жалко, от тебя. Надеюсь, что к приходу этого письма Алешка будет дома, и вся эта медицинская эпопея будет позади. Как он держится — молодцом ли? не травмировала ли его мысль о предстоящей операции?

(...) Журналы ноне пустоватые; в прозе, во всяком случае, не на чем глазу остановиться. Тоже жалко.

Ко мне с опозданием приходят письма о твоём дне рождения. Я очень рад, что в этот день в нашем доме побывало много хороших людей.

Ты ничего не пишешь о самом важном: получила ли мое письмо о моей беседе с майором Бондаренко?<sup>63</sup> Время идет, пиши об этом сразу же.

(...) Всем большой привет, а тебя и Алешку я целую.

Илья

\* \* \*

1/III-71

(...) Я совершенно ничего не знаю об Анатолии Эммануиловиче<sup>64</sup>. Почему его нужно *вспоминать*?<sup>65</sup> Случилось ли что-нибудь что ли? Вообще хорошо было бы, если бы вы там вообще передавали мне информацию не избирательно. Щадить меня нечего.

(...) Посмотрим, что за весна в Сибири. На Алтае она, помнится, наступала рано; мне где-то в апреле мои ученики таскали немыслимое количество полевых цветов.

\* \* \*

3/III (71)

Дорогая Галка!

Получил твои письма с собачьей эпопеей. (...) Не пойти ли тебе на курсы повышения квалификации изучить педагогику собачьего дела?

Февраль был какой-то неуютный и не очень-то весёлый месяц. Ты вот прицепилась к моей щеке, которая, право же, не отвалилась, а о вещах посерьёзнее умалчиваешь — например, об Анатолии Эммануиловиче или о случае с Валей Савенковой<sup>66</sup> (...) Худо это так делать.

(...) Жду известия об Алёшкиной операции. Сразу же напишу ему, а пока не знаю, что и писать.

(...) Получила ли ты мои прежние списки. Уточняю название книги Бёлля:<sup>67</sup> «Долина Грохочущих Копыт» (заглавные буквы не я придумал).

(...) Письма от всех идут медленно, пошевели там всяких людей, пусть вспомнят о совести и напишут.

Будь благополучной. Целую тебя и Алешку.

Илья

\* \* \*

5/III- (71)

(...) Я очень рад, что Алёшкина операция прошла успешно и что скоро он будет дома. Ты ничего совсем не пишешь о том, как он перенёс ее, как держался. Выйдет — напишу ему поподробнее.

(...) Очень жду бандероли — табаку и трубку. Вышли побыстрее — как раз придёт вовремя. Ладно? Деньги я получил, спасибо.

(...) не было ещё ни одного номера моих любимых «Воп. л-ры». Странно, журнал всегда выходил своевременно.

(...) теперь ещё волнуюсь за Марка: давненько нет от него ничего, а ведь он (после тебя, разумеется) — самый аккуратный мой корреспондент.

В передаче привези сало — самый разумный и сытный вариант.

\* \* \*

10/III-71 г.

Дорогая Галка!

Сегодня кончились праздничные дни, и я получил десяток писем (в том числе 5 от тебя). Очень хорошие письма от Марика<sup>68</sup> и его Галки<sup>69</sup>, от Эрика<sup>70</sup> (первое), от Айхенвальдов<sup>71</sup>, от Марьяны Григорьевны из Одессы. Кроме того, пришли вторые номера «Иностр. Литературы» и «Дек. искусства». А вот «Вопли»<sup>72</sup> я так и не получил ещё ни одного номера. Что с ними случилось.

Жду тебя на общее свидание в марте.

(...) (положено до 4-х часов), иногородним, говорят, идут навстречу.

Вот какие вышли книги. Первые три, если сможешь достать, привези:

1. Труман Капоте «Голос травы» (в «Книжном обозрении»).

2. Рильке Райнер- Мария — «Огюст Роден. Письма. Стихи».

3. Филип Дормер Стенхоп — английский писатель XV111 в. Честерфильд «Письма к сыну. — Максимы — Характеры» (в «Литер. памятниках»).

Необязательно для меня, но хорошо бы, «Поэзию кубинского романтизма».

Для Алёшки

1. Сын Утренней Звезды. Это сказки индейцев.

2. Ж. Санд. 1-й том. По-моему, ему надо сейчас начинать читать Ж. Санд, Вальтер Скотта и пр.

Я с большим вниманием прочитал письмо Володи Гершуни. Много из его рассуждений, вполне понятно, ускользает от меня: не могу судить поэтому, прав ли он или нет. Передай ему мои самые тёплые слова и — ещё и ещё раз — настоятельную просьбу не продлевать никакими своими демонстрациями пребывания в больнице.

(...) Жалко, что я не могу ещё с полной уверенностью писать письмо Алёшке. Надеюсь, что он уже очень скоро будет дома, и я в ближайшие дни возобновлю с ним переписку.

Время потихонечку идёт, так что ты не кручинься. И постарайся не забывать друзей: не оставляй их письмами. Выслала ли ты мне бандероль? Это уже пора сделать. И ещё одно: привези, кроме бумаги, несколько общих тетрадей, у меня осталось всего две, и те я с глубоким душевным волнением (эвфемизм жадности) должен рвать на письма.

(...) Многие не пишут мне давно... зачем они это делают, Юдифь? Петю трудно переучить, а ты учись не сердиться.

Целую тебя

Илья

\* \* \*

12/III-71 г.

Приветик, жена!

Только что написал письмо Гале Эдельман и маленько расчувствовался: очень уж многое и хорошее связывает меня с институтскими друзьями. У меня ещё бывают особые чувства, когда я переписываюсь с Сашей Соколовским, но там есть невольное и какая-то отстранённость что ли: совсем уж мало пересекались наши жизни последние 10 лет. Ну а здесь не то.

(...) Я совершенно запутался с перспективой свидания.

(...) Давай, наверно, так договоримся. Если не получится с личным свиданием, не приезжай вообще. Словом, реши всё сама.

В «Театре» (втором номере) рекомендую тебе очень интересную статью И. Вишневецкой<sup>73</sup> о «Ревизоре». Она захватывает, хотя не думаю, что её пафос оправдания водевилей и «грубой комики» так уж близки мне. Может, что ещё есть, но я ещё не читал. Очень жду «Вопросов литературы». Мне ведь сейчас хорошая статья приятней для чтения, чем беллетристика.

(...) в обоих номерах «Иностранной литературы» (даже!) нечего читать.

Целую тебя. Илья.

14/III (71)

Добрый день, Галя!

С самого начала о главном. Я тебе заморочил, наверно, вконец голову с этим проклятым свиданием.

(...) меня волнует главным образом проблема сапог. Кроме валенок, у меня никакой обуви нет; скоро это может стать острой проблемой.

(...) Перед свиданием постарайся увидеть майора Бондаренко, может, он найдёт возможность дать предельное время — 4 часа.

(...) Алёшке я написал пару дней назад, поэтому сегодня использую бумагу (с которой у меня, кстати, кризис — и острый) для записки Симе.

Саша Соколовский написал мне, что Толя<sup>74</sup> готов привезти давно обещанную энциклопедию Граната (правда, не со всеми томами). Поторопи его при случае. Недомогания Саши я принимаю близко к сердцу...

(...) Тебе, в общем, трудно представить, как много у меня с ним (и с Толей) связано. Собственно, благодаря дружбе с ними и ещё благодаря Валентине Владимировне<sup>75</sup> у меня, собственно, и состоялось интересное детство-юность. Сашка, помимо мягкости и задушевности, которая заметна и сейчас, был ещё и очень способен, начитан, тонок...

(...) Ты затронула очень деликатную тему. Ты знаешь, что я настаивал на твоём отстранении от всяких общественных дел, и мне было бы грустно, если бы ты влезла сгоряча в них. Но я-то тебя спрашивал о судьбах, от них вряд ли можно и стоит отстраняться. Думаю, что ты меня просто не очень поняла.

(...) Всё сложнее в поступках людей, друг Горацио, чем тебе иногда кажется. Я лечусь (самолечусь) от максимализма и тебе настоятельно советую. Крепко тебя и Алешку целую, а Симе письмо прилагаю.

Илья.

\* \* \*

19/III-71 г.

Галка!

Получил сегодня несколько твоих писем. Я им очень и очень рад, но, к сожалению, никак не могу из них понять, ждать или не ждать тебя на общее свидание.

(...) В прошлом письме я, кажется, забыл написать о новых книгах, которые хорошо бы приобрести в первую очередь и привезти. Ганса

Фалладу<sup>76</sup> «Каждый умирает в одиночку». Я, помню, в детстве очень любил эту книгу, мне иногда даже кажется, что она исподволь подготовила что-то в моём мировосприятии. Очень хочется скорректировать эти детские впечатления.

(...) Я тут связал ненужные мне уже книги. Гм! Довольно увесистая (для твоей немощи) получилась пачечка.

(...) А у Володи Лапина<sup>77</sup> (так пишет Аля Ким<sup>78</sup>) очень хорошие стихи. (...) Буду просить его, чтобы прислал (...) Кстати, успела ли Сима получить моё письмо — и прочитать мои стихи. Интересно, как она отнеслась к ним. Я помню, что она всегда относилась к моим увлечениям достаточно скептически. Впрочем, отсутствие пророка в своём отечестве — давняя наша национальная традиция.

Ещё мне прислала свои стихи Церина Иоффе<sup>79</sup>, о которой я как-то тебе писал. Это очень чистый человек, и стихи у неё очень чистые. (...) Она очень хочет тебе позвонить, но не решается. Поэтому я дам тебе её адрес. Напиши ей — пусть решится. Может, из этого выйдет что-нибудь путное, ну хотя бы возможность время от времени поболтать, показать стихи кому-нибудь из наших и пр.

\* \* \*

1/IV-71

Дорогая Галя!

Сейчас я мог бы написать что угодно: дата такая, первоапрельская. Но ты не взирай на дату, прочитай нижеследующую мою сокровенность: я очень рад нашей состоявшейся встрече, она мне прибавила сна и бодрости. Я сегодня получил письмо от Геры. Там в самом начале очень смешные упреки в мой адрес; смысл их в том, что не поймешь, откуда я пишу — то ли из дома отдыха, то ли из пионерского лагеря. Наверно, временами я действительно слишком уж усердствую по части оптимизма; но дело еще и в том, что достаточно разочек распустить себя — и начнется поток саможалости — состояние скверное и — несправедливое. Кроме того, в мире на самом деле происходят значительные вещи: пишутся книги, рисуются картины, живут друзья. Как-то очень легко, если возвести в культ собственную некомфортность, утратить истинные ориентиры, а делать это грешно и опять же — несправедливо

(...) Алешка произвел на меня сильное и глубокое впечатление. Я подозреваю, что он основательно утомился, но, при всём при том, ты правильно сделала, взяв его в эту поездку: нам надо было увидеться, дальше уж ждать было некуда.

Володе Гершуни я прилагаю письмо. Хорошо бы ему поскорее завершить свою командировку; ему и Наташе<sup>80</sup>. С поразительной чистотой и целомудрием он пишет о ней. Счастьеца, малость счастьеца б нашим друзьям. А остального — убежденности, духа, чего угодно — этого у них с избытком.

Ну и тебе счастья, друг мой, верная супруга и добродетельная мать. Постарайся встать над личными — даже если они и справедливы, — обидами и убережь дорогой мне круг людей. Так же, как ты бережешь мои письма или книги, даже с большим трепетом: речь идет о людях незаменимых...

Твой Илья.

\* \* \*

8/IV-71 г.

(...) Я вернулся к прежнему роду работы, и времени у меня почти совсем нет, меньше, чем когда-либо. Зато сплю. Я предвкушал чтение привезенных тобой книг; сейчас на это практически можно будет тратить только воскресенье.

\* \* \*

19/V (71 г.)

Дорогая Галя!

Дудки! Это я некоторое время был в зоне, имел свободное время — вот и писал тебе частенько. Ну и еще не без корысти: очень волновался за подписку (...) Обрадовался, что Федоровы наконец-то прервали молчание. Они благожелательно оценили мои стихи, чему я очень рад: судьи строгие. Получил письмо от одной учительницы из 521-й<sup>81</sup> школы, она рассказала о некоторых моих бывших пятиклашках: в каком институте они учатся и за кого вышли замуж. Я впал по этому поводу в состояние просветленной печали...

(...) Уж и не знаю, как распорядиться со знаками препинания. Я сознательно пародировал современную манеру, но боюсь, что пародийность никому не будет понятна. Смотри сама. Надо бы еще выбросить пару глав к чертям, но пока оставь так. Приеду — сам займусь.

Я буду тебе писать не столь часто, но ты мне не подражай: муж-то у тебя один.

Крепко целую тебя да Алешу.

Илья.

31/V-71 г.

Дорогая Галя!

(...) По поводу свидания заявление, пожалуй, напиши, но просить 3 суток лучше не надо, никаких прав на это у меня нет. Я сам тоже напишу заявление и, ежели будет назначен день, тогда уж и отпишу подробно, что мне надо. Но ничего не будет неожиданного, если дадут одну ночь, а то и вообще ничего не дадут.

(...) Получил от Надьки<sup>82</sup> открытку, где она пишет о новом местожительстве Ан. Эм.<sup>83</sup> Чего ж ты умалчиваешь об этом? Кажется, этому не будет конца; нужно, очевидно, черпать из каких-то бездн несуществующую мудрость, чтобы не впасть в предельную ненависть и злобу.

Читаю я сейчас мало, совсем худо со временем. Это несколько угнетающе действует. Я все надеюсь, что установятся всё-таки хорошие деньки и можно будет в воскресенье читать на воздухе и подолгу.

С первого июня вступает в силу новый кодекс ИТР. Это породило здесь, как водится, миллиард слухов; они имеют такую же почву, как скажем, амнистия по случаю дня рождения Леси Украинки<sup>84</sup>. Есть всё-таки известное преимущество в положении, когда ничего не ждешь.

Не вернулся ли в Москву Вадик?<sup>85</sup> Сообщи, как только это произойдет, а еще лучше, если он вдруг по приезду соберется мне написать.

(...) Надеюсь, у Леночки кончится полоса нездоровья; надеюсь так же получать от нее еще письма. И от многих других.

\* \* \*

16/IX (71г)

Дорогая супруга!

Получил твою телеграмму, твою бандероль и чувствую себя кругом благодарным и обязанным. Чего бы я стал делать без тебя, ума не приложу.

На днях получил письмо от Вити<sup>86</sup> из Красноярска. Он благодарит тебя за присланные 40 рублей; говорит, что они были неожиданны и нелишни. Еще он пишет, что надеется, что ты послала их не из своей зарплаты.

Денег мне пока не посылай. (...) На подписку мне вполне хватит, лучше пошлешь в январе-феврале, если у тебя будут: на всякий случай, вдруг разминемся, чтоб у меня было с чем уехать.

Заходил ли к тебе Гера по приезду в Москву? Ты мне ничего о том не пишешь. Написал сегодня несколько писем, главным образом, спорил о статье Аверинцева в восьмом номере «Вопросов л-ры». Почитай её при случае и выскажи свое просвещенное мнение, ладно? В последнем номере «Театра» образцово глупая статья «Достоевский и театр». Она о том, что Дост. на театр не работал, а мог бы и очень любил его.

Погода здесь переменчивая; скоро начнутся карбышевские<sup>87</sup> денечки. Ну я их жду и с томлением, и с упованием: за ними весна, дом и масса чистого чтения с ничегонеделанием. Словом, кругом возглас чеховских сестер: «В Москву!» «В Москву!»

Больше я тебе ничего и не напишу, потому как иссяк. А ты пиши, не халтурь. Такая у тебя бабья доля. Целую тебя и Алешку.

Илья.

\* \* \*

## 27. IX (71 г.)

Дорогая Галя!

(...) Читаю твои «польские» отчеты, слегка завидую, ещё больше ужасаюсь — так много купили хороших фильмов, судя по письмам разного времени, что мне, наверно, придется с год пожить на фестивальном режиме. А, может, не все стоят того, как-нибудь обойдусь без некоторых? Тем более, как я сейчас убедился, многое из того, что производило такое сильное впечатление, улетучилось из памяти начисто.

Погодка у нас паршивенькая уже. Несколько огорчает, что, в общем-то, под знаком неважной погоды пройдут едва ли не все восемь оставшихся месяцев.

Я тебе писал список книг на случай, если новых будет маловато: Платонов<sup>88</sup> (обе), Гофман<sup>89</sup> (3 тома), Наваррская<sup>90</sup>, готические романы. Забыл дописать тогда, что хотел бы перечитать Хемингуэя<sup>91</sup>.

(...) Нет ли нового списка книжных новинок? Квитанции с подпиской я получил, спасибо большое. Теперь, если я буду себя хорошо вести и еще будут доставлять все издания — будет совсем, немислимо даже хорошо.

Как там школьные дела Алешки? Что-то давно, давно нет от него писем. Ладно, понимаю ж — занятия.

Целую вас обоих.

Илья.

\* \* \*

З/Х- 71 г.

Дорогая Галя!

Леня обмолвился в своем письме — так, между прочим — что вернулся Витя Красин, а вы все что-то ничего не написали об этом событии. Как и когда это произошло?

Письма твои я читаю с большим интересом. Жаль, не могу разделить твои впечатления от фильмов или оспорить их.

(...) С интересом прочел на этой неделе «Пригоршню праха» И. Во<sup>91</sup>. Ты читала ли?

Если появится Гера, скажи, что я ответил на его письма. Последнее письмо отправил 27 сентября. Подожду еще с неделю и напишу еще. Раньше не обещаю, т. к. писать я могу только по воскресеньям.

Прогнозы обещают довольно мерзкий октябрь. Жалко, конечно, но от нас не зависит.

Продолжаю цикл вымогательств. Хорошо бы, если б ты еще привезла обувную щетку и тапочки (последние бывают в теплом варианте — совсем хорошо). Напиши заранее, если нет возможности достать валенки: это важно, т. к. здесь я могу получить только старые (иногда и ветхие) и без особого выбора размера. В прошлом году я с ними мучился. А без телогрейки я обойдусь, нет — и не надо. Еще о вещах: не забудь про мыло и зубн. порошок, у меня все на исходе, а возможности приобретать в ларьке не предвидится. Теперь о книгах. Меня очень попросили достать книгу «Тухачевский»<sup>92</sup> в серии «Жизнь замечательных людей». Постарайся, пожалуйста — уж такие связи, наверно, остались. И привези еще раз «Лунина»<sup>93</sup>, его попросили почтить.

Мне всегда неудобно, что мои письма к тебе превращаются в свод просьб. Даже спасительное «такова жизнь» не выручает от неудобства — но, действительно, кого ж мне просить. Я б очень хотел знать, как ты живешь сейчас материально, но вряд ли ты напишешь об этом. Может, расскажешь при встрече.

(...) Со временем у меня всё-таки неважно — и со свободным, и со скоростью его течения. Но и это не в моих силах изменить. Крепко тебя целую и жду месяца через полтора на randevu. Постарайся с «Тухачевским», ладно? Целую Алешку и всем сердечный привет.

Илья.

\* \* \*

10/X-(71 г.)

Дорогая Галя!

(...) Попроси у Тани<sup>94</sup> для меня старофранцузские новеллы; я верну, если она мне их не подарит, а лучше пусть подарит. Не подарили ли нам по случаю вчерашнего дня какие-нибудь книги? Если подарили, пришли, пожалуйста, список. Еще ты никак не отреагировала на давнишнее мое письмо с просьбой о книгах.

(...) Там же я, кажется, просил, если это будет возможно, купить мне в последний раз рабочий костюм.

Алешка написал мне забавное письмо и более или менее старательным почерком. Надо будет ему сейчас же ответить обязательно.

Я рад тому, что ты увиделась со Шрагиными. Боря<sup>95</sup> — очень хороший человек. Уладились ли его служебные дела. Время от времени я слышу по радио выступления его брата — международного. Забавная всё-таки ситуация...

Илья.

Достала ли ты «Тухачевского»?

\* \* \*

19, 22/X-71 г.

Дорогая Галя!

Очень виноват перед тобой: не писал дней десять.

(...) От тебя письма тоже идут медленно и неравномерно.

(...) Вчера получил письмо от Вити Красина, сейчас отвечу ему — с большой, большой радостью — впервые в жизни по московскому адресу. Наверно, ты его прежде знала совсем мало и слишком уж специфически. Он не только умен, но и очень сердечен, чем, между прочим, отличается от многих знакомых после 1967 года. Существо вашего спора ускользнуло от меня, точнее, ускользнула его позиция — о ней я, впрочем, смутно догадываюсь. Ты, матушка, как-то сближаешь далековатые вещи: три года — не Освенцим, уверяю тебя..

(...) У Вити же самого очень сложная жизнь, и проблемы — не приведи бог.

Я с радостью прочитал твой отчет о моем тезоименитстве. В этом году я не получил многих откликов от близких людей на это потрясающее событие; случай пустяковый и формальный, но знаешь же мою склонность к мнительности. Ну, пьянство в моей квартире утешило меня, вот уже два с половиной года почти как горького трезвенника.

Хорошо! Слушай, а как живут Арина, Людмила Ильинична, что с Аликом?<sup>97</sup> Они как канули!

(...) Прочел в «ИЛ» начало романа Ремарка<sup>98</sup> и конец романа «Аэропорт». И то, и другое — вполне средне, но чувствую, что будут бестселлерами...

Ну, пока. Целую тебя и Алешку.

Илья.

\* \* \*

25/X-(71 г.)

Дорогая Галя!

(...) О «Мефистофеле» поговорим как-нибудь при случае. Собственно, ты сама почти всё сказала.

Получил очень трогательное письмо от бывшего товарища по Кемерово-28. Он начал самостоятельно заниматься, спрашивает совета. Я попытался дать ему эти советы, как это ни трудно.

(...) Помни только, что свидания бывают по средам, субботам и воскресеньям. Если возникнет недоразумение, обратиться к майору Бондаренко. Получил ли мои письма Гера, не знаешь?

\* \* \*

2/XI-(71 г.)

Дорогая Галя!

Что-то я стал тебе часто писать. А скоро, даст бог, и увидимся на часок-другой. Хочу тебе напомнить, что у меня туго с канцелярией: стержни<sup>99</sup>, конверты, бумага — всё на исходе. И совсем заканчивается мыло и зубной порошок. Все это вещи необходимые, приходится часто и помногу одарять

То, что ты пишешь об Алешкином мучителе, очень грустно. Здесь бестолково ему советовать самому защищать себя. Узнай-ка адрес и имя родителя этого башибузука, может, они испугаются, если им напишу я — уголовничек и угомонят свое чадо? Вообще надо учиться драться, это в жизни, к сожалению, надо уметь — во всяком случае уметь проявлять готовность.

(...) А двухтомник Л. Андреева<sup>100</sup> не появился?

Ты мне все, наверно, привезешь в последний раз — книг бы, чтоб хватило на все шесть месяцев.

Целую тебя.

Илья.

Галя! Последние известия: вышла или вот-вот должна выйти в ЖЗЛ книга о Рихарде Зорге<sup>101</sup>. И второе: приезжай в будний день (т. е. не в субботу и воскресенье), чтоб встретиться с м-ром Бондаренко и поговорить о свидании (как в марте).

\* \* \*

7.11.71 г.

Дорогая Галя!

(...) очень меня тронули присланные тобой записки Паши и Майи. И давай приезжай скорей, голубчик. Не забудь только, что надо приехать в будний день и постараться — это будет только по совести — привезти «Тухачевского» и «Рихарда Зорге» и, может, еще что в ЖЗЛ. Мороки тебе со мной, но потерпи уж, авось недолго.

Жду с надеждами на хорошие вести, хоть что-то хорошее должно же быть. Машке<sup>102</sup>, Тиме и всем, кого увидишь, — сердечный мой привет.

(...) От твоего мужа, ждущего тебя на свиданьице.

Целую тебя.

Илья.

\* \* \*

1/I-72 г.

Дорогая Галя!

(...) Ну вот, стало быть и последнее новогодье. Ночь я провел в чтении привезенной тобой книги Селимовича<sup>103</sup> «Дервиш и смерть». Она затронула меня, там много вечных вопросов — в частности, и затрагивающие темы ваших былых бесед с Витей. Будет досуг и силы — почитай. В «Новом мире» интересные статьи — Гранина<sup>104</sup> о Моцарте и Сальери и Карякина<sup>105</sup> «О преступлении и наказании» (в последнем есть многое, меня раздражающее; возможно, я привношу раздражительность личного знакомства).

Третьего разрешится волнующая меня проблема — нормально ли всё с подпиской. Я не дополучил многого — особенно «Вопросов лит-ры» и ряда номеров «Лит. газеты».

(...) Есть две огорчительные новости. Первая: в связи с гриппом второй месяц нет свиданий. Будем надеяться, что в январе карантин отменят и мы всё-таки увидимся в феврале. Вторая новость просто не очень понятна. У нас с неделю висит объявление, что от москви-

чей при освобождении требуется справка, что им гарантирована подписка.<sup>106</sup> Что это такое конкретно, насколько это серьезно и кого касается — я не могу постичь. Не думаю, чтобы милиция стала заочно что-то гарантировать. Может, нужна справка из жэка<sup>107</sup>, что у меня есть площадь и семья, жаждущая меня прописать. Во всяком случае, хлопоты у тебя в скором времени появятся. Надо все делать загодя, случай серьезный.

Тебя и Алешку я уже поздравлял с Новым годом

(...) Он должен быть по всем расчетам нашим годом: благополучие и покой постепенно установятся, я себя к постепенности именно и готовлю психологически...

(...) Забыл главное. В последнем номере «Нового мира» есть список ближайших новинок. Если не достанешь, погибну.

\* \* \*

10/1-72 г.

Дорогая Галя!

Вот и прошла первая рабочая неделя Нового года, подошла суббота — ну я и пишу, а письмо отойдет, как водится, в понедельник. В связи с Новым годом получил кучу писем и открыток, некоторые из них совсем неожиданные. Тиме сообщи, что напишу ему 19-го числа. У меня есть к нему деловая просьба.

(...) Что же касается второго моего сообщения — насчет справки о прописке, то администрация объяснила мне, что это справка о наличии жилплощади и только. Такую тебе, очевидно, дадут очень просто.

Очень плохо с подпиской. Я не получил совсем «Литературок», «Лит. Россия» пришла с недельным опозданием, пропали многие номера «Воплей», а я бессилен. Написал только что письмо на почтовое отделение, чувствую себя из-за этого скверно: обязательно воспримут как клязу — очень трудно понимается, что чтение имеет существенное значение.

Сейчас передают по радио стихи Заболоцкого. Берут за сердце — но больше воспоминанием о том, как, бывало, читались.

Холода пришли, но и бог с ним. Очевидно, я перехворал гриппом — тоже болели косточки, особенно по утрам, и грудь — но сейчас прошло вроде. А карантин еще не снят, и свидание наше очень проблематично.

Твои письма идут тоже с провалами. Скорей бы уж осталось позади общение через переписку.

А пока я целую тебя с Алешкой.

Илья.

Р. С. Кланяйся всем и скажи, как дорога мне их память — выразившаяся в новогодних поздравлениях. Это помогает жить последние — очень муторные месяцы, и я в неоплатном долгу. Ефимов пишет, что тоже собирается уехать. Никак не могу привыкнуть к отъездам.

И.

\* \* \*

23/I-72

Дорогая Галя!

(...) Узнал наконец про Володю Бук. (овского)<sup>108</sup> и ошарашен — не ожидал таких драконовских решений.

Бросай ты, голубушка, свою работу, раз она тебя так морально гнетет. Перебьемся как-нибудь, а там, глядишь всё утрясется и войдет в колею.

Про книги я тебе (...) напишу, что более или менее интересного вышло из печати.

(...) Но меня всё-таки куда больше всех этих книг волнует «Ночь нежна» Фицджеральда<sup>109</sup>, Избр. Мориака и стихи Элиота<sup>110</sup>.

Бывает, что и не спится и читать нельзя: темно. Поэтому я знаю и сколько недель мне осталось, и сколько дней. 17 и 118 соответственно. Немало, конечно, но что-то всё-таки маячит. Потерпим.

Целую тебя.

Илья.

\* \* \*

31/I-72 г.

Дорогая Галя!

Надеюсь, что это письмо придет ко второму февралю. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы будущая жизнь была у тебя счастливой и устроенной. Пожелание малость эгоистичное: касается и меня, но мы ведь, по пословице, одна сатана.

В качестве именинного подарка сообщаю тебе, что нам дали личное свидание на 27 февраля. Это было очень трудно: большая часть занята теми, кто должен был по графику идти в декабре, как вдруг грянул карантин. Постарайся приехать 26-го днем, вдруг кто-нибудь не приедет и нам дадут еще день. Из вещей можешь мне ничего не везти. А сможешь — привези костюм, две-три пары носок и пару-две трусов и маек. Ну и напиши, если есть. Но необязательно, повторяю. Проследи, чтоб

в костюме не было полос, у меня из-за этого в прошлый раз не приняли брюк. Напиши, сможешь ли ты увезти часть книг? Это тоже не обязательно, просто легче будет в мае.

Получил письмо от Нади из Енисейска. Не знаю, застанет ли ее там мое письмецо, но я написал ей.

Алешкины вкус и письма меня очень радуют. Я на всякий случай вложу ему письмо сейчас, а ты вручи ему 13 февраля<sup>111</sup>.

Кажется, у вас так много неблагоприятий, но вы все оберегаете меня от информации. Это зря...

С почтой пока все наладилось, вернее, с газетами. Из журналов пока получил только «Знамя» и «Иностранную литературу».

Что-то многие забросили писать.

(...) Ладно, недолго уже. Видно уже даже окончание зимы, ну ещё два месяца. До января всё было хорошо, а в январе были денечки даже с 40 градусами — небывалые для меня. Переношу их сноснее, чем думал раньше. Оденься, когда поедешь, на всякий случай потеплее.

Целую тебя. Илья.

\* \* \*

6.03.72 г.

Дорогая Галя!

Получил от тебя после randevу пока одно единственное письмо из Кемерово. *Не расстраивайся*, то есть скажи Тане, чтобы она не расстраивалась *по поводу неудавшейся встречи с Софьей Николаевной. Получил письмо от Ненароковой.*<sup>112</sup> *Поступок Владика не помешал ей прочесть статью (об аргонавах); насколько я могу понять, статья не очень рассердила ее и инцидент, наверно, можно считать исчерпанным.*

Письма, брошенные тобою в Кемерово, дошли до меня в полном составе. Сейчас постепенно разгружаюсь с ответами. Тебе пишу уже девятой или десятой. Из новых писем — письмо от Наденьки из Енисейска. Она ждет нас в мае: надо постараться выкроить день-два, потом будет уже труднее и со временем, и с деньгами тоже ехать в такую даль. Журналы и газеты пошли, дали мне возможность добраться до привезенных тобою книг. Жалко времени на пустую совершенно периодику, но чувство привычки и боязни пропустить что-нибудь путное заставляет меня добросовестно всё просматривать. Хорошо, что есть спасительный склероз: иначе моя голова расплущилась бы под тяжестью

совершенно ненужной информации. Посмотрим, что хорошего в привезенных тобой книгах.

Скоро 8 марта, надо бы поздравить женщин — главных моих адресатов — но не знаю, как это делать; воздержусь.

Хорошо, что больше не предстоит тебе таких утомительных и хлопотных поездок (тьфу-тьфу!), время бы торопилось что ли; но как раз ощутимо действует закон последних месяцев. Целую тебя крепко.

Илья.

Прилагаю письмо Алешке.

\* \* \*

9/02-72 г. <sup>113</sup>

Дорогая Галя!

Всю прошлую и начало этой недели я добросовестно отвечал на письма. И вдруг они все возвращаются обратно без всяких объяснений. Это — ты и не представляешь — как досадно, таких это мне стоило сил писать их. Я их снова послал, но на всякий случай перечислю тебе адресаты: Таня Баева<sup>114</sup>, Гера, Марьяна Григ., Рыжий,<sup>115</sup> Галя Гладкова с Борей<sup>116</sup>, Лена Гилярова, Церина, ты с Алешкой, Надя, Лена Семека. Узнавай потихоньку, кто получал письма от 2-6 марта. Позднее этого инцидента написал письма Юре<sup>117</sup>, Нат. Владимировне<sup>118</sup>, Юлику, Валерию Агр (иколянскому), Марку.

Получил от тебя два письма из Кемерово и одно с дороги. Пора бы уж быть и письмам из Москвы.

Надеюсь, тебя ничто в поездке не расстраивает. Вообще пора потихоньку настраиваться на май м-ц, а всё остальное так, между прочим. Прощаюсь с тобой, так как нет уж сил писать письма. До чего я стал добросовестным!

Целую тебя.

Илья.

\* \* \*

**АНАТОЛИЙ — ЖЕНЕ И. ГАБАЯ — ИЗ КЕМЕРОВА 20 МАРТА 1972 Г.**

(конверт не сохранился. Фамилия Анатолия — неизвестна)

Галина Викторовна!

Мужайтесь...Выполняю последнюю просьбу Ильи перед от'ездом — написать Вам...

15 числа его оставили в зоне. В одиннадцать его вызвали к Б.<sup>119</sup>, где были три представителя КГБ, и в 5.30 по нашему времени он был отправлен самолётом (вечерним рейсом в 8 ч. 30 мин. вечера) в Москву. Я мало знаю о причине срочного увоза (Ильи) в Москву. Как мне сказал Илья: «Увозят свидетелем в следственный изолятор КГБ г. Москвы».

До от'езда он был совершенно спокоен. Я провожал его до последнего и только в конце (по-моему) он чуточку потерял присутствие духа.

Я разделяю Ваше волнение, но будем надеяться, что это всё не очень серьёзно. Вы мужественная женщина. Для меня Илья очень дорог. Он был моим учителем в поэзии (впервые по-настоящему) — всё остальное... Я обрёл почву, силу и мысли. Благодаря ему совершенно овладел технической стороной. Научился разрабатывать тему и не распыляться.

Мы оба надеемся, что скоро встретимся вместе. Дел много. Пишет Вам всё тот же неизвестный (до свидания)... Фамилию мою Вы знаете, заочите написать — пишите. Я всей душой и сердцем разделяю тревогу. Если напишете, не пишите Вашу истинную фамилию. Почерк мне Ваш знаком. И письмо обязательно будет у меня. Нужны будут подробности — я с радостью напишу. Только куда?

Когда буду в Москве, мы обязательно увидимся.

Не теряйте присутствия духа. Мне кажется, что нет ничего серьёзного. Иначе, через Илью, я знал бы (как-то) об опасности. Наберитесь терпения и выдержка, выдержка... Можете исполнить мою просьбу, о чём просил я (Илья говорил на свидании...)

Так даже будет проще.

Будьте мужественной.

С уважением — Анатолий.

20/3.72 (подпись нрзб.)

\* \* \*

## Примечания:

<sup>1</sup> Георгий Борисович Федоров (1917–1993) — друг Ильи Габая, доктор исторических наук, археолог, писатель, муж М. Г. Рошаль; глава археологических раскопок в Молдавии и Приднестровье, где Илья Габай работал землекопом летом 1967 и 1968 гг.

<sup>2</sup> Алешка — сын Ильи и Галины Габай, в то время девятилетний школьник.

<sup>3</sup> Читай: «Мориак».

<sup>4</sup> Чингиз Айтматов (1928–2008) — писатель, дипломат, общественный деятель.

<sup>5</sup> Имеется в виду П. И. Якир и его семья.

<sup>6</sup> Имеется в виду Л. Я. Зиман и его семья.

<sup>7</sup> Арестованный летом 1970 г., В. А. Тельников был освобожден из-под стражи вечером, в субботу 22 авг. 70 г.

<sup>8</sup> Лефортовская тюрьма — следственная тюрьма Комитета Государственной Безопасности (КГБ), где содержались политзаключенные.

<sup>9</sup> Курительная трубка в форме головы Мефистофеля, подарок А. Тумермана, знакомого семьи Габай.

<sup>10</sup> Почтовый адрес кемеровского латеря, где отбывал срок Илья Габай.

<sup>11</sup> Федоров Г. Б., М. Г. Рошаль и их семья.

<sup>12</sup> Нобелевская премия А. И. Солженицына.

<sup>13</sup> Гера, Г. — здесь и дальше: Герцен Исаевич Копылов (1925–1976). Доктор физ. мат. наук. Поэт. Один из авторов «Физики продолжают шутить». В «Самиздате» известен под псевдонимом «С. Телегин». В сентябре 1971 г., находясь проездом в Кемерово, добился свидания с И. Габаем в Кемеровском лагере, где И. Габай отбывал срок.

<sup>14</sup> Товстоногов Георгий Александрович (1915–1989) — театральный режиссер. «Горе от ума» поставил в Ленинградском Большом Драматическом театре им. Горького в 1962 г.

<sup>15</sup> Симонов Евгений Рубенович (1925–1994) — театральный режиссер. «Горе от ума» поставил в 1963 г. в Малом театре, в Москве.

<sup>16</sup> «Сердитые». Имеется в виду движение в английской литературе «Рассерженные люди».

<sup>17</sup> Осборн Джон (1929–1994) — английский драматург и сценарист. Автор пьесы «Оглянись во гневе». Один из ведущих в литературном движении «Рассерженные люди».

<sup>18</sup> Джером Д. Сэлинджер (1919–2010) — американский прозаик, автор романа «Над пропастью во ржи» (1951 г.).

<sup>19</sup> «Глазами клоуна» (1963) — роман Генриха Бёлля.

<sup>20</sup> «Земляничная поляна» (1957) — кинофильм шведского режиссера Ингмара Бергмана (1918–2007).

<sup>21</sup> Кинофильм «В огне брода нет» (1967 г.), киностудия «Ленфильм», реж. Глеб Панфилов.

<sup>22</sup> Аффа — собака Алешки Габая.

<sup>23</sup> Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — русский писатель (роман «Князь Серебряный» (1863), поэт («Средь шумного бала» (1851), драматург («Царь Федор Иоаннович» (1868), он же Козьма Прутков, собирательный автор (вместе с братьями Жемчужниковыми).

<sup>24</sup> Прутковское сообщество — (А. К. Толстой, братья Жемчужниковы).

<sup>25</sup> Гершуни Владимир Львович (1930–1994) — друг Ильи и Галины Габай. Узник ГУЛАГа, правозащитник, провел многие годы в лагерях и на принудит. лечении в спец. псих. больницах. Занимался лингвистикой. Автор многочисленных палиндромов.

<sup>26</sup> Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) — русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, автор популярных песен и романсов.

<sup>27</sup> Бурсов Борис Иванович (1905–1997) — критик, литературовед, филолог.

<sup>28</sup> Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — русский писатель Серебряного века, поэт, критик, переводчик, философ, один из основателей русского символизма.

<sup>29</sup> Шестов Лев Исаакович (1866–1938) — философ-экзистенциалист.

<sup>30</sup> Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный философ.

<sup>31</sup> Имеется в виду П. И. Якир.

<sup>32</sup> Якобсон Анатолий Александрович, (Толя, Тоша, Тошка) (1935–1978) — педагог, переводчик, литературовед, правозащитник. Занимался исследованием творчества Л. Толстого, А. Блока («Конец трагедии». 1973 г.). Один из редакторов «Хроники текущих событий». Эмигрировал в Израиль в 1973 г.

<sup>33</sup> Улановская Майя Александровна (род.1932) — жена А. А. Якобсона, узница ГУЛАГа, правозащитница. Автор книги «История одной семьи» (совместно с матерью) и «Свобода и Догма. Жизнь и творчество Артура Кестлера».

<sup>34</sup> Дорош Ефим Яковлевич (1908–1972) — русский советский писатель, автор очерков о сельской жизни. Выступил против ареста писателей Синявского и Даниэля.

<sup>35</sup> Рыбаков Анатолий Наумович (1911–1998) — русский советский писатель, автор романов «Кортик», «Дети Арбата».

<sup>36</sup> Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) — русский филолог, занимался исследованием истории русской литературы и культуры.

<sup>37</sup> Лакснесс Халлдор Кильян (1902–1998) — исландский писатель, Нобелевский лауреат по литературе (1955 г.).

<sup>38</sup> Уильям Фолкнер (1897–1962) — американский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1949 г.).

<sup>39</sup> Имеется в виду роман А. И. Солженицына «Раковый корпус».

<sup>40</sup> «Гроздь гнева» (1939) — роман амер. писателя Джона Стейнбека (1902–1968 г.).

<sup>41</sup> Алексеев Леонид Васильевич (1921–2008) — доктор истор. наук, археолог, друг Галины Габай.

<sup>42</sup> Имеется в виду Пронин Владик.

<sup>43</sup> Вагнер Рихард (1813–1883) — нем. композитор, дирижер, либреттист, философ.

<sup>44</sup> «Полет Валькирий» — муз. сюита Р. Вагнера.

<sup>45</sup> Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт-романтик.

<sup>46</sup> Мендельсон Феликс (1809–1847) — нем. композитор-романтик, дирижер.

<sup>47</sup> Гете Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) — нем. поэт, мыслитель, государственный деятель.

<sup>48</sup> Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — нем. композитор на рубеже классицизма и романтизма в музыке.

<sup>49</sup> Имеется в виду адвокат Каминская Д. И.

<sup>50</sup> Тышлер Александр Григорьевич (1898–1980) — художник, скульптор, сценограф. Обвинялся в «формализме» в искусстве.

<sup>51</sup> Фешин, Фальк — художники группы «Бубновый валет».

<sup>52</sup> Бабанова Мария Ивановна (1900–1983) — знаменитая советская актриса, прославившаяся исполнением роли Тани в одноименной пьесе Арбузова.

<sup>53</sup> Коростылев Вадим Николаевич (1923–1997) — драматург, поэт, сценарист, режиссер.

<sup>54</sup> Самодельный машинописный сборник стихов, переплетенный в книжку друзьями в подарок Илье в 1964–65 гг. Последнюю правку «сборничка» Илья Габай сделал летом 1973 г. Здесь используются тексты стихов с учетом этой правки.

<sup>55</sup> Имеется в виду М. С. Харитонов.

<sup>56</sup> Выделено И. Габаем.

<sup>57</sup> Тима — здесь и далее — Тимачев Виктор Миронович (1935–1995) — друг семьи Габай, геолог, правозащитник.

<sup>58</sup> Имеется в виду Литвинов П. М.

<sup>59</sup> Имеется в виду Майя Литвинова, жена П. М. Литвинова.

<sup>60</sup> Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010) — русский поэт, художник, архитектор. Один из самых известных поэтов-шестидесятников.

<sup>61</sup> Рождественский Василий Васильевич (1884–1963) — художник, один из основателей творческого сообщества «Бубновый валет». Автор картин Русского Севера («Белая ночь», «Деревня»), бытописатель Средней Азии («Азиатский чай», «Красные партизаны в Дагестане»).

<sup>62</sup> Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905) — русский художник-символист. Изображал уходящий быт «дворянских гнёзд».

<sup>63</sup> Майор Бондаренко — начальник Кемеровского лагеря общего режима п/я No. 1620, где отбывал срок Илья Габай.

<sup>64</sup> Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин (1915–1991) — церковный писатель, диссидент. Подробнее см. ниже.

<sup>65</sup> Выделено И. Габаем.

<sup>66</sup> Савенкова Валентина Ивановна (1923–1982) — жена П. И. Якира.

<sup>67</sup> Бёль Генрих (1917–1985) — немецкий писатель, переводчик. Автор романа «Бильярд в половине десятого, повести «Долина Грохочущих Копыт» о людях, не вписывающихся в окружающую их среду.

<sup>68</sup> Имеется в виду М. С. Харитонов.

<sup>69</sup> Имеется в виду Г. С. Эдельман.

<sup>70</sup> Имеется в виду Красновский Эрнест Абрамович (?–2008) — педагог, институтский друг Ильи Габая.

<sup>71</sup> Айхенвальд Юрий Александрович (1928–1993) — поэт, переводчик, театровед, историк русской культуры; Герлин Валерия Михайловна («Вава») — жена Ю. А. Айхенвальда — знакомые Ильи Габая. Валерия Мих. сменила Илью Габая в школе No. 521, когда он вынужден был оставить преподавательскую работу.

<sup>72</sup> Имеется в виду журнал «Вопросы литературы».

<sup>73</sup> Вишневская Инна Люциановна (род. 1925) — литературовед, критик, искусствовед.

<sup>74</sup> Анатолий Вержбицкий, техникумовский друг Ильи Габая.

<sup>75</sup> Валентина Владимировна — учительница в библиотечном техникуме, где учился Илья Габай.

<sup>76</sup> Фаллада Ганс (1893–1947) — нем. писатель, автор романов «Маленький человек, что же дальше?» (1932), «Каждый умирает в одиночку» (1947) и др.

<sup>77</sup> Лапин Владимир Петрович (1945–2005) — детский поэт, член ред. коллегии детского журнала «Пионер». За участие в правозащитном движении в 1969 г. был уволен из редакции журнала.

<sup>78</sup> Ким Алина Черсановна (1933–2008) — врач, сестра Юлия Кима, друг Ильи Габая.

<sup>79</sup> Церина Иоффе (в замужестве Танненгольц) — поэт, институтская приятельница Ильи Габая. С этого времени началась ее обширная переписка с И. Габаем. Позднее Церина приняла очень активное участие в судьбе вскоре арестованного Кронида Любарского.

<sup>80</sup> Горбаневская Наталья Евгеньевна (род. 1936 г.) — поэт, журналист, переводчик, первый редактор «Хроники текущих событий», участница демонстрации 25-го авг. 1968 г. на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии советскими войсками; автор книги «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года», Франкфурт. 1970 г. Подвергалась арестам и принудит. лечению в спец. психиатрических больницах. В 1975 г. эмигрировала во Францию. В настоящее время гражданка Польши. Почетный доктор Люблинского университета им. Марии Кюри-Склодовской.

<sup>81</sup> 521 школа Черемушкинского (?) района г. Москвы — последнее место преподавательской работы И. Габая.

<sup>82</sup> Емелькина Надежда Павловна (1946–2010) — правозащитница, друг семьи Габай. В то время находилась в ссылке в Красноярском крае. В 1975 г. эмигрировала в США.

<sup>83</sup> Имеется в виду новый арест и приговор Ан. Эм. Краснова-Левитина к трем годам лишения свободы. Отбывал срок в лагере общего режима в Смоленской области. Был выслан из Советского Союза в 1974 г.

<sup>84</sup> Леся Украинка (1871–1913) — украинская поэтесса, писательница.

<sup>85</sup> Имеется в виду Вадим Николаевич Делоне (1947–1983) — русский поэт, правозащитник. За участие в правозащитной деятельности в 1966 г. исключен из педагогического института. Арестован за участие в демонстрации на Пушкинской площади в Москве (22 янв. 1967 г.) против ареста Гинзбурга, Галанскова и др. Арестован за участие в демонстрации на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии. Отбывал срок в Тюменских уголовных лагерях. В 1975 г. эмигрировал во Францию.

<sup>86</sup> Красин Виктор Александрович (род. 1929) — узник ГУЛАГа. Участвовал в правозащитном движении. Был арестован в 1972 по делу о «Самиздате» и «Хронике текущих событий». Во время следствия по этому делу вместе с П. Якиром сотрудничал с КГБ; во время пресс-конференции, передававшейся по телевидению, каялся в участии в правозащитном движении. Получил легкий приговор (ссылку в г. Калинин). Эмигрировал в США в 1975 г.

<sup>87</sup> Карбышев Дмитрий Михайлович (1880–1945) — советский военнопленный генерал, которого нацисты, раздев догола, поливали водой на морозе в концлагере Маутхаузен, пока он заживо не превратился в ледяную глыбу.

<sup>87</sup> Платонов Андрей Платонович (1899–1951) — русский писатель, один из наиболее самобытных по стилю и языку.

<sup>89</sup> Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель, композитор, художник.

<sup>90</sup> Маргарита Наваррская (1492–1549) — французская писательница, королева Наварры, покровительница гуманистов.

<sup>91</sup> Хемингуэй Эрнст Миллер (1899–1961) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе: «Старик и море» (1954).

<sup>92</sup> Ивлин Во (1903–1966) — английский писатель, автор «Пригоршни праха».

<sup>93</sup> Борис Соколов — автор книги «Тухачевский».

<sup>94</sup> «Лунин» (1970 г.) — книга Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989) о декабристе Мих. Серг. Лунине.

<sup>95</sup> Личность не установлена.

<sup>96</sup> Шрагин Борис Иосифович (1926–1990) — философ, диссидент, участник правозащитного движения. Эмигрировал в США в 1974 г.

<sup>97</sup> Алик, Гинзбург А. И. — см. выше. Людмила Ильинична — мать А. И. Гинзбурга. Арина (Ариша) Жолковская-Гинзбург — его жена.

<sup>98</sup> Эрих-Мария Ремарк (1898–1970) — нем. писатель. Автор произведений «На западном фронте без перемен», «Три товарища» и др.

<sup>99</sup> Стержень — внутренняя трубка шариковой ручки. Стержни заряжали чернильной пастой и вставляли во внешний контейнер шариковых ручек, которые были серьёзным дефицитом и стоили дорого. Наличие таких стержней значительно снижало стоимость ручки и вес бандероли.

<sup>100</sup> Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель периода Серебряного века русской литературы.

<sup>101</sup> Мария Колесникова и Михаил Колесников — авторы книги «Рихард Зорге», ЖЗЛ, 1971 г.

<sup>102</sup> Машка — Мария Ильинична Слоним (Литвинова), соседка и друг семьи Габай.

<sup>103</sup> Меша Селимович (1910–1982) — боснийский, сербский писатель.

<sup>104</sup> Гранин Даниил Александрович (род. 1919) — русский советский писатель и общественный деятель.

<sup>105</sup> Карякин Юрий Федорович (род. 1930) — литературовед, писатель-публицист, общественный деятель.

<sup>106</sup> Описка Ильи. Следует читать: **прописка** (разрешение жить в определенном городе по определенному адресу). (Выделено мной — Г. Г.-Ф.)

<sup>107</sup> ЖК, жэк — жилищная контора, административное управление жилыми домами.

<sup>108</sup> Имеется в виду осуждение В. Буковского на 7 лет лишения свободы с последующей ссылкой на 5 лет. В 1976 г. советская администрация обменяла его на коммуниста Карвалана.

<sup>109</sup> Фицджеральд Фрэнсис Скотт (1896–1940) — американский прозаик. Автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна».

<sup>110</sup> Элиот Томас Стернс (1888–1965) — американско-англ. поэт-модернист, драматург, литер. критик.

<sup>111</sup> День рождения Алешки.

<sup>112</sup> Выделенный курсивом текст — шифровка. Дело в том, что за несколько недель до этого свидания, в беспокойстве, что Илья в лагере голодает и не имеет возможности купить себе еды, я послала ему бандероль, запрятав деньги в коробку табака «Золотое руно». Предупредить Илью об этом никакой возможности не было. Когда он доставал из коробки табак, из него выпала «десятирублевка», чего он не мог предвидеть и никак не ожидал. Но это видел один из его сокамерников, бывший в той же комнате. Через некоторое время этот сокамерник, в надежде получить какие-то льготы от начальства, донес, что жена присылает Илье деньги в коробках с табаком «Золотое руно». Когда я приехала 26 февраля на свидание, меня уже ждал дежурный, который, сказав: «Ага! Вот оно!», сразу же взялся за «Золотое руно», оставив без внимания все остальное. Найдя деньги, дежурный попросил меня написать объяснительную записку с указанием роли Ильи во всем этом. Разумеется, я написала, что это была целиком моя инициатива и что Илья ничего об этом не знал, что было сущей правдой. При обыске присутствовал охранник старшина Пронин, по прозвищу «Ноздря», которого я видела в прежние мои приезды и который в один из прошлых приездов дал мне знать, что комната свиданий прослушивалась. Меня провели в комнату свидания, на что я уже не надеялась после случившегося. Всё привезенное с собой, включая вскрытую коробку с табаком, мне разрешили взять на свидание без препятствий. Во время свидания Илья сказал мне, что у него тоже потребовали объяснительную записку. После свидания, когда я проходила через дежурку, я увидела там старшину Пронина. Он был один и сделал мне знак «Тихо», достал из папки какие-то документы и молча показал их мне. Это были наши с Илюшей две объяснительные записки. Он их порвал и выбросил. Поскольку это произошло уже после свидания, Илья об этом не знал. В письме с дороги я, пользуясь сходством фамилий и спецификой названия табака, написала Илье: «Забыла тебе сказать, что Владик Пронин на моих глазах порвал твою и мою диссертации об изысканиях аронавтов в Колхиде». На это сообщение Илья в приведенном выше письме от 6/III-72 г. также отвечает мне шифровкой. Выделенный курсивом текст читай: «*Не расстраивайся по поводу обыска. Узнал от Бондаренко, начальника лагеря, что поступок Пронина не помешал ему прочитать наши объяснительные записки, но он не очень рассердился, и инцидент можно, наверное, считать исчерпанным.*»

В иерусалимском сборнике в примечании об этом эпизоде с табаком и деньгами изложена легенда, в которой есть и «оплошность», и «опер», и «тревога». На самом деле ничего этого не было. Здесь изложены обстоятельства, имевшие место в действительности. Более подробно об этом случае можно прочитать в очерке Г. Габай-Фикен «Золотое руно», см. сб. Алика Толчинского «Рояль по имени Иннокентий», стр. 348–352., изд. M-Graphics Publishing, Boston, USA, 2007.

<sup>113</sup> Тут же сделана словесная поправка Ильи «март. Это последнее письмо Ильи Габая жене из Кемеровского лагеря.

<sup>114</sup> Таня Баева (Татка) — друг Ильи Габая. Правозащитница. Свидетель на процессе И. Габая и М. Джемилева (см. ниже воспоминания Д. И. Каминской).

<sup>115</sup> Владимир Соловьев, «Рыжий» (ныне покойный) — институтский друг Ильи Габая.

<sup>116</sup> Борис Парникель — знакомый семьи Габай.

<sup>117</sup> Юрий Павлович Диков, друг Ильи Габая.

<sup>118</sup> Ширяева Наталья Владимировна (1922 –200?) — историк, дочь меньшевика В. К. Икова, друг и сотрудник И. Габая по Институту народов Азии и Африки. Принимала участие в правозащитном движении: подписывала письма в защиту политзаключенных. Поместила в 10-м выпуске «Хроники текущих событий» свою статью о Михаиле Петровиче Якубовиче. В иерусалимском сборнике (1990) письма И. Габая из лагеря к Нат. Вл. были помечены только ее инициалами «Н. В.». Настоящий сборник пополнен еще двумя письмами, копии которых Нат. Вл. в 1994 г. подарила Галине В. Габай-Фикен с пожеланием включить их в следующее издание книги «нашего Илюши, человека с Богом в душе» (слова Н. В. Ш.).

<sup>119</sup> Б. — Бондаренко, начальник лагеря.

## ЕЛЕНЕ ГИЛЯРОВОЙ

Октябрь 1970 г. \*\*1

Кемерово

Дорогая Леночка!

Слушай, или тебе так везет на житье в местах с патриархальными названиями? Коньково-Деревлёво — это ведь звучит как Старая Пустынь, как Новый Афон и Старый Иерусалим! (...) я, как только пошью себе визитку, так и заеду к тебе (и мужу твоему). Я даже всякие там маниловские прожекты конструирую. Главным образом, как мы с тобой славно поговорим. Ведь к моему приезду срок нашего с тобой знакомства будет исчисляться — не много-не мало — 15-ю годами. Как подумаешь про воду, которая все течет. (...)

Книга о переводах, которую ты описываешь, и в пересказе очень интересна! Жаль, что мне ее по существующим законам никак не получить сейчас. Ты не помнишь, кто сравнивает переводы 66-го сонета Пастернака и Маршака<sup>2</sup>? Не Толя ли Якобсон? У него, говорят, прекрасная статья по этому поводу. (...)

Пушкинская эпоха, которой ты собираешься заниматься, — это то, что мне бы сейчас очень подошло. Эта эпоха, по-моему, самая нефанатичная (даже в радикальных случаях), лишена неистовства и ненавистничества. Но я опять же сужу поверхностно, по тем случайным материалам, которые отложились в голове.

Ты, наверно, знаешь, что я привез с собой кучу книг — особенно по философии. Вот потихоньку я их и усваиваю. Постиг уже в отрывках, что такое брахман-атман, восьмеричный путь спасения и даосизм и кто такой пурушу. Не могу сказать, чтобы при имеющихся у меня условиях чтение шло легко и продуктивно, но меня увлекает и сам процесс неглупого чтения, ну и сознание участия в этом процессе — тоже.

Чтобы не забыть. Читала ли ты в 1-м номере «Вопр. литературы» статью Апта о его работе над переводом «Иосифа»<sup>3</sup>? Это, собственно, последнее из того, что я могу тебе порекомендовать: больше я ничего не читал и уповаю теперь только на 71-й год, на который я подписал множество журналов (...)

Октябрь, 1970 \*\*

Кемерово

Лена да Валерик!<sup>4</sup>

Спасибо на письме: очень ревностно ждал его, часто выходил на дорогу в старомодном ветхом шушуне<sup>5</sup>. Ну и, понятное дело, очень обрадовался, когда дождался.

(...) Писать (поэзы) хочется, но в такой обстановке не очень-то это реально. У меня есть громадные тексты (из тюрьмы привез) и, наверно, получилось бы что-нибудь и путное, если бы я по своей всегдашней мания грандиозе не замахнулся бы чуть не на Мильтоновские замыслы<sup>6</sup>. Тем не менее, есть с чего начать, если через год только не буду уже думать совершенно иначе (и так бывает).

Статью Каверина<sup>7</sup> я не читал и не прочту, как и «Сто лет одиночества»<sup>8</sup>. То есть пока, в ближайшие 19 месяцев, не прочту. Конечно же, Лена, последний том «Былого и дум» — щемительная, горькая книга. Да и вообще весь ее заграничный отдел — с рассуждениями о Прудоне<sup>9</sup> — человеке и теоретике, об Энгельсоне<sup>10</sup> (кажется, так?), все это кружение старых революционеров, счеты, дразги, Гарибальди<sup>11</sup> среди них — все это забирает целиком и полностью. «Вехи»<sup>12</sup> после этого (а я было незадолго до отъезда из Москвы увлекся ими) — вторичны и, главное, совсем не выстраданы лично. (...)

\* \* \*

Ноябрь 1970 \*\*

Кемерово

(...) Сейчас я домучиваю Плутарха: осталось две, довольно известные, биографии — Александра и Цезаря (третьего томика у меня нетути). Слово «домучиваю» я выбрал не случайно. Начал-то я читать с интересом, а потом интерес притупился, и вот почему. Прежде всего, биографии, по-моему, очень уж похожие: сплошные военные забавы с обилием поверженных, казненных, предсказаний, затмений, подкупов, измен — словом, как раз той части человеческой жизни, которая меня всегда интересовала меньше всего (после, разве что, физико-технических наук). Банально, но я в первом чтении «Войны и мира» пропустил все, что относится к Шенграбену, Аустерлицу и Бородину. Кроме того, прославленная психологичность Плутарха показалась мне довольно ограниченной: очень небольшой набор психологических типов с моралью, умещающейся в кодексе чести эвпатрида (патриция). Да и греки, тем более римляне у него разочаровывают: много у них

восточных церемоний, детской погони за триумфами и трофеями. То, что я читаю параллельно: куски греческих философов — никак не отражено у Плутарха. Жизнеописание Сократа (личности с действительно нравственными страстями) у него и невозможно. Вообще, я, кажется, подхожу к мысли, что Перикловы<sup>13</sup> Афины, очень может быть, и негреческое явление. Даже войны, политика с чувством общегреческого, а не локального патриотизма. А уж о интеллигенции того времени я в этом смысле и не говорю. Эврипид или тот же Сократ, по-моему, такие же негреки, как Бах или Шиллер — не немцы. Греки, в конечном счете, так же тяготели к спартанскому идиотизму, как немцы к Мольтке<sup>14</sup>, Бисмарку<sup>15</sup>, а потом уж и к деятелям Ш рейха. (...)

Стихи мы с вами непременно почитаем, если будем живы и малость благополучны. Если бы мне такая возможность представилась бы сейчас, я прочитал бы то, что сейчас люблю больше всего: пушкинские «Подражания Корану» и тютчевские «Два голоса». Вот сами посудите по отрывкам: «Мужайся ж, презирай обман, Стезею правды бодро следуй, Люби сирот и мой Коран Дрожащей твари проповедуй». Вот тебе и вся этика, уложенная в такие щемящие и обычные слова. Это — простота, с которой можно исчерпать «смысл философии всей», — наверно, так же утрачены, как секреты рукоделья и ремесел. «Август», «Гамлет», «Гефсиманский сад»<sup>16</sup>, «Реквием»<sup>17</sup> (кусками) — какие-то неожиданности в этом плане.

(...) А у Тютчева<sup>18</sup> вот сразу же какие строки: «Мужайтесь, о други! Боритесь прилежно. Хоть бой и упорен, Борьба безнадежна. Над вами светила молчат в вышине. Под вами — могилы. Молчат и оне...» Пронзительно (извини за неточное слово: не нашел). (...)

\* \* \*

17/XI-70\*\*

Кемерово

(...) Гера присылал мне пару стихов Д. Самойлова, одно из них — о чувстве света у слепых — мне понравилось, но очень может быть, что я уже об этом писал. — Склероз! Я сейчас пытаюсь вспомнить стихи, которые я у него запомнил. Их немало, но все как-то были событиями, особенно «Пестель, Анна и поэт» и «Баллада о маленьком цензоре» (так, кажется?). Хорошо бы, если б он и человеком был хорошим, но так это и должно быть, судя по стихам (...)

Ты хорошо объяснила про греков и про Восток. Но дело в том, что там (на Ближнем Востоке и в Индии в первую очередь) и намечилось русско-немецкое явление высокой и совестливой интеллигенции, не приемлющей современные нормы. Вспомни всех подряд биб-

лейских пророков, особенно Исайю, Иеремею, Наума, вспомни Будду и сопоставь их с утопией Платона или этическими теориями Аристотеля. У последних, конечно же, интеллектуальное преимущество, но это опять же как раз случай, отмеченный в «Докторе Фаустусе»<sup>19</sup> — случай интеллектуального высокомерия.

Перечитываю сейчас «Иосифа» (второй раз). Дочитаю и поболтаю с тобой непременно. Может, это все и претенциозно, но мне, по чести, важнее наметить какие-то мысли по этим вопросам, чем отчитаться в неважной и имеющей быть долго неважной погоде. Кроме того, никакую погоду я изменить не в силах, даже пробовать не стану. (...)

Послезавтра половина назначенного мне судом срока. Зима, весна, лето, зима, весна — глядишь и встретимся.

\* \* \*

9/XII-70 г. \*\*

Кемерово

(...) Среди книг, которые привезла мне Галя, был и сборничек Ахмадулиной<sup>20</sup>. Ну я и вспомнил ту хамскую выходку с ней во Дворце спорта. Я тогда тебя единственный раз видел плачущей; меня тоже тогда всего перевернуло. Я, по-моему, тогда впервые почувствовал в такой степени полную незащищенность таланта и интеллигентности перед толпой; еще раз в другом качестве остроты это сказалось у здания суда, где шел процесс Павла и других<sup>21</sup> (...)

\* \* \*

19/I-71 \*\*

Кемерово

(...) О Валерии А.<sup>22</sup> Я не помню, писал ли я вам, но всем, кому смог, написал о том, что получил от него письмо. Ответил я сразу же. Я потому так многим писал об этом, что факт для меня радостный и примечательный. Я ведь был уверен, что мы чрезвычайно преувеличиваем какую-нибудь мелочь, слишком уж строги к близким своя. Во всяком случае, во всей этой истории с А. меня всерьез огорчало, что он не захотел увидаться. Потом на досуге (которого было предостаточно) я уже подумал, что, может быть, это все было связано с боязнью скомпрометироваться, а как раз наоборот, — ощущение его собственной мнимой скомпрометированности. Тем более, что мы расстались в период моего

максимализма и убогой принципиальности в этом отношении. Словом сказать, я совершенно разделяю твой взгляд на все это, рад, что вы поддерживаете контакты и буду рад, ежели стихийные какие-нибудь явления не оборвут нашей с ним трудно наладившейся переписки (...).

А я в свободное время сейчас читаю третий том Монтеня и пишу. Написал 15 главок, пора как-то закругляться, что так же трудно, как и не бросить писание к черту. Наедине с собой все-таки очень трудно чувствовать, получается ли. (...)

\* \* \*

6/IV-71 г.\*\*

Кемерово

Леночка, здравствуй!

Я сию минуту дочитал роман Каверина<sup>23</sup> в первых номерах «Звезды»<sup>24</sup>. С первой страницы я был как-то уверен, что захочу тебе именно написать о нем; смешно, но я и впечатление свое почти угадал с самого начала чтения — и никакого разочарования, ни даже ощущения неестественности от всего этого: заранее определенного впечатления. Я, видать, очень нуждался сейчас именно в таком чтении; притомившись слегка от проблем или новаций (формальных) чтения последних лет, я как-то остро откликнулся на задушевность, интеллигентность да еще какую-то высшую значительность, которая обязательно есть в «просто жизни», если жизнь чиста, целомудренна, талантлива и если даешь себе труд в нее взглядеться (вчитаться). Может, действительно, просто роман пришелся ко времени и к настроению, но у меня очень после него просветленное душевное состояние и никакой охоты находить ему соответствующее место в литературной табели о рангах. Хорошо это все: и судьба, и «страдание сердца», и не бьющая в глаза ностальгия, вплоть до такой русскоинтеллигентной приметы, как чахотка. А все остальное (привезенное из книг, в том числе «Былое»), я пока только просматривал. За «Былое» сразу же и возьмусь, успею — так прямо сегодня. С приобретением всех этих книг («Лунин» здесь тоже есть) должно встать на место и мое журнальное чтение. Я до этого прочитывал их, журналы, от корки до корки — а это уж занятие досужее, при моем необилии времени особенно. (...)

\* \* \*

21/IV—71\*\*

Кемерово

Леночка и Валерий!

25-часовые сутки — это и верно было бы недурно, и 30-часовые, не мешало бы, хотя все это и несколько удлинит мой срок. Что-то становится с каждым днем не легче; так, наверно, и придумано: кого втянуть в нормы и циклы чужой жизни, кого держать на срыве. Такие дела.

Не помню, писал ли я тебе, Лена, о том, что, читая в «Былом» народовольческие материалы, я постоянно вспоминал «Бесов». Я думал о какой-то чертовщине: о гениальной и в то же время этически непозволительной прозорливости и пронизательности Достоевского. Это был пламень, сжигающий себя и сжигающий других; Дегаев — это, скорее всего, был срыв в таком горении, невозможность выдержать нечеловеческую требовательность, жертва обыкновенности, втянутой в такую работу, — для него во многом роль и ставка. Достоевский очень точно (в ином плане) уловил положение такой жертвы — хотя бы Кириллова. Задним числом, если ты помнишь, Камо<sup>25</sup> придумал терзание Каляева<sup>26</sup>: убивать или не убивать царских детей. Судя по материалам, для первых народовольцев просто такой проблемы не существовало. Помнишь воспоминания о Желябове<sup>27</sup> — о какой-то бездуховной именно чистоте, цельности. В их поступках ощущалось, что боги все-таки жаждут. И при этом они были прекрасны — и разобраться в этом нет никакой возможности, потому что не сочувствовать им, не быть с ними эмоционально заодно, когда все это читаешь, невозможно. Ты права, без таких поступков не только Толстой, даже Герцен свидетельствовали бы о истерии высокого умничанья — и только. В более спокойном душевном состоянии я выражу это как-то четче. (...)

\* \* \*

12/V—71 г.\*\*

Кемерово

(...) Я написал тебе в прошлый раз о народовольцах примерно так же, как думаю, но торопливо и как-то доктринерски. Конечно же, это горькая и благородная история; чем ранг меньше, тем иногда порывистее, чище, жертвеннее. Вспомнить хотя бы женщин на процессе 20, Гершковича, Любатович — жену Морозова. Еще я хочу сказать, что страна-то была, действительно, гадкая, подлая, делала все, чтобы создавать эти благородные этические двусмысленности (особенно — террор!). Карийская история меня совершенно потрясла (стыд-

но, но сахалинских работ Чехова я так и не удосужился прочесть, из-за беллетристических, «фельетонических», как сказал бы Герман Гессе<sup>28</sup>, наклонностей в прошлом). Это я к тому, что бесовский результат предвидеть легко, но у нас нет никакого морального права (что иногда делается) называть Лебедеву или Сигиду «бесами». Если судить по какому-то неэстетическому эталону, то мне (по-человечески) куда дороже гениальных «бесов» письмо Гершковича. Хотя, повторяю, в проекции эпох гениев, конечно же, прав. Я сталкивался с попыткой создать идиллию из Романовской России. Это обман все-таки (или самообман?) (...)

«Лунина» я прочел и многим уже писал о ней. Материал богатый, умный: глубоко поучительный и современный. Кажется, все духовные «метания» пересекаются сейчас через одни и те же точки: нравственная примета времени. Нескромно, но мне кажется, что и тут я как-то самостоятельно и прежде чувствовал остроту проблемы. А вдруг как жизнь толкает нас мордой в какую-нибудь конкретность — средневековый мор, например, или атомную войну — и все опять исчезнет? Но вообще «европеизм» в русской истории, католики — Чаадаев, Лунин, Печорин — мы их открываем вновь, и это самые, может быть, сокровенные страницы. «Подвиг ожидания или подвиг нетерпения». То-то! Частность: мне кажется, что он позицию Пестеля объяснил надуманно. По-моему, тут, на следствии, весь и сказался «бес», вождь: дело проиграно, а до судеб дела нет. (...)

\* \* \*

1/VII-71 г. \*\*

Кемерово

(...) Будешь ли ты или Валера в Москве числа до 10–12? Если да (только, ради бога, не специально — с оказией только!) передай мне на 4 месяца прочитанные тобой старые журналы. У меня есть один номер «Русской мысли» за 1914 год со статьями Бердяева, Л. Гроссмана<sup>29</sup>, Изгоева<sup>30</sup>, Струве<sup>31</sup>. Читать это очень интересно, а если порой даже и не очень — все равно поучительно. Хотя бы восторги и скептицизм начинают жидиться на первоисточниках, а не с чужих слов.

(...) Еще я прочитал недавно Клейста<sup>32</sup>. Знаешь, тут уж ни громкие имена переводчиков и ценителей, ни заданная серьезность никак не помогли мне. Все-таки вовремя надо читать романтическую классику, пока сам так гиперболически и максималистски воспринимаешь мир. Сейчас читаю журналы. Мне нравится роман Зигфрида Ленца<sup>33</sup>, при всем отталкивании моем от «условной» литературы — монопеса Кокто<sup>34</sup> «Человеческий голос». А вообще-то сейчас читаю мало и труд-

но: летнего времени поменьше, чем зимнего, хотя во всем остальном — какое ж сравнение этих времен года (...)

\* \* \*

7/VIII-71 г. \*\*

Кемерово

(...) Основной заповедь моих последних писем — ты это обязательно должна была заметить — жалобы на малые возможности чтения. Это и в самом деле действует угнетающе. Журналы, пока читаю, я захватываю на работу и потихоньку прочитываю их во время проверок (их набирается в общей сложности часа на два, а то и больше). (...)

\* \* \*

16/IX-71 г. \*\*

Кемерово

Леночка!

Только что написал Марку желчное письмо, наполненное не очень-то меткими и ловкими сарказмами. Мы с ним заспорили по поводу последней статьи Аверинцева<sup>35</sup> в «Вопросах л-ры» — точнее, о понимании этой статьи (точнее еще, о моем понимании его понимания — уточнения до бесконечности: гнилой интеллигизм! интеллигентный гнилизм!). Читала ли ты эту статью? Она интересна и умна — о непересекаемости античной и восточной (главным образом, библейской) литературных традиций. Аверинцев совершенно прав, по-моему, говоря об этой непересекаемости. Он применяет термины «литература» — «нелитература», оговариваясь, что они не отражают степень талантливости «нелитературы» — потому что нет строгой жанровой классификации, авторского права, м.б., и пр. Из этого (как я понял, как понял Марк) последний делает вывод, что «нелитературная» традиция несовременна. Дословно место из его письма: «В наше время мы можем функционировать только как литераторы, пророки и судьи не держали в уме возможности публиковаться в литературных журналах». Меня это глубочайшим образом задело. Во-первых, я глубоко убежден, что античная литература (в отличие от изобр. ис-в и архитектуры) не оказала серьезного влияния на мировой литер. процесс (за исключением разве, Эврипида, вообще драматургов; Платон и Аристотель не в счет). Это мемориал и действительно (прости за христоматийность) «недосягаемый образец». Ну, а главное, эта терминология очень условна: нетрудно, при непохожести образных

средств, четко различить романическую форму «Иова», хронографическую (или летописную) традицию «Книги царств и «Книги судей»<sup>36</sup>, ораторский жанр пророков, лирическую завершенность «Песни песней», — я уж не говорю об общем пути мифотворчества (их миропонимание, конечно, легло в основу мифов) и уж совсем не говорю о самом главном — о выявлении человеческих трагедий и судеб в характерах — Эдипа, Самсона, Одиссея, Иакова, Иосифа, Рахили, Гекубы и т. д. Казалось бы, что мне Гекуба — а вот задело, и второе письмо посвящено этому. Отзовись на все это, мне это все-таки важно. (...)

\* \* \*

9/X-71\*\*

Кемерово

(...) В последнем из пришедших ко мне «Новых миров» есть статья Баткина<sup>37</sup> об итальянском ренессансе. Она очень многое мне прояснила — то есть дала некоторые исходные, дотоле неведомые. Хорошее сейчас гуманитарное время — во всяком случае для академической части неестественных наук (неестественных! Каково? Нечаянный ляп). Из беллетристики меня тронула последняя повесть Ю. Трифонова. Я, кажется, малость оброс сентиментальностью — меня очень трогают в последние годы именно такие, судебные, книги. Опять получился нелукавый ляп: судебные — в смысле о судьбах. (...)

\* \* \*

27/XII-71\*\*

Кемерово

Леночка!

Я уж не помню, как я расклеивался прежде, сейчас я маленько гриппую, как очень многие у нас, как-то странно — больше костями или мышцами. Чего-то ломит всего, неделю, а то и больше; но это не мешает ясности головы, а потому и бодрости.

До Вулфа<sup>38</sup> твоего я все еще не добрался — все собираюсь духом. Перечитал Борхерта<sup>39</sup> и Платонова, прочел книжку о религиях Востока (скучную — упаси бог: не о религии, а о религиозной политике и политике вообще — словом, о притязаниях и посягательствах клерикалов), еще прочел писательницу Хух<sup>40</sup> да роман о Рембрандте — кажется, и все из привезенного, не считая журналов, поступающих время от времени.

(...) Погрустил о смерти Твардовского: с ним было связано многие годы ощущение глубокой, народной даже, порядочности, и стихи его — иногда ближе, иногда дальше — но задевали всегда. Вот и последние, многоразды цитируемые, но такие пронзительные: «И не о том же речь, что будто мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же...» (...)

\* \* \*

7/II-72 \*\*

Кемерово

Леночка!

Когда это письмо отойдет, мне останется по календарю сотня дней. Срок вполне наполеоновский; чувствую я себя, признаться, тоже препаршиво — как Бонапарт перед Ватерлоо. Какой-то винтик в организме сдал маленько: частенько похварываю и чувствую некоторый упадок. Перемелется с первым солнцем, надо думать. (...)

Из современного прочитанного запомнилась хлесткая статья Чудаковой о языке наших прозаиков в первом номере «Нового мира». Приметлива, и еще чувствуется тоска по человеческой манере видеть, чувствовать и излагать. Поверишь ли, я как-то слушал краем уха известные стихи Исаковского «Враги сожгли родную хату». Вот рифмами я объелся, и Исаковский уже никогда не станет поэтом, близким хотя бы в какую-то минуту — а вот почувствовал какую-то достоверность и правомерность простоты хотя бы и в ретроспективе. (...)

\* \* \*

3/III-72\*\*

Кемерово

Леночка!

Я пишу, наверное, мало и скверно. Сейчас пять часов утра, жутко хочется спать и вообще весь разбитый и туго ворочаются мозги. Надо бы отложить, но я и так пропустил одно письмо, а если не напишу сегодня, то письмо уйдет только через 3–4 дня — совсем уж бессовестно.

Прочитал посланные тобою стихи Бродского. Хотел прочесть внимательно, вдумчиво, но ни с вниманием, ни с отзывчивостью пока ничего не получается. Придется отложить, как и многое другое.

Я сразу же прочел переданную тобой книжку о Перикле. Все время ощущение такое, что позабыл, что читал куда больше, чем написано в книге, только когда-то. У него, автора, единственная неожиданная

(нрзб.) позиция — Аристид<sup>41</sup> — Фемистокл<sup>42</sup>. Это не борьба аристократическо-гоплитовской и морской, устаревшей политической порядочности со стихийным маккиавеллизмом. Еще там намечается — намекается кусок, когда Перикл «пережил свои желанья, разлюбил свои мечты», народились цепкие и циничные ребята. (...)

### Примечания:

<sup>1</sup> Письма, помеченные \*\*, опубликованы в сборнике «Илья Габай. Выбранные места», составитель Г. С. Эдельман. Москва, изд. «Весть», 1994 г.

<sup>2</sup> Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — выдающийся детский поэт, переводчик.

<sup>3</sup> Роман Томаса Манна «Иосиф и его братья».

<sup>4</sup> Валерий Эдельман, муж Е. Гиляровой.

<sup>5</sup> И. Габай цитирует стихотворение С. А. Есенина (1895–1925) «Ты еще жива, моя старушка» («...что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне».).

<sup>6</sup> Мильтон Джон (1608–1674) — англ. поэт, полит. деятель, автор «Потерянного рая».

<sup>7</sup> Каверин Вениамин Александрович (1902–1989) — советский писатель, автор популярного романа «Два капитана».

<sup>8</sup> «Сто лет одиночества» — роман Габриеля Гарсиа Маркеса (род. 1927 г.).

<sup>9</sup> Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) — франц. теоретик анархизма.

<sup>10</sup> Энгельсон Владимир Аристович (1821–1857) — российский революционер.

<sup>11</sup> Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии. Боролся за объединение Италии.

<sup>12</sup> «Вехи» — сборник статей о русской интеллигенции (1909 г.).

<sup>13</sup> Перикл (490–429 гг. до н. э.) — афинский политич. и гос. деятель, оратор и полководец.

<sup>14</sup> Хельмут Карл Бернхарт фон Мольтке (1800–1891) — германск. генерал-фельдмаршал, русский генерал-фельмаршал, один из основателей герм. империи.

<sup>15</sup> Отто фон Бисмарк (1815–1898) — полит. и гос. деятель, один из основателей герм. империи, первый канцлер герм. империи.

<sup>16</sup> «Август», «Гамлет», «Гефсиманский сад» — стихи из романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

<sup>17</sup> «Реквием» — поэма А. А. Ахматовой.

<sup>18</sup> Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — русский поэт, дипломат.

<sup>19</sup> «Доктор Фаустус», роман Т. Манна.

<sup>20</sup> Ахмадулина Белла (1937–2010) — русская поэтесса.

<sup>21</sup> См. выше очерк «У закрытых дверей открытого суда».

<sup>22</sup> Имеется в виду В. Агриколаянский.

<sup>23</sup> Роман В. Каверина «Перед зеркалом».

<sup>24</sup> «Звезда» — советский литературный журнал.

<sup>25</sup> Камо — Тер-Петросян Левон Акопович (1882–1922) — большевик, соратник В. И. Ленина и И. В. Сталина.

<sup>26</sup> Каляев Иван Платонович (1877–1905) — член террористической группы эсеров, убивший генерал-губернатора Москвы вел. кн. Сергея Александровича Романова (дядю царя Николая II). Во время первого покушения он

не бросил бомбу, увидев в карете двоих детей, племянников, сидевших рядом с вел. кн. Об этом эпизоде также пишет позднее в своих мемуарах «Воспитание великой княжны» одна из этих детей, вел. кн. Мария Павловна Романова (мемуары на фр. и англ. языках). После второго, удавшегося покушения, был повешен. Его именем в советское время была названа улица (Каляевская).

<sup>27</sup> Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — народоволец, один из организаторов убийства царя Александра II (1881 г.). Был повешен как цареубийца.

<sup>28</sup> Гессе Герман (1877–1962) — нем. писатель, автор романа «Игра в бисер».

<sup>29</sup> Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — русский литературовед. Занимался исследованием творчества Достоевского. Оставил огромную переписку с К. И. Чуковским.

<sup>30</sup> Изгоев Александр Соломонович (1872–1935) — публицист, социолог, общественный деятель. Состоял в партии кадетов. В 1922 г. выслан из России.

<sup>31</sup> Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — российский политич. деятель, философ, экономист, историк. Эмигрировал в 1920 г. Создатель журнала «Возрождение».

<sup>32</sup> Генрих фон Клейст (1777–1811) — нем. драматург, поэт и прозаик.

<sup>33</sup> Зигфрид Ленц (род. 1925) — нем. писатель, драматург, автор романа «Урок немецкого». Лауреат премии Льва Копелева.

<sup>34</sup> Жан Морис Эжен Клеман Кокто (1889–1963) — фр. писатель, художник, режиссер.

<sup>35</sup> Аверинцев Сергей Сергеевич (род. 1937) — современный филолог, историк культуры, библиист, критик, переводчик.

<sup>36</sup> «Иов», «Книга царств», «Книга судей», «Песня песней» — части Ветхого завета.

<sup>37</sup> Баткин Леонид Михайлович (род. 1932 г.) — российский историк, литературовед, общ. деятель. Исследователь эпохи итал. Возрождения.

<sup>38</sup> Томас Клейтон Вулф (1900–1938) — амер. драматург и прозаик.

<sup>39</sup> Вольфганг Борхерт (1921–1947) — нем. поэт и прозаик.

<sup>40</sup> Рикарда Хух (1864–1947) — нем. писательница, поэтесса, философ и историк.

<sup>41</sup> Аристид (ум. около 468 г. до н.э.) — афинский гос. деятель и полководец.

<sup>42</sup> Фемистокл (525–460 г. до н.э.) — афинский полит. деятель, полководец.

## АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ

21/II-72 г. \*\*

Кемерово

Дорогие Алик и Ариша<sup>1</sup>

Я так рад был получить от Вас совместную (именно) открытку, что считаю нужным немедленно довести до Вашего сведения свои премудрые надежды: тьма рассеется, чад сгинет и непонятное станет понятным. Был бы свежий воздух, возможности безграничной ходьбы, ощущения себя в своем кругу — словом, «тысяча мелочей», которые, мне кажется, после долгого их отсутствия никогда не должны приесться. Я действительно надеюсь, что все будет хорошо, что Алик подремонтируется, что хлопоты улягутся — словом, я еще и еще раз надеюсь, что все будет хорошо.

В Тарусе я был однажды — возил детей по приокским местам, точнее, водил в походы. Она в этих местах для меня до сих пор самое ласковое место, хотя тогда Поленово меня больше заинтересовало. Это произошло по двум причинам: я боялся восторгов под Паустовского<sup>2</sup>, а, главное, мало понимал природу. Последнее — предмет моей постоянной сокрушенности; надеюсь, что я немного исправился хоть в этом отношении. С нами в Тарусе именно произошли забавные эпизоды, я их пытался рассказывать, бывало, но всегда оказывалось, что они забавны только для участников того давнего похода, поэтому избавляю вас от этого рассказа. Только напишите мне, жива ли коза (или козел? Я ведь совсем профан в природе), которая без билета и без хозяина утром отправлялась на паром на противоположный берег, а вечером возвращалась к родным местам?

Мне трудно что-либо писать о себе. Ну, живу, ну, стараюсь читать и не ходить по субботам на фильмы. Негусто с событиями, но это, пожалуй, и к лучшему. Будет время и силы — напишите еще разок-другой: мне-то еще три месяца срока. Ну, не будет, не напишете — я не обижусь, понимаю, что у вас много забот. Очень желаю вам доброго настроения, устройства к лучшему и (главное) хорошего самочувствия. Обнимаю вас обоих и Людмилу Ильиничну!<sup>3</sup>

Ваш Илья.

13/III-72 г. \*\*

Кемерово

Дорогие Алик и Ариша!

Спасибо за весточку. Предложение ваше — заманчивое, пленительное, головокружительное — не счесть эпитетов. Наверно, под финиш непреложно появляется такое состояние, но даже кажется, что оно и несбыточное, мечта-с, утопия-с. (...) У меня почему-то появилось острое желание посетить на несколько дней город своего детства — Баку<sup>4</sup>, пока не исчезли окончательно старые районы. Не знаю, с чем это связано уж — с подступающей старостью, с духом, ослабевшим и доступным сентиментальности — но вот очень хочется. (...)

Во всех случаях я радуюсь вашим радостям. «Тихо, покойно, душа очищается» — по-моему, этого должно хватить надолго, то есть, я хочу сказать, дать длительное ощущение довольства жизни. Может, и не утопия-с, может, и я хочу рядом с вами тишины и покоя? Славно бы! (...)

#### Примечания:

<sup>1</sup> Ариша — И. С. Жолковская, жена А. И. Гинзбурга.

<sup>2</sup> Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — русский писатель. Один из составителей сборника «Тарусские страницы» (1961 г.). Выступал с требованием политической и литературной реабилитации писателей и поэтов, репрессированных в сталинские годы. Нобелевская премия по литературе за 1965 год была присуждена ему, но в результате интриг Советского Союза была отдана Михаилу Шолохову.

<sup>3</sup> Людмила Ильинична — мать А. Гинзбурга.

<sup>4</sup> Это желание Илье удалось осуществить: летом 1972 года он побывал в Баку. Спустя год с небольшим был там похоронен.

## ГАЛИНЕ ГЛАДКОВОЙ<sup>1</sup>

21/I-71 г. \*\*

Кемерово

(...) Ты очень хорошо, с большой добротой написала о Зиманах. Я вполне, полностью разделяю твое ощущение. Именно такое, как у этой семьи, желание добра людям и делает нашу жизнь уютной и человеческой. Все есть куда — по крайности какой — приклониться душой. (...)

Я не помню, писал ли тебе, что получил открытку от А<sup>2</sup>. Ты, впрочем, помнится, особенно не была с ним близка и в лучшие, институтские, времена. Но здесь еще вопрос и принципиальный: мы как-то (я особенно) торопились с максималистскими выводами, а дело сложнее, как и сама се ля ви. Людей не так много и не приведи бог пробросаться из-за игры в строгую мораль.

А я живу свободным временем: читаю себе, пишу письма и еще пишу. Вот только последнее как-то не очень достоверно: не на ком проверить. Каково оно вам всем покажется? Вот вопрос. (...)

\* \* \*

3/III-71

(...) А кем это, Галка, сказано: «Не позволяй душе лениться?» Именно **душе**<sup>3</sup> — на все остальное хватает времени и забот как-то. И то сказать — на всякое душевное движение хватает литературоведов в штатском; надо бы не замечать, но как не замечать — сил нет.

Что это ты так засокрушалась о возрасте? Вместе старимся, и хорошо бы дотянуть, подруга, это «вместе» до благородной преклонности в годах. Вот тебе «Смотрю на малыша»<sup>4</sup>... и наш добрый мэтр (ныне тоже «штатский») С. С. и много чего — неизменно милого с такой большой временной дистанции. И ты уж, по законам старой дружбы, будь себе турком, сколько тебе заблагорассудится: жалуйся, то есть.

Между прочим, какая-то еще одна телепатическая примета: приведенные тобой пушкинские строки «И с отвращением читая жизнь мою»... у меня торчат в качестве эпиграфа к одной из глав. Это потому, что тема-то неизменно моя, если ты помнишь. (...)

20/III-71 \*\*

Кемерово

(...) Спасибо на добром слове о моем отрывке — мне оно ведь очень нужно, тем более — от тебя и еще не очень многих людей — моих (надеюсь) пожизненных читателей. Только отрывок есть отрывок. Такой «глуховатости» тона я во всей большой довольно вещи не выдержал, да и не стремился к этому, как и не пытался вообще выбирать какой-то тон. Нерв в поэме есть, и чувствительность, кажется (о чем я, по-моему, должен и сожалеть, но о том — ниже). Я, конечно, иронизировал всю над собой, но, боюсь, местами прорвалась плаксивая интонация. Можно и почистить, но не знаю, лучше ли это будет или хуже; во всяком случае, это может оказаться не очень-то честным отражением нынешнего настроения. Олимпийский тон, как ты помнишь, мне и вообще был несвойственен, а сейчас — тем меньше оснований. «Жить помедленнее, попристальнее» и верно надо бы, но мы ведь **живем**, и никуда нам не деться от мелочей и, словом, «проблем». (...)

\* \* \*

25/V-71 \*\*

Кемерово

(...) Твои стихи о Новолесной для меня — нить памяти. Слово-то хорошее и точное: «лицейских». Как бы его вновь и ненасильственно обрести нам — дух лицейской беззаботности и любви к веселому слову? Очевидно, все-таки это уж невозможно, и нам следует принимать друг друга новыми — озабоченными и утомленными. (...)

\* \* \*

27/VI-71 \*\*

Кемерово

(...) Ты мне вот что скажи: столько хороших, милых, веселых людей было! Куда они все деются, как лебеди зимой? Вспомнишь — и снова не очень-то весело.

Помнишь, в «Записках из подполья»<sup>5</sup> рассуждение о поведении при зубной боли. Это письмо по тому же разряду. Я его пишу в несколько смятенном состоянии. Не следовало бы делать: тебе и самой забот хватает, но другой день выкроить тоже непросто. (...)

6/VII-71\*\*

Кемерово

(...) У меня до сегодняшнего дня был какой-то запас времени для чтения и писания, хотя это стоило мне серьезных физических усилий. Сейчас это все поломалось, и я очень жалею, что не успел прочесть большую часть книг. С каким-то душевным волнением — сентиментальным даже, если произносить со значением, с вызовом — я прочел роман Каверина<sup>6</sup>. Это все-таки радостно — погружаться в благородство, в чистоту, в просто жизнь, даже когда это выражено негромко. (...)

#### Примечания:

<sup>1</sup> Гладкова Галина Александровна (род. 1940) — поэт, институтский друг, редактор издательства «Малыш» (Emeritus).

<sup>2</sup> Имеется в виду В. С. Агриколянский.

<sup>3</sup> Выделено И. Габаем.

<sup>4</sup> Строка из стихов Г. Гладковой.

<sup>5</sup> «Записки из подполья» (1864) — повесть Ф. И. Достоевского (1821–1881).

<sup>6</sup> Роман В. Каверина «Перед зеркалом».

## СЕМЬЕ ЗИМАНОВ

18/VIII-70\*\*

Кемерово

Дорогие бабушка и родители Анечки!<sup>1</sup>

Сколько же можно не подавать о себе вестей? Я жду месяц, два, пять, десять, а вы не можете ни позвонить, ни приехать. Я еще понимаю Лёню: у него все-таки министерские заботы, коллегия, план горит. Но вы-то, милые женщины, как вы-то можете так быстро и легкомысленно позабыть обо всем. Единственная надежда — Анька. Уж она, надеюсь, не подведет; уж она, уверен, все напишет.

Чем я занимался все эти месяцы? Тем же, чем любимые герои Лени из кинофильма «Ехали мы, ехали». Ехал и ехал, в перерыве читал (много, но всегда то, чего хотелось бы). И почему-то каждый раз вспоминал, как Леня после «8 ½»<sup>2</sup> три раза с упоением смотрел «Ехали мы, ехали».

Я часто и благодарно вспоминал вас всех и надеюсь, что вы не оставите меня своей дружбой. Но принципиально не буду вас ничего просить — все просьбы адресую только Аньке. Единственная моя просьба: будьте здоровыми, веселыми и молитесь за меня. Жду от вас письма и надеюсь, что небо ниспошлет мне легкое настроение ответить на него достойно. Обязательно отложите производственное совещание в министерстве, все заботы и хлопоты по дому и семье и напишите искренне любящему вас всех Илье.

Леня! Мне хотелось бы, если в этом есть необходимость, чтобы ты довел до сведения знакомых, что Владик никак не заслужил никаких нареканий и вел себя с абсолютным достоинством...

\* \* \*

Дорогая Аннушка!

У меня к тебе есть большие просьбы.

1. Напиши мне сразу же большое письмо.

2. Если у тебя еще есть возможность и ты будешь покупать книги (например, Аннуя<sup>3</sup>, Дюренматта<sup>4</sup>, первую серию «Всемирной литературы»), думай каждый раз: не забыла ли я адрес: Новолесная<sup>5</sup> и пр.

3. Оставь на этот же адрес открытки в магазинах Академии, на издания издательства «Искусство» (особенно на зарубежных драматургов).

4. Если ты встретишь своего товарища по 170 школе — В. отбери у него открытку на «Иудейскую войну» Флавия.

5. Главная просьба: пожалей бедного Берлиоза и не проливай подсолнечного масла.<sup>6</sup>

Сделай все это, Аннушка, и я тебя полюблю еще сильнее, несмотря на твое претенциозное отчество.

Жду твоего письма и целую тебя. Илья.

\* \* \*

2/X-70 г. \*\*

Кемерово

Здравствуйте, дорогие пушкинцы!

Я, кажется, нашел магическое слово: достаточно крепко выругать Леню и Аллу<sup>7</sup> — и на следующий день приходит от вас письмо. (...)

А новостей-то, а новостей! Единственное, что меня утешает, — это то, что волей моей жены я с нового года подписан на два экземпляра журнала «Театр». Надеюсь, по-кутейкински: не в одном, так в другом будет что-нибудь интересное.

(...) Запрячь Серко мне пока не удастся, но будем надеяться, что жизнь все-таки пойдет на коне любимого стихотворения Лениного детства:

«Ничто нас в жизни не сможет

Вышибить из седла...»

Какой это был урок в Парфеновской школе,<sup>8</sup> Аллочка, если бы ты только знала! Леня был вдохновенен и искренен, не то, что сейчас, когда он врет мне в утешение, что «Преступление и наказание» — плохой фильм. (...)

\* \* \*

22/X-70 г. \*\*

Кемерово

Б. И. Шлифштейн<sup>9</sup>

Дорогая Белла Исааковна!

Вы, конечно же, пунктуальны, верны и точны. Ваше письмо пришло позавчера, и если бы на следующий день не пришли бы письма от Лени

и Аллочки, — не миновать бы какому-нибудь антипедагогическому выпадку с моей стороны.

«Аннушка! — написал бы я, например. — Я твоих родителей, можно сказать, на руках таскал (ты себе можешь представить, Аннушка, каков подвиг: таскать на руках твоего папу. Видит бог, что он всегда был скорее Санчо<sup>10</sup> и Ламме Гудзак<sup>11</sup>, чем наоборот). Я их поставил на ноги (ты себе можешь представить, Аннушка, что это такое — ставить на ноги людей, вечно спотыкающихся в простейших вопросах синтенбаллтонколобомонторон-оронтетики). И вот — черная неблагодарность. Самая черная. Как бархат у Станиславского. Уж лучше бы, Аннушка, ты была не Леонидовной, а кем-нибудь еще. И какое лицемерие говорить после этого о Фелини, потоке сознания и премьере Детского театра. Какое ханжество! И эти люди смеют трепать светлые имена Шатобриана<sup>12</sup> и Розова!»

Так я себя настроил, Белла Исааковна, и знаете, на следующий день, получив письмо от Ваших детей, испытал даже легкое разочарование: кого я буду теперь бранить в сердце своем? (Это, по-моему, звучит так же патетически, как «Кому повем печаль свою?») О чем я буду теперь писать Анне? (Интимных писем я ей больше писать не стану: Вы их все равно прочитываете). (...)

Белла Исааковна! Скорей бы прошли эти 21 месяц. Пригубим мы с вами по старой привычке рюмку-другую-третью-четвертую (останавливаюсь: я еще не разучился считать до десяти тысяч двухсот двадцати трех), вспомним славные годы второй пятилетки, строительные леса, к которым я всегда чувствовал и чувствую гораздо большее влечение, чем, скажем, к сосновым, поговорим о последнем выступлении Маяковского — все будет хорошо, все будет о-очень хорошо, только Вы не болейте и не грустите. (...)

\* \* \*

20/XII-70 \*\*

Кемерово

Приветик, ребятки!

В ответ на ваши предрзостные упрёки в молчании отвечаю: упрёки не по адресу. Я ответил своевременно и пространно; видимо, помешали снежные заносы от Кемерово до Москвы или почтовый самолет подвергся гнусному нападению и был угнан в Турцию.

Галя прислала мне фотографию вашей Анютки. С черепахой. И я с великой грустью почувствовал себя тем самым Ахиллесом, кото-

рый так никогда и не догонит черепахи. То есть я хочу сказать, что увяданьем тра-та-та охвачен, я уже не буду молодым. Словом, меня охватило упоение пошлостью, потому я и почтительно умолкаю.

Как-то себя чувствует сейчас Белла Исааковна? Вы уж меня, други мои, простите, но, поздравляя вас с Новеньким годиком (сейчас я это делаю), я прежде всего именно и хочу пожелать: здоровья Белле Исааковне. Ну а уж потом, Аллочка Александровна<sup>13</sup>, чтобы ты знала алфавит, как я, например, «Отче наш». И уж совсем, совсем потом — чтобы Леня наконец добился вождя нашего полпреда в Италии и Абиссинии.

Как же так ничего интересного в кино? А Юлик мне написал про новый фильм Феллини — «Сатирикон». Ты, конечно, скажешь, что не любишь Петрония<sup>14</sup>, но все-таки фильм-то есть. Мне вообще кажется, что это вы, жалея меня, все пишете: ничего хорошего нет, в журналах печатают одни объявления о косметике, в кино идут одни надоевшие нам фильмы о Бонде, так что не завидуй. А то даже из самого прозаического подхалимажа: ты, мол, уехал — и заглохла без тебя столичная культурная жизнь, затюрилась, затоварилась.

Как же так, Леня — к лучшему, что ты не занимаешься итальянской педагогикой. Это ж, наконец, просто не патриотично. Ты же знаешь, что страна буквально задыхается от нехватки песталлоцистов<sup>15</sup>. Правда, коменсковедов<sup>16</sup> сейчас пока хватает, и то слава богу. Но с другой стороны, я знаю твою увлеченность и боюсь, как бы это не дало крен. Вдруг да в научно-педагогическом наследии начальника отдела сектора методических внушений и наставлений министерства нефтяной промышленности окажется засилье веяний романских. По-прежнему ли, кстати, увлекается Аллочка романсами?

Пишите мне почаще. И да уподобится ваше ко мне отношение возрасту Аннушкиной черепахи. И да уподобится ваше рвение скорости оной черепахи.

Всяких вам — новогодних и вечных — счастливых.

Целую крепко Илья.

\* \* \*

11/1-71 г \*\*

Кемерово

Семье Зиманов

Здравствуйте, дорогие мои!

Все-таки Маяковский был 1000 раз прав, когда говорил: «Бойтесь пушкинистов!»<sup>17</sup> Не получая с Пушкинской столько времени писем, я, действительно, стал бояться, что меня все позабыли. Были, конечно, всякие там телеграммы, открытки, но кого в наше время могут обмануть эти бюрократические отписки?! Начинаю по очереди — с женщин.

I. Дорогая Белла Исааковна!

Я вынужден, скрипя сердцем, прибегнуть к ультиматуму. Сейчас же, по получении моего письма, сошлите Анечку в какой-нибудь пансионат или, что лучше, в монастырь (благо, она уже все равно острижена). Я не могу потерпеть, чтобы между мной и книгами стояла эта особа с черепахой. Что это? Я бываю в Вашем доме добрый десяток лет, а тут на моих глазах въезжает на коляске какой-то человек и всего за два года переворачивает все вверх дном! О, женщины!

Я, как всегда, ни на что не намекаю, Белла Исааковна, но Эдгара По неплохо пока иметь и в «Памятниках». Вы знаете мою слабость к этим изданиям, да есть и за что: они добротны, снабжены обычно толковым комментарием и пр.

Как же все-таки Ваш сын может пускать пыль в глаза! Переводит общеизвестные выражения и считает себя Голенищевым-Кутузовым, крупнейшим дантистом (или правильно: дантесом!). Думаете, я не могу перевести с итальянского «здравствуйте», «до свиданья» и «спасибо». Пожалуйста: чао, буэноайрес! аривидерчи рома! грация, синьора! (...)

II. Дорогая Аллочка!

Представляю ли я Леню секундостраниценометром? Как сказать? Видишь ли, Леня всегда стремился быть мэтром, поэтому меня ничего не может удивить или озадачить. Но в чем я с ним вполне согласен, так это в том, что человек, не знающий, сколько было в 1927 году выплавлено свиноматок на душу населения, не может быть образованным. Кроме того, что ты мне очки втираешь с Ге<sup>18</sup> или Бенуа<sup>19</sup>, когда тебя отвлекает вовсе, как мне пишет Леня, Эдита Пьеха<sup>20</sup>. Вместо изучения актуальнейших проблем сентябрьского (1928 года) Пленума ты заби- ваешь себе голову неразрешимым в сущности вопросом: с чего начинается Родина? Действительно, с чего — с Кушки, с Верхоянска? (...)

III. Дорогой Леня!

Я предлагаю тебе летом поехать с Георгием Борисовичем<sup>21</sup> в Молдавию: там ты легко изучишь еще два (румынский и молдавский) романских языка. Я это говорю серьезно. Плюнь на этого своего шкраба Пикколо де Пиранделло и поезжай, взяв отпуск. (...)

\* \* \*

19/II-71 \*\*  
Кемерово

Семье Зиманов

Здравствуйте, дорогие друзья мои!

(Торжественно я начал, верно?)

Ну чего ты, Леня, сетуешь?! Что я виноват что ли, ежели от природы телепатичен. Я знаю, например, что сейчас, когда ты, Леня, читаешь мое письмо, ты поглаживаешь бороду. (...)

Жалко, что у В. зарезали часть главы. Если это существенно изменило ее направление, то я должен вам тет-а-тет исповедаться в атавизме своего максимализма: почему же он разрешил тогда ее печатать. Старомоден я, наверное, или к статьям нужно относиться не так, как к стихам, или я очень уж далеко и мало что понимаю? (Последнее более чем вероятно). (...)

Отвечаю на твою анкету.

1. **Иллюзия** — это, по-моему, любовь к мечте (БСЭ — т. 18, стр. 79, 19-ая строчка снизу). И любовь тоже есть. А как же. К ближнему, например, или тяга к трем Апельсинам (хотя последняя пахивает многоженством. Да и имя неизячное. Апельсина!)

2. **Счастье** — сущ., ср. рода, неодушевленное, нарицательное, 2-ое склонение, ед. число, им. падеж.

3. **Ученье** — при свете, конечно, удобнее. Но и во тьме тоже неплохо. Смотря что считать учением, конечно. (см. Пушкин: «И после ей наедине Давал уроки в тишине»). (...)

\* \* \*

22/XI-71 г. \*\*

Алле Александровой

Аллочка!

Разреши, я подолью тебе лимонного пунша и мы выпьем за здоровье Беллы Исааковны и мужа твоего Леонида, которых я сердечно приветствую. Славный был муж Леонид: знал все спектакли и фильмы. Как он успел, не пойму, дочку однажды родить?! (Овидий). А я смотрел здесь фильм «33» и не смотрел «Поезд идет на восток». Я хорошо запоминаю обстоятельства, при которых когда-то что-то видел. (Тебе лимонного, Аллочка?). Вообрази, зимний сад, «Эрмитаж», деревья, обсыпанные снегом, лунная дорожка (как угодно, Аллочка, но на мой вкус лимонный пунш немного кислит), и мы с Лёней возвращаемся с фильма и обсуждаем проблему: как это пропустили (пропустим еще по одной, Аллочка?). Мы были молоды и многое не понимали. Ну, например, прогрессивность и актуальность романа «Бесы», в котором предугаданы все крайности левокитайского толка (читай между строк Сучкова; доклад). Потому и прогрессивный. Не было бы китайцев и европейских «бешеных», был бы до сих пор реакционным. Спасибо им.

Аллочка. Леня назвал меня свахой (неэлектронной). Он еще пожалует об этом оскорблении. Кстати, не хочешь ли ты переписываться с каким-нибудь молодым, скучающим разочарованным зеком?

А в «Новом мире» пишут, что у людей и даже у животных есть гены альтруизма. Интересно, врут календари или нет?

Творческий вечер Лентулова<sup>22</sup> я помню, а картины его почти нет, очень плохо. Вообще я многое сейчас помню смутно и как бы понаслышке. Скорей бы оживить ум, заострить зрак, наострить уши и лыжи. Выпьем по последней рюмке лимонного пунша, Аллочка: за скорую встречу всех нас, за здоровье Беллы Исааковны, успехи Лени, обаяние Аллы и кокетство Анютки. Как жаль, что Леня не пьет ничего, кроме водки. Муж Леонид был ревнив. Водку, однако, любил он больше жены. Потому я и целую жену. (Гораций — друг).

Друг Гораций.

### Примечания:

<sup>1</sup> Анечка, Анька, Аннушка (род. 10 окт. 1968 г.) — в то время годовалая дочь Л. Я. Зимана.

<sup>2</sup> «8 1/2» — кинофильм итальянского режиссера Федерико Феллини (1920—1993).

<sup>3</sup> Аннуй Жан (1910–1987) — франц. драматург.

<sup>4</sup> Дюрренматт Фридрих (1921–1990) — швейцарский прозаик, публицист.

<sup>5</sup> На улице Новолесной в Москве жил И. Габай.

<sup>6</sup> См. 1-ю гл. романа М. А. Булгакова (1891–1940) «Мастер и Маргарита».

<sup>7</sup> Александрова Альбина Алексеевна (род. 1947 г.) — старший научн. сотрудник (Emeritus) Российской книжной палаты. Жена Л. Я. Зимана, мать Анютки. В 1968 г. была исключена из пед. института за подпись под «Обращением к мировой общественности» Л. Богораз и П. Литвинова по поводу «суда четырех».

<sup>8</sup> В 1961–62 г. Л. Я. Зиман работал учителем в селе Парфеново на Алтае, куда был направлен по распределению по окончании МГПИ им. Ленина.

<sup>9</sup> Белла Исааковна Шлифштейн (1904–1986) — инженер экономист, главный инженер проекта «Энергосеть» — друг И. Габая, мать институтского друга Ильи Л. Я. Зимана, бабушка Аннушки.

<sup>10</sup> Санчо Панса.

<sup>11</sup> Ламме Гудзак (фламандск. «мешок доброты») — персонаж из «Легенды об Уленшпигеле» бельг. писателя Шарля де Костера (1827–1879).

<sup>12</sup> Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) — франц. писатель и дипломат.

<sup>13</sup> Описка И. Габая. Следует читать «Алексеевна».

<sup>14</sup> Петроний Арбитр (14–66 гг. н. э.) — автор древнеримского романа «Сатирикон».

<sup>15</sup> Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) — знаменитый швейцарский педагог.

<sup>16</sup> Ян Амос Коменский (1592–1670) — знаменитый чешский теоретик педагогики времен Ренессанса.

<sup>17</sup> Зиманы жили тогда на Пушкинской улице.

<sup>18</sup> Ге Николай Николаевич (1831–1894) — знаменитый русский живописец – портретист, автор «Тайной вечери», портрета А. И. Герцена, исторического полотна «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе, «Что есть истина?» и др.

<sup>19</sup> Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник-график, театральный художник.

<sup>20</sup> Эдита Пъеха (род. 1937) — популярная советская эстрадная певица.

<sup>21</sup> Г. Б. Федоров.

<sup>22</sup> Лентулов Аристарх Васильевич (1882–1943) — русский и советский художник-авангардист. Входил в сообщество «Бубновый валет».

## СЕРЕЖЕ КАНУ<sup>1</sup>

7/XI-71 г.

Дорогой Сережа!

Большое спасибо за письмо, за желание поделиться со мной своими заботами и мыслями. Оно мне очень драгоценно, это желание, поверь мне, и прибавляет вкуса к размышлению — к жизни, значит (украл у Декарта: «когтиста»... и пр.).

Я отлично, по-моему, понимаю твоё состояние. Самое интересное занятие отвлекает от интересных житейских впечатлений, а самое интересное житейское впечатление — от занятий: вечная и трудно разрешимая антиномия.

Я рад, что тебе бывает просто весело со своими ровесниками, и рад, что у тебя впереди — интересные курсовые темы. Трудно начать, а там уж неизбежно появится азарт и чувство открытия (хотя бы и для самого себя) — в этом я уверен. Гуттена<sup>2</sup> я читал года два назад в Лефортово, в старом издании и в старом предисловии. У меня сейчас в голове путаница, но, по-моему, предисловие почти твоего однофамильца, кажется, того самого, неперемного составителя античных мифов. Я очень люблю читать старые предисловия, хотя, если не впадать в брюзжание, новые, теперешние, куда лучше, по-моему.

Сейчас у меня в голове скорее воспоминания о впечатлениях, чем сами впечатления. Я не большой поклонник юмора Рабле<sup>3</sup>, Гашека<sup>4</sup> и пр. (извини за иерархически малосопоставимые ряды — я говорю о принципе юмора только), и в книге меня, конечно, многое раздражало. Но пафос её всё же был понятен: так горько было убедиться, что во все времена истовые кантонисты успешно заменяли специалистов (это по вездесущему Щедрину), портили последним жизнь; особенно омерзительно было встретиться с неистребимым племенем правоверных прозелитов, выкрестов, умельцев в доносе. Из чувства злорадства, из неприязни к этой породе я вполне прощал автору швейковский<sup>5</sup> стиль аргументаций. Повторяюсь<sup>6</sup>, я передаю только воспоминание о впечатлении — а тебе, наверно, предстоит многое угадать: всю диалектику добра и зла реформации, а, может, и швабский дух полемики, истинно арийский дух движения и истинно Лютеровскую расправу с чертом или то, что пишет Герцен о выдающихся немцах в Лондоне.

О себе писать, как всегда, трудно. Сейчас канун праздника; спать не хочется, читаю, а сейчас вот пишу. В массе компромиссных, а по-

тому зачастую невозможных взаимоотношениях, бывают минуты теплоты и сердечности. Они случайные, увы, и эфемерные. Но их-то надо только и постараться сберечь: может, они и есть позолота, которая не сотрется (вопреки грустной сказке).

Передай самые теплые слова Леночке, твоей матери.

Всего вам доброго обоим.

Твой Илья.

### **Примечания:**

<sup>1</sup> Сережа — Кан Сергей Александрович (род. 1953), антрополог, профессор Дартмутского университета, Нью-Хемпшир, США. В то время — студент 1-го курса исторического факультета МГУ. Сын Е. С. Семека.

<sup>2</sup> Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — нем. рыцарь-гуманист, один из авторов «Писем темных людей».

<sup>3</sup> Рабле Франсуа (1494–1553) — франц. писатель, один из величайших европейских сатириков-гуманистов. Автор «Гаргантюа и Пантагрюэль».

<sup>4</sup> Гашек Ярослав (1883–1923) — чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист. Автор романа «Похождения бравого солдата Швейка».

<sup>5</sup> Швейк — главный герой романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

<sup>6</sup> Описка И.Габая. Читай: «Повторяю».

## ПЕРЕПИСКА С ЮЛИЕМ КИМОМ

10/XI-70 г.<sup>1</sup>, Кемерово.

Ну, наконец-то и твой голос, Юлий Алексеевич, дошел досюдова. Долгонько ты раскачивался, старина, или время так тянулось? У моего любимого Т. Манна есть пространные объяснения по поводу временных измерений, но их так просто не выскажешь. Я вот в свое время высказал твоей жене<sup>2</sup> всякие мудрости по поводу христианства — и наказан за апломб. Письмо, как я понял, еще не дошло, а ведь там еще и записка Тане Хромовой.

Что тебе ответить на твои пытливые вопросы, друг мой? Снега́-то, известное дело, есть, и будут полюбитее, но ведь мы и раньше догадывались, что здесь не субтропики и изменить чего-нибудь не можем.

Вы за меня не беспокойтесь, — хотя бы потому, что помочь ничем не можете, да и не надо, только расстраиваетесь и воображаете лишнее. Позаботься, Юлик, о тех, кому можно помочь: о себе, о близких своя, о Вите<sup>3</sup> и Наде, по поводу которых душа у меня ноет маленько, о Пете<sup>4</sup> (если бы его решение было твердое!) — о всех.

... Юлик, ты бы прислал мне тексты своих песен. Хочется как-то издалека войти в атмосферу. Правду сказать, настроеньице у меня так себе; не из-за снегов — снега я, как уже докладывал, вполне ожидал, здесь можно утешить себя тем, что 120–130 дней — не вечность же, папанинцам да челюскинцам было хуже, не говоря уж о Зиганшине<sup>5</sup>. Просто полоса такая мрачноватого состояния души; это ведь бывает и на воле тоже.

Люди мне пишут, и, к стыду твоему, могу тебе сообщить московские новости: Марк<sup>6</sup> работает в переводах и западно-европейской критике; уверен, что хорошо работает: он умен и ответственен, совестлив. Леня<sup>7</sup> изучает итальянский язык, уверен, что он хорошо изучает: он прилежен, добросовестен и способен. Словом, всюду жизнь, и это — совершенно по правде — и хорошо. Хоть маленькая информация о жите-бытье людей — это и есть преимущество ИТУ<sup>8</sup> перед тюрьмой: там время сгущенно и кажется: свистни в соседнюю камеру — отзовется кто из близких. Тоже такие мысли — не располагают к игривым шуткам. Стало быть, у меня наказ такой: живите, братцы, по возможности беспечальнее, так всем лучше. А в совести вашей и в конечной правильности всех ваших шагов — кто же усомнится?!

Я надеюсь, что все, не пишущие мне вообще или давно, благополучны: что Сарра Лазаревна<sup>9</sup> вышла из госпиталя, что у Пети нет кризов, что вполне здоровы Валя<sup>10</sup>, Нина Валентиновна<sup>11</sup>, а Алина<sup>12</sup> успешно дошла до эпилога диссертации.

...Пиши, что и сколько пишется: мы все будем очень довольны — и обрати внимание на то, что я теперь в бараке No.45.

Целую тебя и жену твою, и всех твоих родных по всем линиям.

Илья.

\* \* \*

5/XII-70 г.\*\*

Радостно тебя приветствую, друг мой Юлик!

Преждевременно или с опозданием (как сработает почта — бог весть), но поздравляю тебя с тезоименитством<sup>13</sup>. Для нас это как-то всегда было событием, и очень жаль, что я во второй раз не могу заехать к тебе по этому поводу, и в третий раз не смогу. Но ты сам понимаешь — чего я тебе могу желать: успехов, братец, успехов во всем — в песнях, стихах, семейной жизни. Тексты твоих песен почитал с упоением, тут же сел музицировать, но от посылки нот воздерживаюсь: по причине известной тебе моей склонности к музыке, моего изощренного слуха и знания музыкальной грамоты все это может тебя разве потешить. Но все равно — музицирую — и хоть брось.

Галя, я думаю, подробнейшим образом проинформировала вас всех о нашем randevu. Ну, я себя и чувствую после всего этого русским человеком на randevu. Все было счастливо, но, как водится, о многом забыл порасспросить и многое не сумел рассказать.

Получил я вчера рождественскую открытку из Англии; подписана она людьми по фамилии Браствок и Сассэ. Люди, как и все иноподданные, мне, разумеется, незнакомы, но, в общем-то, это трогательно и приятно. Впрочем, так же, как и письма от незнакомых и малознакомых людей нашей страны (бывают такие письма). (...)

Галя должна была более или менее рассказать о моей жизни. Может, она станет там сокрушаться по поводу моего внешнего вида и прочего, — так ты не очень принимай это близко к сердцу; она в этом случае человек пристрастный.<sup>14</sup> Отвечаю тебе на твои вопросы: перевод в другую бригаду связан с внутренними реорганизациями и отсутствием у меня рабочей специальности. Бригада похуже в общежитийском смысле, но терпимо. В секции живет целиком бригада: как любил говаривать Агриколянский, — порядком 40 человек. Народ, как всякий не очень духовно близкий народ, но притерпеться, особенно если

неуклонно проводить свободные часы в своих целях, вполне можно. Амнистия есть, совсем не пышная вообще, а на мою статью просто не распространяется. Но я и не возлагал никаких надежд. (...)

\* \* \*

*декабрь, 1970 \*\**  
*Кемерово*

Драгоценнейший группкомыч!

(...) Работы в Красном Кресте<sup>15</sup> (если я правильно понимаю характер этой работы) — предостаточно. Оставь силы для песен. Ну я хотел бы, чтобы не только песен, — но тут уж — как пишется; я не указчик.

Облизываюсь, читая перечисления твоих работ: наверно, это и мудро и красиво. Ну уж ладно, утешь меня обещанием бенефиса в мою честь сразу же по возвращении.

«Советской России»<sup>16</sup> я, понятное дело, не читал и не прочту в перспективе. Если есть под рукой — пришли в письме вырезку.

Ты ничего не пишешь об «Как вам это понравится?»<sup>17</sup> Есть ли надежды? Как приняли «Недоросль»? Убей меня, я мало верю, что в спектакле есть еще что-нибудь, кроме твоих песен: уж очень пьеса-то скучна, мне кажется.

Я, когда у меня бывает свободное времечко и чистая голова, читаю философов. Беда, что и времени в обрез и сил, с отвычки, немного. Но бог даст, все образуется. Очень хочется сесть и написать много чего: я из Ташкента привез кучу (нрзб.) стихов, из которой можно, поди, добыть жемчужное (оно же рациональное) зерно. Вот и надо сесть — я и надеюсь, как только стану уставать поменьше. (...)

\* \* \*

*Декабрь 1970 г., Кемерово.*

Драгоценный педагог!

Ты все настаиваешь: скажи да скажи, кем ты работаешь. Не скажу. А будешь приставать, отвечу по-брюсовски: «Эй, не мешай нам, Мы заняты делом...» и пр.<sup>18</sup>

Кстати, о педагогике, с которой я начал письмо. Ты по ней совсем не скучаешь? Я вот не могу истребить в себе привязанность к школьной стихии. Вчера вечер сел с нашими пятиклассниками решать их гигантские примеры, но без триумфа, без триумфа, честно скажу.

Как жив-здоров Женя Гайдуков<sup>19</sup>, с которым у нас начались было очень добрые отношения. У тебя ли он все или съехал? Привет ему.

Что-то Наташа<sup>20</sup> и Володя Гершуни<sup>21</sup> надолго задержались в Сербии<sup>22</sup>. Или ты по своей географической неграмотности всю Восточную Европу причислил к этому разряду?

Юлик, пришли мне возможные тексты и ноты своих песен. С нотами я не шучу: у нас есть духовой оркестр, и кто-нибудь да напоеет мне песню. Каково тебе работать с Юткевичем<sup>23</sup>? Я говорю, то-есть спрашиваю «каково?» в сравнении с П. Фоменко<sup>24</sup>, которым, помнится, ты упивался.

Тебе, судя по письму, не очень много доводится читать. Это не удручает? Меня так невозможность много и продотворно читать приводит в уныние, но, правду сказать, я боюсь, что это не из каких-то высоких духовных потребностей, а из обычной жадности и любопытства. Мне все пишут: то-то печатали и то-то печатали, — ну я и облизываюсь. Галя меня подписала и я подписался на кучу всяких журналов, и вот теперь с нетерпением жду Нового года. Кстати, и меньше останется.

Ты, пожалуйста, не вбивай себе в голову никакие комплексы. Упаси бог тебе или еще кому-нибудь оказаться в не столь отдаленных местах: мне это было бы чрезвычайно горько. В Ташкенте мы с тобой виделись мимолетно<sup>25</sup> (хотел добавить: не потолковали, не поспорили — потом опомнился). Но ты наверстывай письмами, меня ведь все интересует: и жите-бытье и космические мысли. Я здесь тем и живу, что жду письма. А отвечаю только по 1–2 в день: на большее не хватает ни сил, ни фантазий. Но писем приходит немало, так что я за неделю со всеми справляюсь.

Приветствую всех, кроме твоих родных, кровных и по жениной линии: я им и так пишу регулярно. Целую тебя.

Илья.

\* \* \*

*январь, 1971\*\**

(...) За что сидит Дремлюга в ПКТ?<sup>26</sup> Что-нибудь из лагерных нарушений — или принципы? Первое я от себя решительно стараюсь уклонить, где возможно: и именно потому, что оне — суть не принципы. (...)

Я сейчас и сам жалею, что ты не слушал моего последнего слова: тебе оно было бы понятно. Но очень уж я боялся тогда какого-нибудь писаренковского<sup>27</sup> фокуса-покуса, рисковать никак нельзя было. (...)

\* \* \*

11/I-71 \*\*

(...) Всем общим знакомым я сообщаю о получении открытки от Валерия А<sup>28</sup>. Я и вправду воспринимаю этот не очень-то и большой факт как событие: приятно убедиться в конечной и исходной порядочности своего давнего товарища. Хотя, поверь мне, я никогда не мерил порядочность фактом «пишет — не пишет», но именно здесь особый случай.

Я тебя очень хочу предупредить вот о чем. В затеянной мной сейчас поэмке есть глава, заведомо слабая, но нужная мне как трамплин к следующей главе. Там такая пустяковая идея: нашего Беранже и меня застает Новый век; мы слишком были привязаны к страстям своего времени, и новые люди уже читают нас разве что с комментариями. И, конечно, не бог весть какая идея: «Забудутся песни — останется доброе имя». Я это пишу тебе вот зачем: если поэма состоится и в ней останется глава, не воспринимай это никак на свой счет. Мне нужна постановка вопроса (идеи Аввакума или Радищева, которых неспециалисты взалхлеб не читают сейчас) и только. И связанные с этим мысли. (...)

\* \* \*

23/I-71\*\*

*Кемерово*

(...) Узнал наконец-то от тебя вразумительно, что с Володей Б<sup>29</sup>.. Гера меня напугал совсем, написав примерно так: мне с ним теперь уже не удастся познакомиться... Но и написанное тобой — тоже чрезвычайно жестко; я еще и не знаю совсем, за что.

(...) Меня очень взволновал и тронул абзац твоего письма (рассуждения по поводу Димычева визита<sup>30</sup>). Интересно, как все это сложится, когда будем на месте: найдем ли время и силы, чтобы хотя бы осмыслить, как живем и что делаем? Обычно обдумываешь все задним числом. И вот, подумал я, интересно будет, если я когда-нибудь стану размышлять о том, что надо было бы иначе организовать лагерную жизнь!!! (...)

\* \* \*

9/II-71 г.

Кемерово

Дорогой Юлик!

Письмо твое, при неизменной, традиционной радости его (стало быть, и твоего) существования, не ответило на актуальный для меня вопрос: а получил ли ты мое письмо? Видимо, нет, потому что ты совершенно обходишь молчанием всякие мои творческие откровенности, а это на тебя не похоже.

...«Литературку» со статьей Юткевича я читал и фамилию Ю. Михайлова<sup>31</sup> встретил — как же, как же. Само интервью, признаться, мне не понравилось: серьезным тоном, с каким маэстро говорит о пустяковых, на мой взгляд, находках — о трансформации Бояна, например. Да и вообще пьеса-то не очень сильная. Раньше я думал иначе, но все меняется — хотя Маяковского я по-прежнему почитаю. Я еще понимаю, что интервью — интервью, а творческий процесс захватывает, не может не захватывать, и там каждая мелочь радует. Только все-таки на кой придавать им вселенские масштабы? Все это, разумеется же, не имеет ни малейшего отношения к твоим песням. Я очень рад, что ты при деле, да еще столь любимом, — и дай тебе бог вдохновения и удачи. А песенка о пожарных, она (в музыкальном оформлении) имитирует «Дубинушку» или не совсем?

Вот ты пишешь: «Контакты сберегаются внутри, а снаружи не проявляются». А черт его знает. Когда какие-то большие куски жизни или переживаний проживаются на стороне, по-моему, неизбежен некоторый разрывчик, паузы при встречах, во всяком случае. Советовать я тебе ничего не смею и не умею; мне просто хотелось бы, чтобы побольше людей из прошлого сохранились в нашей орбите. Это тоже возрастное: новые знакомства мне в последнее время казались вынужденными и недостоверными. Правда и то сказать, само последнее время несколько специфическое.

В связи с окончанием своего стихотворного «запойчика» приступил со скрипом к «сурьезному» чтению. Из журналов пришел только один — зато серьезнее некуда: «Вопросы философии». Некоторые статьи оказались мне не по зубам (ну что я могу понять, скажем, в философском обосновании химических вопросов?!), а остальные пустоватой социологической, политической и пр. информацией. Прочитал еще последний том «Опытов»<sup>32</sup>, а сейчас довольно легко и с интересом засел за статьи Т. Манна.

Вот как я живу...

Пиши мне, Юлик, почаще и без особого щадения. Крепко целую тебя и всю твою семью на всех трех улицах.

Твой Илья.

24/II-71\*\*

Кемерово

(...) Глава, о которой у нас зашла речь, волнует меня прежде всего тем, что она слабая, слишком прямая и риторичная. Я ее скорее всего выброшу, композиционно здесь ничего не пострадает. В отличие от еще пары глав, переделать которые у меня нет пока мозговой силы, а выбросить нельзя — потому что они повод для последующего, дорогого еще мне пока, разговора. Вся беда в том, что противоречивую этическую проблему в упомянутой главе (проблема, для чего жить: для актуального — переход его в сиюминутность, суетность, по-моему, неотвратим — или «для вечного») никак нельзя решать односложно и прямолинейно. А не так — кишка оказалась тонка. (...)

\* \* \*

5/IV-71\*\*

Кемерово

(...) Сейчас я весь в привезенных книгах, до которых еще предстоит добраться. Все интересно: а каков этот Гамсун<sup>33</sup>, любимец наших дедушек и бабушек, и что это за прославленная книга о Лунине, и что думает там Гершензон<sup>34</sup> о Пушкине. Все, повторяю, впереди, что, в общем-то, сладко, вызывает нетерпение и создает дополнительные цели и отсчет времени. Что за стихи ты мне процитировал («Как много плоскостей сместилось...»)? Не свои ль? Не обессудь, если я демонстрирую вопиющую невежественность — и не забывай меня письмами.

\* \* \*

24 августа 1971 г. (Москва)

Дорогой Илюха, письмо твое Якирам пока не пришло. Впрочем, я еще не успел спросить, т. к. сам вот-вот приехал с Ирккой от Татки, у коей 3 дни гостили, наслаждались зрелищем ее 7-месячного пуза, ее мужа и четырехкомнатной академической квартиры. Пушино, биологическая 9-этажная деревня на Оке. Татка весьма степенная стала, Впрочем, не без присущей ей милой придури, следит за пылью и выключением света и попиливает своего мужа Сашу. Он ее бывший одноклассник, ныне дипломник, в усах и в теле, милый, скромный человек, очень юный, и дай им бог, хотя у меня сильные сомнения насчет долговечности этого союза. Хотя глубины Таткиной личности по-прежнему непостижимы.

Дома у нас по-прежнему тревожно, и Петя, к сожалению, мало приглашает сил к неусугублению этой тревоги. Однако, вот-вот должна начаться привычная колея. Петру — на работу, Вале — тоже, она вот-вот устроится. Она успела на недельку махнуть в Питер и там, как будто бы, неплохо отдохнула.

Скоро Юра Диков будет нашим соседом рязанским, просто на днях, так что в сентябре, вероятно, жди совместного от меня с ним послания.

Красновский сообщил печальную весть — год невисокосный, а что творится! — умер Гришка Фельдблюм<sup>35</sup>, помнишь ли? Еще не знаю обстоятельств, как и что, но это первый для меня случай моего поколения.

Тут читаю «Лунин» из ЖЗЛ, прямо вздрагиваю от похожести. Все больше ощущаю сознание некоторого долга перед временем. «Да все руки не доходят...» Ерунда насчет рук. Не созрело, или не созрел. Или, не дай бог, меняюсь с движением по песенной оси? Песенная ось завершает работу на Мосфильме и, возможно, в Детском театре, славном традициями и историей: там тебе и Ефремов начинался, и Фоменко, и Эфрос, и Ролан Быков (?). Теперь вот Эйдлин, незабвенный постановщик «Недоросля» — ныне готовит он грузинскую народную сказку. Охо-хо...

... Жена моя очень исподволь приходит в норму после всех и многих передрыг, и я большие надежды возлагаю на работу, куда она устроится. Впрочем — куда она устроится? Если вон Ванюша Рудаков<sup>36</sup> куда ни сунется — все отказ.

Надюшины дела<sup>37</sup> должны завершиться в конце сентября. Никаких новостей от нее или по ее поводу.

Вот, дорогой, какие наши дела-делишки. Генка Алтунян<sup>38</sup> просился на химию<sup>39</sup> который раз — безрезультатно. Ему, впрочем, уж недолго. О генерале<sup>40</sup> вести безутешные: комиссия ничего не комисовала. Он выглядит неважно. Отпуска кончаются, съезжаются отпускники. Грядет сентябрь. Желаю тебе здоровья телесного и душевного. Целую, жду, Юлик.

\* \* \*

24 августа.

27/IX-71\*\*

Кемерово

(...) В нашей ситуации есть одна опасность: если захотят продлить<sup>41</sup> — продлят за милую душу. Наложить на уста печать совершенно невозможно, а толковать каждое слово вкривь и вкось будут обязательно, если захотят только толковать. (...)

О смерти Н. С. Хрущева я прочитал в газетах. Гера написал мне подробности — по слухам — его похорон. Отношение у меня очень сложное: при всех благоглупостях он продолжает пребывать в памяти как значок, символчик радужных надежд. Ну вот и похоронен, а продолжать символизировать охоты нет — и без того невесело. (...)

\* \* \*

9/X-71\*\*

(...) О Вите<sup>42</sup> узнал в очень краткой и сногшибательной информации — от Зиманов. Потом уже написали еще кое-кто и еще кое-кто, но твоя информация куда толковей и подробней, за что я тебе очень благодарен. А еще больше, куда больше, я благодарен обстоятельствам, которые, вот видишь, бывают и такими радостными. Надеюсь получить от него письмо, как только он придет в себя, подлечится. При встрече передай ему, пожалуйста, что я очень рад, нежно его приветствую и желаю всяких благ. Пожеланий побережь себя (в определенном смысле) наверно передавать не стоит: уж он-то в большей степени, чем многие, сохранял разумность и трезвость.

Что же касается, Юлик, повторения варианта Гены Алтуняна,<sup>43</sup> то это совершенно исключено. У нас на поселения и вообще отпускают редко, а таких грешников, как мы с Генкой, и вообще никуда — разве что чудом. Возможно, в нем и в таком его статусе нуждаются, так как он талантливый технарь. Я тебе объясню кратко, если угодно, что это такое — поселение. Люди ходят без конвоя, получают зарплату на руки (почти всю), но к определенному часу возвращаются в общежитие, где есть начальствующий состав. Если к ним приезжают родные, они могут селиться отдельно. Преимущество такого рода послабления — в случае возврата, срок пребывания на поселении засчитывается (на «химии» — не засчитывается). Так что Гене очень и очень повезло. Ну, а мне не очень, только все когда-нибудь будет позади, стало быть, если верить классикам, «будет мило». (...)

О себе что ж? Очень туго со временем, буквально занят от подъема до отбоя. Пишу, как видишь, (письма, не что-нибудь еще), оптом — прямо впору писать под копирку, читаю урывками, но все-таки в конце концов оказывается, что и то прочел, и это прочел. Через некоторое время оказывается, что и то забыл, и это забыл — сказывается недостаточная углубленность.

\* \* \*

1/XI-71\*\*

Кемерово

(...) Я получил много писем о кутерьме в моем доме<sup>44</sup>. Перечисление имен неизменно вызывало у меня теплое чувство и злость за себя — за неумение в лучшие времена цепко держаться за людей. Научиться бы на будущее, но мы ведь реалисты, черт нас побери (...)

(...) Что же будет, если все отправятся по средиземноморским путевкам.<sup>45</sup> Есть же какая-то привязанность к языку, скажем, не говоря о дружбах, которую можно рушить только по мясу. Ну, у каждого свое — для меня так, и я бы счел для себя необходимость такого путешествия печалью паче даже путешествия в Кемерово.<sup>46</sup>

\* \* \*

7/XI-71\*\*

Кемерово

Юлик!

Контора пишет, а дела так себе, как я понимаю. Хотя, чего уж, понимаю я мало что; только и понимаю, что многим из наших все поднаваливает да поднаваливает жизненных покоев. Сокрушенное и почти безнадежное понимание.

Тебе приходилось почти четверть века назад читать в коротеньких штанишках и белой рубашке стихи к 30-летию Революции? Мне приходилось. А сейчас, сегодня 54-я годовщина, через несколько часов предстоит подъем и день отдыха и веселья. Ну и правильно все, надо было отдыхать и веселиться в такое время.

Как это понимать, что иллюзии — зеленые? Надеюсь, что иллюзии — не змеи? А Париж — это Париж, — Лувр, Елисейские поля и все такое. Приятно, что туда ездят, оттуда ездят, даже если придется остаться при зеленых иллюзиях. Мне-то что: зима — весна, я больше о тех, кто сейчас в Черняховске<sup>47</sup>.

\* \* \*

14/II-72 \*\* (Кемерово)

Я немного успокоился, прочитав твой репортаж о визите Шуры, Маши и Ко.<sup>48</sup> Информация до этого была смутная и таинственная — дающая, словом, полный простор для воображения.

Чувствую я себя, признаться, (обязательно антре-ну!), преневажненько. В чисто физическом смысле: какое-то затяжное непрекра-

шающееся недомогание. К тому же, меня огорчает медленная обра-  
щаемость писем: я послал Гале еще в конце того месяца сообщение,  
что свидание будет 27 февраля, а ответа о том, что это принято к сведе-  
нию, нет по сю пору. Надеюсь, с этим все образуется, а вот с моей сво-  
лочной гриппозностью или черт его знает с чем еще и не очень даже  
надеюсь. Уж долго что-то тянется, и премерзко (...)

У меня такое горькое чувство, что Володя Б. и Володя Д. сели без-  
дарно<sup>49</sup>. С первым — чисто интуитивное, ну а со вторым — от знания  
колорита и специфики. Это ведь может стать мрачноватым круговоро-  
том одних и тех же имен, языческим заклятием. Подробнее и поточ-  
нее, со всеми тонкостями, поговорим при встрече (...)

### Примечания:

<sup>1</sup> Здесь и далее даты, разнящиеся с указанными в сб. «Выбр. места», выверены с Ю. Кимом при подготовке этого издания к печати.

<sup>2</sup> Ирина Петровна Якир (1948–1999) — жена Ю. Кима. Правозащитница. Участ-  
вовала в создании «Хроники...».

<sup>3</sup> В. А. Красин.

<sup>4</sup> П. И. Якир.

<sup>5</sup> Асхат Зиганшин — один из четверых работников, унесенных бурей в Тихий  
океан, голодавших в дрейфе в течение 49 дней. Были спасены американскими моря-  
ками. Мгновенно стали популярными народными героями в Сов. Союзе.

<sup>6</sup> М. С. Харитонов.

<sup>7</sup> Л. Я. Зиман.

<sup>8</sup> Исправительно-трудовое управление, лагерь.

<sup>9</sup> Сарра Лазаревна Якир (1900–1971) — жена командарма И. Э. Якира, расстре-  
лянного в 1937 г.

<sup>10</sup> В. И. Савенкова.

<sup>11</sup> Нина Валентиновна Всесвятская (1907–1974) — педагог, мать Юлия Кима.

<sup>12</sup> А. Ч. Ким.

<sup>13</sup> 23 декабря.

<sup>14</sup> См. стр. 457.

<sup>15</sup> Имеется в виду помощь семьям правозащитников.

<sup>16</sup> В газете «Советская Россия» 18 ноября 1969 г. была напечатана статья «Чело-  
век с двойным дном» о Ю. Киме.

<sup>17</sup> «Как вам это понравится?» — спектакль по мотивам У. Шекспира поставлен  
П. Н. Фоменко в театре на Малой Бронной в Москве в конце 60-х- начале 70-х гг.

<sup>18</sup> Имеется в виду строфа из стихотворения В. Брюсова «Каменщик» (1901):

«— Каменщик, каменщик в фартуке белом,  
Что ты там строишь? Кому?  
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,  
Строим мы, строим тюрьму»...

<sup>19</sup> Женя Гайдуков — общий друг — математик, учитель в математическом ин-  
тернате при МГУ. Был уволен с работы за то, что вступился за Ю. Кима, учителя  
литературы в том же интернате, уволенного в 1968 году за правозащитную деятель-  
ность (прим. В. Гершовича).

<sup>20</sup> Наташа — Н. Е. Горбаневская.

<sup>21</sup> В. Л. Гершуни.

<sup>22</sup> «...задержались в Сербии...» — иносказательно в псих. больнице, от названия ин-та им. Сербского в Москве, где политзаключенные подвергались психиатрической экспертизе врачами от КГБ.

<sup>23</sup> Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) — советский кинорежиссер.

<sup>24</sup> Фоменко Петр Наумович (род. 1932 г.) — режиссер театра и кино.

<sup>25</sup> «...в Ташкенте мы с тобой виделись мимолетно...» — Юлий Ким присутствовал на суде И. Габая и Мустафы Джемилева (12–19 января 1970 г.), где по его поводу было вынесено частное определение и арест его был реальной угрозой. Друзья, по совету Д. И. Каминской, адвоката И. Габая, настояли на его немедленном отъезде из Ташкента в Москву в попытке избежания ареста, который, к счастью, не состоялся.

<sup>26</sup> Владимир Дремлюга, один из семерых участников демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади, отбывал срок в лагере, был заключен в ПКТ за «нарушение режима». ПКТ — помещение камерного типа, другими словами, карцер.

<sup>27</sup> Писаренко — судья на процессе в Ташкенте.

<sup>28</sup> Имеется в виду Агриколянский Валерий.

<sup>29</sup> *что с Володей Б...* — Владимир Буковский. Был арестован за участие в правозащитной деятельности, в январе 1972 г. приговорен к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

<sup>30</sup> Димыч — Дмитрий Александрович Рачковский (ныне покойный), институтский друг.

<sup>31</sup> Юлий Михайлов — псевдоним Ю. Кима, под которым он вынужден был работать в то время из цензурных соображений.

<sup>32</sup> «Опытгы» — работа французского мыслителя Мишеля Эйкема де Монтеня (1533–1592).

<sup>33</sup> Кнут Гамсун (1859–1952) — норвежский писатель.

<sup>34</sup> Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) — российский литературовед, один из авторов сб. «Вехи» (1909 г.).

<sup>35</sup> Г. Фельдблум — институтский друг.

<sup>36</sup> Ванюша Рудаков — Иван Владимирович Рудаков (род. 1940) — правозащитник. В наст. время компьютерный программист.

<sup>37</sup> Н. П. Емелькина.

<sup>38</sup> Генрих Ованесович Алтунян (1933–2005) — военный инженер, правозащитник, член Инициативной Группы в защиту прав человека, созданной по следам ареста И. Габая. Политзаключенный. Отбывал срок в Хабаровском крае.

<sup>39</sup> «...просился на химию» — на работу, позволяющую режим спец. поселения, в этот раз ему было отказано. Осенью 1971 года был переведен на режим спец. поселенца.

<sup>40</sup> Генерал П. Г. Григоренко находился тогда в спец. псих. больнице в Черняховске.

<sup>41</sup> «...если захотят продлить...» — имеется в виду срок заключения или принудительного лечения в спец. псих. больнице.

<sup>42</sup> «О Вите узнал...» — речь идет о возвращении и реабилитации В. Красина.

<sup>43</sup> Речь идет о спец. поселении («вариант Алтуняна»).

<sup>44</sup> «...кутермы в моем доме...» — в день рождения Ильи, 9 октября, друзья неизменно собирались в его доме.

<sup>45</sup> «...по средиземноморским путевкам...» — выездные визы из Советского Союза в Израиль.

<sup>46</sup> «...путешествие в Кемерово...» — в заключение.

<sup>47</sup> «...я больше о тех, кто сейчас в Черняховске...» — спец. псих. больница в г. Черняховске, где находился П. Г. Григоренко.

<sup>48</sup> «...о визите Шуры, Маши и Ко.» — обыск на квартире Ю. Кима.

<sup>49</sup> «...Володя Б. и Володя Д. сели бездарно...» — В. Буковский и В. Дремлюга; имеется в виду повторный срок.

## ПЕРЕПИСКА С Г. И. КОПЫЛОВЫМ

*Кемерово. Без даты. Ответ на письмо от 4/IX-70 \*\**

Дорогой Гера!

Вот видишь, как плохо сомневаться, доктор. Твой технический (технократический) скепсис оказался беспочвенным: письмо дошло благополучно и быстро, и я буду очень и очень рад, если ты продолжишь эту успешно начатую традицию.

Ты меня засыпал заманчивыми названиями и именами авторов, но боюсь, что в ближайшее время мне их никак не удастся прочесть. Остается только облизываться и сожалеть о невозможности сказать что-нибудь умное и афористичное для потомков «Эти штуки сильнее «Фауста» Гете», «Евтушенко был и остается»... «Но все-таки местами произведение омрачено глубокими наслоениями фрейдовского комплекса» и пр.

(...) Если твоим успехам в физике я могу радоваться только заочно, то к хорошим стихам, которые ты, надеюсь, пишешь, я при всей профессиональной зависти могу отнестись с некоторым пониманием дела. Шли, что есть и что можешь.

Жизнь здесь течет потихоньку, несколько медленнее, чем в тюрьме. Из этого я делаю выводы, что скорость времени обратно пропорциональна охватываемому глазом пространству и прямо — количеству читаемых книг. Нельзя ли приспособить это в какой-нибудь ваш реферативный журнал (...)

\* \* \*

*Кемерово.  
26/XI-70. \*\**

(...) В Москве много выставок как раз сейчас, так что рекомендую тебе оторваться все же от своего сельского синхрофазотрона и капитально побывать в Москве. Мне нечего, наверно, и говорить, что мне было бы приятно и здесь, если бы ты сделал своей резиденцией нашу квартиру. Послезавтра встреча с Галей<sup>1</sup>. Все мои мысли связаны с этим, кроме тех, которые не связаны. Прямо не верится, что смогу лицезреть свежемосковского человека (...)

Кемерово.  
2/1-71 г. \*\*

(...) Судя по программе, которую ты мне прислал, вашему городу прославленных физиков необходим элементарно грамотный корректор. Но при всем при том — программа завидная, а твое объяснение, хоть и написанное нотными знаками, но все-таки чуть-чуть придвинуло меня к концерту, имевшему быть в Дубне 20 декабря 1970 года. Я уже не претендую на (нрзб.) техническую музграмотность, но твоя программа просто убедила меня в основательном невежестве по части имен музгениев. Ну, я знаю, конечно, Стравинского<sup>2</sup>, был на концерте А. Волконского<sup>3</sup> — его «Мадригала», есть у меня прекрасная пластинка с Шютцем<sup>4</sup>. Очень хотел последние годы услышать что-нибудь Шенберга, но не довелось. Так что знакомство с его музыкой у меня только теоретическое: с ее принципами, изложенными, как говорят, в «Докторе Фаустусе»<sup>5</sup>.

(...) «Казанский университет»<sup>6</sup> я прочитал с месяц назад: Галя привезла мне этот журнал с Евтушенко. Впечатление удручающее: набор более или менее известных житий с некоторым, хотя и современным подтекстом. Некоторые главы все-таки как-то лично затрагивают: напоминают знакомых людей и знакомые проблемы. Но плюс к этому все еще стирается убогим языком.

Впрочем, всем этим я, кажется, мучаюсь сейчас и сам, приступив к поэмке, которая идет с большим скрипом, туго. (...)

\* \* \*

Кемерово.  
11/1-71 г. \*\*

(...) Как ты вообще оценил роман о Костоглодове?<sup>7</sup> По мне, это слабее более ранних и изданных большим тиражом произведений. Там есть некоторая заданность отрицательных героев — в первую очередь, Русанова и его дочери. Вообще, случай у этого писателя в литературе редкий, у него «отрицательные» герои слабее «положительных». Обычно бывает как раз наоборот. Наверно, очень уж страстен и непримирим он в своей ненависти, это и сказывается, если романы, особенно не сатирические, не гротесковые, а продолжают добротную линию русской классики. Но в этом романе есть кусок недостижимой совершенно прозы — законченный и щемящий: сцена в Зоопарке, и еще неудавшийся визит к врачу. Мне очень жалко, что он не стал рефреном — хотя бы в начале и в конце — что все повествование не дается в сокращенном и более умиротворенном виде сквозь призму

этого хождения по зоопарку. Только интересно, по какому это праву я могу хотя бы только внутренне предъявлять какие-то требования такому писателю.

(...) А о Ленинградском деле<sup>8</sup> опять же ничего не могу судить, хоть и сопереживаю, чувствую только, что оно очень волновало многих людей: они мне об этом пишут. Что это все-таки было: запальчивость, необдуманый поступок? Слава богу, что отменили казнь, но и 15 лет — тоже густое наказание. (...)

\* \* \*

*Кемерово.*

*9/II-71 г. \*\**

(...) Рассказывать о поэме я не стану пока: она (вчерне, по крайней мере) закончена; по-моему, даже придирчивый самый взгляд не отыщет в ней признаков ст. 190–1<sup>9</sup>, и я, когда соберусь, пришлю вам всем хотя бы отрывки.

«Память» Жигулина у меня есть; в печати мне попадались его и другие (нрзб.) стихи. Я с тобой совершенно согласен в оценке, но все здесь имеет достаточно убедительное для меня объяснение: очень трудно переключаться от темы сугубо своей к общелитературным, «вечным». Это многим не удавалось — помнишь, когда Александр Исаевич<sup>10</sup> попробовал, получился остренький, но не бог весть какой рассказ о том, как обманули студентов техникума (он был напечатан в «Новом мире»).

Коржавин<sup>11</sup> в твоём изложении говорил очень умно и правильно. Но есть один нюанс: а если поэт много глубже и острее тебя, если ты просто не дорос до его мировоззрения, чувств? У меня тоже частенько был соблазн сделать критерием стихов вот что: хотел бы я быть их автором или нет? Но оказалось, что я не хотел бы быть Гейне, Байроном<sup>12</sup>, Фетом<sup>13</sup>, в новом времени — Твардовским<sup>14</sup>, скажем, а все поэты очень значительные и для меня. Напиши мне, когда все состоится, как ему погостилось у вас, каковы впечатления от его поэм. (...)

Громадное у тебя (и Коржавина) сопоставление с Эйнштейном. Но я ведь могу судить только по книгам Львова или Кузнецова — вот беда. Пришел первый номер «Вопросов философии», и я попытался сделать шаг тебе навстречу; стал читать о философских проблемах вероятности (теории в.). Тщетно оказалось: не для меня. А статьи по гуманитарным более или менее вопросам, четыре статьи о современных религиозных проблемах (мне очень интересных) и статья Дубинина (начало), если исключить специальную терминологию, написаны на уровне соответствующих страниц «Литературной газеты». Там, где я могу разобраться, оказывается, что у вашего брата, ученого, тумана

и игры не многим меньше, чем у парнасцев. Впрочем, ты причастен к обеим стихиям, тебе судить легче. (...)

\* \* \*

Кемерово.  
24/II-71 г. \*\*

(...) Сейчас более или менее стала поступать подписка, и я закопался в журналах, оставив более серьезное чтение для паузы. Так вот почувствовал необходимость даже с риском потерянного времени вникнуть в сегодняшние дела нашей литературной планеты: как она там без меня, вертится ли?

Среди нового (и не очень нового) журнального чтения мелькают имена притчей во языцех все тех же Евтушенко<sup>15</sup> и Вознесенского. По-моему, им сейчас самая пора дать читающей России время для отдыха от своих имен — так убого, как я понимаю, они раньше не писали. Дело вот в чем, по-моему: художник (настоящий) обязан стремиться написать лучше, чем в прошлый раз, доказать, что у него, кроме набитой руки, есть еще НЕЧТО<sup>16</sup> за душой (совсем иная статья, получится ли, тут уж никто не виноват, если нет, и даже если какое-то время автор не чувствует поражения). (...)

Я пишу, а сам боюсь: не продиктована ли хоть отчасти моя филиппика обыкновенным чувством конкуренции. Думаю, что нет: я все-таки давно уже дела русской словесности привык принимать близко к сердцу. Парадоксальное впечатление, но мне кажется, что в наши дни, у нас, ветер востока довлеет. Среди того, за чем мне удается следить, проза Айтматова, стихи Кулиева<sup>17</sup> и Гамзатова<sup>18</sup> — людей, работающих постоянно, представляются мне едва ли не самым значительным. (...)

\* \* \*

Кемерово.  
2/IV-71 г. \*\*

Мне как-то трудно найти достоверные и убедительные слова, но поверь мне, что то, о чем я с постоянством пишу — чтении, главным образом, — это и есть главный сюжет моей тутошней жизни. Остальное не отличается особым разнообразием, и то, что имеет сообщить Галя по приезду со свидания, собственно, это «побольше» и исчерпывает. Между прочим, если бы я пустился в описание каких-либо этнографических примет (а есть и колоритные!), мое письмо по жанру совпало бы, или могло бы совпасть, с давнишним письмом Кочубея<sup>19</sup> Петру. (...)

Я с радостью увиделся с Алешкой, о котором ты справедливо пишешь. Он как-то все-таки (на примерный мой взгляд) интересно изменился. Может, за ними-то и будущее — за «комнатными» (сиречь кабинетными, лабораторными и пр.) детьми? «В нашем меняющемся мире», — как принято нынче говорить. Впрочем, я упорно предполагал поддерживать высказанную и тобой «педагогику подворотни»: это приучает к общению, к ориентировке, необходимым все в том же нашем, все так же меняющемся мире. Мне было приятно обнаружить у него вкус к задачкам ( $X: 6 = 3 — X = 18$  для второклассника!) и к французским словечкам и полное безразличие к отметкам. Здесь сидят много моих бывших пятиклассников, то есть их сверстников. Это грустно, но в большинстве из них с помощью какого-то профессионального атавизма я обнаруживаю черты моих бывших ученичков: детей. Вот проблема проблем: детские места заключения, с полным набором нелюдской пакостности и самой удручающей психологией. Слегка отмыв это, почти всегда можно обнаружить подростка. (...)

\* \* \*

*Кемерово.*

*12/IV-71 г. \*\**

(...) Срок мой потихоньку приближается к двум третям и, признаться, что-то стало невозможным. Усугубляется это потоком пропаж. Пока дело шло о привезенных Галей продуктах, куреве, вещах, можно было облизнуться и через некоторое время найти юмористическую сторону этого. Но вот книжки стали пропадать — это уж меня приводит в совершенное неистовство и чувствую я себя беспомощно: только поскандалить я могу. Книжки очень может быть идут на заварку чая или обложку к записным книжкам для песенок. Плюс к этому попрошайничество, к которому я привык, а сейчас в свете случившегося снова не могу выносить. Но ладно, это все по боку. Ты хотел о жизни — вот тебе.

Я тебе очень благодарен за большой отрывок из «Охранной грамоты»<sup>20</sup>, которая все была где-то рядом со мной, но так и не дошла до меня. Отрывок очень интересный, но, привыкнув к поэзии П.<sup>21</sup>, теперь приходится привыкать к прозе (роман не в счет, как и вообще все поздний П. (...))

Я сегодня, в воскресный день, потрудился над чтением журнала «Былого» (1904 г.). Там, главным образом, материалы о народовольцах. Все это высоко и низко одновременно, перемешано — и грустно очень. Начал я читать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина» — блестящая, по-своему, из которой следует, что Пушкин исповедовал символ веры и философию XX века. Что хочешь, то и докажешь с Пушкиным. (...)

На протяжении всей истории русская общественная мысль, кажется, только и делала, что обманывала себя и окружающих. О западной судить не берусь. (...)

\* \* \*

Дубна.  
28/IV-71 г.

Дорогой Илья!

Явились мне в один день два письма твоих: одно за 10 дней, а другое проблуждало месяц где-то, — то, в котором ты сообщил мне про всякие сведения, способные вызвать любопытство читающей публики. Что до твоего призыва в последнем письме съездить к тебе домой и доложить обстановку — я это выполнил на другой же день: обстановка вполне приличная, без каких-либо отклонений от нормы, Галя и Алеша здоровы, кто учится, кто учит.

Георгия Бор (исовича)<sup>22</sup> не видел долее полугода, сейчас он в Кишиневе, а когда придет — я уеду в отпуск, так что до тепла не увижу (у нас нынче снег, пурга, холода ниже нуля, надо думать, за грехи наши).

Те стихи, что ты слал знакомым в письмах, наконец-то дошли и до меня. «Ну, брат, ты даешь!» — скажу я на современном жаргоне. «Железно выдал!» — добавлю я.

Прочел я все, дошедшее до меня, с увлечением. Правда, продираясь через толщу метафор, я весь исцарапался и продрал всю одежду, но бывал вознагражден тогда, когда удавалось выскочить на зеленую лужайку, где все становилось на свои места, и стихи вдруг начинали течь плавно и легко укладывались в мозг. Особенно мне понравились стихи Афродите, диалог No. 2, о нас — о себе. Чадаев, Диккенс, ну и, конечно, об унынии души и о надменности ея. Хороши также стихи про Шемякина, воспоминанье и во что ты веришь. К сожалению, конец того, что попало ко мне, кем-то, видно, переверан. Очень притягивают меня новые сложные формы вроде древнегреческих размеров Зевсовых стихов, и в диалоге, который подтверждает невозможность исповеди. И замечательна торжественная поступь такого ритма: «И праздничен вечер! За нашим столом бутылок беспечный и радужный слиток». Пиши так побольше. Не понимаю, как ты умудряешься писать там такие стихи.

Критические замечания больше по мелочам: не то слово (м. б. опечатки?) «вместе с сменой<sup>23</sup> кожи» не выговоришь, «сгубившим в жаме<sup>24</sup> Киприду» не понял и др. Общая придирка: свойственная тебе тонкость и внимание к точности речи порой оборачиваются, выглядят манерностью. Грубо говоря: если хочешь что-то точно выразить — го-

вори точно, норови в лоб, а не крути вокруг да около этого по спирали. Читая это мое пожелание, сделай скидку на мою культурную неотесанность, на уклон в примитив, каким я страдаю и от коего уже не избавлюсь в этой жизни: «прямая — кратчайшее расстояние» — так меня выучили, с тем и помру. Оттого мне и в этой вещи больше всего нравятся места, где можно горизонт оглядеть с маху, привстав на задние лапы, пока опять не упал на четвереньки.

Приезжал на часок Юра<sup>25</sup>, привозил твое письмо.

(...) он столь же деликатен и ласков и так же безропотно несет крест свой. Письма твои его очень радуют. Обсуждали мы твои стихи, но обсуждать было нечего: в основном мы согласны, понравились они нам очень, и согласились, что ты все больше приходишь к своему собственному языку (я не говорю о тематике, она у тебя всегда была своя личная). Конечно, поражает то, что одна и та же тематика волнует независимо и москвичей, и тебя, несмотря на разницу ситуаций. Поспорили мы о том, понимаешь ли ты, чем твои стихи лучше остальных, т.е. свои слабости; поскольку у каждого свое представление о слабости, то это выразилось в том, что здесь единодушия не было. Мое мнение я привел выше, а Юра, как человек с более высокой душевной организацией, не согласен.<sup>26</sup>

\* \* \*

*Кемерово.*

*29/IV-71 г. \*\**

(...) Очень печальна книга Эйдельмана «Лунин», которую ты, видимо, читал. Начиная со сквозного ее вопроса: «Подвиг ожидания или подвиг нетерпения?» и дальше — от всех сцеплений и поворотов мировоззрений и частей до совершенно ошеломительной для меня картины поведения декабристов на следствии. Тут интересны столкновение, дилемма, «историческая значительность» (Пестель, Рылеев) и обычное чувство порядочности (Пушин). Ну а точное наблюдение — инерции поведения на допросах. Это мне малость знакомо. При всем при том в воздухе сейчас разлита гуманитарная пристальность и честность. Не знаю, как для прогресса, но для возможности просто дышать эта скрытая тенденция, по мне, куда важнее всех вершин «научно-технической революции». Хороша рецензия Евтушенко на роман Маркеса<sup>27</sup> (во второй книжке «Нового мира»). Хороша уже тем, что обнаруживает незаметного в последних его стихах честного и думающего человека. Наверно, ему надо «впасть в депрессию», отдохнуть от стихов, пока, глядишь, явится поэт 70-х, а не 50-х годов. (...)

Кемерово.  
6/V-71 г. \*\*

Дорогой Гера!

Твое письмо очень обрадовало меня. Прежде всего, я рад, что ты прочел мои отрывки, ну и, конечно, рад, что тебе понравились многие куски из них. Твое отношение мне тем более дорого, потому что ты перечислял в числе понравившихся тебе глав и те, которые вызывали у меня сомнения (все, написанные иным чем б(ольшинст)во глав, размером — «Афродита», Диалог No.1, о сне — о себе, конец).

(...) «Норовить в лоб», как ты советуешь, — это не всегда возможно из-за сложности оттенков самого вопроса. Поэтому приходится, как ты, наверное, уже заметил, время от времени возвращаться к уже сказанному, уточнять, даже изменять. Я поэтому и выбрал условную форму переписки: она извиняет интимность, сентиментальность и дает право противоречить самому себе. (...)

\* \* \*

Кемерово.  
24/V-71 г. \*\*

(...) Твои мысли по поводу ассимиляции культур — предмет, давно меня интересовавший. Конечно же, если нет намека на национальные неравноправия, слияние это идет совершенно безудержно. Можно пожалеть при этом, что канал ассимиляции в стороне от приобщения к духовному миру, скажем Скрябина или Достоевского: это дает козырь культурному и добросовестному националисту, он «летке-еньке»<sup>28</sup> противопоставляет, скажем, в нашем случае, пророков, и естественный процесс начинает выглядеть уродством. Но и претендовать на более высокую степень ассимиляции тоже непозволительно, раз уж большая часть самих ассимилирующих далека от собственных ценностей. Национализм, который я почувствовал во всех посещенных республиках, — противоречие между умом и неудовлетворенным, протестующим сердцем. Традициям все-таки место в национальной памяти, а не в жизни; меня особенно злили временами наши московские интеллигенты, которые сами ходят на просмотры фильмов Бергмана, выставки французов, а «народу» предоставляют широкую возможность «не терять своего лица» в частушечном идиотстве.

На вопрос об элите предельно отвечает рациональная, но умная книга «Игра в бисер». Боюсь, что подмеченное тобой изменение лица «народа» и «элиты» захватывает область мод и образа развлечений, и только первых они не отучили от неприязни к серьезным ценностям

и стадности, вторых — от конформизма и духовного высокомерия. Впрочем, следует признать, что «народ» я знаю плохо — сказывается отсутствие корневых связей, вторых — тоже: кишка тонка — недостаточная образованность. В моем — межеумочном — положении находятся многие: может, отсюда так много брюзгливого внимания к этим вопросам. (...)

\* \* \*

*Кемерово*  
*5/VII-71 г. \*\**

(...) Благодарю тебя за пересказ «Августа 1914 года». Ну идеи в пересказе со всей очевидностью не уловишь: подождем до лучших времен. (...)

А два последних номера «Иностранной литературы» мне нравятся. Там печатается хороший западногерманский роман «Урок немецкого», интересный монолог (давний). Как-то угадываешь, читая, какие потрясающие, душещипательные, во всяком случае, возможности, дает он хорошей актрисе. Там же напечатана рецензия на книгу К. Манна «Мефистофель». (...) Рецензия не бог весть какая, книга, впрочем, тоже, но ее, по-моему, все-таки следует читать. Она о вечной для меня проблеме волхвов на немецком, фашистском материале. Памфлетная форма применительно к ситуациям конкретным, биографическим, по-моему, малопродуктивна. Меня в этом смысле и определенные места «Первого круга»<sup>29</sup> в свое время огорчили тоже. Но какие-то ответы и созвучия по серьезным предметам есть и в «Мефистофеле». Особенно для тех, кто их ищет — созвучий. Ну и еще прочитаны некоторые книги — с разной степенью восприятия. Боюсь, что я в своей обстановке потерял некоторую эстетичность, эстетические критерии и подхожу поневоле к книгам с точки зрения чистой утилитарности. Прямо как твой Генка<sup>30</sup> к млекопитающим. (...)

\* \* \*

*30/VII-71 г. \*\**  
*Кемерово*

(...) Я имею в виду гибель космонавтов, которая и меня весьма огорчила. В конце концов — извини за ненаучный, стало быть, обывательский кругозор, не так уж важно, отложатся или нет дальние космические рейсы. Куда важнее гибель людей, и как-то стали сразу понятнее и напряженность их жизни, и высокая степень постоянного риска: прежде мне это казалось куда благополучнее. Я разделял идею

известного стихотворения Твардовского о космонавтах и солдатах, не вернувшихся с войны, а оказалось вот как (...)

Сильно выбило меня известие о Володе<sup>31</sup> и особенно, конечно же, о Наде<sup>32</sup>. Все это бесконечно и безнадежно, и продолжение следует, особенно когда человеку кажется, что таким способом можно противостоять неудачам жизни. (...)

Ирина<sup>33</sup> мне пишет об одиночестве Петра<sup>34</sup>. Это можно было ожидать, но тоже грустно. По-разному и в разное время нарушается колея, и чувствительно нарушается, если случившееся 34 года назад так ощутимо для жизни. (...)

Тебе известно, я скептически отношусь в последнее время к мифической форме: она подтверждает утрату современной философией научных критериев, всякое парадоксальное суждение становится философией, но захватывает, конечно. (...)

\* \* \*

*Кемерово*  
27/IX-71 г. \*\*

(...) Я хочу еще и еще раз поблагодарить тебя за твой неожиданный приезд<sup>35</sup>. Жаль, что, как водится, наше свидание оборвалось неожиданно: после того, как мы простились, я, конечно же, понял, что нужно было спросить сперва о том, потом об этом. Юлик пишет, что добивается возможности встретиться с Володей Дремлюгой<sup>36</sup>. Это просто необходимо, мне кажется, — состояние у него, наверно, не из лучших, да и какие-то житейские материальные вопросы надо решать по возможности быстрее. (...)

\* \* \*

*Кемерово*  
1/XI-71 г. \*\*

(...) У меня здесь бывают нервные споры (я стараюсь воздерживаться, но жизнь все нервнее с каждым днем, вернее, реакция и настроение нервные). Отсутствие аргументов, как правило, заменяется в конце концов утверждением, что мои оппоненты простые люди. А, по-моему, это я — простой человек, куда проще, иногда стыдно, что по лени и дряблости — такой простой. (...)

\* \* \*

Кемерово  
27/ХП– 71 г. \*\*

Не помню, писал ли тебе, что вычитал в «Литературке» отрывки из статьи израильской журналистки, где она писала о военно-патриотическом воспитании и трамтарарампатриотизме аборигенной молодежи. Утратить интеллигентность — разве для этого нужно много поколений? Обрести ее куда труднее: сужу о себе, так или иначе причастен к этой прослойке в первом поколении. Национализм — это и впрямь очень печально, тем более это такая заманчивая общедоступная и общепривлекательная возможность разрядки энергии и мещанского утверждения своего «я» через «мы». Я, правда, если это и чувствую, то разве что в общетеоретических разговорах на определенном уровне, а так, эмпирически, это я на себе не чувствовал здесь, нет. (...)

\* \* \*

7/П–72 г. \*\*  
Кемерово

Дорогой Гера!

Коротко о погоде. У нас то морозы, то не морозы, то ветры, то не ветры — и из-за всего этого (не для передачи Гале, упаси бог!) я чувствую себя на редкость скверно и очень малодушно переносу гриппы и слабости на ногах. Все валится из рук, и нет никаких сил, которые как раз сейчас нелишни. Но это временами. Сейчас как раз такие самые времена. Очевидно, из-за этого напишу куцо.

Очень меня тревожат результаты визита к Юлику<sup>37</sup>, точнее — неопределенность (для меня) этих результатов, их неизвестность. Спокойствие — что спокойствие, нетрудно и притвориться. Хотелось бы мне, чтобы никому из моих близких не нужно было бы быть мужественным. Помимо всего прочего, состояние боевой готовности совсем не способствует нервному покою, в коем, кажется, все в той или иной степени начинают нуждаться. (...)

#### Примечания:

<sup>1</sup> Послезавтра встреча с Галей... — 28–29 ноября 1970 г. состоялось первое лагерное свидание Ильи Габая с женой.

<sup>2</sup> Стравинский Игорь Федорович (1882—1971) — всемирно признанный крупнейший русский композитор, дирижер и пианист. Перед 1-й мировой войной не вернулся в Россию и жил в эмиграции до конца жизни.

<sup>3</sup> Волконский Андрей Михайлович (1933–2008) — композитор, органист, клавесинист, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал» (1956 г.).

<sup>4</sup> Генрих Шютц (1585–1672) — немецкий композитор и органист.

<sup>5</sup> «Доктор Фаустус» — роман Т. Манна.

<sup>6</sup> «Казанский университет» — поэма Евгения Евтушенко (1970 г.).

<sup>7</sup> Повесть «Раковый корпус» А. И. Солженицына. По цензурным соображениям И. Габай прибегает к иносказанию, не указывая названия произведения.

<sup>8</sup> Дело «самолетчиков» — о намерении угона самолета. По цензурным соображениям И. Габай прибегает к иносказанию. Об этом деле теперь можно подробно прочитать в воспоминаниях А. Д. Сахарова («Знамя» No. 1, 1991 г.).

<sup>9</sup> Статья 190–1 УК РСФСР, по которой был осужден Илья.

<sup>10</sup> А. И. Солженицын. По цензурным соображениям И. Габай не упоминает фамилии писателя.

<sup>11</sup> Коржавин Наум Моисеевич (род. 1925 г.) — в прошлом узник ГУЛАГа, поэт, драматург, переводчик. В 1974 г. эмигрировал в США.

<sup>12</sup> Лорд Джордж Гордон Байрон (1788–1824) — английский поэт романтик.

<sup>13</sup> Фет (Шиншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — выдающийся русский поэт, публицист, переводчик.

<sup>14</sup> Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — советский поэт, автор популярных поэм «Василий Теркин», «За далью даль». Главный редактор журнала «Новый мир», ставший ведущим литературно-публицистическим антисталинским журналом в 60-е годы.

<sup>15</sup> Евтушенко Евгений Александрович (род. 1932) — советский российский поэт и прозаик.

<sup>16</sup> Выделено И. Габаем.

<sup>17</sup> Кайсын Кулиев (1917–2000) — балкарский поэт.

<sup>18</sup> Расул Гамзатов (1923–2003) — аварский поэт, публицист, обществ. деятель.

<sup>19</sup> «...с давнишним письмом Кочубея Петру...» — Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708) послал жалобу-донос Петру I о намерениях гетмана Мазепы создать независимую Украину, отделив ее от России.

<sup>20</sup> «...отрывок из «Охранной грамоты»... — прозаическое произведение Б. Л. Пастернака.

<sup>21</sup> «...привыкнув к поэзии П.»... — имеется в виду Б. Л. Пастернак.

<sup>22</sup> Г. Б. Федоров.

<sup>23</sup> Подчеркнуто Г. И. Копыловым.

<sup>24</sup> Следует читать: «Сгубившим в Жанне Киприду». Имеется в виду Жанна д'Арк.

<sup>25</sup> Ю. П. Диков.

<sup>26</sup> Письмо обрывается.

<sup>27</sup> Роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».

<sup>28</sup> Несложный популярный в 60–70 гг. массовый танец.

<sup>29</sup> «В круге первом» — роман А. И. Солженицына.

<sup>30</sup> «...твой Генка...» — сын Г. И. Копылова Геннадий.

<sup>31</sup> Владимир Буковский.

<sup>32</sup> «...и особенно, конечно же, о Наде...» — Надежда Емелькина была арестована за протест против заключения в псих.больницу П. Г. Григоренко.

<sup>33</sup> Якир И. П.

<sup>34</sup> П. И. Якир.

<sup>35</sup> Находясь проездом в Кемерово, Г. И. Копылов добился разрешения на свидание с И. Габаем, что в условиях лагеря было настоящим чудом.

<sup>36</sup> «...Юлик пишет, что добивается возможности встретиться с Володей Дремлюгой...» — Владимир Дремлюга отбывал наказание за участие в демонстрации протеста 25 авг. 1968 г. на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии советскими войсками 21 августа 1968 года.

<sup>37</sup> Обыск на квартире Ю. Кима.

## ЭРНЕСТУ КРАСНОВСКОМУ

*март, 71 г.*

(...) Читать детям Пушкина — занятие счастливое, которое оцениваешь, когда читать невозможно и скоро не предвидится. Я это к тому, что почувствовал, мне кажется, совершенно напрасную у тебя снисходительность к своим занятиям. Не было ли у тебя желания написать поэму о Пушкине? Я недавно читал и (утрирую) представляю себе такую модель творческого процесса.

I действие. Юность.

Кто-нибудь (Пушин, Карамзин — все одно):

— Пушкин, как ты мыслишь жить дальше?

Пушкин:

— Друг мой! Пока мы еще горим свободой, пока не поздно, давай самые прекрасные порывы своей души посвятим отчизне.

II действие. Михайловское. Пушкин прощается с Пушиным.

Пушкин:

— Друг мой! Бесценный и первый!

Я благословил судьбу, когда мой занесенный снегом и уединенный двор огласил звук твоего колокольчика и т. д. Принципы похожие и как бы искусно это ни камуфлировали (при всеобщем **среднем обр-ровании** это профессионально нетрудно), от чтения на такие темы невесело. (...)

Мне впору — при твоей занятости — сообщать тебе, кто как из институтских наших живет, но я не стану: и как вам там, братцы, не совестно так кружиться, что и не видеть друг друга по тысяче лет? Впрочем, и это лучше всего проясняется разлукой, чего я тебе никак не желаю. (...)

## М. Г. РОШАЛЬ И Г. Б. ФЕДОРОВУ

(ноябрь 1968 г.)

Добрый день!

Я очень рад был вашему письму, потому что, по мнительности своего характера, на отшибе, вообразил себе ряд картин, достойных Данте<sup>1</sup>.

Из дома мне что-то до сих пор не написали. Не случилось ли что-нибудь там?

Я подал заявление и намерен 1-го уехать. Вот только директор все еще в отъезде, и от ожидания предстоящего разговора меня слегка поташнивает.

Возможно, это от недостатка мужества, возможно, от угасшего темперамента, но я плохо выношу безлюдье в большом окружении. А в моем Красногорье<sup>2</sup> дело обстоит именно так.

Дети у меня безнадежны и беспросветны. Учителя диктуют им шпаргалки, а я не умею преподавать хуже, чем могу преподавать. Да потом это все-таки Пушкин и Щедрин, и мямлить их, превращать в жвачку — кощунство. Я проверил сочинения по Грибоедову, поставил 9 троек (большей частью очень сомнительных) и 18 двоек. А ребятам писать в этом году сочинение.

Вы пишете: вложить несчастным детям немного души. В том-то весь фокус-покус, что ни в каких таких душах они не нуждаются. Это любопытный материал для модных нынче социологов. Все есть: и родители рвут для них в магазинах 50-рублевые свитеры, и танцплощадки, и многосерийные вестерны типа «Принимаю огонь на себя»; некоторые из них мурлычат Высоцкого<sup>3</sup> — но нет почти библиотеки, и нет потребности в ней.

Большая часть живущих здесь — люди обеспеченные, куда обеспеченнее меня, и вся тяга культуры — сменить валенки на мокасины.

Сделать здесь ничего нельзя — нет интереса, нет ощущения пустоты от невежества, жизнь им кажется насыщенной и содержательной.

Я это пишу не для самооправдания и не из какого-то раздражения — истинно так и есть, как я вам описываю. Я недавно перечел свои письма с Алтая к Гале. Сколько было поросычьего восторга по поводу способностей, пытливости тамошних учеников. Конечно, я преувеличивал. Но так оно и было, в общем. Не было конкуренции вестернов, и можно было говорить о Пушкине. Словом, безлюдье, угрюмая жизнь, невозможность сосредоточиться (я работаю каждый день в две смены

с большими окнами<sup>4</sup>; промежутки заполняются проверкой тетрадей, их у нашего брата немало), — и при этом тупая боль после каждого урока, отвратительный привкус во рту.

Я не обольщаю себя насчет Москвы, думаю с грустью о том, что старик Гераклит<sup>5</sup> не так уж и прав, — но это не жизнь. Тем паче надо проводить классные часы, беседовать, например, о нашей Конституции, — а это мне никак невпроворот, этого я делать не хочу.

Ну, хватит об этом. Стихов я не писал. Может, потому что нету Люды<sup>6</sup>? Это у нее (нрзб.) — фантазия. А вот насчет Тынянова<sup>7</sup>. В<sup>8</sup>. наметил какой-то серьезный разговор с режиссером в Кинешме. Я вам по приезде расскажу.

Надеюсь, что вы все благополучны.

Сердечный привет вашим детям. Пуцай совершенствуются. Кажется, никому это еще не удавалось, но разговоры о самоусовершенствовании тоже не утешают. И всем поклон. Очень хочу вас увидеть. Вас, Георгий Борисович, и Вас, Марьяна Григорьевна.

С любовью ваш Илья.

\* \* \*

*(октябрь (?) 1970.)*

Дорогая знакомая по археологической экспедиции!

Вы мне писали. Не отрекайтесь, Марьяна Григорьевна. И с тем же энтузиазмом, с которым мы с Вами в былые теплые (молдавские) времена раскопали славянский ареопаг сарматского периода древней истории эпохи неопалеолита, я бросаюсь в писание ответа. Вы должны оценить этот мой энтузиазм: я окружён десятком телеграмм и 5-ю письмами, на которые пока не ответил. Это потому (отбрасывая прочь всякие неуклюжие шуточки), что давно, очень давно ждал каких-нибудь весточек из Вашего, любимого мной, дома.

Я вполне разделяю Вашу гордость по поводу большого и самостоятельного раскопа. Между нами: я так до сих пор не понимаю, когда нужно продолжать копать, а когда бросить, и что такое материк. Вы гораздо способнее меня в этом отношении. А вот обилие найденных Вами вещей меня огорчает: как вспомню, что их надо мыть в воде, кислоте, нумеровать, описывать и натуралистически зарисовывать — так и начинаю даже радоваться, что я не был в этом году в экспедиции. И, чтобы закончить о ней, а заодно и с одной щекотливой темой, я хочу сказать, что не имею серьёзных претензий к Г. Ф<sup>9</sup>. Галя в этом отно-

шении максималистка ужасная, и я ей уже за это неоднократно пенял в своих письмах. А я хорошо понимаю, что Ю. просто растерялся и разболтался, а там уже трудно было остановиться. Передайте при случае всем молдаванам, что я их очень тепло помню и сердечно приветствую (в том числе, разумеется, и Ю.).

Про мою жизнь Вы, должно быть, хорошо осведомлены. Течет себе в эмпиреях, только и всего. Могу сообщить массу фильмов, которые я не видел: «Преступление и наказание»<sup>10</sup>, «Чайковский»<sup>11</sup>, «Андрей Рублёв»<sup>12</sup>. И огромное количество книг, которые я не прочёл. Но всё это ничто по сравнению с тем, что я не был на вернисаже художника М. Г. Федорова<sup>13</sup> (можно я его буду звать просто «Мишка»? ). Но мой портрет его кисти<sup>14</sup> я представляю. Я даже стихи по этому поводу сочинил: «Себя, как в зеркале, я вижу...» и пр. Впрочем, не я сочинил, а поэт Орест Кипренский<sup>15</sup>.

А вообще-то Мишка мог бы и не гордиться, а сесть и написать мне пару строчек. Пусть вставит в них придаточные определительные и деепричастный оборот. Это всё он уже должен был проходить, по моему расчёту.

Нинка<sup>16</sup> — это нечто новое. Я-то, конечно, осведомлён, что в Вашем доме появилась новая женщина, но что её зовут именно так, я не знал. Составил ли профессор перед отъездом в Молдавию график вывода её на прогулку? Соблюдает ли свою очередь Мишка или, как водится, уклоняется от своих обязанностей?

Чего ж Вы мне ничего-то не пишете о своих делах? Они ведь мне никак не безразличны. Продолжает ли Вера<sup>17</sup> заниматься в университете? Как киношные дела — Ваши и Г. Л.<sup>18</sup>? Как с сердцем у Георгия Борисовича? Словом, много у меня появилось «как?», и Вы уж, пожалуйста, отпишите мне всё это. Буду ждать каких-нибудь вестей и от дорогого мне Георгия Борисовича. Но, пока он соберется, Вы уж напишите ему, что я к нему прилепился всем сердцем, люблю по-прежнему и неизменно радуюсь его успехам и огорчаюсь, когда он зажимает награбленные иконы.

Прислать Вы мне ничего не можете. И не надо ничего. Окромя писем. Ваша шуба, Марьяна Григорьевна, всё равно не стандартная, носить бы её я не смог, так что не печальтесь.

А еще я хотел Вас спросить: почему в присланном Вами письме я не слышу голоса друга моего Митьки?<sup>19</sup> Неужели он забыл, как я бескорыстно скармливал ему все Ваши мясные припасы? Вот она — благодарность!! Я целую Вас, Веру, Мишу, профессора и сердечно приветствую всех общих знакомых. Разумеется, я тоже жду ответа, как соловей лета. Боюсь, что я в чём-то схож с вышеупомянутым соловьём.

Всегда Ваш Илья.

14/1-71 г.

Дорогая М. Г.<sup>20</sup>

В первых строках своего к тебе письма постараюсь обстоятельно и убедительно отвести от себя все упрёки. На главный из них я и отвечать не стану — видит бог, здесь вмешался рок, фатум-с, несчастный случай, которому я не в силах никак противостоять. Но вот ты пишешь: «Тебя, кроме Гамсуна, ничего не интересует». О, как это жестоко и несправедливо так говорить: «ничего!»! Вот, например, я слышал, что вышел одноклассник М. Фриша<sup>21</sup>. И он меня тоже очень и очень интересует. И вообще у меня очень широкий круг интересов. Как только я начну в феврале получать газету «Книжное обозрение», так в каждом письме всем знакомым — тебе в том числе — буду об этих интересах обстоятельнейшим образом сообщать. Всенепременно.

Далее. По-моему, в мире нет человека, который так широко и снисходительно относился бы к увлечениям своей супруги. Я в письмах чуть ли не сводничал, не толкал Галю в стан «этих несчастных созданий» (как, бывало, писали в романах XIX века). И вдруг получаю упрёк в ханжестве.

И, наконец, это чудовищное обвинение в недостатке чувства юмора, когда подшучивают надо мной. Но, скажи на милость, неужели во всём 3-х миллиардном мире есть только один человек — Илья Габай — над которым надо подшучивать. И разве я когда-либо терял это чувство, если подшучивали над моими близкими и дальними. По-моему, отнюдь. Так что ты кругом неправа, и я могу с чистой совестью перейти ко второй строке моего письма.

«Ты не любишь такое искусство, когда на глазах у зрителей отсекают руки, отрубают головы, насилуют женщин, ласкают мальчиков». В общем-то, перечень этот, конечно, не выглядит привлекательным. Но не любить жестоких деталей в искусстве (то-есть *любить-то* их уже никак нельзя — я хотел сказать «не понимать») — это как сказать. Я видел 3 фильма Бергмана<sup>22</sup>: «Лицо», «Земляничную поляну», «Вечер шутников» — и в каждом из них (вполне?) хватало жестокостей. Но там не было их, т. е. эстетизации — они вполне снимались или объяснялись самими фильмами; в «Лице» это оказывалось фокусом-покусом, мистификацией; в «Земляничной поляне» кошмарным сном встревоженной совести, и только. Не понимать этого — всё равно, что не понимать всех ужасных историй с детьми в «Бунте» Ивана Карамазова. Об эстетизации их, о том, что сам художник не ужасается, а играет на подкорковой части человеческого существования, в своё время писала хоршо М. Туровская<sup>23</sup> — когда рассказывала о документальных материалах какого-то художественного фильма Лелюша<sup>24</sup> (бо-

юсь, что я соврал фамилию. Словом, автор «Мужчины и женщины»). О «Стыде» я читал очень давно, и его замысле, но с подробным изложением сюжета. Мне очень хочется посмотреть его, потому что Бергман в моей памяти самый значительный кинохудожник. Что касается Феллини, то он пока в моем представлении автор одного единственного непревзойденного фильма — «8 с половиной». Всё остальное, что я видел, никак не задело меня душевно (правда, еще «Ночи Кабирии», но я их смутно совсем помню). Категория «виден мастер» — и для меня очень занимательна и интересна, но всё-таки не совсем то для профессионала. А видел я у него ещё «Белый шейх», «Дорогу», «Сладкую жизнь» и «Джульетту и духи». А в общем-то, читаешь ваши письма — и грустновато всё-таки от того, что многое проходит мимо меня. Это вряд ли наверстаешь потом: помимо чисто технических трудностей, может сказаться ещё и просто притупление, какие-то новые жизненные критерии.

Кто такой Л. Д., я представляю очень смутно... Это не тот человек, который работает в районе (нрзб.)? Во всех случаях, но в этом особенно, я был бы просто счастлив и за тебя, и за своего бесценного Юлика, если бы «Недоросль» пошёл. Надеюсь, что так оно и будет и что до мая 1972 года спектакль ещё будет идти с аншлагами (вот где пригодится знакомство с авторами! А ты говоришь: только Гамсун тебя и интересует!)

Не обидел ли я чем-то Веру или ей просто не до меня? Во всех случаях передай ей от меня самые добрые и искренние слова. И ей, и Мишке, и всем общим друзьям и знакомым. А Георгию Борисовичу я только отправил письмо — и, представь себе, совершенно бескорыстное... Крепко целую тебя и желаю счастья в работе и семье.

Твой Илья.

\* \* \*

26/II (1971 г.)

Добрый день, Мая!

Вчера отправил письмо твоему мужу и моему другу и учителю, на душе было довольно весело, а сегодняшний день неожиданно-негаданно принес довольно серьезные огорчения. Оно очень чувствительно для меня; боюсь, потому тебе придется читать довольно вымученное письмо. Жаль, но Верину давнее письмо до меня так и не дошло. Я, действительно, еще ни одного письма не оставил без ответа, поэтому

еще раз прошу не считаться, а писать всякий раз, как пишется, имея еще в виду и принятые соображения.

Статью Юткевича я читал, имел по этому поводу беседу с Юликом. Она мне активно не понравилась — той серьезностью, значительно-стью, с которой он говорит о пустяках. И всякие его идеи (С Зоей Березкиной, например, и с пробуждением Присыпкина, еще с Бояном<sup>25</sup>) показались мне довольно ничтожными. Юлик, кажется, с этим согласился, но рассказал о творческой атмосфере (я это предчувствовал), которая, конечно же, значительно выше философских претензий мэтра. Еще я прочитал (с опозданием) театральную статью В. Смехова<sup>26</sup> в «Юности». Боюсь, что я опустился до уровня замшелого брюзги, но разговаривать с ним, как я вспоминаю, было интереснее, чем читать его рассуждения. Может, читательский контингент журнала предполагает такую легкость, беллетристические разговоры на серьезную творческую тему? Вообще серьезной прозы, захватившей меня, пока что в журналах не оказалось. Так что я на практике потерпел поражение в споре с одним из своих друзей — Витей Красиным, ты его видела у меня незадолго до моей попытки сельского учительствования, если помнишь. Мы заспорили, следует ли читать современные журналы. Я-то считал, что да, следует, — хотя бы обычная причастность к своему времени требует этого, но вот, видишь, большой литературы в этом году пока не встретил.

В прошлом году я журнал «Новый мир» не получал, Юрия Трифонова<sup>27</sup> не читал, поэтому не могу влезать с арбитражем в ваш с Леной спор. Я читал в прежних номерах, которые мне Галя передавала в Лефортово, его рассказ об обмене квартиры; он меня тронул.

.....

Может быть, я и в условиях несколько меньшей общительности тоже занялся бы языком — не японским, конечно, где уж — каким-нибудь европейским. Сейчас это не по силам, только Алик<sup>28</sup> молодец, издаюла чувствуетея цельноеть натуры — я буду очень рад с ним познакомиться.

Еще я очень рад, что (дело, правда, уже давнее) многие из друзей, в том числе так любимая мной твоя семья собрались на Галин день рождения. Словом, шарик наш вертится, вот что главное, а остальное приложится. Верина дочка — очень смышленный и трогательный человек, я еще раз благодарю вас за фотографии.

Что касается Алешки, то внешне он, правда, изменился. Но пишет он мне порой письма, очень меня греющие. Чрезвычайно хотелось бы, чтобы из него вырос человек с близкими мне взглядами на мир, остальное — опять же — приложится. Вот воздействовать на это я пока никак не могу, а, кажется, уже время.

Будешь писать Е..., передай ей привет и соответствующие — очень трудные — слова моего огорчения. Меня отталкивала должность ее отца, а вот же — 11 лет Дахау. Вовсе не поумнею, наверно! Сама-то Е. такая же обаятельная и ортодоксальная? Интересно, хоть каким-то краем пришло к ней в результате двух экспедиций понимание хотя бы того, что люди с определенной точкой зрения — не обязательно чудовища и сотрудники Штрауса? Ох!

Крепко тебя целую и всех очень приветствую.

Илья.

\* \* \*

5/VI<sup>29</sup> (1971 г.)

Дорогая Мая!

Письмо твое добиралось очень долго — этим и объясняется задержка с ответом.

Меня очень огорчают неудачи с вашими с Юликом замыслами; хочу надеяться и верить, что в конце концов произойдет с этим что-нибудь хорошее. Юлик тоже написал мне обо всем этом, но у него, как я могу понять, меньше все-таки оснований огорчаться. Да порадует тебя ближайшее время удачами!

Галя сказала мне, что последнее время вы территориально мало доступны. Я надеюсь, что ее приезд прервет эту не очень-то веселую для меня традицию. Мне по многим причинам хотелось бы, чтобы вы увиделись в ближайшее время.

Расскажу о своих кинопечатлениях последнего времени. И кинопланах. План, собственно, единственный: завтра пойдет у нас «Красная площадь»<sup>30</sup>, и знакомство со сценаристом (одним из) обязывает меня сходить в картину, хотя я заранее предвижу результат. Нечто подобное, хотя я даже и не предвидел, а почти знал (помнил по впечатлениям детства) случилось с просмотром «Секретной миссии» несколько недель назад. С этой поры я надоедаю многим своим вопросом — загадкой Сфинкса: зачем Ромм<sup>31</sup>, так почитаемый мной, это сделал? То-есть — не зачем он сделал тогда этот фильм — это как-то можно объяснить и по-человечески понять, — а зачем он совсем недавно восстановил его. Во втором номере «Искусство кино» (на которое я подписан), я с интересом прочел работу Шкловского<sup>32</sup> об Эйзенштейне, Шестакова<sup>33</sup> об английском кино (которое, как я убедился, мне известно куда меньше, чем не только итальянское, но даже французское или японское), материалы о Дзиге Вертове<sup>34</sup>. Последние что-то не вызвали у меня желания немедленно

смотреть ленты прославленного маэстро. Сказывается, конечно, мой непрофессионализм.

Главные мои ожидания (помимо самых главных, само собой разумеется) связаны с предстоящим чтением привезенных Галей книг. В их числе и «Лунин». Один из моих товарищей прислал мне с Галей два номера «Былого». Судя по оглавлению, там совершенно захватывающие, интересные и поучительные материалы. Есть у меня сейчас и гершензоновские работы, а о новинках я умалчиваю вообще — дух захватывает. Впервые за несколько месяцев мне не очень хочется даже подстегнуть приход журналов.

Я очень рад, что среди огорчений есть для твоих домашних и радости-оазисы. Уверен, что их будет много.

Еще одна загадка последнего времени: как понимать ту часть отчетного доклада, где говорится о литераторах, насаждающих догматизм. Может, в дальнейшем прения как-то конкретизируют этот тезис и я обогащусь еще одной нечаянной радостью.

А пока я только прощаюсь с тобой и очень и очень желаю тебе удач, и успехов, и радостей. Целую тебя и твоих домашних.

Илья.

\* \* \*

22/VII (1971 г.)

Дорогая Марьяна Григорьевна!

Отвечаю с солидным опозданием. Единственное утешение, что вы все не лучше, хотя утешение, конечно же, сомнительное. С твоим мужем, например, и с моим другом почтенным, мне хотелось бы общаться не только через журнал с трехмиллионным тиражом<sup>35</sup>. Что-то совсем уж умолк Георгий Борисович, и вообще я узнаю теперь о вас по избранным рассказам знакомых.

Сделанный вами кинофильм я просмотрел с удовольствием. Но пока еще бестолково, без пояснений — поэтому мне далеко не все там известно и понятно. Сегодня воскресенье, напишу десятка полтора писем, а потом уж посмотрю со вкусом. Смотрело его и множество моих товарищей; они все сокрушались, что мало «сеансов» («сеансы» на тутошнем языке — это ню). А несколько дней назад меня попросили решить теорему. Ее прислала своему корреспонденту девушка-«заочница» (то есть не знакомая ему лично, а только по переписке — но любовь нежная и до гроба). Теорема выглядит так: дано — «слияние двух сердец». Требуется доказать: «Они любят друг друга». Любовь — есть нежность и еще что-то, что я не запомнил. Тогда: «любви без ревно-

сти не бывает». Следовательно... должен был вывести корреспондент этой девушки, он попросил это сделать меня, но я от чести отказался, сославшись на отсутствие специального математического образования.

А вы говорили когда-то о прелестях сарафанов и частушек! Впрочем, кажется, мало что мешает этой девушке стать хорошим работником и матерью. А культура, действительно, не знает человека лучше — разве что интереснее.

Сейчас у вас фестиваль в разгаре, ты, наверное, пропадаешь на фильмах, я очень жду подробных рассказов. Нам сегодня привезли «Третий тайм», я его не смотрел и все-таки не пойду: есть дела и поинтереснее.

Очень приятно было встретиться с повзрослевшим Алешкой. Кстати, когда я впервые увидел вашего Мишку, он был всего на пару лет старше. Вот как быстро идет время и как незаметно становимся из новых знакомых старыми друзьями.

Я буду ждать твоих и Георгия Борисовича писем, а пока крепко целую всех вас.

Твой Илья.

\* \* \*

14/XII-71 г.

Дорогая Мая!

Я тоже был очень рад, что встреча с Галей состоялась. Задним числом всегда вспоминаешь и упрекаешь себя за неверную интонацию, жест, слово. Но я думаю, что тут как раз случай, когда снисходительность более или менее позволительна. Надеюсь на Галю, тем более, что я получил от нее теплые письма с дороги.

Я не думаю, что мне очень понравятся иллюстрации Неизвестного<sup>36</sup>, так же, как не думаю, что мне понравится Гамлет Высоцкого. Плохо, что я что-то заранее не думаю, плохо, узко, но как же не сознаться. Когда-то, лет 8 назад, я был в мастерской у одного художника, который теперь принял сан и, кажется, от живописи отошел. Не знаю, как сейчас, но меня очень тронули его картины на темы «Братьев Карамазовых»<sup>37</sup>. По-моему, иллюстрируя Достоевского, надо держаться т. н. реалистических рамок, иначе претендуешь на толкование или даже дополнение его — что-нибудь из области (нрзб.) грандиоза. Я не видел «Преступления...», а из всех виденных фильмов по Д. мне больше всего по душе «Кроткая» Борисова<sup>38</sup> с Поповым<sup>39</sup> и Савиной<sup>40</sup> — и именно по вышеизложенным причинам.

Как же так — «ничего не сделала за три года». Я понимаю теперь, что самая правильная формула: сделал (сделала) меньше, чем могла бы, если бы не.... Но живой человек не может жить без этих «если бы», а некоторые и не от нас зависят, а, кроме того, — тоже не очень уютно для души. Не навязываю ли я тебе свои собственные самоутешения? А картины Неизвестного надо б увидеть. И все-таки — «гроздь» из мертвых гаек?! М-да. Еще бы гирлянды, елочные украшения! Ну и (нрзб.), из которого он исходит, это ведь не столько философия, сколько кабинетный трюизм. Впрочем, я никогда не умел быть справедливым и беспристрастным, потому умолкаю на эту тему. Получил ли Г. Б. мое письмо и собирался ли он мне написать хотя бы в перерывах между 12 и 13 печатным листом? Как у тебя дома, как у всех знакомых? Будьте счастливыми, здоровыми и успешными в високосном году. Целую тебя.

Илья.

\* \* \*

*(конец октября — начало ноября 1970 г.)*

Дорогой профессор!

Наконец-то я услышал и Ваш голос и очень мне от этого стало тепло и весело. Я недавно написал письмо Вашей дочери, так что Вы в курсе моих дел и интересов; поэтому мы с Вами можем просто и свободно поболтать.

Очень и очень я рад Вашим научным успехам. Вот так всегда: сто́ит мне разок-другой не поехать с Вами в экспедицию — и у Вас сразу же поток открытий и находок. Я себя прямо-таки чувствую чем-то вроде черной кошки или женщины на корабле.

Кстати, о женщинах. Место, где Вы так вкусно описываете сарматку III века, поглотило все мои помыслы. Красота и богатство этой юной варварки (вот что значит в течение месяца усердно штудировать эллинов) вызывает у меня всякие оригинальные (!) мысли о бренности красоты. Но я все равно рвусь предложить ей руку и сердце.

Георгий Борисович! Что ж Вы ни слова прямо-таки не пишете о наших общих знакомых — о Ваших учениках и знакомых? Хотел бы почитать Вашу повесть, но до выхода в свет это, наверно, недостижимо. Может, Вы как-нибудь перепечатаете отрывочек, который для Вас принципиален и интересен?

О том, как я живу, рассказывать очень трудно. Все бы ничего, если бы всякий пустяк не выбивал бы меня из колеи. Это все объясняется слабостью моего характера («Слабые духом ахейки мы — не ахейцы»<sup>41</sup>) и некоторой усталостью. Очень я Вас прошу, успокойте Галю, скажите,

что я вполне здоров, что жду ее 28 ноября на личное свидание. С нетерпением жду.

Хотел бы я отвести немного душу в Вашем милком мне и святом семействе, но ничего, доктор, перетерпим. Вот жаль только, что на Ваш день рождения<sup>42</sup> мне никак не поспеть, даже в 1972 году. Надеюсь, что Ваша внучка отнесется ко мне вполне терпимо, как это было со всеми младшими членами Вашей семьи. Я тороплюсь закончить пока свое писание — иссякает мое время, и я прекращаю дозволенные речи. Нечего, наверно, и говорить, сколько добра я желаю всем вам. Берегите сердце, Георгий Борисович, не забывайте меня, любящего Вас, хоть и не очень путевого, друга. Целую Вас и всех больших и малых Вашего дома.

Ваш Илья.

\* \* \*

18/XI–1970 г.

Доктору так отвечает очкастый и хилый курильщик:

«Низкий поклон Вам, сарматкунашедший профессор!  
Ваше письмо лучезарней улыбки Киприды!  
Только почто мне не пишут лилейнораменная Ваша супруга  
С мудрою дочерью, постигшей все Фебовы тайны?»

Кстати, Георгий Борисович. Что такое лилейные? Лиловые? Неужели элины считали красивыми лиловые плечи? Ну и ну!

Очень рад Вашему сообщению о Твардовском, но, боюсь, что это временно. В свое время меня осведомляли о ходе болезни Казакевича<sup>43</sup> (в таком я был кругу), и все его облегчения оказывались иллюзорными. Дай-то бог, чтобы история в этом случае не повторилась.

Мне одна приятельница переписала из его сборника очень умное, по мне, стихотворение. Там речь идет о том, что ничто и никто не в силах сладить со стихами: «За каким-то минувшим сроком — И у времени с языка Вдруг срывается ненароком Из того же стишка строка». Так-то оно так, проверено это, и точно, и в перспективе весьма утешительно. Только я, по своей въедливости, перевожу всегда такие проекции на житейские разряды, и в этом случае нестерпима становится мысль о многих прекрасных талантах, которых неизменно ставили перед выбором Иоанна Предтечи<sup>44</sup> или Галилея<sup>45</sup>. Но это невеселая тема, тем более, что строки все же всплывают действительно. Поговорим лучше о моих матримониальных делах. Что бы Вы мне там ни говори-

ли, как бы Вы меня не отталкивали от моих привязанностей — я однолюб, и чувство мое к ней неизменно. Грудь — это, конечно, гм, неестественно. Но можно же любить, как заверяют классики, даже красавицу, нюхавшую табак. Что касается обычая приносить в приданое труп врага, то это ведь очень кстати. Я по своей интеллигентности этого никак не сделаю, а она, глядишь, убьет кого-нибудь из ненавистных мне неокolonистов и принесет радость мне и человечеству. А то еще, чем черт не шутит, до самого фон Таддена<sup>46</sup> доберется. Так что нет и нет, выбор мой окончателен.

С Ю. Ч. (перехожу опять к серьезным темам) Вы рассудили все очень мудро. Будете писать ему или П.<sup>47</sup>— сердечный привет от меня.

Очень жалею, что обстоятельства помешали мне редактировать Вашу и Полевого работу. То-то было бы возможностей у меня покопунствовать на археологические темы.

Представляете ли вы Гале иногда возможность заглянуть в лавку писателей? Двухтомник Гамсуна вышел, Георгий Борисович, и мне было бы приятно, если бы Галя из склонности расставлять все по алфавиту поместила бы его где-нибудь между Гайдаром и Голсуорси.

Что же это Вы собрались в 1972 году целую неделю праздновать свое тезоименитство? Подумайте о детях, внуках и правнуках, старый грешник! И так у Вас, как я помню, все имения и родовые конюшни заложены и перезаложены. Небось, за время моего отсутствия Вы отнесли в ломбард последний гаечный ключ от вашей «Победы»<sup>48</sup>?!

У меня самые серьезные намерения начать переписку с Вашей внучкой. Я уже накопил опыт, переписываясь с Анюткой З.<sup>49</sup>, и убедился, что дети куда более пунктуальны, чем их родители. Но опыт, правда, не всегда помогает. Вот сейчас, с наступлением не очень жарких дней, весь мой археологический опыт пропадает втуне. Такая пошла земляца, что это не снилось нашей с Вами мудрости. Но это опять же — особая тема: еще подумаете, что я жалеюсь, поэтому я вновь вступаю в утренние обязанности Шехерезады.

Крепко целую Вас и Ваше семейство и сердечно приветствую наших общих знакомых.

До свидания. Илья.

\* \* \*

11/I-71 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Наконец-то и от Вас пришло письмо — да еще какое! Какое именно, я не буду писать, а то у нас все письма станут сплошным объяснением

во взаимной любви. Хотя чего же плохого в таком объяснении — ежели это правда и почувствовать на расстоянии трудновато. Получили ли мои письма женщины Вашего семейства? Если да, то что же их удерживает от незамедлительного ответа?

Я получил после Нового года много писем, точнее открыток. В том числе и от людей мало знакомых и от тех старых товарищей, на которых внутренне уже махнул рукой. Как хотите, но в моей ситуации есть и человековедческое поучение. Главный урок его — в увеличившемся и углубившемся ощущении человеческой ценности. Я уже писал одной из своих корреспонденток, но не боюсь повториться. Главный вывод вот какой: как ни иронизируй над словом «интеллигент» — в нем, даже в неважные времена, воз человечности и совестливости. Словом, если нашего брата не замучить и не задергать до конца, он обязательно проявит все: и доброту, и порядочность, и гражданственность.

Я вот пишу и боюсь, что мне как-то придется варьировать в стихах многие строки своих писем, но тут ничего не поделаешь, раз уж это именно моя тема.

Эсхатологию я всегда понимал как раздел церковной науки — как учение о конце мира именно, а не истории. Это тоже было интересно узнавать из вторых рук, как, например, и о немецких местечках или Фоме — но, каюсь, не столько для душевного преломления, сколько для пополнения скудного образования. Ваше пояснение существенно меняет дело. Из одного из выступлений Померанца<sup>50</sup> я запомнил его изложение доктрин, опровергающих исторический прогресс. То есть не научный, технический и пр., а эстетический. Тогда это мне показалось ошеломляющим. Вот и ключ, скажем, к объяснению фашизма: (нрзб.) — а человеку дали возможность доказать, что нравственность у него дикарская, законы и возмездия не сдерживали его — он проявил. Сейчас я понимаю так, что никакого прогресса нравственного, в сущности, и быть не должно. Есть 10 или 20 заповедей, к которым большинство народов, разделенных пространством и временем, пришли самостоятельно — и они, видимо, должны быть неизменны. Там уж уточняются только детали, шлифуются. У меня и ключик к этому — через поэзию, через любимые мною сейчас «Подражания Корану». Там все ясно. Скажем, «Торгуя совестью пред бледной нищетою» — это из категории вечных заповедей, «презираи обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот...» — тоже, а «О, жены чистые Корана!» — из навеянных временем, переменчивых, из мусульманского (нрзб.).

Слова Луначарского Дон Кихота очень точны. Только вот Луначарский<sup>51</sup> — и драматург? Впрочем, как я убедился не так давно, поздний Луначарский — и критика. Мне в Лефортово пришлось прочитать кучу книг с его предисловием — Пушкин, Гете: удивляешься такому сочета-

нию эрудиции и шор «зарождающейся буржуазии» и «среднего помещичьего дворянства».

Вторая половина Вашего письма — готовый рассказ<sup>52</sup>, в котором, по мне, и изменять ничего не надо. Я и так храню все письма, но, если хотите, это пришлю Вам обратно, чтобы не писать заново. Вот я все время хотел Вас спросить, свойственно ли Вам такое же органическое ощущение природы, как, скажем, у Багрицкого? Или, в другом качестве, у Пастернака? Ваш рассказ кое-что прояснил, но не до конца. Мне, вот, кажется, кроме простого созерцания, ощущения «красиво — некрасиво», растроганности от животных, особенно маленьких, — совершенно это не свойственно. Если бы я взялся описывать природу, это была бы очень холодная литературщина. Говорят, что это как раз в природе иудаистической наследственности, ну тогда это единственно сильное проявление моего гена. Только как же тогда тот же Багрицкий, Пастернак или (не осмеет ли меня Ваша Вера — но я его люблю) Левитан<sup>53</sup>?

Георгий Борисович, у меня в последние годы много новых друзей и привязанностей, но и старые прочны и — неизменны. Я хочу сказать о Пете<sup>54</sup>, которому обязан и прочностью некоторых убеждений, и кое-какими общежитскими качествами, и последовательностью в каких-то поступках. Меня очень тревожит сейчас в нем все: и здоровье, и его статус, и просто его общественное самочувствие. То, что может огорчить Вас и других людей в нем, имеет все-таки объяснение: он попал в 14 лет, а лагерь консервирует что-то в характере человека. Я все это вот к чему. Последние годы я наблюдал редение его круга, что он, по своей общительности и несклонности к кабинетным занятиям, переживал очень остро. Я хотел бы, чтобы Вас ничто, даже если это будет Вас коробить, не оттолкнуло от моего друга. Похоже, что он сейчас особо нуждается в людях и в тепле. Разумеется, Вы не проговоритесь, что я писал Вам все это, даже в дни каких-нибудь больших празднеств? Полномочий у меня никаких на такой разговор с Вами нет, и дело может кончиться очень серьезными для меня недоразумениями. Побудительные причины моего разговора, я уверен, Вам вполне ясны?

Пишите мне почаще и подвигайте на это своих домочадцев.

Крепко Вас целую; запасайтесь сметами для меня с зимы 1971/72 года.

Ваш Илья.

\* \* \*

[Январь (?) 1971 г.]

Дорогой Георгий Борисович!

Получил вашу реляцию с рукописными приложениями: письмами от чад и домочадцев. Ну чего там говорить, что я очень и очень рад — сами, небось, знаете. Хотя, не скрою, встала сразу же передо мной сложная задача: как это отвечать всем троим, не повторяясь, и кому отвечать дактилем, кому ямбом, а кому пеаном?

Я всегда думал, как это сделать так, чтобы удалось и быть самим собой и быть похожим на хороших людей? Я бы многое перенял у каждого из своих друзей, у Вас, дорогой мой шеф, тоже многое: в частности, обязательно бы перенял широту Ваших интересов и их целеустремленность, и еще обязательно добродушие (не максималистское, значит), в конечном счете, отношение к людям. Очень я Вас за все это люблю и считаю, что, сказав все это, я вполне заработал право попросить у Вас достать мне по возможности и Гамсуна, и Аввакума<sup>55</sup>. Для того, собственно, и говорил, и заливался соловьем.

Кстати об Аввакуме: личная-то его судьба, как я могу понять, как раз и идет по разряду Иоанна Предтечи (с известными оговорками, понятное дело). Читал я его в отрывках (хрестоматийных) в период своей и нравственной, и умственной неготовности к такому чтению. Боюсь, что этот период затянулся аж по сю пору. Но я так себе представляю и вспоминаю, что можно испытывать восторг перед его потоком косноязыческого иступления, перед силой его убежденности — и в то же время отталкиваться, отгораживаться от неинтеллигентного фанатизма. Можно было бы его, наверное, сравнить с Радищевым в чем-то: в том же органическом сплаве косноязычия — прямоты речи — но Радищев как раз интеллигент, весь его максимализм, даже весь радикализм не от фанатической приверженности к бывшей ортодоксии, ставшей ересью, а от уязвленной совести. Ведь под ударами этой же совести весь максимализм, даже весь радикализм развеялся, как это блестяще пояснил в свое время Плимак<sup>56</sup>, а потом и примкнувший к нему Карякин<sup>57</sup>. Я не знаю, почему я это все пишу, но Вы-то, надеюсь, понимаете, что не умничанья ради: мне просто необходимо прояснить для самого себя вещи, важные для меня, и в простоте и непреложности которых я стал не то, чтобы сомневаться, но все же как-то поколебнулся: то есть почувствовал необходимость взглянуть если не поглубже (где уж!), так хоть бы пошире.

То, что Вы пишете о сарматах, об их уходе с арены, теперь уж независимо от моей сарматской ундины, хотя бы и понятно, но грустно. Сошла со сцены бесследно не только ведь цивилизация, но и бытовавший когда-то сколок человечества со своими неизменными, пусть

не до конца проявленными, но обязательно бывшими и трогательными комплексами материнства, внутренней поэзии, раздумья, горя — чего угодно, словом. Всё — цари виноваты. Они, собственно, и создают дух народный — рабский или философский, разбойничий или созерцательный, свободолюбивый или китайский, как там ни преуменьшай культа их личности. Вот, может быть, и Индия без Ашоки<sup>58</sup> стала бы таким же сарматским воспоминанием о бывшей когда-то воинственной цивилизации. Большие у вас масштабы, у археологов и историков: вы ведь не бабочек — народы и эпохи целые — прикалываете булавочкой. Чего это я разговорился, ума не приложу, но очень уж захотелось.

Ю. я оценил никак не великодушно: просто сам в чем-нибудь другом грешен и понимаю, что им ни в коем случае не руководило желание предать. Тут и сердиться не на что. Вы бы поучили таким взглядам мою принципиальную супругу, а заодно взяли бы вообще ее под возможный посильный контроль, выглядит она разбито и изведенно, а сил ей и терпения еще нужно предостаточно.

Есть все-таки диалектическая радость в каждой неприятности. Судя по Вашему письму, мое пребывание здесь имеет свои плюсы: кто-то меня хоть это и предыдущее лето не загонял сетями в ледяную воду за бедными рыбами. Интересно, если бы нашу экспедицию застал в Ялпuxe Рыбаков<sup>59</sup>, что бы Вы придумали, небось, что мы как раз сейчас заняты важными ихтиологическими исследованиями?

Дорогой мой профессор русской истории, пишите мне почаще, не зирая на мои глупые шутки с гексаграммой или прозой. Примите самые искренние пожелания добра от не шибко почтительного, но очень любящего Вас ученика.

Крепко целую Вас. Илья.

\* \* \*

*25 февраля сего (1971) года.*

Доктор Георгий Б. Федорофф, эсквайр! Отгадайте загадку: «Сидит дед и задерживает ответ» (на мои письма). Я как-то до сих пор не могу постигнуть, что Вы — дед, и даже чудесные иллюстрации к Вашему письму ничего не смогли поделать с этим психологическим барьером. А внучка у Вас — прелесть, мне остается возгордиться от мысли, что новое поколение вступает в жизнь с моим письмом в руках.

.....

«Весьма сложный и значительный комплекс по имени Ильи Габай» ограничен почти одной-единственной темой: желанием получать письма. Поиском обратной связи, современно и научно говоря. Поэтому, ежели он и оклеветал женщин Вашего семейства (не всех: к Нинке я не имею никаких претензий), — да простится ему это: не ведал, что творил, да и не от хорошей жизни. Кстати, нельзя ли и мне как-нибудь воспользоваться билетом и попасть на выставку импрессионистов?

Георгий Борисович, Карелия — это здорово, это моя хрустальная мечта, которую я так и не успел осуществить. Непременно поеду с Вами, если Аллах захочет, как говорили мои ташкентские товарищи.

Вчера я получил письмо от Г., которое огорчило меня по всем статьям. Я все-таки под влиянием сложившегося стереотипа, думал, что физики отрешены от подлой гуманитарной суеты — лжеработы, наушничества, склок. А вот поди ж ты — нет, и, главное, что у Г. в связи с этим жизненным неудобством, — неприятности и нервотрепка.

Из того, что я прочитал в последнее время в журналах (а их я в последнее время и читаю только), меня больше всего заинтересовало участие в дискуссии «Иностранной литературы» Бёлля и статья Андрея Нуйкина<sup>60</sup> — «Нравственное. Духовное. Идеиное.» в «Новом мире». В последней статье мне еще предстоит разобраться — внутренне переварить — но сам диагноз «массовая культура» страшнее т. н. модернизма, сам протест против упрощенной терминологии «нравственного», «человеческого» и пр. меня очень согрел и напомнил добрые времена А. Т. Твардовского. Я впрочем, надеюсь дожить до времени, когда разговор о «модернизме» не будет неприличием — то есть когда критическое отношение к нему не будет обязательно совпадать с ортодоксальными установками. Это уже попробовал сделать как-то умный и ученый человек Лившиц<sup>61</sup> (я не разделяю его вкусов, но отношусь к нему с уважением) и оказалось, что это действительно еще неприлично, не ко времени.

Из моего житья-бытья. Мне пообещали подыскать возможность и дать пораньше свидание с Галей. Если так оно и будет, то будет прекрасно: отпадет необходимость в общем свидании сейчас, в безумных тратах денег и сил ради часа-двух встречи. Но, в общем-то, я готов мысленно к тому, что из этого ничего не получится.

Товарищества, которые здесь время от времени складываются, постоянно приносят разочарования по мелочам, но и к этому, оказывается, тоже можно привыкнуть. Я думаю так: в последние месяцы надо будет начать отвыкать от многого: так ведь не углядишь, как обернешься иной стороной Януса. Я пока что веду себя вот таким образом: более-менее прост в разговоре (это, кажется, не требует

от меня душевного напряжения, т. к. в той или иной степени органично), и подчеркнуто живу своей жизнью. До сих пор это давало мне возможность стабильного сосуществования. Здесь есть люди, которые срочно рядятся в одежды бывалых уголовников. Больно смотреть, как в конце концов начинают над ними жестоко насмешничать. Но, в общем-то, материя эта сложная и путаная, и я умолкаю до скорой, надеюсь, встречи с Вами в письмах. Я только что написал в Красноярский край большое и спорное письмо<sup>62</sup>, поэтому письмо к Вам получилось негустым — извините меня, Георгий Борисович. Крепко целую Вас и жду Ваших писем.

Илья.

\* \* \*

23/III-71 г.

Мой дорогой профессор!

История — и не только она — так насыщает Ваши письма, что по прочтении их, наедине с собой, как говорил старик Аврелий<sup>63</sup>, я долго не могу освободиться от давящего на меня груза невежества. Конечно, я помню немного ученую информацию о крито-микенской культуре и царе Миносе, построившем лабиринт. Читал я и об ариадниной, как говорится, нити, видел иллюстрации на эту тему, но это же безумно мало. Попутно: я выписываю 5 газет и 12 журналов, недавно к изученным словам «конвергенция» и «конформизм» присоединилось слово «компьютер», — но «торевтика» (!?!)... Боюсь, ничто не приблизит меня скоро к пониманию этого таинственного и зачарованного слова. А ведь все, кажется, так просто: передали бы Вы свои и В. Л.<sup>64</sup> статьи в «Вокруг света» с Галей: снабдили бы их автографом — и пелена спала б с моих глаз. Между прочим, с соавтором Вашим и его прекрасной женой я тоже знаком. Помните, в 1968\* году Вы и они были в майские дни под Переяславлем? Я — вспомните — тоже там был, мед-пиво (российский эрзац их) пил и, провожая его до автомобиля, строго наказывал его Гилю<sup>65</sup> (Б. З., достопочтенному)<sup>66</sup>: «Помни, кого везешь!» Так что я имею, по-моему, полное право на этот подарок. Впрочем...

\* описка И. Габая. Читай: 1967.

I

*Надо выражать свои мысли яснее.*  
Г. Б. Федоров. «Апология ясности».

Впрочем, я так запутал свою бедную жену, что опасаясь, что свидание состоится только где-нибудь в ясные майские дни 1972 года. И Вы были правы, когда говорили строго и неукоснительно: «In masculinum veritas». Действительно, надо поменьше рефлексировать в житейских случаях, не ловить журавлей в небе и не морочить голову своим домо-чадцам. Тогда, мой сын, — как часто внушали Вы мне, — ты будешь человек.

.....

... письма Г. веселы и радостны. У него очень острая сатирическая приметливость; так, последнее его письмо посвящено целиком и полностью встрече физиков и журналистов... Остается пожалеть, что размеры этой статьи не позволяют мне включить его в текст; но, поверьте мне на слово: это очень точная, талантливая и — злая стенограмма. Я получил громадное удовольствие и наслаждение эстетического злорадства. Вы можете испытать то же, если попросите рассказать его об этом А если он спросит, откуда Вам это известно, — вспомните меня. Я-то Вас нередко вспоминаю, а в последнее время появились даже внепрограммные воспоминания. И вот с чем это связано.

II.

*Так что Вы неправы,*  
*Александр Борисович Чаковский.*  
Г. Б. Федоров «Апология Курбского»

*Сложно все как-то, знаете ли!*  
Г. Б. Федоров. «К вопросу о Прокопии».

Я с большим опозданием прочитал стихи Олега Чухонцева<sup>67</sup> и, конечно же, вспомнил Вашу — и Зимина — заметку по поводу его зоилов. Чухонцев и вправду — поэт; мне жаль, что я узнал это несамостоятельно и поздно. Но не в том суть. Не думаю, что историческая оценка и мотивировка поступков Курбского<sup>68</sup> (Курбского именно, а не Ивана Гр. — с тем все ясно) так уж бесспорна. Но я очень порадовался, что у нас немало людей, которые хотят именно в этом (у Д. Самойлова гораздо раньше не интеллигент — холоп точно сформулировал: «Нет

милосердных царей на Руси!») видеть истоки русской интеллигентской мысли и житие. Стало быть, это все еще пока примета времени, что весело и радостно. Стало быть, неистребим «гнилой либерализм» (в духе А. К. Толстого хотя бы) нашего исторического отбора.

А еще я вспомнил Вас, прочитав в «Вопросах философии», номер 2 с. г., поразившую мое воображение заметку «Парадокс Кампанеллы», настолько поразившую, что я всем истово рекомендую ее прочесть. Не знаю, как с точки зрения глубины (профессиональной), даже с литературной точки зрения — не знаю, но материал ее, по-моему, довлеет дневи. Там Ваш парадокс Прокопия (кстати, была ли опубликована та памятная мне статья в «Новом мире» или еще где?) оборачивается совершенно неожиданной стороной. Оказывается, могут в этом случае и не возникать этические коллизии: хорошо ли, дурно ли? Оказывается, это все может быть естественным, а «Город солнца» логически [вытекает из нацистской ортодоксальности. Статья небольшая, но о многих психологических аспектах бытия догадываешься. Грандиозное, немислимое качество *естественной*<sup>69</sup> противоречивости открылось вокруг. Кажется, это должно прояснить и некоторые важные для меня аспекты не такой давней давности. Мне, наверно, хватало всегда нетребовательности, но тонкости и образованности, оказывается (то)же нет. И открылось это вдруг, когда прояснился ещё один, неведомый до этого отпечаток «металла времени». Но, заговоря о металле, я должен мимоходом коснуться житейского вопроса.

1. *«Видимо, одного моего письма, где говорится о черной металлургии, ты не получил».*

Г. Б. Фёдоров. «Апология эвксинских металлов».

Получил, Г. Б., и своевременно ответил. И теперь приходится горько сожалеть, что человечество так и не узнает моих серьёзных суждений по поводу их коррозии.

В этой, заключительной главе, дорогой мой шеф и друг, я очень коротко отвечаю на Ваши вопросы. Огорчения — повод для них — не прошли; но в каждом отдельном случае приходится всегда мудреть и олимпийские качества обретать заново. О товариществах все говорили верно, но неутешительно: хотелось бы в любом мире видеть побольше исключений из стихии прущего и всё и вся попирающего прагматизма. Ничего из названных Вами книг о животных я не читал. Это — свидетельство обедненности моих интересов, но о сих я уже подробно исповедался Вам по другому поводу. Очень настораживают Ваши слова о перемене (*слово размыто* — Г. Г.-Ф.) работы. Но боюсь (*слово размыто* — Г. Г.-Ф.) вдаваться в догадки, чтобы не (*далее размыто* — Г. Г.-Ф.). До встречи в Москве, на Ялпuxe, на севере и юге, на любой версте —

где угодно! Крепко целую Вас, М. Г., Веру, Мишку и низкий поклон Веринуму мужу и всем знакомым. Всегда Ваш Илья]<sup>70</sup>

\* \* \*

19/V (1971 г.)

Здравствуйте, мои дорогие!

В первых строках письма пойдут извинения и оправдания: — за то, что не поздравил Георгия Борисовича: не было сил копаться на дне рюкзака в поисках точного адреса. Пусть, дорогой мой друг и шеф, у Вас не болит сердце и пусть ничто не ввергнет его в боль. Что оно навечно пребудет добрым и нужным людям — в том я нимало не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что все остальное будет, если не безмятежно, так терпимо; — за то, что адресуюсь вам оптом: именно сейчас у меня запарка с письмами, а я тороплюсь ответить, ведь ваши письма и так шли дней десять.

И тут я перехожу к недоуменной части своего письма: вы ни словом не обмолвились по поводу своего затянувшегося молчания. Просто так или были какие-то обстоятельства, от информации о которых вы меня оберегаете?

Большое спасибо за добрые слова о стихах — они мне очень и очень нужны и важны. Там многое — очевидно и для меня — надо чистить и кромсать, ну уж когда-нибудь и как-нибудь, сейчас где уж!

За время нашего — не краткого — перерыва в письмах я был погружен в чтение документов и книг о народовольцах, декабристах, провокаторах, жертвах, палачах, следователях и пр. Это такая пронзительная, такая скорбная и перепутанная вещь — история русской интеллигенции. Я почему так ухватился за статьи Батова?<sup>71</sup> Он создал методологический прецедент непростых решений. Скажем, в случае с русскими революционерами: или пример для подражания, тема для аналогии — или «бесы» (нрзб.) или, как бы утонченно оно ни высказывалось, — приманка для категорической (стало быть, ложной) позиции. Вот, например Гершензон в блестящей статье о «Памятнике» доказывал, что Пушкин писал примерно так: это вы, чернь, оцените меня за «чувства добрые», а сам я ценен как раз тем, что вам не уразуметь: «звуками сладкими и молитвами». Блистательно обкраденный Пушкин!

Неизменная поучительность — в чтении переводных немецких романов.

Наверно, ощущение глубокой вины делает современную литературу ФРГ<sup>72</sup> такой совестью и проблемной. Это я о романе Ленца «Урок немецкого», который начал читать в «Ин. литературе». Кроме

того, они мудры, даже ученость, излишнюю в худож. лит-ре, легко прощаешь за мудрость. А это уже о романе Гессе «Игра в бисер».

И вот у меня не осталось места для выражения самой главной мысли. А она неизменна: пускай будет в вашем доме мир, покой, успех — счастье. Крепко вас целую.

Ваш Илья.

\* \* \*

7/VI-71 г.

Дорогой Георгий Борисович!

Недавно в «Литературной газете» выступил министр связи и пообещал наладить ямскую службу. Надеюсь, это благоприятно скажется на нашем с Вами общении и на моих интеллигентских нервишках. Там же изложен доклад Наровчатова<sup>73</sup>, но, — скажу без лести — один мой корреспондент изложил его куда интереснее.

Мнение Ю.Б. для меня очень ценно. Кланяйтесь ему от меня, если он меня помнит по 2–3 встречам. А «вседневность», которую Вы вспомнили, все-таки не сказываться не может, сказывается — на общем душевном состоянии. Работать надо, трудиться, как говаривали чеховские герои, но для работы, не имеющей ярко выраженного воспитательного значения, времени, можно сказать, что-то совсем не стало. Успеваешь только полистать журналы; может, от этой торопливости, желания непременно успеть все выглядит беднее, даже чем оно есть на самом деле. В последнем номере «Вопросов литературы» опубликована статья Т.Л. Мотылевой<sup>74</sup>... на тему для меня первостепенного интереса — «Достоевский и зарубежная литература». И все время злился на поверхностность и неглубинность исследования. Между прочим, автор — человек феноменальных знаний и культуры; наверно, она убедила себя, что глубже нельзя и сметь мыслить. Новое поколение критиков (некоторых) выгодно отличается от того, кого спугнули в свое время «сороковые-роковые». Читали ли Вы статью Лема<sup>75</sup> о «Докторе Фаустусе»? Я читал только полемику о ней — зачастую невысокого качества, но все равно и в изложении позиция Лема выглядит странной. А что касается декабристов, то именно это: что им-то успех своего дела, кроме убытков, ничего не сулил, да еще, что их было только «сотня прапорщиков» и что «узок круг этих революционеров» (что, по-моему, трагичнее — и героичнее), наверно, и снимает всякий другой грех движения. Читаю сейчас Акутагаву<sup>76</sup>. Лишний раз убедился, что все следует читать вовремя, иначе смещаются пропорции и снижается воздействие произведения. Как-то по-

сле ошеломившей меня притчи Кафки<sup>77</sup> все остальные выглядели замученными и придуманными. В этом случае тоже. Кстати, о пропорциях. Я внимательно изучил соотношение ума, души и обаяния Софи Лорен<sup>78</sup>, Джинны Лоллобриджи<sup>79</sup> и др. Но пространственное видение никогда не было моей сильной стороной. Впрочем, я, как известно, ценил этих актрис не только за это.

Сплетня на прощание: когда будете еще раз звать Г. в Карелию, обещаю завалить его физическим трудом. С тем я с Вами и прощаюсь, дорогой Георгий Борисович, крепко Вас целую и низко кланяюсь всем Вашим и нашим.

Илья.

\* \* \*

21/VI-71 г.

Дорогой Георгий Борисович!

Спасибо за письмо, которое тоже пришло довольно быстро. Вон они какие — электроника, НОТ и пр. По кодексу (исправительно-трудовому), вступившему недавно в силу, письма должны отдаваться и отправляться в течение трех дней.

Мне немного грустно, ясное дело, что М. Г. (не «милостивая государыня», а Ваша жена) давненько что-то не выберется написать мне пару слов. Но я понимаю, сколько у нее сейчас хлопот с разросшимся и шумноватым семейством, и иных хлопот тоже — и, конечно, никак не в претензиях. Кланяйтесь ей за меня низко и сердечно.

Внучка Ваша, конечно, рановато пристрастилась к зеркалу. Если я правильно понял опыты Менделя с горохом, Вам следует искать гены среди дядей, тетей и пр. Может, это у нее от Б. З.? Я очень рад за Веру, поздравляю ее и — стыдно сказать — но надеюсь, что где-то через 11 месяцев вступят в силу законы «блата». В случаях интересных выставок, разумеется.

Георгий Борисович! Люди типа Гааза<sup>80</sup> — это вечное чудо. Чудо великодушия и самоотверженности, к которому нельзя же, согласитесь, взять и обязать человека. Кажется мне сейчас или это неверное ощущение, что в «Былом и думах» — одной из любимых мной в последние два года книг — взята какая-то невольной снисходительная интонация. Да это, должно быть, и естественно: маститые, крупные фигуры как-то заслоняют такие нешумные дела. Даже слово есть: «филантропия». Но вот и лингвистическая истина: слово и впрямь многозначно. Надо, справедливости ради, отметить и то, что за прошедшие 120 лет (сужу чисто эмпирически) врачи более добросовестно и строго относятся к своим обязанностям.

Вы написали про могилу, а я подумал, что можно закоснеть, так сказать, и в антидогме, антикульте. Я так неприязненно относился всегда к мемориалу и имел в последние годы поводы убедиться в беспочвенности своей предвзятости. Ваш пример — после дома на Мойке, потрясшего меня как-то, — велик и убедителен.

Сходил после долгого перерыва в кино — пересмотрел «9 дней одного года»<sup>81</sup>, такой серьезный и умный фильм. Он не был принят здесь. Вот еще повод подумать, что и при поголовной грамотности в «массовую культуру» не вошли не только Пруст<sup>82</sup> там или Шёнберг.

А вчера смотрели концерт местных артистов театра оперетты. Странное дело, я-то никак не воспринимал такую культуру, не музыку, которая бывает мила, а весь традиционный набор «mots» и телодвижений — но было какое-то тепловатое и доброжелательное состояние. Повяло прочитанным и памятным из детства духом почему-то провинции. Рядом со мной сидел Минька. Из 18 лет своей жизни он 3 года провел в лагерях, сохранил много детства (он рыжий и засыпан веснушками, маленького роста и худой). Очевидно, искусство он любит. Недавно он учил меня песне про «шаленного» королевского стрелка. На концерте он постоянно восклицал: «Путево, верно, Илья? Путем поет, да?» И делал выводы: «Это она (артистка) балдет (смеется), чтобы нас насмешить...». Видите, смотрю, значит, мало читаю. Я думаю, что это все-таки временно — такая ограниченность во времени (хотел сказать «такое безвременье», но убоился двусмысленности).

Крепко Вас целую и желаю Вам всего лучшего во всем: «в заботах жизни, в царской службе, и на пирах разгульной дружбы, и в сладких таинствах гм-гм».

Ваш Илья.

\* \* \*

8/VIII-71 г.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я был очень огорчен известием о смерти Сарры Лазаревны,<sup>83</sup> своим отсутствием в *такие* часы возле Якиров. Скорбные слова всегда даются трудно, выглядят приклеенными (у меня). Надо бы быть в такое время возле друзей. На моей памяти давно — чуть ли не с детства — не было смертей близких, привыкнуть к этому — страшно и кощунственно думать.

Я рад, что Вы едете все-таки в Карелию, места, которые я обязан был давно посетить, но вот не удосужился. Только (по-честному)

у меня основательные сомнения в плодотворности экспедиции этого года: слишком уж поздно Вы едете, браконьерский сезон позади, а какая уж экспедиция без бредня!

Спасибо за пересказ фильма Куросавы<sup>84</sup> — художника, очень любимого мною, хотя я видел только два его фильма. Конечно, даже Ваш, мастерский (я нимало не шучу, не подумайте, ради бога), кино не заменяет; кажется, мне многое по приезде придется наверстывать. А, может, и не стану наверстывать: не знаю, как потом, но сейчас мне крайне хочется отдохнуть, душевно особенно. В идеале это неторопливое чтение (много лучше — писание, но это уже не покой) в тепле.

Георгий Борисович! «Путево» или «балдеющий» — это и грустно и не грустно: это, с позволения сказать, знакомая Вам «селявишка». Мальчишка, попавший в 16 лет в тюрьму, испытывающий самые острые и чувствительные нехватки (совершенно несоизмеримые, например, с моими) и сохранивший непосредственность и элементарное желание добра — это очень во многом искупает темноватость и некоторые этические сомнительности. Впрочем, он — сверстник моих учеников (первых); я к этому возрасту пристрастен, при условии, конечно, той самой непосредственности и готовности, хотя бы потенциальной, к театру. Здесь много зла и злобы, совершенно неоткорректированной (разве что страхом перед Уголовным Кодексом); и каждое проявление человеческого, даже слабость, воспринимается как божий дар.

Когда я начал читать Ваш испанский рассказ, у меня сразу возник контраргумент: а Бюнуэль<sup>85</sup>, или Берланга<sup>86</sup>? Но Вы сами упомянули их фильмы, и аргумент как-то отпал сам собой. Пришлось как-то еще раз вернуться к не новой мысли: что и без Освенцима бывает страшно, если это фашизм. Я уже понял, вернее, принял для себя, что фашизм вполне возможен у *умного* народа (немецкого), но как-то совершенно немислим он у таких благородных и открытых рас, как романские. Вы пишете, что он загнивает в оскудении. Было бы утешительно, но, боюсь, что и миазмов этого загнивания хватит надолго: на его почве очень уж плодится чиновничество (бюрократическое, политическое, от искусства), армия, носороги. В последнем номере «Вопр. л-ры» статья Юрия Корякина о Порфирии Достоевского (автора Вы, наверно, тоже знаете; я его встретил, между прочим, в последний день свободы). Может, я и брюзга, но как-то плохо принимаю в последнее время поверхностную блестящность — наследие Луначарского, условно говоря. Что я буду делать со своим испортившимся характером? Бросить пить, что ли, и податься, по Вашему примеру, в каменные бабники? Крепко целую Вас и Ваше семейство и всем друзьям и знакомым кланяюсь.

Ваш Илья.

\* \* \*

23/VIII-71 г.

Дорогие Георгий Борисович и Марьяна Григорьевна!

Надеюсь, что вы получили мое предыдущее письмо от 8 августа, надеюсь, получите и это: кто-нибудь да перешлет. Пуще всего надеюсь получить «каракули» с мест раскопок. Ничего, что каракули; надо и мне исследовать почерк, не все же быть экспертируемым.

Я желаю вам ископаемых побольше и поценней, хороших воспоминаний на всю зиму. Думаю, что мое отсутствие не скажется на научных результатах экспедиции. Ну а то, что по иным поводам мои друзья время от времени замечают мое отсутствие — на это я уповаю, и очень: как же без таких надежд?

Предыдущее Ваше письмо, шеф, я получил и ответил как раз в упомянутое 8 августа. В последние недели (в свободные дни) я прочитал книги одна другой лучше, совестливее, по крайней мере: «Каждый умирает в одиночку»<sup>87</sup>, «Сто лет одиночества»<sup>88</sup> и вот вчера — три повести Бёлля. Последний — редкий писатель, ни разу не разочаровавший меня. Тем для собеседований с Вами много — и трепещущих, и снобистских-литературных, до которых я, признаться, тоже охоч; но отложим до другого случая: не знаю, до этого ли передовому отряду в условиях археологической рекогносцировки?

Пока что желаю вам всем счастливого клева, кланяюсь знакомым и будущим знакомым, находящимся рядом с вами (Г., разумеется, особо; впрочем, я ему написал... одновременно с этим письмом). Крепко целую вас.

Мысленно с вами. Илья

\* \* \*

20/IX- 71 г.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Коллективное письмо из Карелии имело быть в свое время. За день до этого письма имела место неожиданная и радостная встреча с Г. Так что по Вашей линии у меня имела место более или менее подробная информация и имело быть радужное душевное состояние. Мы все-таки не очень-то много успели поговорить с Г., но он мне все-таки рассказал, что были интересные раскопки, да и рыба карельская тоже может

способствовать самый раз. С удовольствием познакомился с рукой Вашего сына. Кажется, что это рука не мальчика, но мужа — и в соответствии с этой радостной констатацией вполне в традиции вздыхаю о реактивных свойствах времени.

Кстати о времени. Именно до этого места я и дошел в трудночитаемой, но интересной книге Лихачева «Поэтика древнерусской л-ры». Мне казалось, что это будут самые глубокие философические места работы (до этого я читал ее с большим интересом), но почему-то именно они, эти места, и начали злить. Может, потому, что здесь начинается знакомый материал, и наблюдения на знакомом материале как-то теряют ощущение глубины; иной раз возникает впечатление даже досужести. А вот «Слово...» и «Задонщину» он сравнивает весьма убедительно, уж как хотите, но убедительнее зиминских доводов (я их помню по «Вопросам литературы»). Последние мои письма к 2–3 ребятам были насыщены разбором последней статьи Аверинцева в «Вопросах л-ры» (№.8). Читали ль Вы? (прозвучало по-пушкински: «Слыхали ль Вы?»). Почитайте, пожалуйста, ежели не успели еще, мне не терпится с Вами поговорить на эти не очень, наверно, актуальные, но для меня что-то животрепещущие темы античности и библеизма. Еще интересная статья — в последнем номере «Вопросов литературы» — об истоках антиномий современного (буржуазного, конечно) сознания. Она многое мне объяснила в вопросах, занимавших меня в последние годы: об отсутствии альтернативы религии и о причинах постоянно возрождающегося внимания к ней. Автор критически разбирает все виды материализма (позитивизма), начиная с Просвещения. Несколько иначе, чем сэр Рассел<sup>89</sup>, он объясняет сущность романтического мышления — словом, статья ко времени.

В заключение — еще пару строк об Испании. Строй тамошний существует, как известно, 35 лет. Еще лет пятнадцать, самое малое, он будет гнить и отмирать. Очень, очень, очень заманчивая возможность для историков-оптимистов написать: «Фашистский строй просуществовал *всего* 50 лет; сменилось *всего* 2–3 поколения»... и т. д. Такие дела!

Низко кланяюсь Вашей молчаливой жене, дочери ее и сыну ее и крепко вас всех целую. Пишите почаще, ладно?

Ваш Илья.

\* \* \*

9/X-71 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Написал до этого листика ответы на много писем, пришедших с опозданием, и не то что утомился, но, чувствую, что начинаю повторяться. Но этого — повторений — мне мудрено избежать: главное все-таки в моей жизни — что успел прочесть, и что успел переварить душевно, так сказать, ну и поделиться незамедлительно. Как же тут без повторений?

Я очень рад, что Мая занята съемками. Не теряю надежд получить от нее лично письма о замыслах, помыслах и ходе работ — хотя бы с места происшествий, почему бы и нет.

Мне грустно порой, что гуманитарная мысль как-то вытеснилась со страниц «Нового мира»: критический и публицистический отделы там сейчас на редкость неинтересные. Вот, например, в последнем номере напечатано начало очерка об Америке. Автор его — очень хороший, по-моему, писатель Григорий Бакланов, и очерк, наверно, вполне правдивый — но как же все-таки нашим писателям не хватает стыдливости что ли, чувства неловкости: нехорошо все-таки писать в том именно тоне, который требуется обстоятельствами. О том, что Америка неблагополучна, что ее проблемы — внешние и внутренние — имеют едва ли не вселенские масштабы, — догадаться нетрудно, но куда почетнее и трогательнее, когда об этом вопиет американец — книг или даже (нрзб.) мастера.

Я припоминаю конец 62 — начала 63 года, чем были для меня на Алтае номера «Новых миров» с «Матрениным двором», очерками Некрасова<sup>90</sup>, статьями Марьямова, дневником Нины Костериной и т. д. Куда что подевалось так скоро?

И вместе с тем повсюду, точнее, с многих мест, — признаки глубокого и высокообразованного гуманитарного мышления. Мне нравится, что к очень многим, устойчивым, казалось, представлениям в последние годы не прибавляются просто информации, а даются новые исходные, неожиданные точки зрения. Если даже все и вернется на круги своя (такое вполне вероятно), все равно останется след уже не готового, а выстраданного, а выспоренного представления. Об этом я думал, прочтя недавно ст. Баткина в «Вопр. л-ры». Журнала под рукой сейчас нет, но ст. посвящена итал. ренессансу, и мне она открыла многое. Во всяком случае, я перестал во многом метаться от представлений о «человечности» к «жестокости» аморализма упомянутой эпохи.

Очень нужной мне показалась книга Стернина<sup>91</sup> «Худож. жизнь России на рубеже XIX — XX веков». Там о худож. обстановке. Очень захватывают ст. сов.-ские филиппики: Врубель... «до того нелеп и безобра-

зен, чти никакого терпения нет» (трогательная стариковская жалоба!) «Безмозглые и бездарные Баксты, Сомовы, Бенуа или В. Маковский» (о «Девушке, освещенной солнцем»). С тех пор... галерее (Третьяковской) стали прививать сифилис». Это конкретности, а в книге и много тонких, по-моему, и неоднозначных суждений. Я нажаловался на «Новый мир», а между тем, меня очень тронула и захватила там последняя повесть Ю. Трифонова. Как она Вам? Надо бы о многом поговорить, но до другого раза. Крепко целую Вас и Ваших домочадцев.

Ваш Илья.

\* \* \*

22/XI-71 г.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я так давно ждал от Вас письма, так много чего накопилось в то время что сказать под горячую руку — а сейчас вроде бы поостыл, забил иными впечатлениями. Что худо, разумеется, но отчасти вне меня: начался сезон наибольшего моего утомления и высшей точки отвердевания мозгов.

Мне хочется продолжить с Вами испанскую тему. В одном из последних номеров «И. Л.» критик И. Тертерян приводит слова Гойти-соло<sup>92</sup> о современном «духовном климате» (хватаю на лету новые термины) Испании. Испанцы (рабочие, интеллигенты тоже), по его словам, прониклись идеей «прогресса без свободы». Это так созвучно хотя бы с сарказмами нашего Щедрина (помните, наверно, о том, что все слова о свободе должны умолкнуть, ежели речь идет о народном благоденствии?); и безнадежно, и как-то заставляет примириться с мыслью, что постепенно, через «благоденствие» все само собой образуется. Вот еще и в «Новом мире» из номера в номер печатаются статьи, в которых доказывается (с биологической, генетической и пр. точек зрения), что альтруизм наследственно запрограммирован в человека. Совсем хорошо — всерьез хорошо. А статьи, между прочим, и впрямь интересные. Я отлично понимаю Ваши мотивы нечитания «Нового мира». Они так старомодны: прекрасны то есть, рыцарственны. Но я с собой ничего не могу поделать, читаю — обрастаешь некоторым консерватизмом привычек с годами. Ну а здесь распроститься с привычками курить, например, или читать «Новый мир» — только себя нестерпимо мучить.

Георгий Борисович! Что из ЖЗЛ-овских изданий Вы передадите с Галей мне для чтения? «Гегеля» Гулыги<sup>93</sup>? «Швейцера»? А то — и то и другое?! Когда-то я Вам писал о пьесе Коростелева «Шаги командора».

Помните? В «Новом... (нрзб.) не на ночь будь сказано! Рецензия... (нрзб). Основная мысль ее такая: если человек пытается доказать, что для Пушкина существовал выбор... (далее все неразборчиво).

Ваш Илья.

\* \* \*

2/1-71 г.<sup>94</sup>

Дорогие мои Георгий Борисович и Марьяна Григорьевна!

Я вас, кажется, поздравлял уже с Новым годом — с надеждой на то, что все у вас будет хорошо. Лишний раз это сделать, наверное, не худо; будьте счастливыми, дорогие мои; надеюсь, что наша предстоящая в этом году встреча немножечко обрадует вас. Смерть Твардовского я воспринял тоже с большой печалью. Недостаток времени приглушил ее. Кошунственно, может быть, но я думаю, что немного это и к лучшему — недостаток времени: немного достоверней, без примеси истеричности и политики, которая могла бы быть несколько лет назад. Я все последние годы относился к нему (заочно, разумеется), как к человеку исключительного чувства справедливости, добра, как временами к чужому по мироощущению, но всегда безусловно большому поэту. Из людей его воззрений на моей памяти два человека производили на меня такое большое примиряющее ощущение достоверности убеждений: он и Назым Хикмет<sup>95</sup> (особенно после двух вечеров последнего, на которых я был).

В вечной нашей с Вами, Георгий Борисович, испанской теме я обратил внимание на вытекающий из Ваших строк парадокс: на то, что Луис Карандель опубликовал книгу в Мадриде. Я начал перечитывать испанский том Хемингуэя. Он пишет в предисловии к «Пятой колонне» о неизбежной победе антифашистов, а минуло с тех пор 35 лет... Что касается того, что «прогресс это и есть свобода — то тут как взглянуть. Я ловлю себя порой на еретических (по отношению к самому себе) мыслях: а не высокомерие ли это — безусловное осуждение масс, не нуждающихся пока в широкой свободе. То есть не высокомерие ли — перед лицом нищеты, детской смертности, моров, трущоб, изнурительного труда, которые не изжиты еще (хотя бы в странах третьего мира). Академик-физик в известной работе<sup>96</sup> остро чувствует и эту проблему, а я жалею порой о том, что такие вещи не входили в число моих забот.

В «Новом мире» очень интересные публикации: статья Гранина о «Моцарте и Сальери» (больше о Пушкине и Булгарине, Булгариных)

и Корякина о «Преступлении и наказании». Перечитывание Платонова вызвало двойственное чувство: сначала упоение, потом печаль по поводу исписывающегося писателя. Мало кому это дается — немилость. То есть мало кто удерживается в этом случае на уровне своего таланта и естественности. Еще хорошая (умная — точнее) книга «Дервиш и смерть». Там вечная и волнующая меня мысль, которую я, как мог, старался временами высказать, обстоятельства не дают права уклоняться от мятежа, ну а там все возможно только на почве нечаевщины и повторение в новом качестве ситуации: ересь стала ортодоксией, еретик — правителем. Форма привычная: притча — удобная, емкая для проблем века, хоть и поднадоевшая — без чувства почвы. Желание обговорить мешает в моих письмах задушевности, простому желанию просто поговорить (в стихах, кажется, и увы, — тоже?!). Надеюсь, что в нашем с вами случае время исправит: встреча не за горами уже.

Крепко вас целую. Илья.

\* \* \*

21/II-72 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Мне очень жаль, что Вы долго не писали и особенно, что не писали по такому грустному поводу. Постарайтесь, пожалуйста (только в этом смысле), обрести «бессердечность». Хотя я понимаю, как все сердечные дела тесно взаимосвязаны. Оставим эту невеселую тему — в надежде, что у нас долго не будет повода к ней возвращаться, в надежде славы и добра.

Ну, Вы, конечно, правы: млат себе дробит и кует, тоже, наверно. Иногда (странное дело) приедается роль наковальни: телом не вышел и духом не совсем дошел, хоть и стараюсь.

Георгий Борисович! Не знаю, что вышло бы из сбывшихся пророчеств Хемингуэя, но если бы сбылись его желания — вышло бы очень хорошо, он Испанию любил слезно и кровно, не за одного Дон-Кихота, как аз, грешный, и еще он любил ее нелицеприятно. Меня задело его наблюдение: при фашизме не бывает искусства. Тут и наблюдать было нечего, это было моим аргументом одного памятного мне спора с единомышленником, но, кажется, никакой строй, в котором присутствует л-ра, действительно еще не самый ужасный, не безнадежный. Когда я говорил о социальных бедах, не в которых, бывает, мы, люди, погрязшие в духовности (теоретической большей частью, это я о себе) и увязшие в эмпириях, я имел в виду еще вот что. Если неплохие в быту люди

склонны тепло говорить о Буонапарте (скажем, о нем; а они это очень склонны), так ясно же, что у них столько житейских интересов, что некогда подумать о моральной стороне того же бонапартизма. Прогресс им, стало быть, нужен, от него дурак откажется — а свобода не очень, разве что в форме познанной необходимости. Можно судить с высоты большей или меньшей начитанности, а можно и понять, что это объективный факт.

Читал в эти дни книгу Черняка «Приговор веков» — о всяких процессах. Тьма новостей, бездна образованности, но я никак не смог уловить этический стержень, урок, разве что нехитрый: во все времена явных или мнимых противников судят, а если судить не за что, то придумывают за что. Любопытно, что писатель в этих случаях проявляется глубже: и так же истукан. О Марии Стюарт, например, Цвейг создал работу, в которой, по крайней мере чувствуется желание познать не факт, а судьбу, а логику, и прихоть происходящего.

Книга Черняка полезная, весьма, но для любителей чистого исторического сюжета; я не из их числа.

Жду через неделю Галю. Она написала, что приедет, потом вдруг перестали приходиться ее письма, и вообще письма, целую неделю не было. Нервные мы что-то стали, подумаешь. А чего это, к слову, не пишет ничего Ваша жена? Отвечайте сразу же, а то я опять стану волноваться за Вас. Целую Вас крепко.

Илья.

Г. Б. По причине полного профанства в (нрзб.) Ваша аналогия осталась для меня неясной. Не проясните ли: томлюсь и духовной жаждой и жаждой определиться

И.

#### Примечания:

<sup>1</sup> Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, один из создателей итальянского литературного языка.

<sup>2</sup> Глухая деревня под Кинешмой, где Илья Габай очень недолго учительствовал.

<sup>3</sup> Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980) — бард, актер театра на Таганке.

<sup>4</sup> «...окна...» — (учительский. жаргон) — академические часы, не занятые уроками.

<sup>5</sup> «...старик Гераклит не так уж и прав...» — Гераклит Эфесский (544 до н. э. — 483 гг. до н. э.) — «...удалился от людей и стал жить в горах, питаясь быльем и травами».

<sup>6</sup> Люда Дегтярева, приятельница по молдавской археологической экспедиции.

<sup>7</sup> Имеется в виду киносценарий «До и после» (см. выше), который Илья Габай и М. Г. Рошаль закончили в 1967 г.

<sup>8</sup> В. — неустановленная личность.

<sup>9</sup> Г. Ф., «Ю» — Георгий Феоктистович Чеботарев, один из руководителей молдавской археологической экспедиции.

<sup>10</sup> Кинофильм «Преступление и наказание» по роману Достоевского, 1969 г, киностудия имени Горького, реж. Лев Кулиджанов.

<sup>11</sup> Кинофильм «Чайковский» (1969 г.), киностудия «Мосфильм», реж. И. Таланкин.

<sup>12</sup> Кинофильм «Андрей Рублев» (1969 г.), киностудия «Мосфильм», реж. А. Тарковский.

<sup>13</sup> Рошаль-Федоров Михаил Георгиевич (1956–2009) — сын М. Г. Рошаль и Г. Б. Федорова, художник, в то время школьник подросток «Мишка».

<sup>14</sup> Через много лет М. Г. Рошаль-Федоров напишет портрет Ильи Габая с фотографии 1968 г., сделанной его отцом, Г. Б. Федоровым.

<sup>15</sup> Кипренский Орест Адамович (1789–1836) — великий русский художник портретист.

<sup>16</sup> Нинка — в то время новорожденная внучка М. Г. Рошаль и Г. Б. Федорова.

<sup>17</sup> Вера — В. Г. Рошаль-Федорова, искусствовед, дочь М. Г. Рошаль и Г. Б. Федорова, в то время студентка МГУ. Сейчас живет в Израиле.

<sup>18</sup> Г. Л. — Григорий Львович Рошаль (1899–1983) — кинорежиссер, отец М. Г. Рошаль.

<sup>19</sup> Митька — собака Рошаль-Федоровых.

<sup>20</sup> «М. Г.» — это «милостивая государыня», Марьяна Григорьевна — тоже» — (шуточная сноска Ильи Габая в конце страницы).

<sup>21</sup> Макс Фриш (1911–1991) — швейцарский писатель, автор романа «Синяя борода» (1957).

<sup>22</sup> Ингмар Бергман — см. выше.

<sup>23</sup> Туровская Майя Иосифовна (род. 1924 г.) — сценарист, кинокритик.

<sup>24</sup> Клод Лелуш (род. 1937) — франц. кинорежиссер.

<sup>25</sup> В скобках — персонажи пьес В. В. Маяковского

<sup>26</sup> Смехов Вениамин Борисович (род. 1940) — советский, русский артист театра и кино, писатель.

<sup>27</sup> Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981) — советский писатель, автор романов «Студенты», «Дом на набережной».

<sup>28</sup> Алик — А. И. Гинзбург.

<sup>29</sup> Описка И. Габая. Следует читать 5/IV (1971).

<sup>30</sup> «Красная площадь. Два рассказа о рабоче-крестьянской армии.» — двухсерийный кинофильм, 1970 г. Реж. Василий Ордынский. Сценаристы Юрий Дунский и Валерий Фрид.

<sup>31</sup> Ромм Михаил Ильич (1901–1971) — советский кинорежиссер. Речь идет о типичном в духе культа И. В. Сталина кинофильме «Секретная миссия» (1950 г.).

<sup>32</sup> Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — русский советский писатель, литературовед, киновед, киносценарист, критик.

<sup>33</sup> Шестаков Вячеслав Павлович (род. 1935) — российский историк и теоретик искусства, переводчик.

<sup>34</sup> Дзига Вертов (1896–1954) — советский кинорежиссер-документалист.

<sup>35</sup> По-видимому, имеется в виду письмо Г. Б. Федорова Илье Габаю в лагерь, опубликованное в одном из журналов в виде рассказа под названием «Аллея под кленами» о могиле доктора Гааза на Введенском кладбище в Москве.

<sup>36</sup> Неизвестный Эрнст Иосифович (род. 1925) — советский художник, скульптор, график. Нонконформист в искусстве постсталинского периода. Эмигрировал в 1976 г. в США.

<sup>37</sup> Роман Ф. М. Достоевского.

<sup>38</sup> Борисова Юлия Константиновна (р. 1925) — актриса театра им Вахтангова.

<sup>39</sup> Попов Андрей Алексеевич (1918–1983) — артист театра и кино.

<sup>40</sup> Савина Ия Сергеевна (род. 1936) — советская российская актриса театра и кино.

<sup>41</sup> «Слабое, робкое племя, ахейки мы, не ахейцы!» — слова Тарсита «праздно-словного». См. «Илиада», изд. «Худож. лит.», Москва, 1967 г.

<sup>42</sup> Срок заключения Ильи Габая кончился 19 мая 1972 г. День рождения Г. Б. — 15 мая.

<sup>43</sup> Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962) — советский русский писатель, еврейский поэт.

<sup>44</sup> Иоанн Предтеча, он же Креститель, (2 г. до н. э. — ок. 30 г. н. э.). Был обезглавлен в результате интриг иудейской царицы.

<sup>45</sup> Галилей Галилео (1564–1642) — итальянский ученый, астроном, философ, физик, математик. Открытие им гелиоцентрической системы мира поставило его в конфликт с католической церковью. Инквизиция потребовала от него выбора: либо отказаться от теории, либо быть сожженным на костре, по примеру Джордано Бруно.

<sup>46</sup> Адольф фон Тадден (род. 1921 г.) — западно-германский полит. деятель, настаивавший на невиновности Германии во Второй мировой войне и ее последствиях.

<sup>47</sup> Бырня Павел Петрович (1930–2002) — археолог, руководитель экспедиции в Молдавии, в то время аспирант Г. Б. Федорова.

<sup>48</sup> «Победа» — марка советской легковой машины.

<sup>49</sup> Анютка Зиман.

<sup>50</sup> Померанц Григорий Соломонович (род. 1918) — философ, эссеист.

<sup>51</sup> Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — партийный и государственный деятель СССР, нарком просвещения.

<sup>52</sup> Упомянутое письмо Г. Б. Федорова И. Габаю о встрече с поэтом Багрицким было напечатано в журнале No. 6 «Наука и жизнь за 1971 г. под названием «Письмо другу».

<sup>53</sup> Левитан Исаак Ильич (1860–1900) — русский художник, пейзажист.

<sup>54</sup> Имеется в виду Якир П. И.

<sup>55</sup> Протопоп Аввакум (1620–1682) — древнерусский писатель, противник религиозной реформы Никона, идеолог старообрядчества. Был сослан на север, потом сожжен заживо.

<sup>56</sup> Плимак Евгений Григорьевич (род. 1925) — историк, социолог.

<sup>57</sup> Карякин Юрий Федорович (род. 1930) — литературовед, исследователь Достоевского.

<sup>58</sup> Ашока — древнеиндийский правитель (304–232 гг. до н. э.), сменивший жестокость на милосердие, приняв буддизм, насаждением которого завоевал всю юго-восточную Азию.

<sup>59</sup> Рыбаков Борис Александрович (1908–2001) — директор института археологии.

<sup>60</sup> Нуйкин Андрей Александрович (род. 1931) — критик, писатель, публицист.

<sup>61</sup> Имеется в виду статья М. Лившица «Почему я не модернист», напечатанная в газете «Правда» в январе 1966 г.

<sup>62</sup> Письмо В. Красину, который в то время находился в ссылке в Красноярском крае.

<sup>63</sup> Неизвестно, какого Аврелия И. Габай имел в виду в данном случае: Марка Аврелия (121–180 гг. н. э.), римского императора и философа или Аврелия Августина (Блаженного) (354–430 гг. до н. э.), христианского философа.

<sup>64</sup> Янин Валентин Лаврентьевич (род. 1929) — историк, археолог, крупнейший исследователь Новгородской республики и берестяных грамот.

<sup>65</sup> Гиль — здесь, шофер (от имени Степана Казимировича Гиля, личного шофера В. И. Ленина).

<sup>66</sup> Б. З. — племянник Г. Б. Федорова, ведший машину, одним из пассажиров которой был В. Л. Янин.

<sup>67</sup> Чухонцев Олег Григорьевич (род. 1938) — поэт.

<sup>68</sup> Князь Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) — полит. деятель, писатель. В переписке с царем Иваном Грозным осуждал его внутреннюю политику.

<sup>69</sup> Выделено Ильей Габаем.

<sup>70</sup> В первом (иерусалимском) издании сборника это письмо не имеет конца и помечено «письмо обрывается». Продолжение и конец его, помещенные в этом сборнике, представляют собой вставку внутри чье-то письма без начала и без конверта, подписанного «Рема». Письмо неизвестного «Ремы» было обнаружено недавно среди бумаг Г. В. Габай-Фикен. Из содержания «письма Ремы» ясно, что оно было написано летом и предназначалось кому-то из знакомых или родственников Г. Б. Федорова. Сопоставление «Письма Ремы» с обрывавшимся письмом И. Габая к Г. Б. Федорову от 23 марта 1971 года, показало, что это были части одного письма. Здесь письмо Ильи Габая восстановлено полностью; найденные продолжение и конец письма заключены в квадратные скобки.

<sup>71</sup> Батов Павел Иванович (1897–1985) — генерал армии. Командующий 65-ой армией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награжден многими орденами и медалями, включая награды иностранных держав.

<sup>72</sup> Федеративная Республика Германия, Западная Германия (1949–1990).

<sup>73</sup> Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) — советский поэт.

<sup>74</sup> Мотылева Тамара Лазаревна (1910–1992) — российский литературовед.

<sup>75</sup> Станислав Лем (1921–2006) — польский писатель.

<sup>76</sup> Рюносукэ Акутагава (1892–1927) — японский писатель.

<sup>77</sup> Франц Кафка (1883–1924) — нем. писатель.

<sup>78</sup> Софи Лорен (род. 1934 г.) — итальянская киноактриса.

<sup>79</sup> Джина Лоллобриджида (род. 1927 г.) — итальянская киноактриса.

<sup>80</sup> Илья комментирует на письмо Г. Б. Федорова, содержащее рассказ о тюремном докторе Ф. П. Гаазе (1780–1853). Этот рассказ был напечатан в сокращении под названием «Аллея под кленами» в журнале «Знание — сила», No. 10, 1973 г., стр. 59.

<sup>81</sup> Кинофильм «Девять дней одного года» — режиссер М. Ромм, «Мосфильм», 1961 г.

<sup>82</sup> Марсель Пруст (1871–1922) — франц. писатель.

<sup>83</sup> С. Л. Якир.

<sup>84</sup> Акира Куросава (1910–1998) — японский кинорежиссер.

<sup>85</sup> Луис Бюнуэль (1900–1983) — франц. кинорежиссер сюрреалист.

<sup>86</sup> Берланга Луис Гарсия (1921–2010) — исп. кинорежиссер.

<sup>87</sup> Роман Ганса Фаллады (1893–1947), нем. прозаика.

<sup>88</sup> «Сто лет одиночества» (1967 г.) — роман Габриэля Гарсия Маркеса.

<sup>89</sup> Сэр Бертран Рассел (1872–1970) — английский математик, философ и обществ. деятель.

<sup>90</sup> Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) — русский советский писатель, автор повести «В окопах Сталинграда». В 1974 г. эмигрировал в Швейцарию. Жил в Париже. Редактор журнала «Континент». Сотрудничал в парижском отделении радиостанции «Свобода».

<sup>91</sup> Стернин Григорий Юрьевич (род. 1927 г.) — историк искусства.

<sup>92</sup> Гойтисоло Хуан (род. 1931 г.) — современный испанский писатель.

<sup>93</sup> Гульга Арсений Владимирович (1921–1996) — специалист по истории философии.

<sup>94</sup> Описка Ильи. Следует читать 2/1–72 г.

<sup>95</sup> Назым Хикмет (1902–1963) — турецкий поэт, писатель, сценарист, драматург, общественный деятель.

<sup>96</sup> «...академик-физик в известной работе...» — имеется в виду работа А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе и интеллектуальной свободе», опубликованная в «Самиздате» летом 1968 г.

## ЕЛЕНЕ СЕРГЕЕВНЕ СЕМЕКА<sup>1</sup>

18/IX–70 г.

Дорогая Леночка!

Наконец-то получил письмо от тебя и от Сережи<sup>2</sup> (которому здесь же напишу отдельно). Очень я рад этому и надеюсь, что ты и твой сын продолжают это доброе дело.

Я почему-то думал, что Сережа на филологическом и даже немного разочаровался. Но сразу же понял, что разочаровываться не в чем, тем более, как ты пишешь, это его любимое дело. А твое «погружение в отдаленные сюжеты» очень даже понимаю; чувствую, что оно скажется на предстоящем письме Сереже.

Когда ты пишешь о замирании «культурной» жизни, ты не совсем права: надо быть все-таки в некотором отдалении, чтобы понять, что в Москве и старых веяний и впечатлений хватит на всю жизнь. Мне сейчас кажется, что я находил бы массу времени, чтобы побежать к французам в Пушкинский<sup>3</sup>, или к Врубелю, Нестерову<sup>4</sup>, недавно (но при мне) появившимся бубновалетцам<sup>5</sup>. Но потом-то я понимаю, что это самые что ни на есть разманиловские мечты: обязательно что-нибудь помещает. Не сокрушайся и по поводу тех, кто зачитывается Шевцовым<sup>6</sup>, не стоят они сокрушения. По мне, тут куда горше низкопоклонство все читавших и все понимающих людей. Мне вот пишут о том, как один из моих товарищей (близких когда-то) ругает любимого им писателя. Судя по цитатам, он писал и смеялся. И грустно очень, что у нас часто смещается терминология: нам бы сказать просто — холопство, подлость, а мы скажем, что у них обстоятельства, «среда заела». Словом, настоящая интеллигенция не компрометирует себя обычной порядочностью (профессиональной), считает нормой сосуществование двух образов мыслей: для своих и для всеобщего обозрения — и это, по-моему, чрезвычайно скажется в конце концов на общем потоке нашего научного, литературного и пр. багажа. Не может же быть, мне кажется, «теплая» (не холодная и не горячая) литература, наука.

У нас с тобой совпало отношение к чтиву. Я тоже сейчас с бóльшей охотой читаю книги по истории, эстетике, философии, а не художественные. Но здесь, наверно, есть что-то ненормальное, во всяком случае, пугающее меня. Я уже жаловался одному из своих корреспондентов — пожалуюсь и тебе. Кажется, чтение книг умных и отвлеченных (если — и только) отучает от сокровенных реакций: удивления, даже, если угодно, восторга, умиления. Я себя поймал на том, что соскучился по этим

не очень-то глубоким качествам, когда перечитывал в Лефортово Диккенса. Но все равно, в состоянии не очень усталом мне даже в «толстом» журнале приятнее читать статью нежели беллетристику. В тюрьме в этом смысле благодать, но там не всегда есть хорошие книги. Вот в том же Лефортово я почитал книги, за которыми давно охотился: Винкельмана,<sup>7</sup> Дворника<sup>8</sup> о средневековом искусстве, Муратова<sup>9</sup> «Образы Италии» — многое. А в отношении беллетристики у меня как-то «все возвращается на круги своя»: я снова, после долгих крушений и сомнений, возлюбил 19 век, и в нашем искусстве — его традиции (особенно Т. Манна), а не 18, 17 и их продолжателей наших дней — с опорой на эффектную, но не всегда глубокую и, главное, не всегда человечную притчу. Законченное на днях перечитывание Камю<sup>10</sup> (самое интересное, по-моему, в этом роде — а не Ионеско<sup>11</sup> или Фриш) как-то еще больше скорректировало все это. Впрочем, я умничаю без особых на то моральных оснований: знаю я все ведь только в переводах.

Вопросов, как видишь, не получилось. Но ты мне пиши и без них — что сочтешь нужным написать. Мне все во благо. Рассказывай и о людях, которым я передаю самые сердечные приветы: о Наталье Владимировне<sup>12</sup>, Вячеславе Всеволодовиче<sup>13</sup>, Анне Михайловне<sup>14</sup>, о Федоровых<sup>15</sup>, когда они приедут. Я очень рад, я, громко, но искренне говоря, счастлив, что ты, Сережа и много других хороших людей сблизилась с моей семьей.

Целую тебя. Илья.

\* \* \*

13/Х-70 г.

Дорогая Леночка!

Я вот тоже не сразу тебе отвечаю, но исходил при этом из самых практических интересов: ждал письма от Сережи, чтобы ответить вам заодно и сэкономить конвертик. У меня с ними сейчас туговато.

Очень хорошо представляю сейчас твое состояние, и твоя реакция на людей мне тоже понятна. Я сам частенько ходил в угнетенном состоянии из-за доуки, но вся разница (все твое преимущество), что по своей неорганизованности редко умел уходить в работу. Впрочем, несмотря на все твои сетования, Москва мне сейчас представляется царством хороших людей, но я себе не очень позволяю часто думать об этом. Из наших общих друзей написали мне Наталья Владимировна и Марьяна Григорьевна, которым я незамедлительно ответил. Вооб-

ще письма очень многое разъясняют, уточняют, не говоря уже о том, что (так мне представляется) дают благостную возможность когда-нибудь встретиться почти как ни в чем не бывало. Я это и раньше знал теоретически, ну а сейчас испытал на себе. Так что то, что ты называешь графоманией, есть не что иное, как доброе дело. Считай каждый раз, как только сядешь за письмо ко мне, что ты выполняешь долг Члена Красного Креста.

В Антологии философии, в которой я усвоил (?) Индию и Китай, я с интересом читал почти все. Но, кажется, меня бы устроило, если бы к этому прибавилось изложение и религиозных мифов, даже ритуалов. Все восьмеричные пути выглядят и так грандиозно, но в конечном счете не без моего додумывания. Не хватает мне, словом, элементарного образования; очень я жалею, в частности, что не прочел твою книгу<sup>16</sup>, но, если ты помнишь, ты мне ее подарила поздновато.

Я начал получать «Литературку». Вот тут тоже некоторая странность: газета пуста до невозможности, а у меня на душе тепло. Срабатывает какая-то привычка к «своей» газете. Ритуальчик такой: дома я обязательно читал ее по средам, здесь — по четвергам. Скажи, а «Сокровища Кипра»<sup>17</sup> — это в самом деле «сокровища» или живопись, скульптура? Дело в том, что я совершенно холоден к прикладным вещам, ничего не смыслю в их изяществе и красоте, так что, ежели это только что-нибудь ювелирное, то я не очень огорчен невозможностью туда попасть. Фамилию Митурича<sup>18</sup> я прежде никогда и не слышал. Вот только в «Литературной газете» видел пару снимков его работ, но судить о них никак не могу, конечно. Как и о «Бойне No. 5»<sup>19</sup>, о которой мне уже писало несколько человек.

Скорее бы уж Новый год. Кроме того, что это все-таки ближе и к лету, и к выходу, вообще, — стану получать журналы. То-то будет поводов побрюзжать. Но не исключено, что и повосхищаться: здесь становишься то ли снисходительным и менее придирчивым, то ли просто больше ценишь и малые ценности.

Мне еще раз хочется сказать тебе о Москве, которая очень уж празднична (выставочна, премьерна и пр.) на большом расстоянии. И особенно о московских интеллигентах, лучших людей, это уж точно, не бывает. Мне как будто бы и везло с самого отрочества на хороших людей, и я себе сейчас даю всякие обеты не разбрасываться, не очень пить, ценить минуты, человек, книги, картины. Получится ли?

А житье мое прежнее. Всяко тут бывает, всего не опишешь, да и незачем. Гораздо приятнее, по мне, вот так вот — бестолково — отвести малость душу. Сердечно всех приветствую и целую тебя. Всех тебе успехов — научных, жизненных.

Твой Илья.

27/XI–70 г.

Добрый вечер, Леночка!

Очень я рад обоим твоим письмам. Ну, а то, что ответы не всегда доходят, это огорчительно. Я сначала извелся совершенно, а сейчас потихоньку вхожу в новую, непривычную для себя, кожу: толстую. Не очень удается, но, если к 30 градусам мороза<sup>20</sup>, которые сегодня стукнули и, как уверяют аборигены, всего лишь цветочки, да еще распустить нервы — жить станет неважготу. Никакая духовность тогда уж не спасет, да и не такие уж у меня большие запасы ее.

Сейчас я живу под знаком свидания с Галей; вот ежели она вздумает именно в эти дни прихворнуть и не приехать, это будет совсем уж тяжело.

То, что ты пишешь про Грузию, мне немного знакомо. Я ведь значительный кусок жизни — первые 15 лет — прожил на своей родине, в Баку. Понимал я тогда мало что, разумеется, но дух южного барышничества, широкое гостеприимство по традиции и при этом отсутствие задушевности, просто доброжелательности — это все я как-то хорошо запомнил. Поэтому в свое время очень быстро акклиматизировался в Москве и вообще в средней полосе, усвоил и сроднился со всем там — с природой, людьми, нормами жизни. В этом только (общежитском) смысле и еще, конечно, язык и литература, мне и представляется невозможной жизнь вне России.

Что касается поклонения кумирам (я имею в виду не Золотого тельца уже), то это повсеместно. Я отчаялся переубеждать кого-то, да и кое-какие истоки этого поклонения мне стали понятнее. Как-нибудь поговорим об этом, но заранее скажу, что меня это никак не приобщило к такому поклонению. Просто, как я уже написал, стало понятнее — и нужна просто большая и свободная культур-трегерская работа, а не эмоции, чтобы что-то изменить. Но это, увы, дело, рассчитанное не на одно поколение.

То, что я не увижу Сомова<sup>21</sup>, меня не очень огорчает: известные мне работы холодноваты и, по мне, слишком изысканны, манерны даже. Вообще я не очень близко к сердцу принимаю живопись всей этой плеяды мироискусствовцев — Бенуа<sup>22</sup>, Добужинского<sup>23</sup> в том числе. Картины Нади Рушевой<sup>24</sup> (то есть часть их) я в свое время видел. Это, конечно же, была девушка с великим даром божьим, очень огорчителен ее ранний уход из жизни.

У меня к тебе большая просьба, Леночка. Может быть, ты знаешь моего друга Ю.Д. Это человек незаурядный, талантливый и преданный, но больной. Галя мне написала, что он в очередной раз сорвался. Это может кончиться для него полным безлюдьем — трагедией. Хорошо, если бы Галка прихватила бы его как-нибудь в гости,

а у тебя бы нашлись для него добрые слова. Он их очень и очень заслуживает.

Получил два письма от Георгия Борисовича, сейчас буду отвечать ему на второе. Все-таки мир полон хорошими людьми, большое счастье, что я сподобился со многими из них подружиться. Мысль эта действует на меня, кажется, маленько утомившегося, как животворная вода и как хорошие книги.

Надеюсь, что у Сережи все благополучно, а то, что он прервал пока переписку, мне вполне понятно; я не обижаюсь.

Желаю тебе, Сереже, всем — того, что вы считаете более или менее счастьем.

Целую тебя. Илья.

\* \* \*

28/XII-70 г.

Дорогая Леночка!

С большой радостью прочитал сегодня твое письмо и открытку Сережи (они пришли вместе). Хорошо, что я удержался от жалких слов о том, что я позабыт, позаброшен — за них потом бывает стыдно, — и вообще я обуздываю, как могу, свои претензии к людям, замедлившим с ответом. То, что ты пишешь о своей непростой жизни, только и напомнило мне, что мы мало что знаем друг о друге. Надеюсь, что ты понимаешь, что это не столько из-за толстокожести и недостатка во мне сердечности (хотя я и бывал грешен этим, слов нет), сколько из-за того, что мы очень уж недавно знакомы. Между прочим, это при всем моем рационализме, внушает мне и некоторую веру в чудо: в чудо возможности человеческой теплоты и дружбы без досконального знания друг друга, на слово, что ли. Жалею, что я не манновский Иосиф<sup>25</sup> и не обладаю даром особо проникновенных поздравлений — как-то не приходилось практиковаться в этом жанре. Но ты, наверно, и так понимаешь, как много добра в великом и малом я желаю и тебе, и Сереже, и всем хорошим и близким людям.

Галя мне пишет поконкретнее, вот и ты упоминаешь о всяких там недоразумениях и даже ссорах. Наверно, существует какая-то невозможность избежать всего этого, когда не грозят потери или просто как-то лишен, ограничен в дружбах. Дружбы эти ведь тот самый хлеб, который не очень-то ценишь, если он не проблема. Я уверен в добром исходе всего этого; иначе остались бы в мире одни деловые да приятельские отношения, которые светят, да не греют.

То, что ты пишешь, для меня никак не очевидно, хотя думано-передумано об этом предостаточно, да вот и сейчас думается. У меня оказия как раз: я затеял поэму<sup>26</sup> (будь она проклята, потому что никак не знаешь, получится ли и как получится: жанр такой) и там, что ни глава, приходится опровергать самого себя. Я там придумал довольно беспомощный ход: придумал персонажа (хотя он по структуре никак не положен — никакой персонаж), который со мной во всем спорит и с которым я вынужден буду во многом согласиться. Вот, например, лезет веховская мысль о том, что человеку противопоказано бороться и только. Надо еще и жить — и сразу же чувствуешь, что есть и обратная сторона, которую необходимо высказать. Или написал филиппику в адрес элиты (есть ведь в этом явлении некое душевное и интеллектуальное высокомерие, оборачивающееся на поверку не-Христом или не-Буддой), а потом вспоминаешь, ибо в элите и (нрзб.) разгул хамства за ее пределами. Сказал о хамстве — и опять идет сцепление проблем и выводов. Барахтаешься, словом, и, кажется, каждый раз получается доктринерство. Вот и ты, например, радуешься множеству оттенков, восприятию многокрасочности. Я и сам вспоминаю, какой дубоватостью оборачивается это пристрастие к графическим цветам (дубоватостью непреодоленной; мною, между прочим, тоже). Но ведь еще это восприятие многообразия может обернуться позицией созерцательности — и только, поклонением чистой прихоти (об этом я уже, как мог, написал в начале своей поэмы). И в какой-то болевой ситуации должно же человека не радовать, что травка зеленеет и солнышко блестит, должен же он себя ограничивать, хотя бы и в ущерб тонкой истине, с риском той же дубоватости, черным и белым цветом: то есть пониманием: это ближе к добру, а это ближе к злу. Что не должно помешать, говоря словами давно любимого мной Фолкнера, что люди все-таки, эти сукины сыны, не злы — они просто невежественны.

Я, наверно, заморочил тебе голову — мигрени тебе и так, кажется, хватает — но ты сама виновата: подбросила горячее, вот я и разболтался.

Очень мне хочется, чтобы предстоящий год прошел у вас всех там под знаком трепетного дружества. Я б хотел как-то, чтобы все мои друзья, какими бы разными и противоречивыми они ни были, нашли бы нотку взаимной терпимости и сердечности. Но, понимая всю маниловскую изнанку этой, воображаемой мной ситуации, надеюсь только, что все они научатся щадить друг друга — тем самым, и меня. Ты, конечно, понимаешь, что я не влезаю этим ни в чьи личные дела.

Еще раз, Леночка: поменьше бы тебе в Новом году физических и моральных пыток, предельной устроенности и успехов во всем.

Очень тебя целую. Илья.

Письмецо Сереже прикладываю.

\* \* \*

5/IV-71 г.

Дорогая Леночка!

Я, конечно же, немедленно и подробно ответил тебе на твое давнишнее письмо. Ты об этом, впрочем, вполне могла догадаться по той настойчивости, с которой я несколько раз вытребовал у Гали обещанное продолжение: на такие претензии надо ведь иметь и права. Наверно, можно привыкнуть к почтовым капризам, но мне что-то, по старомодной унылости моего характера, что-то трудно дается такое привыкание.

О всяких естественных человеческих радостях от встречи с Галей и Алешкой я умалчиваю: они-то понятны, конечно. Главное сейчас вследствие этого: изобилие книг, которые мне слишком уж нетерпеливо хочется прочитать. Препятствий к этому пока два: 1) за время свидания и некоторого шока до и после него накопилось много писем, требующих незамедлительного ответа. Это препятствие приметное: я совершенно искренне воспринимаю такое занятие, помимо всего прочего, как замену творчества; причем замену, из-за моей экспромтности, куда менее ответственную и с куда большим результатом. 2) Новые журналы. Тут уж сила привычки: привычки обязательно их просматривать. Тем не менее, я уже прочитал вторую часть Бурсовской работы. Не могу — не смею — судить о всех деталях ее научной обоснованности, но она для меня и познавательна, и поучительна. Он, кажется, (несмотря на полемику с) продолжает забытую тенденцию литературоведения 70-летней давности: Шестова, Мережковского, Бердяева, и, по-моему, глубже и интереснее их — менее односторонен, не так упорно цепляется за блестящую — но подчас нарочитую — психологическую догадку. Вообще наше литературоведение обрело приятную мне основательность и «печать лица» исследователя. У Достоевского это еще и Бахтин<sup>27</sup>, например. Конечно, тенденция потока иная, но у потока известная судьба, о нем и не следует печалиться. Я не уверен, конечно, что опыт Бурсова плодотворен, да и что в случае плодотворности ему не грозит стать тривиальностью и демонстрацией плохого вкуса. Но как индивидуальная работа она впечатляет. Некоторые эстетические, психологические и пр. обобщения автора все-таки более чем сомнительны, но это же и неизбежно. Например, попытка объяснить и оправдать тот факт, что «проповедь Толстого и сам Толстой совсем не одно и то же», Бурсову, как, кажется, и никому, не удалась. Я с большей досадой в очередной раз поймал себя на мысли, как это (в иных масштабах, само собой разумеется) подошло бы и мне. По-моему, это вообще чрезвычайно удобная для всех мысль. У автора работы о Тыня-

нове<sup>28</sup> есть такое утверждение: конечно, каков писатель с точки зрения жены или соседки по квартире, не имеет отношения к его творчеству; но есть нечто и неотъемлемое от него. «Совсем не одно и то же» — это, по-моему, в первую очередь входит в такой разряд. Там же, в «Звезде», крохотные воспоминания Милашевского (не известного мне художника). Ты их, конечно, читала; имена и атмосфера, в них приведенные, как-то не могут не навести на печаль («Светлую»? Наверно...).

Я тебе очень благодарен за твой подробный рассказ и суждения о живописи. Я очень остро как-то ощутил необходимость этого разговора. Тем более, что элементарная честность вынуждает меня признаться (и себе, и тебе), что я сам-то никогда ничего принципиально для себя не открывал. То есть, к восприятию картин и художников я все-таки приходил сначала от мнения книг или людей, которым верил. Это почти во всем, начиная с импрессионистов, и даже знание близости-неблизости художника пришло ко мне поздно.

От участия в ауто-да-фе различных вариантов меня уже очень давно удерживали или понимание непонимания или непереносимая доброжелательность. По этой причине я не решусь вне своего круга ругать, например, кубистические портреты Пикассо, хотя они мне не только чужды — глубоко антипатичны. Между прочим, доброжелательность (особенно от противного, от желания отмежеваться от официоза) иногда приводит к глубокому разочарованию. Ты очень тепло пишешь о Фальке, я помню чувство, с которым я шел на его выставку на Беговую<sup>29</sup>, и вот до сих пор меня не оставляет разочарованное ощущение талантливой вторичности, явственности французских образцов (как еще у Коровина, например). Разочаровал меня так же и Фешин. Такие дела. Может, я и обнаруживаю закамуфлированную до поры дремучесть — но как не сознаться, я ведь не в «Советскую культуру»<sup>30</sup> пишу, а тебе.

«Парадокс Кампанеллы»<sup>31</sup> я сам уже давно рекламирую восторженно своим корреспондентам. Мне приятно наше совпадение реакций. Я надеюсь, что твоя встреча с Галей прибавит к нашим беседам интересные темы, особенно актуальные и важные для меня.

Из множества пожеланий, которые я приберег под конец письма, я считаю необходимым в первую очередь вот это — избавление от головных болей.

Крепко тебя целую. Твой всегда Илья.

\* \* \*

14/VI-71 г.

Дорогая Леночка!

Я уже отчаялся получить от тебя письмо. Тем приятнее и радостнее было разубедиться в этом. Тем более приятно, что письмо написано бодрой и отдохнувшей рукой. Галя мне все писала о твоих недомоганиях, да и вообще я в курсе всех почти московских неприятностей, так что уж и не знаю, так ли уж неподдельна твоя бодрость.

За оценку стихов я тебе очень признателен. Ты совершенно права: я никак не претендовал на конечные истины (избави бог от них!). Сейчас по прошествии некоторого времени мне, разумеется, ясно, что многое можно выбросить, многое изменить — но именно сейчас совсем уж несбыточно думать об этом. Место об «элите» плохое, потому что прямолинейное. Я рад был, прочитав гораздо позднее Германа Гессе, убедиться в том, что более или менее самостоятельно в какой-то степени и эмпирически даже, размышлял похоже, с тех же позиций. Сам роман<sup>32</sup> меня правда, только мыслью и устроил: аллегория и притча, как я тебе писал, наверно, неоднократно, в последнее время кажется мне облегченным и умозрительным литературным приемом. По этой же причине меня гораздо больше захватил, чем это случилось бы несколько лет назад, и близкий, я думаю, тебе японец Акутагава. У тебя иное дело: это твой мир. Восток тоже должно чувствовать, понимать, а я слишком уж воспитан на переводных европейских и особенно русских образцах. Вообще мне всегда был наименее понятен какой-нибудь орнаментальный колорит, только в той степени, в какой это придает оттенок, отпечаток и пр. Это я по поводу Белова<sup>33</sup>. То, что я помню из него по новомирским публикациям, как-то отложилось очень противоречиво. В «Плотницких рассказах», насколько я помню, было острое столкновение социальных характеров, моральные коллекции. Но вот у него была в «Новом мире» повесть о каком-то крестьянском балагуре — и здесь я ничего, кроме чувства досады, отчужденности от этой жизни, не испытал. Будто высыпали на меня мешок частушек, неизменно далеких от меня во все времена. Меня почему-то тронула пьеса Друца<sup>34</sup> в последнем номере «Театра». Там тоже притча, или полупритча, но местами очень тонко, искренне, с ощущением авторской боли. И общечеловечно тоже.

Может, я мало и плохо знаю Фалька? Я видел выставку на Беговой и только. А, может, случилось и так, что после известных шумных нападений на него я ожидал большего? Или был перекормлен выставками? Во всяком случае, хотелось бы все это увидеть свежим и теперешним — отвыкшим от живописи — взглядом. А Вл. Максимова<sup>35</sup> я мимолетно знал: мы встречались с ним раза два летом 1957 г.

во Фрунзе. У него родители погибли в свое время, он остро и неприемлемо говорил об этом, так что, не думаю, чтобы он в полном смысле был из кочетовской компании. Им просто надо время от времени печатать что-нибудь художественное, в 1960-х годах особенно нужно было.

Леночка, я не пишу пока твоему сыну: ему не до этого. Передай ему мои самые теплые слова. И всем, кого увидишь. Крепко тебя целую и жду твоих писем.

Илья.

\* \* \*

10/IX— 71 г.

Леночка!

Я отлично понимаю, что многое препятствует нормальной переписке, по себе хорошо знаю, как это бывает трудно — поэтому очень благодарен всем, у кого время от времени хотя бы возникает такая потребность, в том числе и тебе.

Галя очень тепло мне рассказывала о своих новых актерских знакомствах. Конечно, это весьма драматичная судьба: почти всегдашняя зависимость от репертуара. Эпохи, наверно, даже не при чем: не Софронов<sup>36</sup> и Мдивани, так кассовая пьеса сомнительных достоинств. Мне всегда казалось, что из творческой братии художники и актеры наименее глубоки, но по разным причинам: первое, из-за характера замкнутой работы, по роду своей наиболее «вещью в себе»; второе — из-за гуттаперчевой эмоциональности, зачастую взвинченной и неадекватной своей собственной. Я хочу сказать, что радостно хотя бы (как «Современник»<sup>37</sup> в начале своего пути), когда люди не охотятся за Станиславским на шею. Об актерах — очень умное и глубокое впечатление оставляют у меня отрывки из мемуаров Бирман<sup>38</sup> в «Новом мире».

О кинофильмах — сведения о них, почерпнутых из твоих и Галиных писем, — могу только грустненько повздыхать. Утешительно только (вечная ситуация лисы и винограда!), что в погоне за хорошими фильмами на одном из фестивалей (кажется, 1963 г. — шли, я помню, и «8 с 1/2», и «Красная борода»<sup>39</sup>, и «Палач»<sup>40</sup>, и «Мост через Квай»<sup>41</sup>, и Годаровский фильм «Альфавиль», и даже «Красная пустыня»<sup>42</sup>) я устраивал себе примерно такие же дозы просмотров, а впечатление сейчас скомканное и весьма расплывчатое. Ненадежная это в зрелом возрасте

вещь — многовидение, многочтение (сужу только по себе), надо бы научиться сосредоточиваться на избранном, но, во-первых, нужна возможность выбора, а, во-вторых, как отучить себя от желания «хочу все («все» в определенном ракурсе, конечно) знать». Очень рад твоей успешной научной работе. В последнее время прочел все, что у меня было о дзен<sup>43</sup> — статьи Померанца, книгу Завадской (не вру фамилию?). Интересно, и очень, но это область, где я буквально все воспринимаю на веру: знаний нет. Письма многих, в том числе и твои, полны путевых впечатлений. Вот и еще один предмет зависти. Ленинград я тоже очень люблю, но знаю его только зимой и почти без ленинградцев: некоторые улицы, театры, Эрмитаж, Русский, дом на Мойке. Сезон путешествий, наверно, кончился, и я надеюсь чаще получать письма от всех вас. Так будет куда легче перенести последний этап, последние месяцы — похоже, что самые трудные, во всяком случае, психологически. А пока я целую тебя и Сережу и жду ваших писем.

Илья.

\* \* \*

6/III-72 г.

Дорогая Леночка!

Я, может, и виноват в том, что поослабла наша переписка, но, хорошо понимая все твои обстоятельства, не могу все-таки заставить себя писать без больших надежд на ответ. Теперь это скоро будет уже проблемой чисто академической: не за горами наша встреча, и, поверь мне, я ее очень жду и возлагаю на нее, связываю с ней самые теплые надежды.

Многое в письмах, да и из рассказа Гали, тоже ускользает от меня, это правда. Меня очень огорчает составленная (может, неверно?!) картина нервных сшибок, раскола. К этому, конечно, были приложены руки, но жалко, что этот вечный закон срабатывает так точно. Плохо, конечно, но ведь не крайность же?

Удручает меня (ситуация чисто личная) полная и безнадежная несовместимость нескольких кругов моих друзей; надеюсь хотя бы, что никто и ничто не поставит меня перед выбором, который я и не собираюсь делать. Еще больше огорчают участившиеся отъезды; они вселяют такое чувство утраты, безнадежность которой разве что нелепостями и ритмом моего быта только и можно перебить. Кстати, с куском последнего Галя имела счастье соприкоснуться отчасти. Я обозначил

эту ситуацию в известных тебе стихах: «В новый вздор я втянут...» и т. д. Ничего, много прошло — мало осталось, если не слюбилось, так уж и стерпелось, да и не было во мне никогда излишней рафинированности.

Георгию Борисовичу я писал недавно, а пару дней назад отправил письмо Мае. «Остывать к делу» — это, по-моему, неизбежно время от времени: так многое не укладывается в «свое дело», что черт его знает, какую надо иметь бетонность совести, чтобы хоть мимолетно не усомниться в его правомерности. Тем более у Г. Б., человека, куда шире и многообразнее частных случаев своей профессии.

Приятны и трогательны занятия и увлечения твоего Сережи. Я ему напишу уже в другой раз: время третий час ночи. Целую тебя и желаю тебе и всем вокруг тебя добра, покоя, согласия.

Илья.

#### Примечания:

<sup>1</sup> Семека Елена Сергеевна — востоковед-буддолог, правозащитница. Научный сотрудник Института народов Азии и Африки (Москва). В начале 70-х годов вместе с А. М. Пятигорским выступила в защиту известного буддийского религиозного деятеля и ученого Б. Дандарона, сорвав попытку КГБ устроить большой антибуддийский процесс. Эмигрировала в США в 1974 г. Преподавала в ряде американских университетов и колледжей. Друг семьи Габай.

<sup>2</sup> Сережа, — сын Е. С. Семека (см. выше С. А. Кан).

<sup>3</sup> Музей изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

<sup>4</sup> Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) — русский художник, автор картины «Видение отроку Варфоломею» (1889 г.).

<sup>5</sup> «Бубновалетцам» — художники созданного в 1910 г. сообщества «Бубновый валет», в которое входили А. В. Лентулов, И. И. Машков, Р. Р. Фальк, Давид Бурлюк, Н. С. Гончарова, В. В. Рождественский, П. П. Кончаловский и др.

<sup>6</sup> Шевцов Иван Михайлович (род. 1920 г.) — советский писатель сталинской плеяды.

<sup>7</sup> Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) — немецкий ученый, искусствовед.

<sup>8</sup> Дворник Франтишек (1893–1975) — искусствовед, специалист по средневековому искусству, в частности, Византийскому.

<sup>9</sup> Муратов Павел Павлович (1881–1950) — писатель, искусствовед, историк, автор книги «Образы Италии».

<sup>10</sup> Альбер Камю (1913–1960) — франц. писатель и философ-экзистенциалист.

<sup>11</sup> Ионеско Эжен (1909–1994) — румынский драматург.

<sup>12</sup> Н. В. Ширяева.

<sup>13</sup> Ив́анов Вячеслав Всеволодович («Кома») — всемирно известный лингвист, филолог, академик РАН, друг Е. С. Семека.

<sup>14</sup> Гришина Анна Михайловна, далее А. М. (ныне покойная) — заведующая библиотечным отделом института народов Азии и Африки, где до ареста работал И. Габай.

<sup>15</sup> Г. Б. Федоров и М. Г. Рошаль.

<sup>16</sup> Имеется в виду книга Е. С. Семека, «История буддизма на Цейлоне», Москва, 1969 г.

<sup>17</sup> «Сокровища Кипра» — выставка 1970 г. в Москве, где были представлены предметы древнего мира, найденные при раскопках на Кипре.

<sup>18</sup> Митурич Петр Васильевич (1887–1956) — живописец, график, теоретик искусства.

<sup>19</sup> Роман американского писателя Курта Воннегута (1922–2007). Воннегут участвовал во 2-й мировой войне в войсках американской армии. Будучи военнопленным, пережил бомбардировку Дрездена союзной авиацией.

<sup>20</sup> По шкале Цельсия.

<sup>21</sup> Сомов Константин Андреевич (1869–1939) — художник-символист.

<sup>22</sup> Бенуа Александр Михайлович (1870–1960) — художник, историк искусств, критик.

<sup>23</sup> Добужинский Мстислав Валерианович (1975–1957) — художник, график, иллюстратор, декоратор.

<sup>24</sup> Надя Рушева (1952–1969), художник-подросток, в 1970 г. в Москве была выставка ее работ.

<sup>25</sup> Персонаж книги Т. Манна «Иосиф и его братья».

<sup>26</sup> «Выбранные места...» была закончена к январю 1971 и передана на волю в марте того же года.

<sup>27</sup> Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — крупнейший философ и филолог XX века.

<sup>28</sup> Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) — писатель, лит. критик, автор исследования «Юрий Тынянов» (1961 г.).

<sup>29</sup> Улица в Москве, где была выставка.

<sup>30</sup> Советская газета.

<sup>31</sup> «Парадокс Кампанеллы» — статья Л. М. Баткина во 2-м номере журнала «Вопросы философии» за 1971 г.

<sup>32</sup> «Игра в бисер».

<sup>33</sup> Белов Василий Иванович (род. 1932 г.) — русский, сов. писатель, в центре его внимания русская деревня и ее характеры. Автор «Плотничьих рассказов».

<sup>34</sup> Друзь Ефим Адольфович (род. 1937) — поэт, прозаик, этнограф.

<sup>35</sup> Максимов Владимир Емельянович (1930–1995) — русск. писатель, публицист, редактор.

<sup>36</sup> Софронов Анатолий Владимирович (1911–1990) — сов. писатель, сценарист, драматург, автор «бесконфликтных» произведений.

<sup>37</sup> «Современник» — московский театр.

<sup>38</sup> Бирман Серафима Германовна (1890–1976) — актриса театра им. Ленинского комсомола, исполнительница роли Ефросиньи Старицкой в кинофильме Эйзенштейна «Иван Грозный» и Вассы Железновой в одноименной пьесе М. Горького в постановке этого театра.

<sup>39</sup> «Красная борода» — кинофильм (1965 г.) японск. режиссера Акиры Куросавы (1910–1998).

<sup>40</sup> «Палач» — кинофильм итало-американского режиссера Дюка Митчелла.

<sup>41</sup> «Мост через реку Квай» — кинофильм англ. реж. Дэвида Лина (1908–1991).

<sup>42</sup> «Красная пустыня» — кинофильм (1964 г.) итальянского режиссера Микеланжело Антониони.

<sup>43</sup> Дзен — течение в буддизме о сущности сознания человека.

## ВИКТОРУ ТИМАЧЕВУ

5/1-71 г.\*\*

Кемерово

(...) Писали мне очень огорчительные новости про житье-бытье Володи Дремлюги<sup>1</sup>. Я пока не иду по его стопам, потому что никаких принципиальных поводов у меня не было, а по непринципиальным получается только свара. Тратить на это нервы и силы мне совсем неохота. (...)

Не ответил еще и Саша Канаев, а я среди прочего хлопотал у него за одного своего здешнего парня, чтобы можно было ему после апреля поехать в экспедицию. Он, между прочим, радист, может вам и такие специальности нужны? (...)

\* \* \*

10/II-71 г.\*\*

Кемерово

(...) История с голодовкой Гершуни<sup>2</sup> меня прямо-таки удручает. Братцы, если есть возможность, бомбите ему в больницу, чтобы он не глумился над самим собой. Передай, если будешь ему писать, мою слезную просьбу об этом. (...)

\* \* \*

12/VIII-71.\*\*

Кемерово

(...) Информация с «большой земли» (для тебя и для меня) — печальней некуда. Я не знаю, что тебе известно и что нет, сообщу поэтому самое главное:

1. Умерла С.Л. Якир<sup>3</sup>. На похоронах ее были, как мне писали, официальные лица из Министерства обороны. Ни жизни, ни судьбы ее близким это не вернет, трудно утешаться здесь мыслями о ее все-таки преклонном возрасте. Она была хорошим и близким мне человеком, эта смерть огорчила меня.

2. Арестовали с месяц назад Надю Емелькину. Дело вела Акимова<sup>4</sup>, потом передала неизвестному мне Соловьеву. Это нелепая и тяжелая история, и я ее воспринял очень лично.

3. Не вернется после 21 августа Дремлюга<sup>5</sup>.

Словом кругом невесело, как-то очень уж накатило в последние годы, и я мало с чем могу примириться. Мне кажется, что по мере сил надо удерживать близких от игры в поддавки. (...)

### Примечания:

<sup>1</sup> Владимир Дремлюга, один из семерых участников демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади, отбывал срок в лагере; был заключен в помещение камерного типа (ПКТ) за «нарушение режима».

<sup>2</sup> В. Гершуни, находясь в психбольнице, объявил голодовку, протестуя против преследования инакомыслящих.

<sup>3</sup> Якир Сарра Лазаревна (1900–1971) — вдова командарма И. Э. Якира, расстрелянного в 1937 г.

<sup>4</sup> Акимова Людмила Сергеевна — следователь по спец. делам Московской гор. прокуратуры. В 1967 году она вела дело Ильи Габая по ст. 190–3 УК РСФСР.

<sup>5</sup> В. Дремлюга, находясь в лагере, получил повторный срок.

## МАРКУ ХАРИТОНОВУ

2/IX-70. \*\*

Кемерово.

(...) Поезд шел сюда в красноярском направлении (поезд, который вез меня сюда), и я почти до конца надеялся вновь попасть в те места, где провел благословенные месяцы. (Я сейчас удивляюсь, что можно было в то Красноярское лето не всегда чувствовать себя счастливым).

(...) Посмотреть «Иностранную литературу» мне, к сожалению, не удастся, поэтому твою оценку Гессе я могу воспринимать только на веру. Но ты мне все равно пиши об этом со всеми подробностями — все это меня как раз и интересует в первую очередь. Я, кажется, объяснил тебе свою любовь к Томасу Манну: по-моему, среди всех парадоксальных изысков литературы нового времени, он, в конце концов, на новом качестве утвердил и классические истины, и классическую неторопливость, обстоятельность разговора о них. «Доктора Фаустуса»<sup>1</sup> в Ташкенте<sup>2</sup> мне удалось перечитать дважды. Я конечно так и не уразумел для себя систему Шенберга, но книга целиком забрала меня. Прекрасно, когда на места становятся, в конце концов, такие понятия, как человечность — это при всех условиях человечность, а «Молот ведьм»<sup>3</sup> — это при всех условиях «Молот ведьм». А то меня недавно от интереса к средневековью вело к апологии его. Такое уж действие витающей над головой модной идеи (...)

\* \* \*

15/IX-70.\*\*

Кемерово.

Дорогой мой Марик!

Ты, положительно, даешь мне уроки сердечности и обязательности в переписке. И уроков я этих не забуду, поверь мне, дружище, и, кажется, всей душой запишусь в подражатели тебе. Хотел бы поклясться на чем-нибудь в том, что буду писать всегда, но решил не клясться всуе. Вот только жаль, что не могу всерьез поддержать твой разговор: я читал только «Новый мир» и «Вопросы литературы» за 1969 год, а все,

что печаталось в 1970-м, безнадежно выпало из моего интеллектуального багажа. (...) То, что запомнилось: из прозы — «Белый пароход» Мориак, письма Цветаевой (я их раньше читал), из статей — Гулыга — о мифотворчестве (нрзб.), рецензия на книгу Каждана о Византии, статья о Хайдегерре, статья Апта о языке «Иосифа...», Ахматова о Пушкине (последнее не очень интересно, по-моему; по крайней мере в сравнении с «Моим Пушкиным»), дискуссия о славянофилах (неинтересная сразу же после Янова) и пр.

О Фалладе ты пишешь очень грустные вещи. Я знал об этом немного, кажется, из воспоминаний Федина<sup>4</sup>. Я немножко попытался отрешиться от исторической дистанции (в свете которой Фаллада, конечно же, трагичен). Вот я и представил эту «трагедию» в ответе кремационных печей или хотя бы судеб его собратьев — от «трагедии» остаются, естественно, самые обычные атрибуты на такой случай: запой и невозможность свободного творчества. Впрочем, я мало знаю Фалладу: «Маленького человека»... (к которому равнодушен) и «Каждый умирает в одиночку» — любимую, но не перечитанную книгу моего детства. А «Волка среди волков», боюсь, я путаю с Апицем<sup>5</sup>.

Очень хочется почитать Лема. Я не могу судить из такого далека, но никогда не ставил знака равенства между тенденцией (духовной) 20-го века и фашизмом. Леверкюна<sup>6</sup> ведь погубило отсутствие «девятой симфонии» (в Германии 40-х годов, я полагаю, как раз процветала опошленная вариация «героической»<sup>7</sup> — так должно было быть, по некоторым моим соображениям). Собственно, об этом ведь постоянно и говорит Цейтблом<sup>8</sup> — молчок, пристанище, та порода людей, от которой я по суетливости своего характера отстал, но надеюсь прибиться. Это ведь теперь мой любимый положительный герой. (...)

\* \* \*

11/XI-70.\*\*

Кемерово.

(...) На «Иностр. литературу» я с нового года подписан. Будет все благополучно — надеюсь, хорошо мы с тобой поговорим, поспорим даже, хотя я Белля помню и люблю в абрисе, надо бы, если спорить, по совести, перечитать. А в ожидании периодики я пока завершил Плутарха и взялся за перечитывание «Иосифа и его братьев». О своем отношении к Плутарху я подробно отписал Леночке Гиляровой, но очень боюсь, что с претензией, без достаточно глубоких оснований — под общим моим теперешним гуманитарным состоянием. Параллельно с Плутархом я читал греческих философов по Расселу и Антологии,

но сейчас параллель поломалась: Плутарха кончил, а по философии остановился на Аристотелевской «Метафизике». Впрочем, сколько я помню, Т. Манн и не нуждается в параллельном чтении — так он подробно рассказывает сам о религиях и философиях древностей. (...)

О моих стихах написал бы ты поподробнее: я их начинаю забывать, и это худо, так как у меня могло бы сейчас что-то и написаться, было бы чуть больше времени, спокойствия да и участия, пожалуй. (...)

\* \* \*

25/XI-70.\*\*

Кемерово.

(...) Насчет моего поумнения ты заблуждаешься уж точно. Книги я читаю, пожалуй, по инерции и для поддержки внутреннего духа. Не думаю, что КПД слишком ощутительно; вот тут я жалею об институтских временах: сдать бы экзамены и проверить самого себя. В философии я застрял где-то на Платоне, а в будничные дни перечитал новыми несколько глазами «Иосифа». Перечитал я с удивительным восторгом и приподнятостью: впору начинать в третий раз сначала, но повременю 3–4 месяца. Между прочим, едва ли не самое его высокое качество — уважение к читателю, его трудоспособности и желанию вникнуть. Он-то должен был помнить (да еще в те годы), что и тысячная часть читателей Германии не осилит ни его мыслей, ни его роли гида на обширной территории — сфера — земля — колодец, ни его иронии, ни стиля. Это я не для сравнения, пойми правильно, для принципа. (...)

«Горы пусть рисует мой друг»<sup>9</sup> — это неумелый, но все-таки протест по поводу повсеместной сейчас имитации художнической и вообще духовной жизни. Говоря опять же высокими сравнениями, — что перевешивает: явление Непомука-Эхо или «треугольная груша». Впрочем, большой разговор непременно сбивается на совершенную приближенность — потому я и умолкаю. (...)

\* \* \*

9/XII-70.\*\*

Кемерово.

(...) Воннегут на меня глубокого впечатления не произвел (я имею в виду, разумеется, «Бойню Но. 5»). Вряд ли стоит объяснять тебе, по-

чему: мое теперешнее литературное кредо более или менее объяснено в первых еще письмах к тебе из лагеря. Коротко говоря, обилие ходов и придумок заставляют сомневаться в том, что автор болезненно чувствует свою тему — скорее, он весь в профессиональных заботах, а тема ему просто более знакома. А фашизм, война, ее жертвы — совсем, по-моему, не предмет для литературных забав. Что, с одной стороны, Петер Вейс, что, с другой, Воннегут — все как-то удачные слова, слова, слова и только (...)

Мне очень трудно объяснить эти самые пресловутые «горы». Стихи эти, безусловно, плохие, но вопрос поставлен для меня очень важный. Только как начнешь в нем разбираться, обязательно наслаиваются все про и контра, и запутываешься. (...) «Горы»-то все-таки не свой внутренний мир, а равнодушное, хотя и искусное, особенно на неискушенный взгляд, проектирование его. Это — прекрасная почва для пилатства. (...) Не думаю, что твой пример с «Волшебной горой» удачен. Высокая человеческая проблема — человек с глубоким внутренним миром перед лицом вселенской катастрофы, — невозможность «волшебной горы» (нрзб.), отрешенности — и гора «по»: по Пикассо, скажем, или попробовать по Кандинскому. Что и говорить, когда, собственно, «Фаустус», которого я тогда еще не прочитал, ответил на этот вопрос, по-моему, только грандиозно: полный крах гения именно из-за невозможности любви, детской привязанности и пр.

Жаль, еще раз повторю, что так поспешно ведется разговор на серьезную тему из-за малоудачных моих стихов. Да и положение у меня в этой связи весьма сомнительное: как будто я защищаю свои стихи. А я ведь защищаю только свою точку зрения. (...)

\* \* \*

20/XII-70.\*\*

Кемерово.

(...) Из всяких там моих читательских впечатлений последнего времени наиболее сильное — ст. Бурсова о личности Достоевского в двенадцатой книжке «Звезды» за 1969 год. Интересно, появилась ли за это время вторая часть этой статьи? Мне показалось, что автор немного перехватывает в своих стремлениях к постоянной диалектичности. То есть он (вослед Достоевскому самому) все пытается опровергать самого себя, и в какой-то момент, на мой взгляд, это становится малость навязчивым. Еще у меня одно занудное, ни на чем не основанное ощущение, что для своих поворотов темы Бурсов все-таки производит строгий отбор писем. Благо, широкому читателю (мне в том числе) это

никак не проверить — где уж, не до таких специальных и кропотливых архивных изысканий. Но в принципе работа для нашего литературоведения не очень-то обычная, метод и выводы не набили еще оскомины, и я прочел все это с упоенным интересом. (...)

(...) Еще я доперечитываю Фолкнера — осталось совсем немного.

Есть, дорогой мой, и некоторые поводы для житейских огорчений, — но в предвидении нового, невысокосного года это все побоку. (...)

\* \* \*

29/XII-70.\*\*

Кемерово.

(...) Ты упомянул Белова. Стыдно, но я совершенно не помню его произведений, кроме каких-то циклов рассказов о деревенском балагуре. Там для жанра этого балагурства придумано или взято из местной жизни какое-то особ словечко, но я безнадежно потерял это словцо. Прямо скажу, что меня это никак не пленило. Может, там и выведен народный характер, ну так я к этому расейскому колабрюньонству всегда был предельно безразличен. Матрена у А. И.<sup>10</sup> — это народный характер, потому что международный: библейский, разве что с русскими приметам. А более талантливое или менее талантливое шукарство — то же штукачество, разве что лубочное. Ладно.

Я сейчас, друг мой, мучаюсь очередной поэмой и в очередной раз, должно быть, не доведу ее до конца. Там, конечно, попытки углубления вечных (для меня) тем, спора с самим собой, но, боюсь, что каждый раз и теза, и антитеза будет слишком категорична — потому и схематична. Избежать этого трудно. Написал 7 главков, как всегда у меня, без малейшей эпикки, то есть отдельные стихи, которым жанр поэмы позволяет быть в контексте, а не законченными. Попытаюсь в ней по-серьезнее — хотя бы пояснее — ответить и на вопрос о пресловутых «горах». (...)

\* \* \*

10/I-71.\*\*

Кемерово.

(...) Твое изложение будущей работы я проглотил с огромным интересом. Но было бы самой высокой безответственностью, если бы, несмотря на большую или меньшую начитанность и заинтересован-

ность в теме, я бы сейчас сунулся с полемикой или оценкой по существу. Я только попытаюсь выделить у тебя некоторые неясности по вопросу.

1. Не преувеличиваешь ли ты ироническое отношение к Сеттембрини и Нафте, их диалогу?<sup>11</sup> То есть не смещаешь ли ты акценты этой иронии. Может быть, она порождена не ироническим отношением к концепции вообще, а просто, забегая вперед, автор подчеркивает бесполезность такого спора перед лицом макрокатастрофы — войны и микрокатастрофы — судьбы Касторпа?

2. Почему тебе хочется сделать упор на статье «Достоевский, но в меру»? Ведь при всем своеобразии личности Манна, основная мысль этой статьи, как я могу понять, в чем-то близка педагогически-горьковским воззрениям на «жесткий талант».

3. Очень соблазнительна эта идея немецкой, но не русской «середины». Но какая же нравственная «середина» у Ницше и его адептов? Чем отличается Достоевский от Ницше, в общем-то, понятно: отношением к пра-ницшеанству (Раскольников, Ставрогин, Ив. Карамазов), еще, может быть, пониманием неизбежности смердяковщины — Ницше такого фарсового варианта трагически не предвидел. Но, как это ни мракобесно звучит в моих устах (на фоне воспоминаний об отечественном литературоведении 40-х годов), что-то их сближает, хотя бы возможность предположить это «все позволено», его альтернатива.

4. Цитирую тебя: «Его все-таки всю жизнь влекло (интерес к этому роднит его с Д.) к неким безднам, темным сторонам человеческой природы, к болезни и смерти». Но почему именно с Д., а не с Г. (Гоголем), не с Т. (Толстым) — «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича»? Не могу вспомнить и многих подтверждений — только «Доктор Фаустус», где это делается глазами любящего, но врача, а не изнутри. О «Волшебной горе» здесь и говорить нельзя: там же как раз случай не болезни, бегства в болезнь.

5. Попутное замечание. Оно у меня бродит, и если ты найдешь в нем что-то, может, сумеешь развить. Не играет ли Серениус Цейтблом такую же роль, как рассказчик «Бесов» — обитатель Скотопригоньевска? Не нужен ли и тому и другому писателю такой, в общем-то человеческий, но дюжинный взгляд на происходящее. Я хочу сказать о силе того и другого, когда речь идет о бесспорных человеческих оценках (у Д. — бесов, у М. — хотя бы охоты за ведьмами в историческом и современном аспектах). Но когда нужно оценить изнутри явление, не поддающееся простой градации, и Манн и Д. прибегают к письмам и дневникам Левверкюна и Ставрогина (последнее, понятно, в редакции). Но здесь я увлекся и полез с советами, на которые, повторяю, совсем не считаю себя сейчас готовым.

б. Пожалуй, последнее. Не могу предельно уяснить себе «сближение католицизма и социализма у Достоевского» (твои слова). Сближение их самих как антиподов Д.? Или Д. приближается к ним, хотя и клянет их всяко? Тогда в чем же? В идее соборности, вселенской церкви что ли? Боюсь, что ты здесь просто темновато сформулировал свой тезис, и я не могу уловить здесь мысль. (...)

\* \* \*

25/1-71 г., Кемерово

Дорогой мой Марик!

Твое письмо пришло очень кстати сегодня, потому что я в последние дни в совершенной подавленности. На это есть причины — юмористические, когда это все станет воспоминанием о прошлом, но очень существенные, совершенно выбивающие из колеи — меня с моими нервишками и нестойкостью особенно. Не могу сказать, что письма — безусловная панацея, но это все-таки такая связующая с лучшим миром нить, так нужно для меня, что не худо бы тем, кто числит еще себя по разряду моих друзей и товарищей, думать об этом почаще. И на этом я прекращаю невеселую очень тему.

Ты прав: разговор о твоей теме «Достоевский и Манн» разумно пока прервать, тем более, что я не проделывал никакой предварительной работы, ни даже не размышлял никогда об этом, и все, что я тебе писал в предыдущем письме, было все-таки высказано по первому — и поверхностному, очевидному для меня наитию.

Поэма моя<sup>12</sup> идет к концу — и осталось написать пару глав. Она большая и, конечно, поэтому с пробелами и промахами. Думаю, что на шлифовку ее не хватит никаких сил и времени: для того, чтобы сейчас ее писать, я и так должен был поступиться кое-какими удобствами, пойти на некоторые, невозможные долго, вещи. А нужно мне еще по меньшей мере дней десять — чтобы написать и переписать с самой элементарной правкой. Очень неохотно я выполняю твою просьбу — потому что без контекста, без оспаривания и опровержения чего-то высказанного (так у меня построено) буду понят неполно и превратно. Написано так, будто я якобы беседую в письмах с друзьями. «Якобы» — потому что у меня никогда не хватит наглости использовать действительные материалы — собеседование все-таки воображаемое. Я тебе посылаю одну главу — из-за ее малости, главным образом, и из-за характера лирического отступления (эпического, впрочем, как у меня водится, ничего и нет). «Сударыня» — воображаемая моя молодая корреспонден-

дентка, которую я всю дорогу бессовестно пичкаю наставлениями. Вот и в этой главе, которая называется «Прямой Чадаев»...

«Откуда что берется в этот миг, Когда приходит час надежд внушенных? Сударыня, какой нас ветер гонит От благости: от музыки и книг, От шорохов, загадочных и сонных, — В базарный зной, в сумятицу и крик? И из какой пустыни наши души, Уставшие, подать сумеют весть? Сударыня, зачем нас ветер кружит, И гонит нас — и некогда присесть? Чтоб радугой, расцвеченной без меры, Пустившись в свой пленительный вояж, Мы бросились в глаза, как эфемеры, И возвратились на круги своя ж. Где будет та же приказка и сказка Скудельных душ и притомленных дружб, И та же жизнь с азартом и с опаской: С надрывом — та же вдавленность в картуш? И ты отмечен свыше: ты помечен Обязанностью к действиям вотще... Какой же ветер кружит нас и мечет, И гонит нас — и некогда душе?..»

Я все-таки жалею, что написал, потому что кое-что в контексте обговаривается, иногда прямым рефреном с другим звучанием. Но написанного пером и пр... А вот о чем я не жалею, но и не горжусь особенно, — так это что закружился и докружился до нынешнего своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что, действительно, в этом кружении не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей. И тут ты совершенно, совершенно прав, когда говоришь о Валерии Агр. Система прямого и косвенного мучительства столь разветвлена, что может уловить и самых стойких и проницательных. Как будто бы человек приуготовляет себя для западни, для всегдаготовности к правильным словам и даже поступкам. А потом, как снежный ком, наращивается неправильное понимание, преувеличения и все прочее — любого погребет. Я и сам был грешен склонностью к конечным выводам и мечтаю, чтобы жизнь меня, дурака, хотя бы сейчас научила радоваться в каждом человеке всему, что есть в нем хорошего — и хватит.

Журнальчики пока не идут что-то. Напиши, что вышло из первых номеров и что есть. А книжечки мои портятся понемногу<sup>13</sup> из-за невозможности их как следует хранить, и сердечко из-за этого тоже ноет, а отказаться от них здесь — совсем крышка.

Ежели я тебя, отец семейства своего, опечалил малость — извини великодушно. Я его нежно обнимаю и целую, твое семейство, и тебя купно. Хорошо бы хоть глазком взглянуть на тебя — но бог весть.

Живи и пиши. Твой Илья.

\* \* \*

14/II-71.\*\*

Кемерово.

Здравствуй, дорогой мой!

Спасибо на добром слове об отрывке. Только меня никак не оставляет ощущение, что я делаю неправильно, посылая тебе отрывки. Тем самым я отвечаю и на вторую часть твоего вопроса: пожалуйста, только с теми же самыми оговорками: ни в коем случае не рассматривать это как отдельное и законченное стихотворение, то было бы катастрофой: обеднить себя до такой степени в важнейшей части своего существования. Посылаю тебе еще одну главку. Она называется, как и написана — «Сонет». Тем не менее и ее нельзя рассматривать как некую «вещь в себе»: она венчает длинное и довольно нервное рассуждение по этому поводу, и опять же по всей поэме тянутся с ней словесные, тематические и пр. связи. Итак, «Сонет»: «Такая непрощенность эта грязь И поздний стыд — любая казнь в угоду: Предвестница последнего ухода Объявляющая меня грехобоязнь. Невыносимо в сдавленном кольце Остаться до конца и сокрушенно Сомнительной гремушкой прокаженных — Напоминаньем: «помни о конце» Кому напоминаньем и зачем? Непрошенно, вздох и неспасенно О замыслах рассыпанных поэм, О горькой невозможности забыться В каком краю, среди каких языцев, какому собутыльнику повем?..» Твоя мысль о музыке мне понятна. Но, мне кажется, (прости за нескромность), что в общем-то, для меня и не очень-то большая сложность версификационная ловкость. Я старался ловить нерв в поэме, адекватный теперешнему душевному состоянию. У меня есть глава, где я убрал уже имеющуюся рифму, переводил стихи на прозу — наивная, но попытка передать ощущение собственной неясности и разброда. Впрочем, абстрактный разговор маловразумителен, буду ждать возможности поговорить о вещи в целом.

(...) Лейтмотив бёллевской речи огорошил меня совершенно: наверное, у меня просто иссякают какие-то жизненные запасы, и я не готов к такой безнадежности. Я поначалу думал, что святотатство-то вообще роль живописца перед горящим зданием. Нечто вроде, знаешь ли, «Шепота робкого дыхания» и пр. в момент лиссабонского землетрясения (помнишь, в «Дневниках») или история с собором у самого Бёлля в «Биллиарде». А оказалось вона как! Пепел — это, наверное, символ, что-то есть, наверное, в нем и не высказанное самим писателем — но ведь это уж такая трагическая необратимость, такое распоследнее слово, что я хочу верить просто в отчаянную минуту самого писателя — и только. (...)

Ты пишешь о своем выявившемся конечном пристрастии к «маленьким людям». Что ж тебе сказать. Только: и я, и у меня. Быть может,

во всей мешанине современных литературных перипетий это самая надежная, если не единственная пристань гуманизма — при скомпрометированности «героической симфонии». Ну и благо нам, если мы всамделишно не только вышли из, но и вросли в гоголевскую шинель. В поэме у меня есть глава с условным названием «Диккенс» (там в начале, мне понадобился единственный раз эпический кусочек — и как я ни бился, получилось плохо. Рассказ в стихах, досадно, — но никак не моя стихия). Ну а в этой главе я, по-моему, как раз об этом же почти и говорю. Рад, что мы с тобой оказались в конце концов при одном истоке. Ежели это даже и разбитое корыто — ну и пусть: стало быть, все прочие дары государыни-рыбки следует почтительно вернуть людям с иной кожей: не по нас.

Тошка замышлял свою работу<sup>14</sup> при мне, я уже многих просил пересказать мне ее. Ты первый открыл кусочек завесы. Блока понять все же можно: он ведь наблюдал не программу либерала (тут и я «либерал» и только, и на том очень упорно стою), а так называемую его «трагедию» конформизма, сотоварищество в «пергаментных речах» (Шедрин это гротескно выразил «применительно к подлости» — в жизни это зачастую, в конечном счете, действительно драматично, но объективно «применительности» не снимает). Да и вообще, как поэт может кому-либо повредить своей публицистикой: она ведь вне его, к нему мало причастна; ее не следует принимать во внимание. Впрочем, у Толи это все, наверное, написано густо и остро — так он пишет, сколько я могу судить, и мне, как и со многим другим остается только ждать лета 1972 года. (...)

\* \* \*

10/III-71.\*\*

Кемерово.

(...) Хорошо, что ты под музыкой имел в виду нечто иное, не связанное с версификацией. И твоя похвала присланным отрывкам мне очень кстати; собственно, это первый отзвук своего — и строгого (надеюсь, ты не изменил традиции нелицеприятного разговора) читателя собрата. А вот прочтешь ли ты вещь целиком — бог весть: бандероли от нас не принимают, кажется, а переписывать все 20 глав — танталов труд<sup>15</sup> (...)

Я сейчас вспомнил о нашей идее и попытке совместного романа. Фантастическая идея — но светлая, верно? Кто знает, вдруг она и осуществится когда-нибудь. Хотя бы так: мы пишем параллельно, не пересекаясь (только иногда), два романа в одном. Я не оставляю мысли

когда-нибудь проиллюстрировать прозой, судьбами (всамделишными и сфантазированными) свои вирши. Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству; многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов (...)

(...) Советую тебе прочесть, если ты не читал еще, статью «Парадокс Кампанеллы» во второй книжке «Вопросов философии». Там совершенно неожиданно (для меня) поворот большой (тоже для меня) темы — волховской. (...)

\* \* \*

19/III-71.\*\*

Кемерово.

(...) Однажды я в институте международного рабочего движения слушал доклад Ю. Давыдова об элите, но мало что, кроме общего заинтересованного впечатления, помню сейчас. Тема тяжелая. Я в поэме несколько раз возвращаюсь к ней — и так и этак, и все выходит, по-моему, плосковато. В главе, специально теме этой посвященной, я ставлю вопрос: правомерно ли посягать на «свою особенную муку, свою — особенную ж — речь», сопрягается ли с понятием чести ситуация, когда «слезы по распятом древе нам затмевают казни днесь». Глава кончается не очень-то уверенно, но с претензией на сарказм. «Звучит по-эллински: элита. Ползет элита... Доползет?» Через много глав, в другой ситуации, а именно: говоря о друзьях, я пишу иначе (но так же не очень-то глубоко и уж совсем без уверенности, что вопрос решен): «Пускай звучит по-эллински «элита». Пускай элита круг свой сбережет!» И еще пару раз возвращаюсь к этому с тем же — сомнительным результатом. Твое рассуждение о Мандельштаме навело меня на мысль о непомерном расширении термина. Элита — все-таки что-то не горячее и не холодное и при этом достигшее привилегий. А мы — и в твоём примере — путаем трепетное отношение к своему внутреннему миру и интеллекту с этой бездумностью (на поверку — и с бездуховностью: эрудиция в этом случае не спасает). Человек элиты вряд ли мог бы остро, по-гамлетовки чувствовать разлад с «веком-волкодавом» и уж что точно, элитическое ощущение себя никогда не подвигло бы его на своеобразный вариант посягательства на «горло собственной песни». Я имею в виду слабую очень, по-моему, но для разговора характерную вещь о широкой груди и услугах полулюдей. В нескольких строчках тему не исчерпаешь, куда там! Вот ты

пишешь: «Это люди, которые культивируют и передают от поколения к поколению непреходящие ценности, что бы ни творилось вокруг». В твоём «что бы ни творилось» достаточная этическая двусмысленность, но дело не только в этом. Кто же это? Русские дворяне, например? Но одни передавали тонкую духовность и Вольтера в подлиннике вкупе с правом на рабовладение, другие — последние права только. Для истории культуры мысли, даже для политической истории разница значительная, для этики — никакой, случаи равнозначные. Ранимый человек элиты — Блок, как известно, это очень остро чувствовал. В исторической перспективе люди восхищаются дворцами и мало волнуют их имевшие место хижины. Но современника-то, если это не гениальный чудак (случай не слишком частый, между прочим), хижина не может не волновать: в хижинах живут люди. Высокая культура, купленная ценой не только великих социальных бедствий, но и серьёзной степенью толстокожести, есть, никуда не денешься, и она правомерно украшает жизнь. Но великого создателя это этически (только) не приподнимает. Вряд ли стоит говорить об этом в стране, где бывший паж<sup>16</sup> считает себя обязанным писать «Путешествие», человек высокого ранга<sup>17</sup> «К временщику» и даже кончить петлей, почти придворный поэт<sup>18</sup> «Деревню», а гениальный граф<sup>19</sup> — ну о нём все и так известно, о комплексе толстовства. (...)

\* \* \*

2/IV-71.\*\*

*Кемерово.*

(...) Кампанелла и проблема «Волхвов»? Как же, дорогой, далековатая, но существенная: с новой гранью проблемы связь. Коротко говоря — официозность интеллигента — может быть и не сервиллизмом, не нравственной недостаточностью, а чем-то органичным. Как у Кампанеллы папизм уживается с «Городом солнца», так ведь может обрести совершенно новое исходное толкование фокус-покус наших дней. Только следует в каждом случае разглядеть и различать, но это уж святая обязанность пишущего. Можно бы истолковать и поподробнее, но надо ли? (...)

\* \* \*

15/IV-71.\*\*

Кемерово.

(...) Тема элиты, как видно, неисчерпаема; идет такое сцепление доводов и контрдоводов, что немудрено заблудиться. Видно, каждому да еще в каждом отдельном случае надлежит сделать свой выбор. Меня-то хоть радует, что, затеяв такой острый и нужный для нас обоих разговор, мы хоть не попадаем в положение глухонемых, понимаем друг друга, да и в конкретных поступках друг друга при случае нам с тобой сомневаться не приходится. (...)

Боюсь, что раззадоренное воображение привело тебя к разочарованию: я ведь почти все, что написано в поэме, пересказал тебе словами. «Игру в бисер» я еще не читал. Сейчас у меня идет полоса самого отчаянного отсутствия времени, буквально часа два, включая ужин, переодевание, чистку обуви. Такие дела. И еще у меня украли «Долину Грохочущих Копыт», и это расстроило меня чрезвычайно. Я все прошусь в хорошую бригаду, но из этого ничего не получается пока.

Статью А. и В. я читал. Это неприлично, по-моему. Даже, если все до единого слова правда, все равно неприлично: есть терминология, набор определенных слов, которые профессионально порядочный человек допускать не должен. (...)

\* \* \*

20/IV-71 \*\*

Кемерово

(...) Твое письмо пришло после очередной и для меня чрезвычайно нервной бесписьмицы, а, главное, ты почти первым откликнулся на мои отрывки. Я буду, конечно, конечно же, нетерпеливо ждать дальнейших твоих суждений; помимо всего прочего, они должны, по-моему, в каком-то споре прояснить наши и этические, и эстетические позиции. Казалось бы, они и так ясны, но все-таки однако ж... Не говоря уж о новой работе, но и на переделки, доделки у меня сейчас тоже долго не хватит ни сил, ни времени. И это жаль: мне сейчас как-то ясны, не удовлетворительные для меня, места (вся последняя глава, начало главы о Диккенсе — о детстве, еще две-три главы целиком или частями). Можно бы и переделать или написать заново, но где уж сейчас! (...)

Вчера было воскресенье и необыкновенно теплый день, который не замедлил испортиться сегодня. Я читал Гамсуна — прочел «Голод» и половину «Мистерии». Неожиданно для меня он показался мне значительным писателем, действительно, опередившим время. «Голод»,

например, напомнил мне Селина<sup>20</sup>. Я смутно помню уже его «Путешествие...» и не уверен поэтому в точности своего ощущения — но вот, напомнил. И все-таки сказалась преемственность с веком минувшим у Гамсуна: куда больше человеческих привязанностей, подспудно подозреваемых идеалов. Я говорю: неожиданно, потому что Гамсуна читал и раньше в Саблинских еще изданиях. Между прочим, несоизмеримо качество переводов. В нынешних Гамсун — совершенно современный писатель. (...)

\* \* \*

26/V-71 г., Кемерово.

Мой дорогой Марик!

Каждое из десяти, примерно, писем, которые я пишу сегодня, в воскресенье, 23 мая с. г., начинается с извинения за задержку с ответом. Такая была задержанная неделя, что я позволил себе отдых. Больше постараюсь не позволять.

«Лунина» я прочитал, многим уже написал о глубоком впечатлении, которое книга произвела на меня. Странно даже, как это я тебе не написал об этом.

Меня наконец-то порадовала «ИЛ». Прежде всего, начало «Урока немецкого». Роман обещает быть интересным и, как большая часть того, что доходит до нас в переводах с «западнонемецкого» — совестливым и покаянным. Кстати, там же и статья о современной «немецкой» «новой волне». Я не знаю, насколько объективен анализ автора, но его пересказы и цитаты оставляют горькое чувство растраты сил. (Хотя и в пересказе — формальные возможности для произведения, в котором есть «о чем» говорить, очень перспективные). Наверно, у меня вкусы середины: в живописи это что-то на уровне присутствия «литературы», как у импрессионистов, в литературе — ну хотя бы Бёльль.

В последнем номере «Вопросов философии» доброжелательная статья о «новых левых». Но автор обходится без фактов, получается слишком академично и бесстрастно для явления, о котором мы так много говорили когда-то.

Я так и не прочел у Гессе последней — индийской — новеллы. Она меня, новелла, разозлила своей ненужностью, литературным, так сказать, приложением к уже сказанному. Оторванная схема — вот что делает этого мудреца далековатым, по масштабам, от Т. Манна. Впрочем, его еще следует перечитывать. Романа Аксенова я читать не стал. Куда там — «Мефистофеля»<sup>21</sup> никак не могу начать. Обойдусь без Аксенова, ладно уж, похожу в отсталых.

Необходимость написать кучу писем и обилие всяких дел по порядку дня заставляют меня оборвать на полуслове. Поговорим уж, даст бог, я надеюсь.

Крепко тебя обнимаю. Илья

\* \* \*

27/VI-71.\*\*

Кемерово.

Говорят, есть новый роман Александра Исаича<sup>22</sup>. Читал ли ты его? Если да, расскажи немного. Из моего чтива по твоему — немецкому — ведомству: кончил читать с перерывами «Мефистофеля» и начал с такими же глубокими перерывами читать Клейста. Первое что-то не очень глубоко задело. Он все-таки в этой теме — сделка с дьяволом — провинция в литературной стране своего отца. И еще удручают ощутительные намеки на то, что это «с природы». А Клейста я даже в переводах Пастернака что-то не могу полюбить. Надо было читать его в детстве, вместе с Гюго и Шиллером, а я этого не сделал и что-то потерял по пути к Клейсту в способности свежевпечатляться и остро воспринимать. (...)

\* \* \*

15/IX-71.\*\*

Кемерово.

(...) Посвящу свое письмо главному пункту твоего — статье Аверинцева.

Это не первая статья, вообще работа, с которой я знакомлюсь. Я читал когда-то его статью о томистах, слушал доклад в музее изящных искусств, много слышал — но только слышал — о работе о Плутархе. Его эрудиция и постоянная концептуальность внушает мне преогромное чувство уважения и почтения. Мне неловко, что я вдаюсь сейчас в обсуждение этой работы: во-первых, знание в переводах уже как-то ограничивает право на спор; во-вторых, несмотря на интерес к этой статье, мне ее, как все, что я в последнее время читаю, надлежит непременно перечитать в более академические минуты.

\* \* \*

З/Х-71.\*\*

Кемерово.

Дорогой Марк Сергеевич!

Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос разгневанного человека. Цитирую письмо Б. к Г. на память и очень приблизительно. А всерьез, Марик, меня задела за живое фраза о том, как можно нынче и как не можно писать (отчасти, я думаю, и как должно и как не — а это уж совсем никуда не годится!). Я усмотрел в этом, помимо прочего, и приверженность предрассудкам — преувеличенным представлениям о силе античных литературных традиций, которых, по-моему, не существует вовсе или почти не существует. Остаюсь и после твоих объяснений при мнении, что традиция эта более сильна именно сейчас, что в «Иосифе» главное не описание, а понимание, расширенное толкование, если угодно, что античные «описания», возможно, составляют неизъяснимую прелесть для читающих в оригинале, но нам с тобой негоже притворяться «влюбленными антропосами», что романтическая и притчевая канва Писания сыграла не меньшую роль (эстетическую (нрзб.), не еще какую-нибудь), нежели самое ценное в античной словесности — трагедии Эсхила<sup>23</sup>, Софокла<sup>24</sup> и Эврипида<sup>25</sup>. И на этом, наверно, следует оборвать полемику: лучше будет, если мы доверимся не скорописи, а доверительной беседе, которая, конечно же, не за горами. Еще лучше, — если мне удастся все сказать во второй части «Выбранных мест», написать которую в последнее время — лелею надежду. Но не в эти восемь месяцев, очевидно. (...)

Я тебе благодарен за пересказ романа А. И.<sup>26</sup> На двух его предыдущих романах лежала печать (огорчительная) публицистической нервозности, ощущение откровенного запала непубликующегося. Это все, по-моему, и то, что это все же не вредило гениальным страницам — сцене в зоопарке, особенно. Что касается рукоплесканий «Мол. Гвардии» — боюсь, ты прав. Это чувствовалось особенно в его статье в «Литературке» о языке и во многом другом. Та же гениальность снимала этот мотив — реакционный, если не побояться слов — даже в «Ив. Ден.<sup>27</sup>». Жду твоих писем и обнимаю тебя. Илья.

\* \* \*

25/X-71. \*\*

Кемерово.

(...) Благодарю за пересказ не прочитанного мною романа<sup>28</sup>. Как он ни подробен, визуального, так сказать, знакомства он не заменяет — но на пока достаточно и быть в курсе дела. Если ты правильно понял позицию автора в оценке 1-ой мировой войны, то это грустновато уже потому, что являет собой еще один случай новомодных стремлений гальванизации архаического мышления. Не знаю, внятно ли я говорю — думаю, что достаточно, вполне — мы ведь с тобой столько говорили о Фрише и иже... Каратаевская<sup>29</sup> тенденция все-таки должна быть, автору она свойственна; и тут не скажешь, хорошо это или худо. Худо, наверное, если начинается иллюзорный момент, икона «простого» человека, обобщенная антиинтеллигентность — но это, наверное, вряд ли, да? Добавлю только, что мне еще, м.б., надо тонны неблагополучий нахватать, чтоб начать хвататься за каратаевскую тенденцию. Куда там, хотя всегда кажется дорожил «простотой» — простыми добродетелями. Вообще талант глушит любую реакционность, если не убеждает, то вполне впечатляет. Можно понять Блока, когда он требовал пересмотреть гоголевские «Выбранные места». Но можно понять и Белинского<sup>30</sup>, вот в чем дело. Крутись, как хочешь, если взял и исподволь перерос, вырос из состояния элементарной цельности. (...)

\* \* \*

13/XII-71. \*\*

Кемерово.

(...) Я в первую очередь прочел две из трех переданных тобой книг. Перечел Борхерта с неизменившимся за 8–9 лет ощущением глубокого сочувствия. Знаешь, потеря чувства стилистической новизны (мало ли кто сейчас так пишет!) даже помогает: остаешься как-то один на один с тем, что невозможно стянуть у кого-то: с уязвленностью, болью, незащищенностью.

\* \* \*

2/1-72 г. \*\*

Кемерово.

Дорогой Марик!

Будем надеяться, что год действительно станет радостным во всех смыслах — в разрешении всех обыденных забот.

Публицистический отдел «Нового мира» набирает прежнюю высоту в последних номерах. Согласен с твоей оценкой статей Эфроимсона<sup>31</sup> и Гранина, хочу назвать еще ст. проф. Симонова, Никифорова, отчасти статью Ю. Карякина. С Твардовским у меня было связано в последние годы ощущение незыблемости убежденности, обретенной, как и литературная этика, в последние 15 лет, но незыблемой. Смерть его меня очень опечалила. Ну а звездные часы определить трудно; у нас иной вкус, может, в этом деле. Я знаю его последний сборник стихов только по рецензиям. Цитаты, приведенные там, чрезвычайно глубинны и пронзительны.

Пытаюсь осмыслить твою мысль о «неактивных борцах, но уклоняющихся, несотрудничающих, даже вроде бы юродствующих», в былой Германии. Извини за насильственную операцию, но представь себе: злой анекдот, вырезки с глупостями из газет, разыгрывание среди своих манер бесноватого — на фоне мировой войны, печей, программы уничтожения. Психоз в течение двух-трех лет? Я думаю, что Эфроимсон здесь не причем, не тот случай. Немец мог оставаться жертвенным сыном, мужем, другом, но, очевидно, генов т. н. «абстрактного гуманизма» не существует. Это благоприобретение гнилой интеллигенции. Уничтожение абстрактных неполноценных наций, я думаю, естественно, входило в понятие немецкой толпы. Это было нужно для благоденствия нации и для ее величия. У толпы нет наследственности и черт, есть только побуждения (о чем писалось не раз). Ну, а юродствующему неборцу можно посочувствовать только, как это ни традиционно, вносить в его реестр заслуги по сохранению нации («нравственного выживания», как ты пишешь) — по мне так даже несколько и кощунственно. Твою статью о Борхерте я жду с нетерпением — я перечитал его сборник с душевным волнением, о чем тебе рассказывал уже.

В новогоднюю ночь дочитал роман Селимовича «Дервиш и смерть». Печальный роман на трепетную для меня тему. Там рассказывается о невозможности «серединного пути» (мечта, кажется, всех религий, не только буддийской) и неизбежно страшных уроках мятежа, непременно бесовских средствах, забвении в конечном счете целей. Почитай, если будет время, хотя понимаю, что у тебя туго с ним. Обнимаю тебя, Галю<sup>32</sup>, ребятишек. Не вздумай в последние

месяцы уклониться от обязанности писать. В последние-то месяцы следует потрудиться.

Твой Илья.

\* \* \*

17/I-72.\*\*

Кемерово.

(...) Я здесь долгое время не получал «Литературки», бесился слегка: привычка-с к «своей» газете все-таки. А получив второй номер и прочитав страницу 12<sup>33</sup>, ощутил даже не отвращение, не брезгливость, а какое-то почти отчаянное и почти безнадежное опустошение. Все-таки у нашей прессы есть серьезные преимущества перед бульварным, циничным и жестоким языком штерновского толка. Трудно просто постичь, кому это вообще может быть интересно, какое это имеет значение?! Ну да ладно. Я и вправду, при всем при том, рад, что во мне, кажется, отсутствует буржуазность любого оттенка. Надеюсь, что я говорю более или менее внятно. (...)

\* \* \*

21/I-72.\*\*

Кемерово.

(...) По поводу воздействия материалов «Штерна» на массы. Есть, по-моему, положительная сторона в том, что массам это все до лампочки. Ну есть еще губернские служащие, которые кое-что читали и не преминут посмаковать, но между нами, мужчинами, — хрен с ними, губернскими служащими. Жалко, что человека мучают и колот, вот что главное. Возможно, что в не читанном мною романе есть антиинтеллигентский (антисамгинский — обычно говорят) пафос. Задним умом я это чувствую и в первом его романе. Наверно, святое русско-писательское проповедническое чувство неизбежно ведет к упрощению и к изоощренной форме юродства — к почвенничеству. Но это все другая опера. А Библию надо осмыслить стихами, то есть мне продолжать осмыслять, и получше, поумнее прежнего. Но это тоже из цикла «Суждены... порывы». (...)

**Примечания:**

<sup>1</sup> «Доктор Фаустус» — см. выше.

<sup>2</sup> После ареста 19 мая 1969 г. по делу П. Г. Григоренко Илья Габай был отправлен в Ташкент, где содержался в следственной тюрьме КГБ. После суда — в Таштюрме, откуда был отправлен в Москву на новое следствие по делу о секретной инструкции ВЧК, изъятой у него дома при обыске. По окончании следствия его этапировали в трудовой лагерь общего режима в Кемерово.

<sup>3</sup> «Молот ведьм» (1486) — руководство для охоты на ведьм, написанное германскими монахами-инквизиторами Генрихом Крамером и Якобом Шпренгером.

<sup>4</sup> Федин Константин Александрович (1892–1977) — советский писатель соц. реализма. Первый секретарь и председатель правления Союза советских писателей. Участвовал в травле Б. Л. Пастернака и высылке А. И. Солженицына.

<sup>5</sup> Апиц Бруно (род. 1900 —?) — нем. прозаик, литературный и театральный редактор. Узник Бухенвальда. Автор романа «Голый среди волков».

<sup>6</sup> Леверкюн — персонаж романа Т. Манна «Доктор Фаустус».

<sup>7</sup> Имеются в виду симфонии Бетховена.

<sup>8</sup> Цейтблом — персонаж романа Т. Манна «Доктор Фаустус», от лица которого ведется повествование.

<sup>9</sup> «Горы пусть рисует мой друг» — перифраз строки «Мой друг рисует горы» из стихотворения институтской поэтессы Ады Якушевой. И. Габай использует эту строку в качестве эпиграфа к одной из глав своей поэмы «Книга Иова».

<sup>10</sup> А. И. — имеется в виду Солженицын Александр Исаевич (1918–2008). Речь идет о его повести «Матренин двор». Из цензурных соображений И. Габай не называет ни фамилии автора, ни его произведений иначе, как иносказательно.

<sup>11</sup> «...ироническое отношение к Сеттембрини и Нафте...» — персонажи романа Томаса Манна «Волшебная гора».

<sup>12</sup> Имеется в виду поэма «Выбранные места...», над которой И. Габай работал в это время.

<sup>13</sup> Книги Илья Габай привез с собой в лагерь из Москвы. По окончании следствия о секретной инструкции ВЧК следователь Э. И. Ширковский, ведший это дело, разрешил передать в Лефортовскую тюрьму книги по составленному Ильей списку. Кроме того, на каждое свидание я привозила ему еще книг, а некоторые прочитанные (их было немного: Илья не любил расставаться с ними) я увозила обратно в Москву. Через много лет, в 1988 г., на вечере памяти Ильи Габая, правозащитник Г. О. Алтунян (1933–2005) рассказал слышанную им на этапах легенду о эзке, который всюду таскал за собой мешок с книгами — Илья Габае.

<sup>14</sup> «...замышлял свою работу при мне...» — речь идет об исследовании о Блоке «Конец трагедии» (1973 г.).

<sup>15</sup> «...переписывать все 20 глав — танталов труд...» — Илья совершил этот труд в том же марте. См. стр. 7 «Биография».

<sup>16</sup> Радищев А. Н.

<sup>17</sup> Декабрист Рылеев К. Ф.

<sup>18</sup> Пушкин А. С.

<sup>19</sup> Толстой Л. Н.

<sup>20</sup> Луи Фердинанд Селин (1894–1961) — франц. писатель, автор «Путешествия на край ночи» (1932).

<sup>21</sup> «Мефистофель» (1936) — роман Клауса Манна (1906–1949).

<sup>22</sup> Роман А. И. Солженицына «Август 1914 года».

<sup>23</sup> Эсхил (525 г. до н. э. – 456 г. до н. э.) — создатель древнегреческой трагедии. Автор «Прикованного Прометея».

<sup>24</sup> Софокл (496–406 гг. до н. э.) — афинский трагик. Автор трагедий «Антигона», «Царь Эдип».

<sup>25</sup> Эврипид (480–406 гг. до н. э.) — древнегреческий драматург, автор трагедий «Ифигения в Тавриде», «Медея» и др.

<sup>26</sup> А. И. — Александр Исаевич Солженицын.

<sup>27</sup> Рассказ А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

<sup>28</sup> Роман А. И. Солженицына «Август 1914-го года».

<sup>29</sup> Имеется в виду толстовская теория «опрощения».

<sup>30</sup> Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — русский литературный критик, публицист, философ-западник. Сотрудничал в журналах «Отечественные записки» и «Современник».

<sup>31</sup> Эфроимсон Владимир Павлович (1908–1989) — советский генетик. Выступал против Лысенко. Неоднократно подвергался репрессиям.

<sup>32</sup> «...Галю...» — Галина Эдельман, жена Марка.

<sup>33</sup> «Лит. газета» No. 2, 1972 г. перепечала материалы журнала «Штерн» с клеветой на А. И. Солженицына.

## ИЗ ПИСЕМ Р. ХАСИДМАН<sup>1</sup>

7/XI-71 г.\*\*

Кемерово

Милая Раечка!

Ты молодец, что не забываешь стареющего своего учителя и время от времени льешь бальзам на мое сердце (восточно, цветисто, витиевато — ты ведь любила когда-то такой стиль; помнится, мы с тобой из-за этого даже поругивались). Я рад, что сумел на расстоянии открыть для тебя Платонова — хотя более чем уверен, что тебя вполне осенило бы и без меня. Ты прочитала Тынянова — теперь настоятельно советую прочесть в ЖЗЛ книгу «Лунин» — и книга прекрасная, и сопоставление судеб декабристов, наверное, многое может открыть в вечной современности истории русской мысли и русского донкихотства.

Помнишь «Горе от ума» у Товстоногова, куда я водил в ленинградские дни всех вас. Это я по поводу прочитанной тобой «Смерти Вазир-Мухтара»<sup>2</sup> — что может быть горше судьбы оказаться недостойным своего героя. Я вспоминаю часто из романа диалог двух солдат-дворян в палатке, который ты должна помнить; он помогает мне время от времени «оставаться при фактах», но при этом не впадать в непозволительную простоту суждений. А о Тынянове я вам говорил когда-то, когда обучал вас своим любимым Грибоедову и Пушкину, только ты вряд ли что запомнила: вы были еще так эмбриональны в те годы, сударыня.

Я хорошо понимаю твое впечатление от узбекской культуры. Но, по правде говоря, я до сих пор не достиг твоей глубины: местные искусства как-то чисто биографически задевают меня, но не становятся событием. Айтматов или Друце<sup>3</sup> для меня не киргиз или молдаванин, а писатели общечеловеческого масштаба. Так уж я космополитически (или по-русски?) воспитан.

### Примечания:

<sup>1</sup> Рая Хасидман, бывшая ученица Ильи Габая.

<sup>2</sup> Роман Ю. Н. Тынянова.

<sup>3</sup> Ион Друце (род. 1928) — молдавский, русский прозаик, драматург.

## НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ШИРЯЕВОЙ

1/X-70 г.

Добрый день, дорогая Наталья Владимировна!

Я пишу Вам сегодня, в четверг, 1 октября, а, по долгому раздумью: направлю письмо, пожалуй, только в понедельник 5 октября. У меня накопилось множество написанных писем, и я опасаясь, что в потоке какое-нибудь да вдруг затеряется.

Это, оказывается, чрезвычайно приятная обязанность: отвечать на многие письма. Прежде всего, приятно обзреть почту полученных корреспонденций. Я даже полюбил в свободную минуту раскладывать и разглядывать их и чувствую себя чем-то вроде духовного Плюшкина или изобретателя замысловатого пасьянса. А, кроме того, хорошо иметь и обязанность: ведь по размышлению зрелому, их, может быть, мне и не хватало в последние годы моей жизни. Конечно, время не позволяет мне отвечать обстоятельно и вдумчиво. Это немного жаль: у меня ведь есть тайный порок — любовь к литературным забавам. Но я надеюсь, что все, кому я пишу, примут во внимание мои обстоятельства и не обессудят за торопливость: все равно я пишу с удовольствием.

Наталья Владимировна! Я очень и очень рад, что Вы, Леночка, Глазовы сблизилась с Галей. Галя упоена этой близостью, и я ее очень понимаю. Я, конечно, совсем не скрывал ее. Просто опять же проклятые «вопросы» последнего времени втянули меня в очень суетливую жизнь (о которой я в главном ни в малом не жалею — об исходе её, во всяком случае), некогда было остановиться, поговорить и осмотреться внимательно. Вот и мои стихи в этом контексте. Я не скрою от Вас, что добрые слова о них для меня, тщеславного человека, — подобие бальзама. Мне жаль, что не хватало времени почитать их Вам раньше и критически поговорить о них. Галя, как мне думается, в числе прочих показала очень многие выбракованные стихи, из которых я вырос и которых несколько стыжусь. Сейчас мне очень хочется писать, есть и некоторые наметки — но, правду сказать, нет не только времени — элементарного одиночества и моральных сил. Надеюсь, в скором времени это как-то само собой образуется и хоть что-нибудь я привезу.

Ну а о каких-то бытовых реалиях моей жизни Вы, очевидно, знаете из моих частых писем к Гале. Сегодня у нас была десятиминутная лекция об Эрмитаже. Она свелась к перечислению, довольно своеобраз-

разному, благолепия: малахитовый зал, тронный зал и пр. Почти цитата: «Лучшим залом Эрмитажа является галерея героев 1812 года». Так вот и надо понимать, что портреты Доу высокие шедевры, особенно в сравнении с Рембрандтом, Брейгелем, французами. Здесь я, по-моему, ударился в интеллектуальное брюзжание, но, по чести, делаю это не из высокомерия, а просто потому, что взгрустнулось по хорошим временам: я ведь, бывало, ежедневно в течение 10–12 дней ходил в Эрмитаж.

Люди у нас, как водится, разные. Есть по-человечески очень симпатичные, но, признаться, контакты с ними, от которых я не считаю себя вправе уклоняться, вызывают у меня часто сожаление о времени. Это не очень красиво, т. к. за их незамысловатыми историями — всё-таки куски жизней, отпечатки личностей; но я пока не умею организовать времени и книгоедство вместе с желанием пообщаться с близкими мне людьми, целиком занимает меня. Но и это, я думаю, со временем образуется самым правильным образом.

У Вас в письме проскользнули грустные нотки. Так уж худо, Наталья Владимировна? Мне-то отсюда никак и ничего пока не понять. Я очень понимаю, что заниматься с малышом очень интересно, приятно и, главное, нужно. Но вы не загрустите после ухода с работы? Между прочим, внук Ваш (непривычное для меня сочетание слов) родился в день моего осуждения. Я хотел было удариться в какую-нибудь пошлость о птице-Фениксе или о чем-то подобном, но вовремя удержался. Тем не менее я желаю этому замечательному человеку расти-матереть и не отнимать у Вас и Вали<sup>1</sup> слишком много сил и времени.

Мне приходится кончать, т. к. дело идёт к отбою, с которым у нас строго.

Пишите мне почаще, если это не очень трудно: пусть увеличивается колода моего пасьянса, от которой я становлюсь таким счастливым.

Большое спасибо Вам за доброе отношение ко мне, Гале и моему «анфан териблю»<sup>2</sup>. Сердечно приветствую Леонида Васильевича<sup>3</sup>, Валу, всех, всех знакомых — Анну Михайловну, девочек с абонементов — всех. Кстати, там, на абонементе, у меня была последняя вспышка врождённого кокетства и волокитства. Точнее, легкого настроения. Очень прошу Вас: если Вы встретите Г. Е.<sup>4</sup> Померанца передайте ему слова моего большого уважения и пожеланий всех благ. Он и заочно очень многому научил меня в своё время, а от наших мимолётных встреч у меня осталась самая светлая и самая теплая память.

Жду Ваших писем

Ваш друг Илья

7/XI-70 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

Фотография, которую Вы мне прислали, вызвала у меня поток аналогий и ассоциаций. Но потом, по зрелом размышлении, я убедился в том, что все сравнения не очень-то новы (деградировал я, стало быть), но все равно очень весело и уютно Вы с внуком получились. Я, по слабости к людям его возраста, спешу пожелать ему безоблачности и веселья.

У меня к Вам большая просьба: позвоните, пожалуйста, Гале и скажите ей, чтобы она не нервничала из-за задержки писем. Надеюсь, что все недоразумения будут в конце концов позади, и очень я жду встречи с ней 26 числа сего месяца и сего года.

Надеюсь, что все у Вас наладится. Я, правда, никак не представляю Вас вне работы, но мало ли чего я не представляю! Тем более, что уже поговорили, вполне убедили меня, что есть вещи и не менее важные, нежели привычная трудовая деятельность.

Лекцию Аверинцева я хорошо помню, точнее, помню, что она о чем-то средневековом, но и лицо его помню. Если у меня ничего не сместилось в памяти, мне в свое время понравилась его статья в «Вопросах литературы» — о неотомистах. Очень хочется почитать его прославленную работу о Плутархе, и именно сейчас хочется, потому что я как раз недавно кончил читать Плутарха, и очень хочу понять, почему он и его прославленные греки и римляне оставили во мне самое удручающее впечатление. Я надеюсь завтра (8 ноября) вообще надолго проститься с греками и римлянами — почитаю в имеющихся у меня книгах Эпикура<sup>5</sup>, Сенеки, Аврелия и Платона<sup>6</sup> о них — и отложу надолго знакомство с ними. Кажется, по стечению обстоятельств, я перекормлен немного античностью — пора и честь знать. Начал сегодня параллельно перечитывать «Иосифа и его братьев». Томас Манн вообще моя епитимья, но радостная: и нелегко мне его читать, сейчас особенно, и очень празднично. Упиваешься в прямом смысле этого слова — приятно погружаться в его стиль, и в его иронию, и размышления, да и библейская тема, кажется, больше всего соответствует моему теперешнему умонастроению. Тем более, когда она пронизана такой чистой современностью и гуманизмом.

С Н. я когда-то (в молодости) провел целый день, но он вряд ли помнит о том. Давно это было, мы ездили к одному моему бывшему приятелю-художнику, и, как мне сейчас представляется, я не без апломба, конечно, говорил самую несусветную чепуху. Работу о Шекспире я не читал, зато читал когда-то его статью об испанском кур-

туазном романе, но не помню сейчас подробности: с самими куртуазными романами я так и не сподобился познакомиться — обычное следствие полубразованности и суетливого образа жизни.

Об Алешкиных походах в концерты мне уже писали и о его не очень-то светском поведении на них. Тут, конечно, и моя вина: я ведь занимался им мало и все больше через проповеди, и те непоследовательные. А Галя молодец; я каким-то нервом чувствую, что силы у нее на исходе и уповаю на вашу — Вашу, Леночки<sup>7</sup> и всех, с кем она так счастливо сблизилась в эти полтора года — помощь и моральную поддержку.

Я немножко горжусь, что раньше, в тюрьме, и тут понемногу приучаю кое-кого к хорошим книгам и стихам. У меня здесь, в бригаде, есть товарищ, такой добротный, смоделированный сибиряк, и очень приятно его приобщение к стихам и книге. Конечно, делаю я это не без подспудного эгоизма: самому приятно иметь собеседника.

Фамилию П. — очень огорчен, но совершенно не помню. Наверное, приходилось разговаривать и встречаться в институте, а в лицо я ее бы узнал непременно. У нас такой дурацкий стиль был, помнится, в институте: часами разговариваешь с людьми, не интересуясь их фамилиями.

Во всяком случае, если мы были знакомы, передайте ей благодарность за добрые (и не очень заслуженные) слова и привет.

А Вам, Л. В., В., Вашему внуку и всем общим знакомым я желаю постоянного блага и интересной, нетрудной (то есть, не нервной) жизни.

Ваш Илья.

\* \* \*

8/1-71 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

В ожидании большого письма от Вас (обещанного) пишу Вам пока коротко — с тем, чтобы хоть как-то исправить свою невнимательность и поздравить Вас с действительно просветленным всегда Новым годом. Я отлично понимаю, что Вам трудно писать сейчас из-за множества чужих и собственных забот. Вот я Вам и желаю (без уверенности, что Вы так уж до конца именно этого и жаждете) поменьше этих забот и побольше свободного времени. Я уверен, что это нисколько не уменьшит Вашей сердечности и расположения к людям. Ну а я постараюсь действительно быть молодцом, как Вы о том и пишете. Когда я прочитал это место Вашей открытки, меня так и подмывало вскочить, выкатить грудь колесом и прищелкнуть каблуками.

К моей неизменной и великой благодарности Вам за дружбу, которой Вы одарили мою семью, постоянно примешивается еще и желание подробно собеседовать с Вами и исповедоваться Вам. И если я сейчас не делаю этого, а ограничиваюсь таким кратким и маловразумительным письмецом, то, во-первых, потому, что виноват не только перед Вами — но перед многими людьми, поздравившими меня с Новым годом (я сейчас старательно исправляю это, но приходится поневоле быть кратким), а еще и потому, что легче говорить, получив более или менее подробное письмо. Вот я его и жду, очень жду, и тогда уж наговорюсь всласть.

А пока что сердечно обнимаю Вас и Вашу семью и желаю вам всем, моим друзьям, счастья и благополучия.

Ваш Илья.

\* \* \*

19/1-71 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

Я хорошо понимаю, что у Вас было (нрзб.) веских причин не торопиться с ответом. Жаль, что к этому примешались и какие-то семейные невзгоды. Неурядицы? Только это, как инцидент (нрзб.) обычно невечно и даже недлительно и, хоть, как я понимаю, вряд ли мое суждение Вас может утешить, все-таки перемелется как-то и к лучшему. Я в этом уверен. Я не знаю сути дела, но быть женщиной — это ведь даже со стороны видно, как обременительно. Что уж удивляться, что Вам это не всегда по плечу и пока не до французского.

Не знаю, что уж за поводы были у Гали горевать. Вы ей в этом не слишком доверяйтесь: человек она явно пристрастный в этом отношении. И, пожалуйста, если можете, удержите ее от хлопот за меня: ничего, кроме внутреннего конфуза, это не даст; да и не нужно.

Получить конспекты каких-то статей, докладов — это было бы упоительно. Но я никак не могу Вас просить об этом: во-первых, порядочность просто не позволяет — если иметь в виду огромный круг забот, в которых Вы живете, и, во-вторых, я же просто совершенно не знаю, что из интересного мне в первую очередь происходит и печатается на «Большой земле». Самое серьезное мое огорчение то, что журналы, на которые я подписан, станут приходиться только с февраля. А если они еще будут задерживать с выходом, то и совсем уж бог знает когда смогу поддержать в руках привычную периодику. Тут ведь еще и некоторые соображения комфорта. Привычка читать «Иностранную литературу», «Новый мир», «Вопросы литературы» и пр.

Я тороплюсь поздравить Л. В. с пятидесятилетием. Очень желаю ему остальные 50 лет жить в радостях и успехах. Если книги выйдут до моего выхода отсюда, пришлите их каким-нибудь образом, хорошо?

Я сейчас стараюсь поменьше читать и побольше писать. Все-таки прочел привезенную мне Галей книжку Дороша. Она все-таки легковата малость. По-настоящему мне понравилась только рецензия на книгу Веселовского<sup>8</sup> об Иване Грозном и рассуждения по поводу книги Лихачева. Я почти совсем не знал работ последнего, даже относился к нему с легкой антипатией — из-за безудержных симпатий к Зимину, и вот оказалось, что он очень крупно и близко мыслит. Хочется достать его «Поэтику»..., я Гале уже писал об этом. Начал читать третий том Монтеня. Первые два я прочел в начале 1968 года, но безнадежно забыл суть. Он удивительный совершенно человек — такая раскованность, полное отсутствие боязни показаться циничным, безнравственным. Вот в самом начале его рассуждение: «Общее благо требует, чтобы вы именно шли на предательство, ложь и беспощадное истребление; предоставим же эту долю людям более послушным и гибким». Выше он все пояснил. «Менее щепетильным, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью... как более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли». Каково?! Интересно, как бы я относился и мы бы все отнесли к такому человеку в наше время — безмерно умному и *так* рассуждающему?

Я очень тронут добрым отношением ко мне Г. С. П<sup>9</sup>..., А. М.<sup>10</sup>, Н<sup>11</sup>... Передайте им от меня — и всем общим знакомым — самые искренние приветы. Я желаю покоя и счастья Вам и Вашей семье — и жду Ваших писем. Всего доброго.

Ваш Илья.

**Р. С. У Гали второго февраля день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, — и от меня, если вдруг разминутся письма.**

И.

\* \* \*

7/IV-71 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

Я очень хочу надеяться, что вся душевная неразбериха, постигшая Вашу семью, совсем скоро уйдет в прошлое. Я горячо желаю это Вам, Леониду Васильевичу и Валюше. Надеюсь, что и остальные неурядицы тоже как-то улягутся — и всё будет хорошо.

Как я могу понять, слишком веселого лета Вы не ожидаете. Во всяком случае, совсем уж невозможно надеяться на Костромскую идиллию наших семей: и Вам не до этого, и я, кажется, своей длительной командировкой сбил свое семейство с колеи. Воздействуйте, пожалуйста, на Галю, чтобы она всё-таки планировала лето исходя из необходимости её и Алешкиного отдыха. Инну Васильевну<sup>12</sup> я помню хорошо, она внушала мне самое большое уважение. Всякие слова в данном случае, Вы понимаете, будут звучать угловато, мне и вправду очень жаль, и я понимаю печаль Вашу и всех сослуживцев. Что касается, «Солдата...», то это вполне, как всякое убеждение, по-моему, заслуживает уважения, если это принимает форму всепокрушения и упоения своей гегемонической ролью.

У меня некоторое время была работа, довольно утомительная, но дававшая мне какой-то запас сонливого, но всё-таки времени для чтения, писания. Сейчас всё это внезапно кончилось, я вернулся к своим прежним обязанностям. Времени стало совсем в обрез, буквально часа полтора в день, и то забеганные. Зато буду высыпаться. Кругом диалектика, как видите.

Алешку и Галю я был очень счастлив видеть; надеюсь что и Алеша (о Гале я в этом случае, думаю, я вправе не говорить) получил, сумбурные, разумеется, в соответствии со своим возрастом, но всё же какие-то впечатления. Ему всё-таки «повезло»: махнул через пол-России, покатался в самолете. Опять диалектика. Не знаю, насколько я сумел к нему точно приглядеться, но он мне показался человеком посерьёзневшим. Наверно, первые школьные годы надо бы быть около него — но вот так получилось. Словом, я надеюсь, что он будет близким мне по человеческим пристрастиям и вкусам человеком.

На меня очень теплое — точное, по-моему, словечко в данном случае — впечатление произвела повесть Каверина. Читали ли? Я, кажется, какой-то стороной своего существования, сентиментальной стороной, стосковался по такому сокровенному разговору о просто судьбе. Нахлынувшие книги потеснили мои журнальные впечатления: многие, старинно говоря, «лежат неразрезанными». Никогда не научусь, видно, системе и НОТу — не дано.

Наталья Владимировна, простите за сумбур и корявый почерк: время поджимает. Пишите мне всегда, как сможете — всё, что касается Вас и Вашей семьи, я неизменно принимаю близко к сердцу. Всего Вам доброго.

Ваш друг Илья.

\* \* \*

24/VIII-71 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

Большое Вам спасибо за письмо. Что до них часто не доходят руки — я хорошо могу понять, тем радостней удостовериться, что желание написать все-таки не пропадает. Я рад Вашему с Л. В. хорошему лету. Вот, никогда не был русистом, и природу, как уж Вам, кажется, исповедовался, никогда не мог постичь как-то особенно, но она все-таки целеительна. Напряженная, нервная жизнь в Москве — но куда ж от этого денешься! Вот разве что научиться не обращать внимания на мелкие огорчения. Но это из мудростей, хорошо известных, но мало исполнимых, все равно каждый божий день проходишь через свой цикл напряженностей и нервотрепок.

Я рад, что Вы прочли сейчас «Иосифа...». Кажется, и время, и место, судя по Вашему письму, были самыми подходящими для такого чтения. Вообще, жизнь все-таки приятна, свидетельством тому — хорошие книги, которые я прочел в самое последнее время: драматургия Фриша, Дюрренматта, Ануя, сейчас читаю О'Нила<sup>13</sup>; прекрасных, соvestливых немцев Фалладу и Бёлля; роман Маркеса.

Посмотрел все-таки «Начало»<sup>14</sup> и вполне разделяю Ваше доброе отношение к фильму. Я боялся, что фильм будет на грани бестактности, в жизни не задумываешься почти на тему «красивая — некрасивая», а когда это становится демонстрацией, испытываешь боль и неловкость. Но здесь все оказалось иначе, по-моему, здесь речь идет о преодолении вульгарности талантом. Каждый кадр здесь не нарочит, естественен, даже если неестественна героиня (но не актриса). Я бы отталкивался от известных строк Заболоцкого в понимании картины: «...Что есть красота?.. Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?» Строки известные, но фильм они не старят, не делают облегченным. Словом, хорошо, что я его увидел.

«Лунина» я прочел уже давно. Конечно, это совершенно созвучно с ним, как все мы думаем. Грустно, что поучительность истории получается за счет судеб самых душевных и умных людей, да еще в (нрзб.) суете мало чему и кого эта поучительность научает. Немножко в этой связи мне все-таки хочется знать Ваше мнение о давней уже моей поэме — но нет, так нет, отложим до иного раза.

Галя мне написала что Л. В. читает Достоевского с точки зрения, что ли, Бердяева (передаю очень приблизительно). Меня, по правде говоря, это даже огорчило: точка зрения все-таки односторонняя, пристрастная, да и не очень глубокая. Я недавно прочитал рассказ Ремизова<sup>15</sup> и лишний раз удостоверился, что знать всю эту русскую полосу истории надо, но без восторгов. Но это особая и давняя тема (для меня),

и бесконечная. Я пока прощаюсь с Вами и буду ждать Ваших писем. Сердечный привет Л. В. и всем знакомым. Всего доброго.

Ваш Илья.

\* \* \*

7/III-72 г.

Дорогая Наталья Владимировна!

Бог с ними, с поздравлениями; я вот не успел поздравить Вас с 8-м марта (и никого не успел; как-то не пришлось) и надеюсь, что ни Вы, ни все другие женщины на меня не в обиде. Куда хуже, что, судя по рассказам Гали, не все ладно в мире, где Вы живете, в Вашем окружении. Меня глубоко огорчает и эпидемия отъездов из России, и раскол — в последнее я вкладываю только бытовой смысл; все остальное личное дело каждого, но на высоте взаимной бережности, на этом-то хоть, наша интеллигенция могла бы удержаться в нелегкие и нервные годы. Но я отдаю себе отчет в том, что я не могу понять, вообще мало что могу понять по-настоящему и проникновенно. Хоть и пришла пора новым заботам — мыслям о трудности вживания и будущего контактирования с дорогими мне людьми. Вы вот тоже об этом думаете и предлагаете увезти нас на время куда-нибудь с Галей и Алешкой. Я не могу отсюда предугадывать все возможное, но мне кажется, что на время мне надо будет уехать даже без Гали и Алешки. Может, удастся воспользоваться приглашением Л. В.! Мне будет очень грустно, если я не застану Глазовых в Москве. Так плохо, что я и Юру<sup>16</sup> знаю слишком специфично, хотя храню о нем самое теплое-светлое впечатление. А семью его я знаю только по Галиным рассказам. Так много они значат в Галиной жизни, а я даже не познакомлюсь с ними. Кроме всего прочего, я трудно верю, что может быть хорошо вне жизни и забот, которыми жил несколько десятков лет.

Из общеизвестных статей меня возмутили донос и бесцеремонность «Штерна». Все-таки я был прав в своем несколько брезгливом отношении и инопрессе, за что меня вышучивали в свое время. Не помните, делился ли я с Вами этим?

Только что дочитал «Глоток свободы» Окуджавы. Он, Окуджава, и в романе — как в песнях, талантливый, инфантильный, кокетливый. Потрясенный, при всех его потугах обобщить и намекнуть, я не испытал. Может, от заскорузлости, может, от довлеющей актерской игры, при которой так мало места остается судьбам — единственному, что может и должно всерьез заботить, по-моему.

Тепло и сердечно прощаюсь с Вами. Спасибо за добрую память.  
Л. В. — поклон и привет.

Илья.

### Примечания:

<sup>1</sup> Валя, далее В. — дочь Н. В.

<sup>2</sup> Шутливое прозвище, данное Алешке Габаю мужем Нат. Владимировны.

<sup>3</sup> Леонид Васильевич Алексеев, далее Л. В. (1921–2008) — доктор истор. наук, археолог, муж Н. В. Ширяевой, друг Г. Габай.

<sup>4</sup> Описка И. Габая. Следует читать — Г. С.

<sup>5</sup> Эпикур (342 г. до н. э. – 271 г. до н.э.) — древнегреческий философ.

<sup>6</sup> Платон (Аристокл) (427/8 г. до н.э. – 348/7 г. до н. э.) — древнегреческий философ.

<sup>7</sup> Леночка — Е. С. Семека.

<sup>8</sup> Ю. А. Веселовский (1872–1919) — историк литературы, исследователь западно-европейской и армянской. литературы, переводчик (гл. обр. произвед. армянск. лит-ры).

<sup>9</sup> Имеется в виду Г. С. Померанц.

<sup>10</sup> А. М. — Анна Михайловна Гришина.

<sup>11</sup> Возможно, Наталья Лубоцкая или Нелля Хотимская, (ныне покойные), сотрудницы И. Габая по Институту нар. Азии и Африки.

<sup>12</sup> Инна Васильевна — личность не установлена.

<sup>13</sup> Юджин О'Нил (1888–1953) — американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 г. по литературе.

<sup>14</sup> «Начало» (1970 г.) — кинофильм реж. Глеба Панфилова.

<sup>15</sup> Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — прозаик, мемуарист. В 20-х годах эмигрировал в Германию, затем во Францию.

<sup>16</sup> Глазов Юрий Яковлевич (1929–1998) — индолог, тамилвед. Сотрудник И. Габая по институту народов Азии и Африки. Был уволен из института за подпись под «Обращением к мировой общественности». Эмигрировал в США в 1972 г.

## ГАЛИНЕ ЭДЕЛЬМАН

9/V-71. \*\*

*Кемерово.*

(...) Я очень, очень рад, что ты так остро и доброжелательно восприняла мою работу — в первую очередь те главы, где наши судьбы и наши размышления каким-то образом пересекаются. В конце концов, может, это и не такая уж печальная планида самого дорогого мне из написанного, что они (стихи) предназначены всем вам и таким, как вы, если они дадут себе труд вчитаться. Крепить старый, чуть ширить его — круг близких — чего ж лучше. Надо бы писать еще и писать, но я все-таки всегда остерегаюсь написать хуже и боюсь всяких вариантов инерций. Наверно, пока что на мой срок и этого достаточно. (...)

# Воспоминания



## ИНТЕРВЬЮ НА РАДИО «СВОБОДА»

(Рим, май–июнь 1974 г.)

### И. А. Иловайская-Альберти:

Сегодня у нас в студии Галя Габай, вдова поэта Ильи Габая... Мы просим вас, расскажите нам об Илье.

### Г. В. Габай:

Рассказывать об Илье очень трудно, почти невозможно, потому что слова бессильны передать такое редкостное явление, как Илья Габай. Илья был и сложен, и прост одновременно, многогранен и очень глубок. Он был человеком и обыкновенным, и редкостным во всех своих проявлениях. Он был и весел, и трагичен. Это был человек фантастической образованности, и однажды один из его друзей, который регулярно переписывался с ним, сказал мне, что отвечать на письма Ильи чрезвычайно трудно, потому что это каждый раз — экзамен. Было бы неудивительно, если бы это сказал человек, мало начитанный, но это сказал доктор наук, сам весьма образованный, знающий и интересный человек.

...В предисловии к подборке стихов, которую сделали друзья после второго ареста Ильи в мае 1969 года, было написано, что смыслом жизни его была поэзия. Это правда. Это в самом деле так. Больше всего на свете Илья любил стихи и друзей, книги, или, как он их называл — «книжки». И книг, и друзей у него было очень много... Илья был, по его собственным словам, «дружествами помечен».

Илью занимали и волновали человеческие судьбы, он очень любил искусство. Он был очень внимателен к каждому встреченному им в жизни человеку. Это внимание шло не от разума, не от понимания того, что людям надо помогать. Это было искренне, это было от сердца: так Илья был устроен, иным он быть не умел. У него была редкая способность сострадания, сопереживания. Литература и искусство, которым он отдавал душу, не могли отвлечь его от внимания к человеческому страданию. Он не мог, например, любоваться совершенством форм художественного произведения, если речь шла о человеческом горе, о страдании. Я помню, что в лагерь однажды послала ему стихо-

творение нашей с ним подруги, написанное в связи с арестом ее мужа. В стихотворении шла речь о ее отчаянии, о страхе, о том, что она испытала в тот момент. Я написала Илье, что не знаю, как с точки зрения поэтической формы, но состояние передано точно. Это состояние было мне знакомо очень хорошо. И Илья ответил мне на это письмо, что искать святое искусство в страдании — святотатство.

Мне приходится слышать о том, что Илья Габай — деятель правозащитного движения. Это и так, и не так. Это так в том смысле, что он не оставался равнодушным к проявлению бездушия, несправедливости. И это не так, если говорить об этом, как о профессии Ильи, как о главном его занятии в жизни. Главным в его жизни было преподавание, литература, писание стихов... Он был человеком очень высокой совести, и это определяло все его поступки. Совесть не позволяла ему молчать, если он видел чье-то страдание, проистекающее из злого умысла, тупоумия или лени. Сам же он говорил, что его интересы лежат не в сфере общественной или политической деятельности, а в сфере искусства, культуры, и свою жизненную задачу он сам определил такими словами: «Яви мне силы для иного, святого: снятия с креста. Затем я и явился в этот мир. А горы пусть рисует мой друг». Это кусочки из главы «Отступление по поводу святого искусства», из незаконченной поэмы Ильи Габая «Книга Иова». Надо сказать, что весь Илья — в своих поступках. Его мировоззрение, его душа — все есть в его поэзии. Поступки же Ильи определяли следующие его строчки: «Есть горе, слезы и бесчестье, неведомые мудрецам, но можно ль не открыть лица, коль есть они и нам известны».

Как-то однажды Илья сказал мне, что поэт должен стремиться походить на своего лирического героя, что творчество нужно оправдывать собственной жизнью. И он это не только говорил. Это не были только слова. За каждым его словом стоял поступок. Цену слов и цену поступков Илья знал хорошо. Он никогда ничего не говорил просто так... например, в письмах... каждый из нас... привык уже к каким-то штампам, формулам, и когда мы не отдаем себе отчета, то употребляем, скажем, «дорогой Петя» или «дорогой друг» в письме к человеку, которого на самом деле дорогим не считаем и другом, может быть, тоже. Вот у Ильи этого не было... Друзья, которые с ним переписывались, которые хорошо знали его в жизни, знают это. Илья не умел и не хотел уметь произнести или писать то, чего не думал, и поэтому поступки всегда были следствием его убеждения. Я недавно, уже здесь, в Риме, прочитала книгу Юрия Глазова «Тесные врата». И там он, в частности, упоминая Илью, пишет: «...она (интеллигенция) подвергает травле отдельных людей: Гинзбурга, Габая, Амальрика, Делоне, обрекая их на выступления, к которым они не непременно пришли бы без этого подстегивания их достоинства». Я должна сказать, что из этого списка

Габая нужно исключить. Никто и ничто не могли вынудить его сделать то, в чем он не был убежден.

**И. А. Иловайская-Альберти:**

Вы ездили несколько раз к вашему мужу в лагерь, где он провел полтора года, ведь за те полтора года, которые он провел в тюрьме, вы с ним почти не могли встречаться, но в лагерь вы к нему ездили. Может быть, вы расскажете нам о том, как проходили эти встречи в лагере...

**Г. В. Габай:**

Встречи в лагере... Это... каждый раз было счастье, хотя счастье вот в такой драматической обстановке... и все-таки это было счастье. Илья несколько раз говорил, что невозможно быть счастливым на дыбе, и тем не менее это счастье мы испытывали тогда.

Первое свидание меня поразило. Оно было через три месяца после того, как я видела Илью в Лефортовской тюрьме. В Лефортовской тюрьме он еще не изменился, он был таким, каким я его привыкла видеть. Он был в своей одежде. Он довольно прилично выглядел... Через три месяца он стал неузнаваем. Я приехала к нему в Кемерово. Меня впустили в специальную комнатку, комнату свиданий, и я несколько минут ждала Илью, очень волновалась... когда он войдет... что я ему скажу? Что я должна сделать?.. Я боялась, что за эти годы что-то, может быть, произошло такое, что помешает нашей встрече, как если бы она была... только что после его выхода из дома. Я услышала шаги в коридоре, я даже не могу сказать, что узнала его походку... я просто узнала, что это был он. Прогрохотали... кирзовые огромные сапоги, тяжелые; постучали в дверь. Я как-то пискнула: «Да»... Вошел Илья. Я зарылась ему в грудь и потому даже не сразу разглядела его. А потом... отстранилась и вдруг увидела, что обнимала чужого человека. Я его не узнала. Меня поразили его вид. Илья, который... внешне и на мужчину никогда не был похож, — к нему скорее было приложимо слово «парень», «молодой человек», «юноша» — превратился в старика. Я даже затрудняюсь сказать, сколько ему можно было дать лет: семьдесят? Восемьдесят? Больше? Я испугалась его. И... вдруг подумала совершенно произвольно, что это другой человек. Я все время себя ловила на этом. И только голос... даже глаза изменились. Глаза были другие, не его. Я рассматривала его руки — и руки были чужие... опухшие... очень худые и изможденные, это были кости, обтянутые кожей... они были и худыми, и огромными. Руки были не его. Я несколько раз ловила себя на том, что... искоса, боясь, что он поймает мой взгляд, смотрела на него: он или не он? Боялась этого неузнавания. По-моему, он этого не заметил, потому что, когда я ему об этом рассказывала уже после его возвращения, он слушал с удивлением. Значит, не заметил тогдашнего

моего взгляда. И когда я вышла в коридор, мне встретилась женщина, которая была... на свидании с мужем в соседней камере, она вдруг мне сказала: «Вы такая молоденькая, зачем вы за такого старика вышли замуж?» Мне это было очень тяжело услышать, потому что этот «старик» всего на полтора года был старше меня. Надо сказать, что в следующие свидания он уже так не выглядел. Видимо, адаптировался. «Привык» сказать трудно. Привыкнуть к условиям лагеря невозможно. Это было страшно... Как можно привыкнуть к тому, что в четыре часа утра раздается... крик?... вой?... — я не знаю, как назвать то, что произошло, тот звук, который я услышала: это уголовники сбросили своего приятеля с пятого этажа за то, что он украл у них корку хлеба. А окно нашей камеры выходило в зону, и потому все это я могла слышать. Но если то, что я слышала краем уха, приводило меня в страшное состояние..., то, что должен был переживать Илья, живя там каждый день, Илья, рафинированный и утонченный интеллигент, который был брошен на самое дно жизни.

Потом я приезжала к нему... через четыре месяца, в марте 71-го года. Сначала мы сидели за общим столом, там было очень много народу, я приготовила Илье много бутербродов... я знала, как голодно в лагере... он не взял у меня ни одного бутерброда: он не мог есть, когда рядом сидели голодные люди.

Я привозила... много продуктов, я их с трудом дотаскивала до лагеря, а он находился за чертой города, довольно далеко от трамвайной остановки. Я шла с тяжелыми чемоданами, но каждый раз попадались просто добрые люди, которые помогали мне в дороге перенести чемоданы; большую часть моего груза занимали книги... В страшных условиях уголовного лагеря Илья спасался тем, что читал. Он сказал и как-то написал мне, что если оставить книги, не читать, значит поставить на себе крест. Письма его удивляли нас. Я, зная, в какой обстановке он находился, краем глаза и краем уха видевшая и слышавшая то, что там происходило, поражалась его письмам. Можно было подумать, что они написаны не из лагеря, а из кабинета ученого. Я помню, мама мне как-то сказала: «Галя, Илья пишет, что нужно сводить Алешку (нашего сына) на выставку японских кукол в музей Восточных культур». Это он написал из пересыльной тюрьмы. Я, будучи в Москве, не знала об этой выставке, а он, сидя в тюрьме, о ней знал и мне об этом сообщал. Откуда брал человек столько сил, чтобы заниматься книгами, читать, чтобы отвечать на бездну писем? Я писала ему каждый день, и на все эти письма он отвечал; все полтора года я писала ему ежедневно, но, кроме меня, ему писали восемьдесят или девяносто человек, которые каждый год приходили на его день рождения, и ни одного письма он не оставил без ответа, разве только те, которые не дошли до него. Письма его друзья и я очень бережно храним, они

свидетельство того, каким необыкновенным явлением был Илья Габай, они многому учат, очень много дают, и, когда перечитываешь его письма, то видишь, что люди все-таки не умирают...

...Когда я перечитала письма Ильи к сыну, то получила еще одно подтверждение того, в чем была убеждена всегда: Илья — блестящий педагог, редкостный, и то, что ему не давали преподавать столько лет, я могу расценивать только как преступление. От этого потеряли советские дети, многое потерял сам Илья, потому что был лишен этой возможности. Он очень тосковал по преподавательской работе, и много, в конечном счете, потеряло и советское общество, лишившееся такого педагога.

**И. А. Иловайская-Альберти:**

Может быть, вы расскажете нам теперь, как развивались события после выхода Ильи из лагеря?

**Г. В. Габай:**

То, что происходило после лагеря, превратило жизнь Ильи в сплошную пытку. Прежде всего... за два месяца до окончания срока, который был ему дан приговором Ташкентского суда, его привезли в Лефортовскую тюрьму на новое следствие по очень известному делу No. 24<sup>1</sup>, по которому позднее был арестован ближайший друг Ильи Петр Якир. Эти два месяца... я сразу как-то поняла, что для Ильи они будут самыми трудными... Здесь, в условиях в общем-то комфортабельной Лефортовской тюрьмы, — комфортабельной в сравнении с уголовными тюрьмами и в сравнении с лагерем, — душевные муки его будут гораздо сильнее, чем муки физические в лагере, муки голода, холода, мороза, муки от общения с этим дном; выдерживать допросы в Лефортовской тюрьме очень трудно, я это знаю по собственному опыту. Там пытаются не физически, не применяют пыток, но там так сильно психологическое давление, что выдерживать его трудно... Мне в это время говорили (меня допрашивали параллельно), что Илью не выпустят на свободу, что еще много такого, за что его можно привлечь дальше и оставить в тюрьме и в лагере. Разумеется, то же самое говорили и Илье... Эти месяцы истощили Илью. Он пришел оттуда физически разбитым, больным человеком. Его все-таки отпустили. Но он не успел даже придти в себя, как через месяц арестовывают Якира, человека, которого Илья любил больше всех на свете. Это был его ближайший друг. Он страшно тяжело переживал арест Якира. И совсем немного времени, всего только полтора или два месяца прошло со времени ареста, как... Якир начал давать показания. Он закладывал всех, всех, кого мог и не мог,

---

<sup>1</sup> Дело о «Хронике текущих событий...»

вплоть до того, что даже собственную дочь предал. И когда я об этом узнала, я все вспоминала «Юдифь», толкование Ильи легенды о Юдифи: «Что Азефы? Хуже и памятной донос жены на мужа, поклеп сестры на брата...».

Через некоторое время начали вызывать Илью, где-то начиная с 15 сентября 72-го года. Я в это время лежала в больнице. Он от меня тщательно скрывал свои вызовы. И, когда он приходил ко мне в больницу только поздним вечером, а не днем, он каждый раз объяснял мне это тем, что ищет работу, что ему позвонили из Комитета Госбезопасности, что его трудоустраивают, и я этому верила. Верила, потому, что незадолго до этого, в октябре, я обратилась вместе с нашим другом Гришей Климовицким в Комитет Безопасности с просьбой трудоустроить Илью: после лагеря он нигде не мог устроиться на работу. Его никуда не брали, а без разрешения Госбезопасности устроиться на работу человеку, отсидевшему по политической статье, невозможно... Я видела, что Илья очень меняется, что у него становится какой-то трагической... очень трагической, внешность. Я не понимала, что происходит. Я думала, что сказываются три года тюрьмы и лагеря, сказываются годы безработицы, которая началась, практически, с 67-го года, с первого его ареста, когда он перебивался случайными заработками, работал землекопом в археологических экспедициях. Этим объяснялось его состояние. Но не только этим. Оказывается, у него была очная ставка с Якиром. У него была очная ставка с Красиным. И Илья тут не из рассказов, не из того, что предъявлял ему следователь в кабинете по делу Якира и Красина, а на самом деле увидел их предателями... Он это, мало сказать, переживал. Слов для определения того, что он при этом ощущал, — нет. Это было его какой-то мукой, продолжавшейся и возобновлявшейся изо дня в день. И, надо сказать, что он никому, будучи другом Якира, не позволял бросать в него камня. Он никому не позволял говорить о нем плохо.

...Потом пришла возможность работать. Комитет Госбезопасности трудоустроил Илью: ему нашли работу подчитчика-корректора в газете «Лесная промышленность». Я думаю, что это было издевательство. Полуслепому человеку, каким был Илья Габай, — у него был очень высок процент потери зрения — пришлось работать подчитчиком. Он приходил с этой работы с головными болями. Илья, который вообще не мыслил себе жизни без книги, который читал при любой степени усталости, — не мог читать. Работа его изматывала. А вскоре после этого начались мои допросы. Меня, вот-вот ждавшую рождения ребенка, возили на допросы в Лефортово или приезжали допрашивать домой... Он все это переносить равнодушно и спокойно не мог.

Когда начался процесс Якира, Илью стали вызывать в Комитет Госбезопасности уже не на допросы, а на беседы... вызывали в свободные

от работы дни. Звонили домой, обычно — мне, и просили передать Илье Янкевичу, чтобы он пришел к двум часам, в четверг, в приемную Комитета Безопасности на Кузнецкий мост<sup>2</sup>. Когда я спрашивала, кого ему там спросить, мне отвечали: «Мы сами его найдем». Поэтому я знаю только человека, который звонил нам домой, по голосу; его звали Андрей Васильевич, так он представлялся. Но, кто знает, может, это было вымышленное имя... Почему я пустила Илью туда, на эти беседы, хотя он мог бы туда и не ходить? Все дело в том, что когда оттуда позвонили в первый раз, сказали, что звонят от следователя, который занимался его трудоустройством... Поэтому состоялось первое свидание Ильи... с этим таинственным Андреем Васильевичем. Ну, а дальше уже пошло по инерции... Так продолжалось в течение последних двух или двух с половиной месяцев каждый четверг; один или два четверга только было пропущено. Когда Илья вернулся с первой беседы, я у него спросила: «Ну, что?» — предполагая, что речь шла о новой работе. Илья мне сказал, что у него спросили, не хочет ли он ехать за границу. Он ответил, что не исключено, что он этой возможностью воспользуется, но сделает это не по настоянию чьему-то, в том числе и Комитета Госбезопасности, а только по собственному решению. Ехать за границу он не хотел. Потом ему предложили написать заявление, в котором он отрекся бы от всего, что им было написано, сказано, от всех своих поступков. Практически он должен был признать, что он действительно был клеветником и что эти три года лагеря он заслужил. Он отказался написать такую бумагу. Каждый четверг эту бумагу требовали снова. Я ему тогда сказала, сразу же после первого его возвращения с этой беседы, что нужно собирать чемоданы и уезжать. Илюша говорил, что это еще не край опасности, что арестовать его не могут... Я ему объяснила, что им, может, даже не обязательно его арестовывать, а достаточно вот так вызывать еженедельно для того, чтобы просто измотать физически. Он очень недоумевал: «Зачем им мое отречение? Ведь Якир вот отрекся. Якир, так сказать, знамя, фигура, фамилия, вождь в каком-то смысле, а что — я?» Надо сказать, что Илья всегда был очень скромен. Я ему объяснила, как сама понимала, почему требовалось отречение именно его, а не чье-то еще: «Отречение Якира или Красина мало что значит; вчера они говорили так, сегодня — скажут по-другому. Это люди без каких-то моральных устоев, потому так и повели себя на следствии и на процессе. Отречение такого человека, как ты, человека высоких моральных свойств, будет означать победу. Ты сломлен, следовательно, всякого можно сломить, если уж такие, как ты, на это поддаются». Но сломить его не удалось, заявления он так и не написал.

---

<sup>2</sup> Улица в Москве.

Что происходило с Ильей, когда транслировалось по телевидению выступление Якира и Красина на пресс-конференции, рассказать невозможно. Ему было очень плохо. И после этой пресс-конференции он сказал только: «КГБ честно оплачивает свои счета!» Торговля Якира, Красина и КГБ состоялась: они купили себе свободу, ссылку на подмосковную дачу — как иначе можно расценивать ссылку в Рязань или в Калинин? Купили... ценой очень многих людей, которых заложили... Илье было очень трудно. Друзья видели, что он страшно мучается тем, что происходит с Якиром, и многие близкие, хорошо понимавшие и знавшие страдания Ильи, пытались даже как-то иногда встать на позицию не защиты Якира, нет, но... трудно даже сказать, чего именно, ну, назовем это защитой: «А вдруг что-то там такое произошло, что нам неясно». И они это говорили не потому, что на самом деле так думали — они видели, что Илье очень трудно. Они хотели ему облегчить это состояние, эти переживания. И он тут же отвечал на это: «Нет, ничего там не происходило необычного. Никаких иллюзий относительно поведения Якира быть не должно. Он вел себя, как настоящий урка». Так сказал Илья нескольким близким людям... С Якиром у Ильи было связано очень много. Это был человек, которому была отдана душа, это был человек, которому посвящались стихи. Это был человек, овеянный легендой трагизма. Трагизм всей этой семьи вызывал к нему сочувствие, привлекал симпатии людей. Надо сказать, что Якир не был лишен обаяния. И это тоже привлекало к нему. А потом, человек, прошедший такой путь, испытавший так много еще в сталинских лагерях, конечно, вызывал сочувствие, если у него еще оставались силы на то, чтобы противостоять реставрации сталинизма. Это Илья очень ценил и очень любил в Якире и называл его Иовом. Одна из глав его поэмы «Книга Иова» посвящена Якиру. Но вот Иов оказался уголовником. Илья не смог этого пережить.

Много лет Илье, блестящему педагогу, не давали работать в школе.

Его дело состоит в значительной части из его стихов, которые забирали у нас при обысках. Мне давали листать его дело в Комитете Госбезопасности. Надо сказать, что там, все, что написано Ильей, сохранилось...

Годы безработицы, лагерь, предательство Якира сделали свое дело. Это завершилось трагедией.

Я полагаю, что последний разговор в Комитете Безопасности Илья от меня скрыл. Я вернулась с работы: он лежал. Я спросила: «Что было? Опять требовали заявление?» Илюша очень спокойно сказал: «Нет, на этот раз о заявлении речи не было». Я очень удивилась: «А о чем была речь?» — «Мне сказали, что пора подыскивать другую работу».

То, что он заговорил о работе, меня не удивило, хотя и прозвучало диссонансом со всем тем, что происходило на последних беседах.

Но я в это как-то поверила, тем более поверила, что Илья никогда не лгал. И я ему сказала: «Ну, Илюша, надо искать работу», — и даже как-то оживилась. И он мне ответил на это очень горько: «Где я ее найду?» — «Конечно, трудно, но надо походить, посмотреть, поспрашивать друзей. Может быть, где-то и есть вакансия, о которой мы не знаем». Илья мне ответил: «Все равно меня не возьмут». А я — ему: «Ну, как не возьмут? Ведь они же проконсультируются с Комитетом Госбезопасности, и, если Комитет сейчас не возражает, они же не будут ему противостоять, стало быть, ты будешь трудоустроен», и вот на это Илья мне ничего не ответил. Видимо, он знал ситуацию, а я — нет. Речь-то там шла совсем о другом, по-видимому. Я полагаю, что на этой беседе от него вновь потребовали этой бумаги, и он вновь отказался. Я полагаю, что, может быть, его даже связали сроками: в понедельник на будущей неделе ты должен принести это заявление. Либо ты будешь арестован. А его новым арестом они грозили все время мне на моих допросах в Лефортово и в то время, когда он еще досиживал два месяца перед освобождением... Может быть, это прозвучало еще более грозно для Ильи: возможно, что ему пообещали арестовать не его, а меня... А времени уехать за границу, может быть, уже не оставалось, а, может быть, ему даже сказали: «Мы тебе это предложили — и ты сделал выбор». Но это все — мои предположения. Однако они основаны на реальных вещах, которые происходили в последние месяцы. Я думаю, что Илья был поставлен в такие условия, из которых он видел единственный выход — погибнуть и тем самым отодвинуть мой арест либо зачеркнуть его... Может, он рассуждал так: «Не посмеют вот после такого... придти в дом и арестовать...». Трудно сказать, что он думал при этом. Но совершенно ясно, что после того, как узнал о показаниях Якира, он не мог больше писать. Оставаться жить и быть оторванным от поэзии для него тоже было невозможно: в этом был смысл его жизни. Работать — другой работы не будет никогда, если — ему сказали — не подпишет заявление. У него не было выхода. И его последняя записка, которую он оставил мне на столе, начинается словами: «У меня нет ни сил, ни надежд». Так это произошло.

Я спала в это время. Меня разбудил плач дочери. Я встала и увидела, что Ильи нет дома. Я решила, что он еще не вернулся из детской молочной кухни, потому что не знала, сколько времени; я только слышала сквозь сон, как он встал утром и ушел за молоком. Но потом посмотрела на часы: было уже половина одиннадцатого, а он уходил в половине девятого, давно должен был вернуться. Я предположила, что он в магазине. Подошла к двери — обычно мы ее не запирали на ключ, чтобы щелканьем замка не разбудить девочку — дверь была заперта изнутри. Я решила, что, может быть, приехала мама и закрыла дверь, но ни мамы, ни Ильи в квартире не было. Тогда я забеспокоилась.

Я стала метаться по комнатам и искать его. Его нигде не было. Я открыла шкаф, увидела, что стоят его домашние туфли, значит, его нет дома (он был в ботинках, в которых выходят на улицу), в шкафу висел его плащ. Значит, он дома: было уже холодно, и без плаща он выйти не мог. Дома его не было. Я выскочила опять на кухню — девочка продолжала кричать. Прибежала в кухню — увидела приоткрытым балкон. Ничего не подумав, я вышла на балкон, посмотрела вниз и увидела его лежащим на крыше ателье на уровне второго этажа. Я бросилась бежать вниз... Ну, а потом уже вернулась назад со следователем, с милицией. Они были там внизу и не знали, что за человек это был: у него не было при себе никаких документов... И когда вернулись домой, в кухню, следователь увидел записку. Я ее даже не заметила поначалу. Они ее забрали. Очень нескоро, через несколько недель, мне удалось получить ее назад. В его деле о самоубийстве осталась копия этой записки. Вот и вся история.

---

## А. А. ГАЛИЧ <sup>1</sup>

---

Я очень горд и благодарен за то, что меня пригласили принять участие в вечере, посвященном памяти Ильи Габая: ведь я его мало знал, но все, что я о нем знал, наполняет мои мысли и сердце чувством глубокого уважения и восхищения перед этим необыкновенно чистым и необыкновенно цельным человеком.

Последний раз мы с ним виделись на одном из моих так называемых домашних концертов в квартире, хозяев которой я не знал, и, по-моему, не очень знали и Илья Габай с Галей. Они туда пришли, сели в сторонке скромно, где-то в конце комнаты.

Как всегда, во время этих концертов я выбираю какого-то одного слушателя, которому я и пою, потому что нельзя одновременно петь всем.

Таким слушателем на этот раз был Илья Габай. Мне было радостно видеть в его глазах сочувствие, понимание, сопереживание. И этот вечер надолго остался в памяти. Их было очень много у меня — этих вечеров — и поэтому далеко не каждый из них помнишь. Именно этот вечер я запомнил из-за Габая, из-за его удивительных грустных и мудрых глаз.

И когда 20 октября разошлась по Москве страшная весть о его трагической гибели, я должен сказать, что я был в числе тех, которые приняли и поняли эту гибель как послание, как знак, поданный всем людям — не как усталость, не как желание уйти с поля боя, а как желание своим примером показать, что существует доблесть, рыцарство даже в условиях, когда, казалось бы, этой доблести, этому рыцарству уже нет никаких возможностей проявить себя.

---

<sup>1</sup> Галич Александр Аркадьевич (1918–1977) — советский драматург, поэт, бард. Эмигрировал в 1974 г. в Германию. Жил в Осло и в Париже. Работал на радиостанции «Свобода».

---

**В. ГЕРШОВИЧ**

---

**ТЕЛЕГРАММА**

**ИЛЪЯ ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ НАС ЧЕЛОВЕКОМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА.**

**ВСЕГДА ВАШ ВЛАДИМИР ГЕРШОВИЧ**

**26.10.73. ИЕРУСАЛИМ**

## УЧАСТЬ<sup>1</sup>

(...)

В самом начале нашего знакомства, году в 1957-м, я по умонастроению Габая сразу решил, что он из семьи репрессированных. В ту пору у многих моих приятелей обнаружилась эта скрываемая прежде тайна. Возможно, поступить с предосудительной анкетой в педагогический институт было проще, нежели в университет или технический вуз, возможно, знакомства складывались по неосознаваемому отбору; меня поразило, сколько их оказалось.

Когда я спросил об этом Илью, он смутился, точно ему не по праву приписали заслугу. Нет, родители его просто давно умерли; одним из смутных воспоминаний было — как на похоронах отца он засмеялся непонятному еврейскому речитативу кантора.

От бакинских родственников Габая я услышал потом, что отец его был бухгалтером, удивлявшим своими математическими способностями: без всякого образования он решал сложные алгебраические задачи. Сын этих способностей явно не унаследовал, он был скорее в деда, непрактичного мудреца и знатока Талмуда.

Я впервые увидел его родственников в январе 1974 года, когда мы, двое друзей, вместе с вдовой и сыном Габая приехали в Баку хоронить урну с его прахом — через два с лишним месяца после тягостной панихиды в крематории. Что-то жутковато-непозволительное было в повторении обряда: человека надо хоронить только один раз. Но такова была его воля: он сам назначил это место.

Родственники рассказывали некоторые эпизоды этого сиротского детства: как Илья ходил получать по карточкам хлеб и редко доносил его домой в целости — раздавал по пути нищим и попрошайкам; как сестра, с которой он жил, однажды утром, проснувшись, не смогла поднять голову с подушки: волосы примерзли к стене. Я долго не знал одного обстоятельства: на какой-то срок он был отдан родственникам в детский дом, хотя, по его словам, они в состоянии были прокормить его.

---

<sup>1</sup> Публикуется в сокращении. См. Марк Харитонов. «Воспевший Иова». «Лехим», август 2004 г. Полная версия текста «Участь», 1976 г. опубликована в книге «Способ существования», изд. «Новое Литературное Обозрение», Москва, 1998 г.

Как рассказать о родичах моих  
За давностью бестрепетно и просто?..  
.....  
Куда больней привычного сиротства  
Я ощутил немудрость их сердец.

Милые, добродушные, гостеприимные люди, встречавшие нас в Баку, — наверное, речь шла не о них, о ком-то старше; да и в том ли дело? Речь шла о ранних болевых ощущениях, запечатлевшихся на всю жизнь, отпечатавшихся на личности и характере.

О, как хвастливой был вконец задражен  
Я добротой, унизившей меня!

Повзрослев, он больше всего не позволял унижать себя ни добротой, ни чем бы то ни было. При его постоянном безденежье не всем и не всегда просто было всучить ему трешку или хотя бы угостить обедом. Он убедительно отнекивался, уверял, что недавно ел. Потом, бывало, выйдешь с ним на улицу, а он заторопит: «Скорей куда-нибудь пожрать. Подыхаю от голода». С этим переплетено было многое, прежде всего обостренное чувство независимости и достоинства. [...] С годами самосознание уточнялось, формируя точный и строгий кодекс чести. Но это свойство порождало особую чувствительность не только к своему, а и к чужому достоинству, унижению, незащитности. Я не встречал человека, который воспринимал бы это так остро, как Габай. Он подавал милостыню всегда, буквально выворачивал карманы — не перед нищим даже, встречным пьянчугой-попрошайкой. В поэме «Книга Иова» он отвечал неназванному оппоненту:

Так ль слово «жалость» —  
скверный тон?  
Так ль уж постыдно  
слово «милость»?  
Вы их превыше, ваша милость,  
Я — ниже! И стою на том!

«Стою на том» означало осознанную и подтвержденную позицию; но основой всех его душевных движений и поступков было непосредственное чувство, порыв, начинавшийся до осмысления и доводов.

Но я хотел бы, чтобы боль чужая  
Жила во мне щемящей сердце болью, —

писал он в юношеском стихотворении «Чужое горе» (1957); и в этих строках — нравственная основа всей его дальнейшей жизни, всей общественной активности. Здесь словно заклинание от душевной глухоты и слепоты. Для него незаживающим укором совести была память о том, что совершалось рядом и на что у него открылись глаза непозволительно, не по возрасту запоздало:

Своей беды нам ворон не накличет,  
Беда других — ничтожна и мала...  
Наверно, от такого безразличья  
И повелись преступные дела.

Благостным он при этом отнюдь не был — слишком навидался изнанки жизни: в армии, в колонии для несовершеннолетних, где работал воспитателем, в глухой деревне, где несколько лет учительствовал; о позднем тюремном и лагерном опыте не говорю. [...] Это был сильный человек; я бы не назвал его и физически слабым, хотя он был нацисто чужд спортивных добродетелей.

Многие его стихи вдохновлены Библией, но не Евангелиями, а Ветхим Заветом, где мало кротости и смирения, где всё в гари, смуте и душевной скорби, в величественном порыве, где чтится более дух воинственный.

Нищего жалеют не за рвань:  
За то, что он не борется, а просит, —

писал он в «Еврейских мелодиях».

В 1963 году мы затеяли сочинять с ним совместный роман; каждый в рамках общего сюжета должен был вести свою «партию», своих героев. В этом незаконченном, а вернее сказать, ненаписанном романе есть «малоназидательная сказочка», принадлежащая перу Габая.

«Человек некий вообразил себя богоборцем, предстал он перед светлыми очами и сказал: «Бог, тебя нет, и я тебя знать не знаю». — «Недосуг мне, — сказал Господь, — некогда мне с тобой валандаться, и вообще время у нас сейчас такое, умеренное. Валяй, богоборствуй». И пошел Человек, и стал кричать: «Бога нет, он мне сам об этом сказал»... Так витийствовал он некоторое время и с платы за собрания построил себе рай не рай, но уютную-таки жизнь. И очень эта уютная жизнь тяготила Человека... Чем пуще он гневил Бога, тем лучше ему жилось на земле. И взмолился он: «Накажи меня, покарай, а то люди на меня пальцами показывают, что я со своего богоборчества, со своей богоненависти себе жизнь хорошую устроил». — «Вот уж это — хрен

тебе, — так сказал Бог, — это уж ты у меня не проси. Я вас, блудных, хорошо знаю... Все вы блудите с твердым расчетом на тельца, всем вам, блудным, для успокоения совести вашей, суетной и тщеславной, страдания нужны и испытания, в рубище походить хочется... А ты у меня не страданием, а жиром помучаешься, не жертвой, а жратвой будешь обставлять свои исступления... Шиш тебя в конце ожидает вот такой, и, кроме шиша, нечего тебе будет вспомнить»...

Стихи его — своего рода свод противоречивых раздумий, вопросов, которые на разный лад задает себе в наше время и в наших условиях душа совестливого и мыслящего человека. Но ответа они не дают. Меньше всего его поэзия способна дать уверенность и основу для самоутверждения. И все же она служит уверенности, показывая читателю, что он не один в своих сомнениях и поисках. Она расшатывает самодовольство, половинчатую мудрость. Счет его к самому себе труден: соразмерял ли он посильность своей ноши?

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,  
Издерганный, юродивый, убогий.  
Не дай вам Бог — любить такого Бога  
И быть, как он, — не приведи вас Бог...  
Но божьего величия — карать  
Не пожелаю ближнему: не смею  
Желать ему таких шахсей-вахсеев.  
Не дай вам Бог — как Бог, себя карать.

Язык своих стихов сам Габай называл «косноязычным»:

Язык псалмов, пророчеств, притчей,  
Язык мессий, язык заик.

Он не пренебрегал художественным совершенством, но знал, что человек, которому надо выкрикнуть что-то жизненно важное, меньше всего станет заботиться о выверенной интонации или удачном сочетании эпитетов. Наверное, такое отношение к поэзии действительно связано с определенной духовной традицией — традицией пророков, людей, которые не занимались «литературным трудом», а жили неотделимо от своих слов, и слова эти были самовыражением, но не самореализацией профессионалов:

Не светлые и робкие стихи,  
А боговдохновенные призывы.

Они жгли сердца — разжигая от своего собственного. Они размышляли, предостерегали, звали, обличали, скорбели, переливая душу в дымящиеся строки:

...потому что смысла в слове нет,  
А правда только в стоне, крике, кличе.

Такую душевную слитность со своим словом-стоном нельзя долго вынести безболезненно. Профессиональное самосохранение требует некоторой отчужденности от материала; искусство всегда немного игра, полагающаяся на мастерство и технику, — не может же актер умирать вместе со своим героем. Речь пророка была не игра и не работа с поэтическим материалом, а смертельно серьезная жизнь людей великой страсти.

Осенью 1971 года я писал ему в лагерь, где он отбывал заключение, о некоторых мыслях на эту тему, вызванных одной появившейся в ту пору статьей С. Аверинцева. Мне казалось применимым к стихам Габая проведенное этим выдающимся филологом последовательное сопоставление «литературы» в классически-греческом понимании и ближневосточной, прежде всего библейской традиции. Литература [...] допускала и требовала рефлексии над своими специфическими результатами в виде поэтики, теории литературы, критики. Библейская поэзия была чужда профессиональной самооценке. [...] Здесь нет дистанции между «я» и «не я», стихия боли захватывает и автора, и читателя, превращая их не в слушателей или зрителей, но в соучастников, и самому Богу свойственно не просто эпическое милосердие, но «чревная» материнская жалость.

[...] Мне казалось даже, что это близко подходу самого Габая к своим стихам. Не помню, в каких выражениях я высказал все это в тогдашнем письме. Вероятно, неточность слов или разная настроенность мысли вызвали непонимание — в письмах, где нет возможности, как в разговоре, тотчас уточнить сказанное...

[...] я был изрядно озадачен суровой отповедью, которую получил в ответ. Видимо, сопоставление мое задело его за живое больше и иначе, нежели я мог предполагать.

«Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос рассерженного человека», — полусутоливой цитатой смягчал он впоследствии свои слова.

[...] «...почему речи Демосфена или Цицерона — литература, а речи Исайи или Иеремии — нет? Потому что Исайя не набирал камней в рот?..

[...] мне кажется описание щита или хозяйства малолитературным [...] метафорическим, околелитературным источником по истории ма-

териальной культуры. И наоборот, событийный ряд, об интересе к которому Аверинцев отзывается пренебрежительно, глубоко интересен, так как он содержит исконный намек на «почву и судьбу» и на характеры. Гекуба, Пенелопа, Гектор, Парис, Аякс — это все-таки, вопреки умному и парадоксальному утверждению Аверинцева, и есть главное [...]. Обращенность к духовному, внутренняя ассоциативность Библии куда современнее и «литературнее» гомеровских поэм».

Греческая традиция, утверждал он дальше, оказала больше влияния на живопись, скульптуру, архитектуру, чем на литературу. «Исключение — драматургия, самая сильная сторона греческой литературы», где звучит «исконное ощущение человеком своего трагического, потерянного существования. У иудеев не было поэтики; может, это их сила [...] Словом, по-моему, ты неправильно понял «нелитературность» библейской традиции; я уверен, что [...] она куда сильнее, чем хрестоматийная греческая традиция: не случайно же Достоевского неплохо читать параллельно с Библией... Если... иудейскую «нелитературность» ты распространяешь на все, мною написанное, то это очень грустно — для моих стихов, разумеется».

В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи — и заново открывшегося слуха впервые коснулась пророческая их пронзительность.

Я ощутил до богооткровенья,  
Что я погиб. Что лето не спасенье,  
Что воробьи и солнце не спасут.

Это написано за пять с лишним лет до гибели, но лишь после нее прозвучало вдруг во всей подлинности, обнаженности. Исповедь и объяснение, горестное, скорбное... «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят правед безжалостность и жадность, ложь и вошь» — слова, многими произносимые в худую минуту искренне и все же риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.

О. Мандельштам говорит о смерти художника как о «телеологической причине», высшем акте его творчества, как о последнем, заключительном звене в цепи его творческих достижений. Не знаю, ко всем ли можно отнести эти слова, но вспоминаю их, когда думаю о судьбе и творчестве Габая.

Как немислим был для него разрыв, зазор между стихами и жизнью, так не оказалось его между стихами и смертью. В марте 1971 года он писал мне из кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое

все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов».

Стихи всегда о главном для него, а по сути единственном: о трагическом самоощущении человека, душа которого воспринимает, как свои, все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в разорванном, невоссоединимом мире.

Значит, должен я выискать место  
В этом крошечке местей и свар?  
По какому наитью? Родства?  
Но, сударыня, что за родство  
С задохнувшейся речью пророка  
У ублюдка, не пасшего стад?  
Значит, должен я выискать место?  
По какому наитию? Чести?  
Но откуда ж мне ведома честь  
Государственных тяжб и воительств?

Человек, написавший это, был одним из зачинателей и самых активных деятелей движения, которое в 60 годы стало называться «демократическим», а потом правозащитным. Он не принадлежал к прирожденным, умелым бойцам, уверенно, хоть и с риском, нацеленным на победу; у них своя честь. И своя — у тех, кто предчувствует, что в столкновении с властью людей, не претендующих на власть, нет победы, кроме моральной. [...] может, и нравственный императив, а с ним и жизненный выбор определен человеческим устройством больше, чем мы думаем, — когда человек чувствует, что просто не может иначе:

Но ты отмечен свыше, ты помечен  
Обязанностью к действиям вотще...

Чем были бы мы без таких людей?

Впервые его задержали в КГБ «для беседы» в связи с намечавшейся демонстрацией 1966 года. Когда органы, изрядно встревоженные, позаботились ее предотвратить, Габай пошел на Красную площадь один. В январе следующего года он принял участие в еще одной демонстрации на Пушкинской площади против очередных арестов и введения новой статьи Уголовного кодекса (наказание «за распространение клеветнических сведений» и т. д. — той самой, по которой его потом и осудили). Вскоре после демонстрации он был арестован, просидел несколько месяцев под следствием, на первый раз был выпущен.

— Но я все равно съеду, — сказал он мне как-то с усмешкой. — Уж больно мы с советской властью не сходимся.

В январе 1968 года появилось ставшее скоро широко известным его вместе с Кимом и Якиром обращение к интеллигенции. Основа, насколько я знаю, была написана Габаем — его стиль угадывается. Появлялись его публицистические работы, издавались с его участием «Хроники...» правозащитного движения, составлялись письма и обращения, приезжали из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он занимался их делами.

19 мая 1969-го его арестовали последний раз, в январе 1970-го осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.

Лагерь обернулся для Габая испытанием страшнее, чем для многих других. «Общий» режим, считаясь легче «особого», вынуждал жить не среди политических, где были возможны хоть какие-то отношения, солидарность, а среди уголовников, блатных. Можно только представить, что это могло значить для еврея, не сильного физически, с обнаженными нервами — только вообразить в этих условиях органическую его бескорыстность, полнейшее нежелание и неспособность выгадывать житейские блага, простую невозможность для него хотя бы припрятать от жадных глаз доставшийся в передаче кусок. Да много чего еще. Он признавался в поэме «Выбранные места...», которую написал там,

Что испытанье пагубой и порчей,  
Проверка униженьем и стыдом  
Не для моей отнюдь щедешной почвы

Да и вернувшись потом, рассказывал о пережитом предельно сдержанно, и лишь намеками проступали иногда страшные эпизоды блатных расправ, лагерного ужаса и унижений. Все главное выплеснулось в стихах:

Я не сумею вам раскрыть воочью  
В такой ночи — такое чувство нóчи  
Кромешной: это чувство нелюдей.  
Что делать мне? Какая даль иль близь  
В каком краю предстанут мне защитой?  
Так нету сил! (И где мой утешитель?)  
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)

Поэму «Выбранные места...» он частями пересылал мне из лагеря в письмах, а затем полностью передал с женой, записав во время сви-

дания на вырванных из книг титульных листах (другой бумаги с чистым пространством для письма не оставалось).

Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.  
Мне остается пробавляться ныне  
Запавшей по случайности латынью:  
Memento mori. Помни о конце.

Тягостное состояние усиливалось к завершению срока. Можно только вообразить, как он при тогдашних своих нервах считал оставшиеся дни и что значило для него, когда за два месяца до конца, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по новому делу.

Это был рассчитанный ход изоциренных тюремных психологов.

Похоже на дурную притчу: во время одного из переездов — на следствие или со следствия — Габай услышал разговор крымского татара, своего поделщика, о том, что вообще-то русских и евреев надо бить, что мир спасет ислам и что арабам надо скорее покончить с Израилем. Илья потом рассказывал про это с усмешкой, спокойно — он мог предполагать нечто подобное.

А знали ведь, знали ж, что преданность наша без прока!  
Что мы предавались *главою*, стихом *и крестом*  
Не очень и *нашей*, но прожитой нами эпохе.

Новое, высокое понимание, созревшее за мучительные годы лагеря, не отменяло прежнего. Он пробивался к нему, сохраняя противоречивую цельность, с постоянной оглядкой, не означает ли это понимание «предательства вчерашнему себе», от которого он остерегал себя еще в «Книге Иова». Собственные стихи стояли на страже: стихи-обет, стихи-напоминание, стихи-укор; из строк глядел на него требовательный, полный последней надежды взгляд самого Бога, обращающего свою горестную мольбу к Иову:

Я так хотел бы обмануться  
В цене бесстыдных льстивых слов.  
Не предавай меня, Иов!  
Мне страшно знать изнанку слов.  
Мне невозможно не взмолиться:  
Не предавай меня, Иов!

От него, ослабленного мучительным ожиданием, неизвестностью о судьбе близких, угрозами, собственными раздумьями, ждали, видно, формального раскаяния и отречения; для этого сделано было, казалось

все. Добиться удалось гораздо меньшего: обязательства воздерживаться от общественной активности. С тем его пока и выпустили в мае 1972-го.

При встрече в первые минуты он показался мне на удивление не изменившимся — даже волосы отросли за время следствия; только разве что более худой, чем обычно, какой-то миниатюрно тонкий — но и это стало привычным через полчаса. А речь, шутки, интонации — до иллюзии те же, как будто вчера лишь расстались. В дверь звонили, намерение уберечь Илью в этот день от утомительных встреч сразу пошло насмарку — он сам был, казалось, в прекрасной форме, только ощущения немного притуплены, все воспринималось словно сквозь легкое головокружение. Сразу же в день освобождения, в первые часы встречи с друзьями он подчеркнуто без недомолвок сообщил о подписанном перед выходом обязательстве.

— Мне кажется, я вижу сон, — сказал он. — Я думал, что половины из вас уже не встречу. Так угрожающе со мной говорили.

И только на фотографии, прикрепленной к документу об освобождении, он был совсем на себя не похож (так неузнаваем потом был он в гробу). Возможно, фотообъектив выявил то, чего в первый момент не разглядели мы: это был уже потрясенный человек.

[...] Особенно тяжким ударом оказался для Габая арест Якира и Красина. Снова пошли вызовы, допросы. Илье предъявляли показания, которые эти близкие ему прежде люди давали против него, требовали новых признаний. Как всегда, он подтверждал лишь то, что было связано с ним лично, отказываясь говорить о других.

[...] Зимой Габай был уже тяжело болен; грипп вызвал серьезные осложнения. Бессонница, усталость, депрессия. Знакомый врач объяснял впоследствии, что надо было сразу поместить его в стационар; но кому бы достало смелости заговорить о психиатрической больнице? Пока он глотал таблетки, прописанные другим знакомым. Вроде бы помогало; все могло бы еще поправиться, дай ему жизнь хоть немного покоя.

Между тем его дожимали. Вызовы и допросы становились все чаще, суровее и жестче: требовали фамилий, полной «откровенности» в показаниях, формального раскаяния по уже опробованному образцу.

Однажды спросили:

— Вы не собираетесь уехать за границу?

Он ответил:

— Мне бы не хотелось. Но здесь я не вижу никаких возможностей.

— Держать вас не будем, — намекнули ему.

Этот некровадный способ избавляться от неудобных людей был опробован и по-настоящему пущен в ход, когда Илья был еще в лагере. Я писал ему о нашем общем знакомом, который одним из первых

использовал этот путь. (Человек, кстати, был вполне русский и даже с антисемитскими заскоками). Илья отвечал: «Трудно поверить, чтобы он мог когда-нибудь кровно воспринимать сионские боли. Я тоже, наверное, не смог бы — а без этого как же жить там?»

[...]

Он не хотел уезжать, но, казалось, не было другого выхода. В августе 1973 года мы провозжали Толю Якобсона.

— Может, и меня скоро придется провозжать, — сказал вдруг Илья.

— Ты что, все-таки об этом думаешь?

— Маричек, ну нельзя же так жить, — тихо и горько проговорил он. Потом мы вместе с друзьями шли по ночной улице. Илья усмехнулся:

— Государство Израиль, допустим, не вызывает желания туда ехать. Но дело в том, что наше государство очень уж вызывает желание отсюда уехать. И оставляет для этого единственное отверстие... анальное отверстие... Если бы три года назад мне дали выбор, туда или в тюрьму, — я предпочел бы тюрьму. А сейчас предпочел бы все-таки погулять на вольном воздухе, где-нибудь в Вене или Брюсселе.

[...]

Однажды обрадовал меня, сказав, что пробует писать, конспектирует библейскую «Книгу Иова» для продолжения своей поэмы. Потом я видел эти выписки; очень жаль, что сейчас ими не располагаю, — их характер мог бы много сказать о тогдашнем его умонастроении. [...] Дальше выписок дело не пошло. В последний день августа 1973 года я провозжал его от себя, спросил, пишется ли ему. Он усмехнулся:

— Я, может, скорей напишу последнее письмо.

И я все еще не слышал? Слышал, как же нет! «Боюсь, это плохо кончится», — записано осенью. Мы говорили об этом с друзьями, гадали, что бы придумать, — и не могли придумать больше, чем помочь деньгами, поискать работу; надеялись на таблетки, на то, что обойдется, — а он уже падал, падал со смертельной высоты, медленно, как в страшном сне, — и как во сне, мы не умели шевельнуться, чтобы удержать его...

[...]

Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви (что возле Преображенского кладбища), в Иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети: крымские татары убедили муллу забыть о недозволенности отпевать самоубийцу.

Он погиб тридцати восьми лет, и праздное дело гадать, чем могла бы еще стать эта жизнь; она имеет свою завершенную цену. Он тра-

гически доказал подлинность своей человеческой и поэтической последовательности.

[...]

Через два года после его смерти я сравнялся с ним возрастом и теперь становлюсь старше. Я лишь начинаю постигать требования, которые предъявляет ко мне эта смерть, память о нем, его стихи — «строжайшая и пристрастнейшая охрана», остерегающая от поверхностности, самодовольства, подделки под жизнь.

А время каменеет, и у фраз  
Нет свойства передать из дальней дали,  
Что люди жили, мучались, страдали,  
А не свершали действия напоказ.

Когда-нибудь, при яркой вспышке дня  
Грядущее мое осветит кредо:  
Я в человеках тож: я вас не предал  
Ничем.  
Друзья, молитесь за меня!

Я счастлив, что на кручах,  
Узнав хоть краем боль,  
Я обрету не роль,  
А участь, друг мой. Участь.

[...] был он очень искренним, и уж если кого любил — так без оглядки.

Петра<sup>1</sup> он почти боготворил и в связи с этим, я думаю, пережил большую душевную трагедию, о которой нам знать не дано, так как Илья поставил над ней точку в полном одиночестве.

Что еще рассказать?

В связи со своей искренностью и житейской наивностью выглядел он хрупким и незащищенным. Мне всегда хотелось оградить его от толчков и ударов жизни. Однако это не мешало ему в трудных жизненных обстоятельствах вести себя мужественно и разумно.

Только последний его шаг мне представляется неоправданным, но кто может выступить судьей в этом вопросе?

Во всяком случае — не я. Слишком многого мы не знаем, и слишком мы не похожи на него.

Поэтому скажем просто: пусть в наших сердцах память о нем живет такой же светлой, каким светлым человеком он был сам.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Петр Якир.

---

## Д. И. КАМИНСКАЯ

---

### (ИЗ КНИГИ «ЗАПИСКИ АДВОКАТА»)

[...]

Пожалуй, первое открытое, даже официальное предупреждение, свидетельствовавшее, что власти расценивают мою профессиональную деятельность как политически вредную, было связано с защитой Ильи Габая и Мустафы Джемилева. Судебный процесс над ними происходил в Ташкенте в 1970 году. Еще задолго до начала процесса, когда в сентябре-октябре 1969 года знакомилась с двадцатью томами следственных материалов, я поняла, что мне предстоит самая сложная для политических процессов линия защиты, когда нет спора по доказанности фактов, и правовой спор перерастает в политический.

Джемилев и Габай обвинялись в изготовлении и распространении целого ряда «клеветнических» документов: информации, открытых писем и обращений. Оба они не отрицали, что являются соавторами почти всех этих документов, но утверждали, что приведенные в них факты соответствуют действительности, а потому виновными себя не признавали.

У меня нет возможности в пределах одной этой главы даже коротко передать содержание тех тридцати пяти документов, которые следствие считало криминальными. Думаю, достаточно сказать, что, проанализировав каждый из них, я пришла к выводу, что эти документы резко критические, но в них не содержится «ложных измышлений, порочащих советский строй».

8 октября 1969 года я подала следователю по особо важным делам при прокуратуре Узбекской Республики Березовскому<sup>1</sup> (он возглавлял следствие по этому делу) ходатайство о прекращении дела «за отсутствием в действиях Мустафы Джемилева и Ильи Габая состава преступления». В ходатайстве мне было отказано.

---

<sup>1</sup> Борис Березовский (1925–1988) — следователь Узбекской прокуратуры по особо важным делам. Вел дела крымских татар. Он же вел дело И. Габая. Илья был арестован в Москве в мое отсутствие и тут же отправлен в Ташкент. Никаких вещей, кроме одежды, что была на нем во время ареста, у него с собой не было. Во время ареста у нас дома были только Н.П. Емелькина, которая жила у нас в это время, и П. И. Якир, зашедший нас навестить в это утро. Они и сообщили мне об аресте Ильи, когда я вернулась работы. После того как посылки с продуктами и личными вещами вернулись обратно в Москву, Березовский запретил мне передать Илье минимум личных вещей, привезенных из Москвы, сказав просто: «Не положено».

12 января 1970 года дело начало слушаться в Ташкентском городском суде.

[...] сейчас придется сделать небольшое отступление для исторической справки, без которой невозможно понять, за что судили и за что осудили Джемилева и Габая.

Во время Второй мировой войны Крымский полуостров был оккупирован немецкими войсками. К этому времени большая часть взрослого мужского населения крымских татар сражалась в рядах советской армии, в Крыму оставались преимущественно женщины, дети, старики и инвалиды. Советские войска освободили Крым лишь в апреле 1944 года. В мае того же года Государственный комитет обороны СССР издал секретное постановление, в котором весь крымско-татарский народ огульно был обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В наказание за это было предписано поголовное его выселение с исконных земель.

В ночь на 18 мая 1944 года поселения крымских татар были окружены частями советской армии. В течение одной ночи все татарское население Крыма было посажено в товарные эшелоны и вывезено в специальные места поселения, из которых им запрещено было отлучаться под страхом уголовной ответственности. О тех условиях, в которых проходила депортация, и о тех условиях, в которых вынуждены были жить «спецпоселенцы», свидетельствует страшная цифра. За первые полтора года изгнания только в одном Узбекистане (главном месте «спецпоселений» крымских татар) от голода и болезней погибло 46.2% из общего количества депортированных»<sup>2</sup>.

В Крыму были закрыты татарские школы, театры, газеты, библиотеки, уничтожены книги, изданные на татарском языке.

После смерти Сталина XX съезд КПСС признал незаконность этой акции, жестокость и несправедливость которой была очевидна. В 1956 году Указом Президиума Верховного Совета СССР с крымских татар был снят гласный милицейский надзор, но этим же указом им было запрещено возвращение в Крым.

С этого времени началось то, что не побоюсь назвать всенародным (для крымских татар) движением за возвращение на родину. В первые годы это движение было обособлено от общего правозащитного движения в Советском Союзе. Методом борьбы крымских татар были массовые петиции, направленные руководителям советского государства и коммунистической партии. Каждая такая петиция начиналась с заявления в преданности советской власти и коммунистической партии, ленинским принципам национальной политики.

---

<sup>2</sup> Ташкентский процесс: Сборник документов. Амстердам, 1976 г. (прим. Д. И. Каминской)

Судебные процессы, которые начались в 60-е годы над наиболее активными участниками этой борьбы, были единственной реакцией советских властей на справедливые требования этого трудолюбивого и многострадального народа. Постепенно логика мирной борьбы привела крымских татар к осознанию необходимости контактов с участниками общего демократического движения за права человека. Так они обрели среди других народов Советского Союза сначала сочувствующих, а затем и активных помощников и преданных друзей. Имя первого такого помощника и друга — писателя Алексея Костерина<sup>3</sup>, верю, будет передаваться среди крымских татар от поколения к поколению. После смерти Костерина в 1968 году завещанную ему эстафету принял генерал Петр Григорьевич Григоренко, включившийся в защиту крымских татар еще при жизни Костерина.

В мае 1969 года Петр Григоренко по доверенности крымских татар (ее подписали около двух тысяч человек) должен был выступить общественным защитником на процессе над десятью активистами крымско-татарского движения. Однако за 20 дней до начала процесса его провокационно вызвали в Ташкент и арестовали. Вскоре по одному с ним делу были арестованы Илья Габай и Мустафа Джемилев. Всех их привлекли к уголовной ответственности по обвинению в изготовлении и распространении документов, в которых содержалась информация о положении крымских татар и о той борьбе, которая велась за их возвращение в Крым.

[...]

Дело Габая и Джемилева было в моей практике не первым делом защиты крымских татар. Каждый раз, приезжая в Ташкент, я встречалась с родственниками моих подзащитных, активистами движения и просто сочувствующими. Хотя надо сказать, что слово «сочувствующие» я употребила неправильно. Сочувствующие — это лишь менее активные участники. Старые и молодые, мужчины и женщины, и даже дети — все жили мыслью о возвращении на родину. Эти люди своим трудолюбием добились в Узбекистане благосостояния. Они готовы были бросить все. Отдать безвозмездно дома, фруктовые сады и виноградники, только чтобы получить право вернуться на свою родину...

[...] Мустафа Джемилев, которого я должна была защищать в Ташкентском городском суде..., родился в Крыму во время Второй мировой войны в 1943 году. (...) 18 мая 1944 года, когда Мустафе не было и восьми месяцев, вся семья была изгнана из Крыма. Его детство — это насильственная депортация, тяжелый режим спецпоселений, голод

---

<sup>3</sup> Костерин Алексей Евграфович (1896–1968) — писатель, правозащитник.

и унижения. Рассказы о Крыме, о прежней жизни на родине, наверное, заменяли ему детские сказки. Вся его жизнь и все его помыслы были связаны с мечтой о возвращении в Крым. Он вырос бойцом, фанатично преданным этой мечте.

[...] Вторым моим подзащитным в этом процессе был Илья Габай, или, как все его называли, Ильюша. Он гуманист, интеллигент, просветитель. Габай жил в Москве и преподавал в школе русский язык и русскую литературу. Учить детей было его призванием, его миссией. Когда в те годы и потом мне приходилось разговаривать об Ильюше с людьми, которые его знали, на лицах моих собеседников неизменно появлялись улыбки. Они радовались, что могут говорить о нем, рассказывать о его доброте, мягкости, таланте и образованности.

В характере Габая не было ничего не только жестокого, но и жесткого. Он удивительно умел понимать людей, а понимая — прощать. Строг он был только к себе.

Еще до начала суда я получила из разных городов Советского Союза много писем от бывших учеников и просто знакомых Ильюши. В них почти полностью отсутствовала гражданская тема, так характерная для всех писем в защиту подсудимых по политическим процессам. Это были письма людей, благодарных за добро, за помощь, нравственную поддержку.

Пишет человек, очень виноватый перед Габаем. Он нанес Илье несправедливую обиду, за которую многие друзья от него отвернулись. Пишет о времени, когда самоубийство казалось ему единственным выходом.

*Именно Илья стал человеком, который своей душевной ясностью и высотой, неприятием всякой жестокости заставил меня вернуться к нормальной жизни, когда я не испытываю больше стыда за каждую минуту своего существования.<sup>4</sup>*

Или письмо человека, в семье которого был тяжелый разлад:

*Илья сделал все, чтобы не дать почувствовать моему сыну горечи происшедшего. И сейчас для этого восьмилетнего малыша Илья самый лучший человек, о котором он тоскует, которого постоянно помнит, вопреки обычной детской забывчивости. Дети влюбляются в него с первого взгляда и делают его друзьями навсегда.*

И в каждом письме рассказ о помощи, о добре в поступке. Сама возможность судить о них была сужена, а оценка во многом определялась

---

<sup>4</sup>Здесь и далее выделено Д. И. Каминской.

тем благородством и мужеством, с которыми они в равной мере вели себя на следствии и в суде. Несомненно, друзья Ильюши и Мустафы знают другие, неизвестные мне достоинства, да и недостатки, свойственные им, как и всем людям. Но эти же исключительные условия способствовали тому, что ярче, более четко проявлялись основные, определяющие черты их характеров. У Мустафы — качества бойца, последовательного и решительного. Ильюша же был совсем другим. Он был создан для того, чтобы писать стихи (он был талантливый поэт), учить и воспитывать детей, читать книги.

*Я люблю Ильюшу, как родного сына, — писала мне пожилая женщина, — и не представляю себе, что человек, его знающий, может не любить его.*

Я тоже не представляю себе этого. Даже следователь по особо важным делам Березовский, прожженный циник и карьерист, как-то, когда Габая не было в кабинете, сказал:

— Хороший он человек, ваш Габай. Мне его жалко. Я понимаю Джемилева. Он татарин и борется за свой народ. А что надо Габаю? Зачем он, еврей, полез в чужое для него дело?!

*...Я хотел бы, чтобы боль чужая  
Жила во мне щемящей сердце болью.  
(Илья Габай)*

Готовясь к защите Габая, я прочла его стихи. Они подкупали искренним и глубоким чувством. Эти стихи помогли мне понять духовный мир Ильи, разобраться в подлинных мотивах его поступков. Вот почему я не задавала себе, подобно следователю Березовскому, вопроса, — зачем он, еврей, российский интеллигент, «полез в это чужое для него дело». Я поняла, что боль и страдания крымско-татарского народа действительно жили в нем «щемящей сердце болью».

После того Ташкентского процесса я видела Ильюшу только один раз. Это было в 1972 году. Он пришел ко мне сразу после возвращения из лагеря и потому одетый во все новое, еще не обмявшееся на нем. Илья рассказывал о жизни в лагере, о людях, с которыми там встречался. Очень казнил себя за то, что в связи с его делом у меня были неприятности.

Ильюша говорил мне, что хотел бы вернуться к преподавательской работе, но понимает, что человека, осужденного за политическое преступление, не допустят к работе в школе.

А потом наступили события, о которых могу судить только по рассказам его жены и близких друзей.

Вскоре после этой нашей встречи были арестованы Петр Якир и Виктор Красин, игравшие в ту пору значительную роль в диссидентском движении. Якир был самым близким другом Габая, человеком, которому он абсолютно доверял и которого очень любил.

Юность Якира с четырнадцатью лет прошла в сталинских лагерях. Он пережил расстрел отца и арест матери. Для Виктора Красина этот арест тоже не был первым. Оба они не выдержали угрозы нового и очень длительного заключения. От них КГБ стали известны имена многих из тех, кто создавал «Хронику текущих событий» — информационный самиздатовский сборник, в котором фиксировались все случаи нарушения прав человека в Советском Союзе.

ЦК КПСС<sup>5</sup> уже давно поставил перед КГБ задачу разгромить этот особенно опасный по точности и скорости сообщаемой информации сборник.

Теперь над каждым, кто был причастен к «Хронике», нависла реальная угроза ареста и привлечения к уголовной ответственности.

Это был очень трудный период в диссидентском движении. Многим казалось, что ему нанесен смертельный удар. Что движение будет раздавлено не только репрессиями властей, но и, главным образом, из-за потери нравственного авторитета. Я хорошо помню бесконечные споры того времени, когда одни с жестокостью и бескомпромиссностью (я относилась к их числу) осуждали Якира и Красина, а другие стояли на позиции столь же прямолинейного и безоговорочного их прощения. Были среди либеральной интеллигенции и такие, кто с явным злорадством, оправдывая свое неучастие в правозащитной борьбе, говорил о разложении в диссидентской среде, о «бесовщине».

Илья Габай и его жена Галина, ожидавшая в то время появления второго ребенка, были в числе тех, чьи имена назвал Якир. Начались вызовы на допросы в КГБ. Стала очевидной невозможность устроиться на работу.

Для Ильи, который во время следствия по своему делу не ответил ни на один вопрос, затрагивающий других людей, поведение друзей было тяжелым ударом. Но мне кажется, что труднее всего ему было пережить, что предательство или слабость двоих явились в глазах многих компрометацией всего движения. Было облито грязью то, во имя чего он навсегда потерял любимую профессию, пережил тюрьму и лагерь.

5 сентября 1973 года в Центральном доме журналистов в Москве состоялась организованная КГБ пресс-конференция Якира и Красина. Миллионы советских людей смотрели эту телепередачу. Смотрел ее и Габай. Он увидел на экране телевизора своего друга, почти брата,

---

<sup>5</sup> ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.

как никогда чистым, хорошо выбритым, аккуратно одетым. Он слушал, как Якир говорил о своих связях с различными западными организациями, которые «лишь прикрываются лозунгами защиты прав человека», о «перерождении правозащитного движения».

Мне говорили, что после этой пресс-конференции Габай не выходил из состояния полной подавленности. Метался, не умея найти для себя выхода. Утром 20 октября, когда жена, накормив новорожденную дочь, уснула, Илья выбросился с балкона своей квартиры. Он умер мгновенно. Илья не казался мне человеком импульсивным, а тем более — истеричным. Только стойкое ощущение полной безысходности могло привести его к этому трагическому концу.

[...] Зал [суда] был переполнен активистами крымско-татарского движения, и все дни процесса царил атмосфера горячего сочувствия и солидарности с подсудимыми.

[...] Пока допрашивали Габая, еще удавалось соблюдать некоторое подобие судебной процедуры. Этому много способствовал сам характер Ильи — человека очень сдержанного. Но то, что творилось во время допроса Мустафы Джемилева, даже отдаленно не напоминало судебный процесс.

[...] Нужно было обладать большим профессиональным опытом и тактом, чтобы вести процесс в такой обстановке. Писаренко<sup>6</sup> справиться с этой задачей явно не мог. Не берусь судить, каков его профессиональный опыт, но твердо могу сказать, что за все годы моей работы я не сталкивалась со столь элементарно необразованным, глупым и беспомощным судьей.

[...] Писаренко искренне не верил в саму возможность существования инакомыслия. Он твердо усвоил, что есть счастливый и прекрасный мир социализма и несчастный и бесчестный мир капитализма. В том — плохом и бесчестном — мире живут плохие или обманутые люди. Газеты, которые там существуют, издаются для того, чтобы клеветать на советский строй. Этой же цели служат и радиостанции. Подобными и абсолютно категорическими оценками Писаренко комментировал показания подсудимых неоднократно.

— Как вы считаете, Габай, если в американском журнале напечатана какая-либо статья, с какой целью это делается?

— Может ли буржуазная газета вообще писать объективно?

— Может ли газета капиталистической страны быть объективной с точки зрения советского человека?

Какой неподдельный ужас и отвращение были на лице Писаренко, когда Габай ответил:

---

<sup>6</sup> Писаренко — судья на процессе И. Габая и М. Джемилева

— Газеты капиталистических стран вполне могут быть объективными. И, кроме того, где это сказано, что коммунисты взяли монополию на правду?

С той же абсолютной убежденностью Писаренко верил каждому слову, напечатанному в советской газете. Он не в состоянии был поверить, что нормальный человек может сомневаться в достоверности информации или не разделять оценки события, содержащиеся в советской прессе.

— Кто дал вам право делать самостоятельные выводы? — с полной искренностью спрашивал он у Габая.

А ответ:

— Мне кажется, что каждый человек имеет право мыслить, — заставляет Писаренко застыть в недоумении, а затем уже с укоризной сказать:

— Габай, Габай, ну как вы ничего не понимаете. Как можно говорить такие вещи.

Каждая реплика вызывала смех в зале. Но мне было совсем не смешно.

[...] Тогда мне было страшно. Это был странный процесс, где весь диалог шел в двух непересекающихся плоскостях. Каждый говорил свое без всякой надежды быть понятым.

Однажды мне показалось, что наступил момент, когда удастся заставить судью понять, что советские газеты могут хотя бы ошибаться. Это был второй день процесса.

13 января 1970 года я слушаю очередную нотацию Писаренко, обращенную к Габаю, которого в тот день допрашивали.

— Габай, вы сказали, что не поверили сообщениям советских газет о том, что наши войска были введены в Чехословакию по просьбе чехословацкого народа. Как же так можно, Габай? Ведь наши газеты — орган ЦК КПСС?..

Я гляжу на суд и тихо, несколько раз повторяю каждое слово, шепчу, чтобы только Ильюша мог услышать и понять:

— Враги народа, враги народа, врачи-убийцы, 13 января 1953 года, 13 января 1953 года...

— В 1937 году наши газеты ежедневно писали о врагах народа. Потом эти же газеты писали об их реабилитации. Сегодня 13 января. Я помню, как 13 января 1953 года было напечатано о врачах-евреях. Их обвиняли в том, что они убивали руководителей государства, умышленно применяя неправильные методы лечения. Этому я тоже должен был верить?

Как внутренне торжествовала я, слушая этот ответ Габая. Мне казалось, что одно напоминание о газетных публикациях тех лет будет достаточным ответом на вопрос — обязан ли человек безоговорочно верить любому слову советской прессы. Но торжествовала я совершенно напрасно. Писаренко в очередной раз удивился нелогичности Габая, который не понимает самых простых вещей. И сейчас, перечитывая (в который раз!) запись этого удивительного диалога, я вновь вижу перед глазами бесцветное лицо и слышу бесцветный голос судьи:

— Габай, но вы же сами себе противоречите. Сами же говорите, что в советских газетах потом было напечатано опровержение. Правильно? А о Чехословакии было опровержение? Вот когда напечатают в газетах, тогда и будете говорить.

[...] Я не собиралась отступить от позиции, которую заняла еще в следствии, когда считала, что в действиях Джемилева и Габая нет состава преступления и они должны быть признаны невиновными.

[...] Я знала, что кары мне не избежать...

[...] Приговором суда от 19 января 1970 Габай и Джемилев были осуждены к трем годам лишения свободы каждый.

В отношении меня было вынесено частное определение. В нем суд утверждал, что *содержание речи адвоката Каминской дает основание считать, что она не стоит на уровне тех задач, которые поставлены перед советской адвокатурой советскими и партийными органами.*

[...] Президиум Московской коллегии адвокатов признал частное определение необоснованным, но вынес мне выговор за то, что я (...) *не выявила свою гражданскую позицию и не осудила взглядов своих защитных.*

Так на тридцать первом году адвокатской деятельности я получила первое взыскание. С этого же дня я была лишена допуска к ведению политических дел. Так реализовалось первое сделанное мне предупреждение.

[...]

Все то, что происходило потом, — и ультимативное (под угрозой ареста мужа) требование уехать из Советского Союза, и судорожные сборы в течение 10 предоставленных нам дней, и то, как полковник КГБ сам заказывал нам билеты на самолет в Вену и помогал в оформлении необходимых документов, — все это уже за пределами этой книги.

---

## ЮЛИЙ КИМ

---

«...Как-то я взял и составил список лиц, бывших в моей жизни для меня совершенно необходимыми, наиболее «влиятельными». Список, естественно, оказался невелик, но Илья в него попал и значился там наряду с моей мамой. Вот бы он удивился, если б узнал об этом! Да я и сам-то толком осознал это уже после того, как он погиб.

Наверное, ничья смерть меня так не потрясла, как эта. Может быть, потому, что ни в каком другом случае безвыходность не была так очевидна. А если речь идет о человеке со столь ярко выраженной, обостренной совестливостью, то эта жалость к нему доходит до отчаяния, до почти истерических слез, которых я от себя никак не ожидал.

Сколько воспоминаний... Многие уже полустерлись, смутны в деталях — но воспоминания о нем лично: как ходит, как смеется, как прикуривает — очень живы еще. Я любил его какой-то пронзительной любовью, хотя и немало было страха за него, такого веселого, бесшабашного, хохочущего и беззащитного.

Когда-то Давид Самойлов прочел его стихи и сказал приблизительно следующее: «Стихи неважные. Это и не стихи даже, в общепринятом смысле. Мне они не нравятся — но из них ясно виден праведник». Я аж вздрогнул от точности. Да, именно: вот такой нескладный, женолюб, трубокур, и выпить не дурак — и праведник. Действительно, от своего праведничества никогда не отступающий человек. Я-то праведником не был и от совестливого дела отошел. А он — не мог, и не смог бы...

Какие все-таки удивительно незаполненные пустоты остаются от самых дорогих для тебя, от ушедших безвозвратно! На их место постоянно оборачиваешься посмотреть, оттуда слышишь голос, либо чувствуешь взгляд.

И вот интересно: многие ушедшие друзья — смотрят на меня со стены, а Габая нет сил прикрепить до сих пор».

*(Из письма В. Гершовичу 28 янв. 1988 г.)*

## ИЛЬЯ ГАБАЙ В МОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ

[...] Я подружилась с Ильюшей Габаем в археологической экспедиции в Молдавии. Илья был рабочий-прораб. Держался он очень естественно. Я была реставратором керамики, у меня получались отличные горшки, совсем как новые. Было это в солнечной Молдавии, были мы молодые и счастливые. Ильюша все время шутил. Я заливалась счастливым смехом, слушая его шутки и остроты. Илья старался никак не упоминать, что он поэт, и не кичился своим гением, а стихи писал. Было это неожиданно счастливое лето в Балцатах, если я не ошибаюсь, в середине 60-х.

Но что-то в нем меня беспокоило. Он был такой ранимый, такой худой. Все мы понимали, что он идет по жизни очень опасной дорогой, что его принципиальность и честность доведут его до несчастий. А ведь, с другой стороны, мы все стояли перед очень тяжелым выбором. Мой папа<sup>1</sup>, например, получил выговор с предупреждением на заседании парткома за то, что он так меня воспитал. Это было связано с моим отъездом в Израиль. Почему Ильюша не поехал вместе с нами? Я встретила с ним за несколько дней до его кончины — он постоянно смахивал слезинки с глаз, на нем не было лица. Он был в очень тяжелой депрессии. Я думаю: «Что бы я дала, чтобы он сейчас был жив?» Его жизнь окончилась. Но люди его не забыли. И как хорошо, что выходит его книга, его стихи, сборник воспоминаний о нем. Мы все его очень любили. Надеюсь, и современный читатель полюбит его так же, как и мы.

*(Из письма к Г. В. Габай-Фикен  
5 сентября 2010 г.)*

---

<sup>1</sup>Г. Б. Федоров

## (ИЗ КНИГИ «ОТРЕШИСЬ ОТ СТРАХА»)

Осенью 1973 года покончил самоубийством Илья Габай. Я встретил его в доме у Жоры Федорова<sup>2</sup> в середине 60-х годов, и он мне понравился сразу же своей интеллигентностью, остроумием и доброжелательством. К тому же Габай был человеком отважным. Он был одним из первых зачинателей нового демократического движения в СССР, возникшего после XX съезда КПСС.

...Потрясенный его гибелью, я написал небольшую заметку. К сожалению, по несчастливому стечению обстоятельств того времени, эта заметка не попала в «Самиздат». У меня сохранилась лишь первая страница. Вот она.

### **Гибель Ильи Габая**

В субботу 20 октября 1973 года в начале десятого утра покончил самоубийством Илья Габай. Он выбросился с балкона своей квартиры на 11 этаже дома на Новолесной улице Москвы.

Габай снял очки, аккуратно положил их на кухонный стол. Перед этим он написал записку, в которой просил у всех прощения. Он писал, что стал обузой для семьи. Потом он вышел на балкон... Его тело упало на бетонную крышу парикмахерской<sup>3</sup>, примыкающей к дому-башне, в котором он жил. Габай упал лицом вниз. И так он лежал до тех пор, пока сосед не увидел распластанное на крыше тело человека и не вызвал милицию.

Жена Габая Галя обнаружила исчезновение мужа около 11 часов, когда она встала после сна. В поисках мужа она прошла всю квартиру и очутилась на кухне. Дверь на балкон была приоткрыта. Она вышла и увидела внизу толпу людей и машину «Скорой помощи». Страшная правда раскрылась ей сразу.

У входа в подъезд, на лестнице и в самой квартире находились сотрудники госбезопасности и милиции. В квартиру никого не пропускали. У приехавших друзей Габая тщательно проверяли документы. Жене Габая разрешили взглянуть на тело мужа перед самым отправлением его в морг.

---

<sup>1</sup> Некрич Александр Моисеевич (1920–1993) — советский и американский историк, доктор исторических наук. Специалист по европейской истории XX века.

<sup>2</sup> Г. Б. Федоров — см. выше.

<sup>3</sup> Это была пошивочная мастерская.

Записка, оставленная Габаем, была найдена под телефонным аппаратом сотрудниками милиции.

Вечером того же дня радиостанции (не советские, разумеется) передали краткое сообщение о самоубийстве диссидента, преподавателя литературы и поэта Ильи Габая. Одна радиостанция передала, что причиной самоубийства якобы было раскаяние Габая во вреде, будто бы причиненном им советской власти. Легко представить себе, кто был заинтересован в распространении этого лживого сообщения.

Остальное я восстанавливаю сейчас по памяти.

...Отбыв трехгодичное заключение в лагере, Габай вернулся в Москву физически надломленный, но еще сохранивший душевную силу. Он ни от чего не отрекся и никого не предал, но он устал. Первое, что он сделал на первые же заработанные деньги — пошел по московским книжным магазинам и купил книги. В этом поступке был весь Габай, умный и тонкий книжник, человек необычайно хрупкой душевной организации.

...Государственная безопасность не оставила Габая в покое и когда он вышел на свободу. Не раз и не два его вызывали на «душеспасительные» беседы и требовали, и требовали от него то отречения, то каких-то сведений. Но Габай оставался непреклонен. В ту пору КГБ готовило процесс Якира и Красина, и Габай глубоко переживал нестойкость своего близкого друга Петра Якира. Он любил Якира, и поведение Якира на следствии было для Габая страшным потрясением. И потом у Габая не было работы. Он никак не мог получить работу по своей специальности — преподавателя русской литературы, в которую он был не только безгранично влюблен, но и был ее глубоким знатоком и ценителем. Он мог бы получить эту работу, если бы пошел навстречу требованиям КГБ. Но для него это было невозможно.

Так все несчастливые обстоятельства последних лет его жизни завязались в один узел, и у него не было сил развязать его. Он предпочел разубить его. И он это сделал, сделал страшно и беспощадно — он убил себя.

Россия! Твой сын Илья Габай покинул тебя, покинул навсегда. Плачь, Россия...

---

## УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ

---

### МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ, 521 СРЕДНЯЯ ШКОЛА.

«Была такая должность в нашей школе — заместитель директора по воспитательной части, — вспоминает Наталья Воробьева (Горяка)<sup>1</sup>. — В бытность нашей там учебы некоторое время занимал ее Эрнст Абрамович Красновский, а после его ухода — Илья Янкелевич Габай.

Я окончила школу, учась в 10«В» в 1966 году. Русский язык и литературу у нас преподавал Илья Янкелевич Габай. Весной 1966 года, за три месяца до окончания учебы, он вдруг исчез из школы... Только позже я поняла почему его не стало в школе... Прочитала в журнале «Юность»... Говорить о нем я могу только восхищенными словами в превосходной степени. Он был неординарной, яркой, светлой личностью, ни на кого не похожим. Когда он заходил в класс, как будто вихрь свежего воздуха врывался (хотя он много курил), и мы ждали чуда общения с ним...».

*Наталья Воробьева (Горяка).*

---

<sup>1</sup> Н. Воробьева (Горяка) — бывшая ученица 521 школы г. Москвы, где преподавал И. Я. Габай; окончила Ижевский механический институт. Работала инженером-конструктором на заводе. (Emeritus).

## ПОЭТ, УЧИТЕЛЬ, ПРАВЕДНИК.

Я не раз встречала это определение применительно к Илье Габаю в рассказах и воспоминаниях его друзей. И с этим нельзя не согласиться.

В Большом Энциклопедическом Словаре содержится запись:

Габай Илья Янкелевич (1935–1973). Русский поэт. Участвовал в правозащитном движении. В 1970 репрессирован, приговорен к трем годам заключения. При жизни не издавался. Сборники: «Посох» (1990), «Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания» (1990), «Выбранные места» (1994).

Илюша Габай был бескорыстен, бесконечно добр, отзывчив к чужому горю. Он никогда не лукавил и не изворачивался, отстаивал свои убеждения в любых обстоятельствах, даже под угрозой репрессий. Вместе с тем он был легко ранимым.

Таким он запечатлен на фотографии, которую знают все, кто держал в руках книгу его стихов, публицистики, писем и воспоминаний о нем, изданную в Иерусалиме. Таким его знали и мы — те, кто был с ним близко знаком в те давние годы. Такое впечатление, что человек взвалил на себя тяжелую ношу — ответственность перед людьми — и будет нести ее до конца. А конец у таких людей как правило трагический.

Я счастлива, что судьба подарила мне встречу с Ильей. Мы учились в одном институте — МГПИ им. Ленина — на одном факультете, историко-филологическом; Илья — на курс ниже. Я встречалась с ним в нашем общежитии на Усачёвке<sup>1</sup>. Там он читал свои стихи, там велись острые дискуссии по политическим вопросам. Само время (60-е годы 20-го столетия) толкало нас к осмыслению событий недавнего прошлого и настоящего. Илья всегда был в центре споров. Его суждения свидетельствовали о том, что к моменту поступления в институт он был уже сложившейся личностью, широко образованным человеком (едва ли не более, чем некоторые наши преподаватели), в то время как многие из нас еще проходили политический ликбез<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Усачёвка» — так студенты называли институтское общежитие Московского государственного педагогического института им. Ленина, где Илья Габай жил в 1958–1961 гг. Оно находилось на Усачевской улице в Москве, вблизи станции метро «Спортивная».

<sup>2</sup> Ликбез — ликвидация безграмотности — термин первых лет советской власти; появился в 1919 г., когда началась общегосударственная образовательная кампания по обучению первоначальному чтению всего взрослого неграмотного населения России.

Но всю свою короткую жизнь Илья оставался Поэтом. В институте я слышала немногие его стихи, но отдельные строки надолго оставались в памяти.... На стихах Ильи я прозревала. Потом пути наши разошлись. Все окончившие педагогический институт должны были послужить государству: поехать «по распределению» учительствовать в отдаленные и Богом забытые села и деревеньки нашей необъятной родины и проработать там три года. Ехали мы в такие уголки с удовольствием. Очевидно, у многих из нас была потомственная просветительская жилка. Так мы с мужем, Эриком Красновским, оказались в поселке со сказочным названием Ивашка, Юлик Ким — севернее нас, в Анапке, а две мои подруги, Рита и Наташа, — в центре Камчатки, поселке Мильково. Илюша, закончив институт годом позже, вместе с друзьями Лёней Зиманом и Владиком Прониным (сейчас уважаемые ученые-филологи) поехали учительствовать на Алтай. Деревня, где преподавал Илья, называлась Зеленая Роща. Наверно, живя в ней, можно было отдохнуть душой. Все трое друзей увлеклись преподаванием.

Мы с мужем вернулись с Камчатки в Москву годом раньше Илюши. Был 1961 год. В жизни моих друзей и будущих коллег, а также наших будущих подопечных произошло немаловажное событие: в Черёмушках<sup>3</sup> открылась школа-новостройка под номером 521... Директор Ингеров Вениамин Михайлович (...) решил брать на работу только интеллигентных учителей (...) В школе работало много талантливых и много молодых учителей. Молодым было у кого учиться.

На должность заместителя директора по воспитательной работе был назначен мой муж, Красновский Э.А. Но через год он вынужден был уйти из дневной школы: ему нужно было завершать работу над диссертацией. На свое место он порекомендовал приехавшего с Алтая Илью Габая. По директорским критериям вполне подходящая кандидатура. Интеллигентный? Безусловно. Не знал тогда Вениамин Михайлович, что такое истинная интеллигентность в наше время и чем она обернется для него.

Из всего круга обязанностей зам. директора по воспитательной работе Илюша выбрал то, что было ему ближе — преподавание. Правда, ему не достались старшие классы, но и своих подопечных ребят, — по-моему, это был 6 класс — он сумел увлечь серьезной литературой. Вообще учителем (а потом и классным руководителем) он был замечательным.

Театр! Илюша очень любил театр и хотел, чтобы его воспитанники полюбили его тоже. Поэтому, когда он получил первую зарплату, он

---

<sup>3</sup> Черёмушки — старая подмосковная деревня. С конца 50-х годов XX века — район Москвы.

на все деньги купил ребятам билеты в театр. А потом он ставил с ними удивительные спектакли. Самым ярким был спектакль по сказке К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Его смотрела вся школа, приходили и взрослые, друзья Ильи, друзья учителей и вообще «друзья друзей».

Время от времени Илья заменял в старших классах заболевшего учителя, будь то словесник или биолог, и тогда он отводил душу — читал стихи поэтов «Серебряного» века, которыми тогда увлекался.

Помню одну печальную историю, связанную со стихами. Илюша по моей просьбе принес томик Саши Черного. Я познакомила ребят с этим поэтом, не входившим в школьную программу, пришла в учительскую и положила все свои материалы на стол. Прозвенел звонок на урок, и в учительской остались те, у кого не было урока: Илья, Тимофей Георгиевич, учитель математики, и я. Поговорили о том, как дети воспринимают стихи. И вдруг обнаружили, что сборника стихов Саши Черного нет. Никогда я не забуду, как расстроился Илюша... Он лишился книги, которая ему была так дорога. От стыда за свою небрежность я была готова провалиться куда-нибудь в тар-тарары... Тимофей Георгиевич пытался помочь нам. Мы методично шаг за шагом обыскали учительскую — все столы, шкафы, полки и т. д. Нет, не нашли. Я дала себе слово найти у букинистов сборник стихов Саши Черного. И не выполнила обещания. В те годы эта книга была большой редкостью. А великодушный Илюша больше не напоминал мне о моей халатности.

В школе Илюшу любили все, вплоть до буфетчицы. Она с сочувствием смотрела на худющего Илью и старалась дать ему порцию чуть побольше. А Илюша все превращал в игру. «Слабó, — говорил он мне, — съесть сырыми три сосиски?» И тут же, получив их, съедал. Вообще, он любил спорить... «Слабó тебе!» — начинал он и потом предлагал держать пари на бутылку коньяка. Но денег у нас как правило не было, и никто из нас не получал и не отдавал проигранной бутылки. Разве что по особым праздникам. Однажды всем учительским коллективом мы что-то отмечали в ресторане. Знатоки выбрали ресторан «Узбекистан». Говорят, кухня там хорошая. И вправду, все было очень вкусно. Семь сэроков! И музыка была хорошая, зажигательная. Ух, как отплясывал Илюша, а вместе с ним и многие коллеги.

Но поводов для веселья становилось все меньше. Кончалась «оттепель»<sup>4</sup>. Не помню, что это было: политзанятие (многие уже не знают, что это такое) или педсовет. Но на этом сборище мы должны были высказаться, как правильно наш вождь, Н. С. Хрущев, руководит писателями и художниками. Я довольно робко высказалась о свободе творчества художника. Ильи на этом мероприятии не было. На следующий

---

<sup>4</sup> Так называли послесталинское время, конец 50-х — начало 60-х гг. XX в.

день он подошел ко мне и сказал: «Молодец! Если бы я там был, я бы поддержал тебя».

Мне кажется, что именно в это время и разговоры наши стали более серьезными. Иногда мы возвращались из школы вместе. Мы шли до метро пешком, и Илья рассказывал о себе, немного о своем детстве. Он родился в Баку. Илюша рано остался без матери, а когда ему исполнилось 10 лет, умер его отец.

Уже в раннем возрасте он был страстным книголюбом... Эта страсть к чтению была у него крови... И сейчас, работая в школе, он по-прежнему читал каждую свободную минуту. Его суждения о прочитанном были очень интересными, взгляды на классическую русскую литературу нетрадиционными, и мы, молодые словесники, (простите, коллеги, что я говорю — мы) учились у него. За ним надо было записывать, но, увы, мы так часто в своей жизни говорим: «Надо было...», но лишь немногие делают вовремя то, что надо.

Путь от школы до метро не был длинным. Но зимой, в сильные морозы, мне становилось холодно уже при одном взгляде на Илью, одетого в тоненькую куртку из болоньи, которая, по-моему, не только что не грела, но даже больше холодила. Он ежился от холода. А Галя, его жена, рассказала как-то, что М. Рошаль, увидев, в чем Илюша одет, подарила ему тулуп. Илья пришел домой, разговорился с лифтершей. Она пожаловалась на свою жизнь: дескать муж пьет, денег нет, дети голодные и раздетые. Илья снял тулуп и отдал его этой женщине. И мне сразу вспомнился еще один Галин рассказ, как на суде в Ташкенте (была холодная зима) один из конвоиров дал замерзшему Илюше шапку.

В 1965 году Илья участвует в демонстрации протеста против ареста писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Дниэля, а позднее — в демонстрации на Пушкинской площади. Демонстранты протестовали против только что введенной новой политической статьи No. 190. За участие в этой акции Илью арестовали, и он провел в Лефортовской тюрьме 4 месяца...

... От школы затребовали характеристику на Габая. Было заметно, что... директор школы этим озабочен. Тогда группа молодых учителей «атаковала» Ингерова, и в результате, поскольку среди «атакующих» были учителя, глубоко им уважаемые, он согласился дать Габаю хорошую характеристику, которую тот и заслужил. 1:0 в пользу Вениамина Михайловича!..

Прошло четыре месяца. Илью освободили, но работать в школе ему было запрещено...

Чужая боль всегда жила в его чутком сердце, и он вставал на сторону тех, кто оказывался жертвой несправедливости. Так, он помогал крымским татарам, боровшимся за поправленные права. Это и мно-

гое другое инкриминировалось Илье во время второго ареста в мае 1969 года. В январе 1970 года в Ташкенте, далеко от Москвы, состоялся суд. Очевидно, власти не хотели новой волны протеста в Москве. Илью осудили на три года...

Если читатель этих скромных воспоминаний захочет из уст Ильи услышать, чем руководствовался он в своей жизни, какой силой духа он обладал, прочитайте его заключительное слово (конспект) на суде....

В Москве в 521-ую школу поступило предписание свыше провести общее собрание всего коллектива и единодушно (такая была установка!) осудить врага советской власти Илью Габая. Может быть, теперь Ингеров раскаялся, что брал на работу интеллигентных учителей? Единодушного осуждения не получилось. Я в это время была в полеродовом отпуске и на собрании не присутствовала. Но приехавшие навещать меня коллеги рассказывали, как убедительно выступила замечательный учитель словесности Валерия Герлин.<sup>5</sup> Она старалась объяснить, что люди выходят на демонстрации, подписывают письма, в том числе и она сама, потому что не хотят повторения прошлого, не хотят новых репрессий (Валерия и члены ее семьи подвергались репрессиям), не хотят психушек, куда попадают те, кто не угоден властям, не хотят нового ГУЛАГа. Небольшая группа учителей проголосовала против подготовленного заранее текста осуждения, но, разумеется, он был принят. На этом и закончился, как мне представляется, период ренессанса<sup>6</sup> в одной отдельно взятой московской школе.

А Илюша отбывал свой срок... О нем шла молва как о чуде, у которого в чемодане были только книги. Писать стихи и письма друзьям он мог только после изнурительной тяжелой работы. Его письма из лагеря удивительны. Иногда кажется, что это он на свободе, а корреспондент — в неволе и ищет у Ильи поддержки.

В марте 1971 года он писал моему мужу, Эрнсту Красновскому: «...Читать детям Пушкина — занятие счастливое, которое оцениваешь, когда читать невозможно и скоро не предвидится. Я это к тому, что почувствовал, мне кажется, напрасную у тебя снисходительность к своим занятиям».

Да. Илья Габай по призванию своему был прежде всего Учитель и Поэт. Но тонкость душевной организации, свойственная Учителю и Поэту, и сильно развитое нравственное чувство привели его к борьбе за справедливость и к столкновениям с существующим режимом.

---

<sup>5</sup> Валерия Герлин (Айхенвальд) — см. выше.

<sup>6</sup> См. выше «оттепель».

Рассказ А. И. Солженицына «Матренин двор» имеет и другое название «Не стоит село без праведника». В словаре Ожегова мы читаем: «Праведник — это тот человек, кто в своих действиях руководствуется принципами справедливости, честности, не нарушает правил нравственности».

Не сто́йт... без праведника село, город, вся земля наша.

*Галина Евгеньевна Орлова (Красновская)<sup>7</sup>*

*27 октября 2010 г.*

---

<sup>7</sup> Орлова (Красновская) Галина Евгеньевна — институтский товарищ, коллега Ильи Габая.

---

## ЕЛЕНА СЕМЕКА

---

Это был серый московский осенний октябрьский день. Он должен был быть даже хорошим, этот день, так как накануне что-то получилось, а ведь долгие месяцы до этого ровным счетом ничего не получилось, и тянулась длинная полоса неприятностей и бесплодных усилий. Один из наших друзей получил разрешение эмигрировать, а у нас, наконец, приняли документы для рассмотрения по тому же поводу. В 11 часов утра зазвонил телефон... С тех пор прошло уже больше года, но до сих пор в ушах звучат слова, звучит голос моей подруги, такой знакомый и на этот раз такой странно звенящий: «Леночка, приезжай сейчас ко мне... Илюша выбросился из окна... Меня к нему не пускают».

Звук этого голоса, смысл слов не становятся воспоминанием, и боль от того, что случилось, не слабеет от времени, не подергивается дымкой былого и продолжает жить в нас, во всех, кто любил Илью, неизбывной болью.

Наш опыт — опыт трагический, и наша память — это память о той трагедии, которую пережили наши отцы и деды, которую переживали мы, а сейчас продолжают переживать «там» наши близкие и друзья, и которую предстоит пережить их детям и внукам. Для нас это не память истории, а настоящая живая боль: ведь то, что еще недавно было нашим настоящим, остается им и сегодня<sup>1</sup>. Оно могло бы стать нашим вчера, но не становится таковым именно потому, что оно сегодня остается страшной реальностью для всех людей одной шестой части земного шара и угрозой для всего человечества.

Для всех, кто знал Илью, а знали его очень многие, для всех, кто любил его, а не любить его было нельзя, память о его гибели — одна из самых трагических страниц этой памяти. И каждый из нас неоднократно и с пристрастием спрашивал себя: «Как это случилось? Сделали ли мы, друзья Ильи, сделал ли я все или хотя бы что-нибудь, чтобы не случилось этого страшного, чудовищного и непоправимого?» Мы бесконечно анализировали происшедшее, раскладывали события предшествующих лет на мельчайшие детали, интерпретировали смысл поступков и настроений, пытались реконструировать то, что, в силу не зависящих от нас обстоятельств, было скрыто от нас, чего мы не видели и о чем с нами никогда не говорил Илья. По отдельным, скупо обро-

---

<sup>1</sup> Воспоминания были написаны в 1974 г.

ненным фразам, намекам и полунамекам мы во время наших дневных и ночных бесед с Галей и другими друзьями пытались представить себе хоть сколько-нибудь достоверную картину того страшного, что возникло в жизнелюбивой и веселой душе нашего друга и привело его к гибели.

Сейчас, спустя больше, чем год, точно так же, как в те страшные первые дни, думая об Илье, вспоминая его, отдельные встречи и эпизоды нашей дружбы, я не могу вызвать в памяти одного человека. Образ двойится, настойчиво расщепляется, и я вижу двух людей, имеющих общее имя, общее прошлое, общую судьбу, но по существу внешне больше почти ничего общего между ними нет. Они отличаются один от другого не только основными чертами психического склада и характера, даже внешне они почти не похожи друг на друга. Между ними всего три года, но это люди разных поколений. Мальчишка в свои 33 года, веселый, остроумный, беззаботный во всем, что касается быта, с неукротимой жаждой жизни, всепобеждающей любовью к книге, науке, искусству, старающийся не пропустить ничего интересного, очаровательный собеседник, с подлинным вкусом к хорошему застолью и обществу слабого пола. Это один Илья Габай. Другой — 37-летний пожилой человек со скорбными морщинами на лбу, у глаз и вокруг рта, с непроходящей усталостью во всей фигуре и мукой на лице, которого не могла осветить появлявшаяся иногда вымученная улыбка; человек, при взгляде на которого сразу становилось очевидно, что его непрестанно терзает что-то очень серьезное, какая-то нездешняя печаль, что все, что он делает, он делает как-то по инерции, через силу; его утомляют даже компании милых сердцу друзей, человек, погруженный в какие-то мрачные картины недавнего прошлого и ведущий бесконечный диалог с его тенями.

Оба эти человека были нашим Илюшей.

Я говорю сейчас только о том внешнем, что тотчас же встает перед моими глазами, когда кто-нибудь или моя память произносят имя «Илья». Я знаю, что это не только мое субъективное впечатление. Один наш общий друг сказал мне, что, увидев Илью впервые после освобождения, не сразу узнал его.

Я слышала много хороших слов об Илье, когда еще его не знала. И наше первое заочное знакомство было связано с тем периодом короткого просвета, или «ренессанса», как его позднее назвали, когда многим казалось, что в обществе началось какое-то движение, когда некоторые люди, поверив в возможность перемен, почувствовав надежду, вдруг обнаружили в себе силы для первого морального протеста. Страхнув оцепенение десятилетий, заговорили о преступности безразличия, о долге, о чести, о нравственности, о свободе. Среди проснувшихся одним из первых был Илья. Было ли это случайностью,

вызванной внешними обстоятельствами? Нет. Для Ильи это было естественно и органично, ведь уже в ранних его стихах настойчиво звучит глубокая неприязнь к людскому безразличью, от которого и «повелись преступные дела». Его никогда не волновали собственная нелегкая судьба, собственная неустроенность и невзгоды, которые он и невзгодами-то отказывался считать, называя их «глупостями забот», «мельчащими» человеческие «усилья». В его чутком сердце постоянно жила тревога и боль за судьбы других, близких и не близких ему людей, «чужая боль, чужого сердца крик». Он не отворачивался от этой чужой боли, не стремился уйти от нее в свое личное, и его слова «Но я хотел бы, чтобы боль чужая жила во мне щемящей сердце болью» не были словами чисто поэтического вдохновения или литературным образом. Они были его единственной правдой, не рожденным из головы мировоззрением, а плотью и кровью всего его существа.

Многие, близко знавшие Илью, часто говорят, что он весь в своих стихах. Это правда. И все, кто прочтут в этой книге его стихи, услышат многократно повторенный крик его души, откликающийся на чужую боль и протестующий против лжи в большом и малом.

Есть честный страх: в текучке лживой,  
В такой-то месяц, час, число  
Вдруг променять на живость слов  
Живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,  
Лихим в литье аллитераций  
Куда как проще, чем пробраться  
К людскому лиху, чем отдаться,  
Чем сжить себя в людской беде.

С этими мыслями Илья выходит на демонстрацию, после которой его арестовывают в первый раз. С этого момента имя его стало известно многим, круг друзей расширился. Тогда же и я впервые о нем услышала, восхитилась мужеством его и его товарищей, огорчилась их арестом. Знакомство это было не только заочным, но и предельно абстрактным, в нем виделась только сильная и близкая мне личность. Зимой 1968 года нам довелось познакомиться, Илья был принят на временную работу в библиотеку нашего института, сразу же осветив все вокруг обаянием своей личности, своим умом, неиссякаемым юмором с чуть-чуть грустным еврейским оттенком, прозрачной чистотой мыслей и сердца, которую чувствовал каждый, кто хоть однажды встретился с ним глазами. Мне кажется, все, кто знал его и в ком была хотя бы крупинка живой души, не только любили его, все были немного

в него влюблены. Он был безразличен, однако, всем тем, кого отталкивала в людях чистота и полнейшее, переходящее все границы возможного, отсутствие интереса к так называемой карьере и личному материальному благополучию. Они, поднявшиеся по нескольким ступеням советской социальной лестницы, лишь досадливо отбрасывали с поля своего зрения человека, для которого деньги имели лишь тот смысл, что на них можно было купить книги или угостить друзей, а вещи, — чтобы в нужный момент одеть раздетого. В этот период, хотя за спиной уже был недолгий, но все же арест, а жизнь — нескончаемый ежедневный риск, это был озорной и веселый человек, жадный до жизни и всех ее культурных событий, страстный и в то же время мягкий, добрый и тонкий в понимании человеческих отношений. Я помню, как осенью 1968 года мой 15-летний сын вернулся из своей первой в жизни археологической экспедиции. Он был до предела переполнен разными впечатлениями: первый раз все лето без близких, жизнь в палатках, экспедиционная работа и романтика. Физиономия и глаза его сияли. Когда же я, несмотря на очевидность его ощущений, все же спросила, доволен ли он, он, сияя, ответил торопливо: «Да, да! Все было замечательно. Но Габайчик!.. Что это за умница, что за чудо человек, я полюбил его бесконечно!» Потом он долгие вечера рассказывал дома, как текла жизнь в экспедиции, как вся она концентрировалась вокруг Ильи, как он был тепл, внимателен и сердечен с ними, подростками. Любовь Ильи к детям и подросткам была, пожалуй, едва ли не самым отличительным свойством его натуры, натуры человека, который пришел в этот мир, чтобы учить детей и писать стихи, и которому ни того, ни другого не давали делать. Как точно передают силу этой привязанности его стихи, написанные в какой-то трудный момент его жизни:

Был год. Был подлый жесткий год,  
 .....  
 Когда б не воробы и дети<sup>2</sup>,  
 Он все б на свете зачеркнул...

И дети платили ему такой же ответной любовью и преданностью, чувствуя, что он их любит, уважает, считает себе равными. Дети, кроме того, точно, как никто другой, реагировали на столь близкую детскую чистоту его души. Список детей, поклонявшихся Илье, от маленьких детишек его друзей до его школьных учеников, мог бы составить специальный раздел этой книги. Мы его приводить не станем, но, может быть, читатель почувствует, о чем нам хотелось сказать, прочтя его письма из тюрьмы и лагеря к своему маленькому сыну.

<sup>2</sup> Курсив Е. Семека.

Обычно и, может быть, естественно, когда говорят или пишут об Илье, говорят о его роли в демократическом движении России прошедших лет. Она на самом деле была не только весьма существенной и значительной, но и совсем особой. Илья ни в малейшей степени не был просто функционером, он был подлинной совестью этого движения, фокусом его этической и нравственной стороны. И именно поэтому так терзали его серые мыши и после освобождения, уже измученного до предела и беспредельно подавленного и тем, что он испытал и увидел там, «за чертой», и тем, что происходило вокруг него на воле. Они продолжали терзать его, надеясь сломить и вырвать у истерзанного человека отречение от самого себя. Илья сам не понимал причины этой продолжающейся на него атаки. «Ведь я, — говорил и думал он, — больше ничего не делаю, не в силах ничего делать, что же им до меня?» На самом деле власти боялись его больше, чем многих диссидентов, продолжавших действовать активно, именно потому, что в них всегда жил и живет панический страх перед нравственной чистотой, перед тихим, без громких фраз и поз, человеческим достоинством и мужеством. И, зная за собой этот страх, эти сверхчеловеки и безраздельные хозяева миллионов чужих человеческих судеб мстят отчаянно и безжалостно тем, кто в них этот страх вселяет. Что другое заставило цензора «Мастера и Маргариты» Булгакова вычеркнуть из книги предсмертные слова Христа о том, что самым страшным человеческим пороком является трусость? Чтобы избавиться от этого страха, внушаемого нравственным величием, эти «люди» должны уничтожить носителя нравственности, если не физически, то хотя бы морально. Впрочем, теперь они пришли к выводу, что последнее даже лучше: ведь морально растоптав человека, сделав его себе подобным, они могут спать спокойно, думая, что все люди одинаковы, всеми руководит страх и стремление сохранить свою шкуру и что они не хуже других, а то и лучше: так так сумели не только сохранить ее, но и выгодно продать.

Если читали они стихи Ильи, которые неоднократно уносили с собой, как воровскую добычу, обшарив его незатейливое жилище, единственным богатством которого были книги, если они их читали, то сколько бы ни прятались они за своей звериной носорожьей толстокожестью, не могли не понять, что к ним и ко всем им подобным были обращены слова Ильи, в которых он настойчиво и твердо говорил свое «нет» их страшному миру:

Но лучше акриды, чем трусость и стыд.  
И лучше пустыня, чем участь ублюдков.

Илья уже никогда не вернулся к преподаванию, к любимому делу, к детям, поколения которых мог бы научить он не только тому, как по-

нимать и чувствовать, как любить литературу и родной язык, а что гораздо важнее, как сделаться людьми и как ими остаться, как выстоять в нечеловеческих условиях. Стихи писать было трудно, жизнь не давала сосредоточиться, не позволяла человеку с таким сердцем уединиться в тиши кабинета. Вся логика его натуры гнала его на площадь, к пишущей машинке, которая была в те годы нашим главным оружием; он говорил, спорил, доказывал и другим, и самому себе необходимость действовать и бороться. Бороться за свое человеческое достоинство, за право дышать и говорить правду... Ну а стихи? Ведь это же главное в жизни? Что ж, стихи потом, ведь стихи не пишутся и не живут без воздуха и правды.

Илья пишет:

Я понял: есть предельная черта.  
За ней нельзя нелепость и неправду  
Встречать опять ужимками шута.

Уйти от борьбы — значит предать все, что обладает подлинным непреходящим смыслом, предать самого себя:

Но нет пути: стерпеть иль не стерпеть —  
Как выбор меж пилатством и кошунством.

Илью лишают работы, преследуют, травят и, наконец, арестовывают вторично. Я помню майский вечер накануне<sup>3</sup> его ареста, когда несколько близких друзей пришли к нему домой на Новолесную улицу повидать его и Галю, попить вместе чаю и поговорить о множестве волновавших нас вопросов. Илья был необычайно рад нашему приходу, вечер был уютный и тихий, но по странной случайности он то и дело уводил нас к теме ареста. Илья рассказывал о своих ощущениях во время своего первого сидения, о том, как тяжело оказывается человеку одиночество, как особенно остро он почувствовал свою отрезанность от мира, свое «сиротство», когда наступила весна. Ему вторил его друг Володя Тельников, имевший за плечами аналогичный, но более длительный опыт. Мы уходили от этой темы и потом вдруг неожиданно обнаруживали, что снова вернулись к ней же. Илья сказал то, что потом мне вспоминалось все три года его заключения. Он сказал, что весь этот день он видел за собой слежку агентов КГБ. Они ходили за ним повсюду, по улицам и книжным магазинам, провожали до дому. «Я думал, как это было бы грустно, если бы меня арестовали сегодня, ведь мы не увиделись бы тогда. Уж если это должно случиться,

---

<sup>3</sup>Илья был арестован 19 мая 1969 г.

то пусть случится не сегодня, а завтра». Нам было тревожно, и не хотелось уходить. Мы разошлись только в 2 часа ночи. А на следующий день это случилось, и, когда я, вызванная по телефону, прибежала туда, где вчера вечером наш веселый и обаятельный хозяин согревал все вокруг своим теплом, на столе лежали его часы и ремень, да в ванной висели домашние брюки — у него уже был опыт, и он знал, что можно и чего нельзя заключенному. И если у друзей и близких еще могли оставаться какие-то сомнения относительно случившегося, — ведь его увезли без предъявления постановления на арест, — то он-то сам знал определенно: это арест и ничто другое; об этом говорили снятые с себя и оставленные им на столе вещи.

Затем был издевательский «шаманский срам Шемякина суда», приговор, тюрьма, лагерь и опять тюрьма. Помещенный в среду уголовников, «в кругу своих товарищей постылых», обворованный в этапе (а он писал лишь: «Поражает повальное отсутствие бескорыстия»), всегда голодный, замерзающий на тяжелой работе, почти слепой от того, что на сильном морозе запотевали очки, Илья, удрученный, но не сломленный, продолжал читать, осмысливать прочитанное, всегда интересно и по-своему, продолжал писать всегда бодрые, чудесные письма к друзьям и родным. К сожалению, читатель сможет прочесть в этой книге только часть их. К концу лагерного срока он был измотан физически, но по-прежнему так же ясен и светел душой.

Несомненно, его постоянно терзал разрыв между долгом гипертрофированной совести и невозможностью заняться единственным и любимым делом жизни. Иногда его мучают сомнения или, как он говорит, «тревога», в правильности выбора, сделавшего надолго, если не навсегда, невозможным реализовать себя в своем призвании. Он с болью говорит «о замыслах рассыпанных поэм» и с тоской мечтает о тихом месте со стеллажами книг и пластинок, о письменном столе при свете настольной лампы:

Я, знаете ль, не против горных рек —  
Свободная и гордая стихея —  
Но мне Ока милее Енисея,  
И, в сущности, я тихий человек.

Так писал о себе Илья, и это было глубокое и искреннее признание, это была правда. Он боялся громких слов, ему претила роль «героя на миру», роль псевдомученика и кликуши. Он искренне считал себя маленьким человеком, не способным на подвиг. На самом деле он и был подлинным мучеником и подлинным героем, вся жизнь которого и была образцом самого высокого нравственного человеческого подвига.

Он писал мне в письмах из лагеря, что здесь, «почти у рубежей небытия», как он назвал свой плен, он находит утешение и отдых в тех книгах, в которых так много и так просто, без модернистских сложностей и иллюзий говорится о простых человеческих чувствах: любви, доброте, преданности, а потому читает с увлечением Диккенса. Об этом же есть строка в его лагерной поэме: «Если вы хотите обрести утраченную человечность, читайте Диккенса». К той же мысли, к тем же ощущениям сводились наши споры о модных тогда в Москве театрах «Современнике» и «Театре на Таганке». Илья не любил «Театр на Таганке» именно за то, что, как ему представлялось, за всеми модернистскими фокусами, за внешней оригинальностью и броскостью тонули эти, самые важные для него, простые и подлинные человеческие чувства. И даже среди лагерного ада, среди дна человеческого он доверчиво ищет людей, достойных сострадания и помощи, он щедро дарит их своей дружбой. Одни платили ему тем же, другие грубо предавали лагерному начальству. А Илья благодарил судьбу за «сопричастность судьбам». Человек этот прощал другим все, себе — ничего. Никогда никого не осуждал, твердо веря, что «злость не правдолюбец и не пастырь». Его гипертрофированная совесть нередко приводила к тому, что он винил себя даже в том, в чем никогда и никак не был виноват. И, если репрессиям подвергался человек, подписавший письмо, он терзал себя за то, что вовремя не отговорил его от этого шага. Именно себя он чувствовал ответственным за несчастья или неприятности других. В нем постоянно жило и росло недовольство собой, он судил себя безжалостным судом, он как будто бы не знал и не хотел знать, как легко люди прощают себе все, не прощая при этом ничего ближнему. Он писал: «Не дай вам Бог — прощать себе грехи». Получался эффект, обратный столь распространенной формуле «согреши и покайся», то есть человек мучился своим кажущимся несовершенством, клял себя за «грехи», раскаивался в них, но покаянием не снимал их с души. Отсюда — все растущее недовольство собой, своим несовершенством. При этом его коробило, когда он слышал, как легко люди осуждают друг друга, как легко ставят другим в вину то, что с такой же легкостью прощают себе. Он до последней точки старался не осудить даже то, что уже с несомненностью предстало как худшее из возможных и подлых предательств. Когда же не осталось больше сил прощать, он вынес суд в своей душе и, осудив, отшатнулся от самого себя, потому что, чувствуя, что теряет веру в людей, в друзей, в человека, теряет себя, свою цельность, свое единство с миром. Ведь еще недавно, в лагере, он писал, что не верит в «существование нелюдей и в возможность недружб», что не верит в то, «что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого». Мне кажется, что многие из этих мыслей и ощущений были для Ильи роковыми,

они толкали его к гибели, внушая ему, что единственно возможный выход — пожертвовать собой.

Конечно, продолжающиеся вызовы в КГБ, посулы и уговоры продать свою совесть и покончить со своей внутренней свободой, угрозы самому существованию его и всей его семьи — все это довершило трагедию и привело к страшной гибели самого светлого и самого чистого нашего друга. Но, думается, что «они» не смогли бы убить его, если бы не страшный для Ильи конфликт, страшный разлад со своей средой, со всем, что составляло его мир.

Трудно было писать эти коротенькие воспоминания, чудовищно тяжело было день за днем перебирать в памяти трагические события этих страшных лет, но еще труднее поставить точку и сказать себе, что друга нашего на самом деле уже больше года нет с нами и не будет на этой земле вовеки.

Как много можно сказать о таком человеке, и как мало пока еще сказано.

И все же, мне кажется, что портрет нашего друга был бы неполным и слишком упрощенным, если бы мы остановились здесь, не сделав попытки заглянуть глубже еще и в другие свои ощущения, которые, собственно, нельзя подтвердить конкретными фактами или словами и которые есть только личные ощущения, рожденные из попытки понять глубины страшного психологического конфликта. Мне кажется, что Илья по всем своим пристрастиям и антипатиям, по всему складу своей души не был ни сыном своего времени, ни человеком будущего, недооцененным или непонятым современниками именно оттого, что ушел вперед. Он был, на мой взгляд, скорее человеком ушедшего XIX века, самозабвенно любившим этот золотой век России и всех, кто жил и творил в то время. Илья был традиционалистом в самом лучшем смысле этого слова. Он фантастически знал всю русскую литературу от ее истоков до наших дней, но душой был целиком привержен именно ее лучшим классическим образцам. В экспедиции он часами читал наизусть стихи и просил своих друзей-подростков почитать то, что они знали и любили. С улыбкой он сказал моему сыну, когда тот прочел ему свои любимые стихи Пастернака, Цветаевой, Ахматовой: «Я вижу, что ты любишь поэзию и что ты типичный интеллигентный ребенок наших дней, а вот посмотрим, дружок, знаешь ли ты так же хорошо Пушкина». Конечно, и Пастернак, и Цветаева, и Ахматова были тоже его любимыми поэтами, но Пушкин оставался на вершине и, как мне кажется, не только как поэт, но и как личность, бесконечно близкая по духу, как брат, как близкий друг, как современник. И так легко представить себе Илью среди друзей великого поэта, страстно спорящим об искусстве, которое для него было самой жизнью; сродни этим лучшим людям России был и живой интерес его к классической

философии и истории, его представление о морали и этике, его понимание дружбы, которую он называл в своих стихах ушедшим из употребления, столь характерным для пушкинского времени, словом «дружество».

Я верю в поруку людскую!  
Я шел к этой вере! Сквозь мысли, сквозь годы!

В самые трудные моменты, там, где он видел такие бездны человеческого падения, в которые, как он сам скупно говорил, человеку вообще не должно заглядывать, когда было «так худо», когда «не было сил», Илья, «далекий и в узде», в «сомкнутом и сдавленном кольце», в той «кромешной ночи» ищет «лица родные» и видит единственную возможность не погибнуть и выстоять в том, чтобы «...бессловно приклониться к товарищам по перьям и пирам»:

Я б навсегда укрылся, если б смог,  
(как в старину сказали бы: под сенью)  
в такую малость, в сущности, — в письмо  
от друга — кроме — в чем мое спасенье?

Какой пламенной верой звучат его слова:

Там, под пятой воинственных систем,  
В проверке человечности и мужеств,  
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:  
Вы дружества не предали. Ничем.

Настоящим гимном этому дружеству звучит отрывок «Что унываешь ты, душа моя?» из лагерной поэмы.

Однако, уже угадывая начавшийся распад среды и как бы предчувствуя грядущее предательство, Илья писал:

Пускай звучит по-эллински: элита!  
Пускай элита круг свой сбережет!

И совсем пророчески звучит несколько раз повторенный крик в поэме «Книга Иова», одна из частей которой посвящена Петру Якиру: «Не предавай меня, Иов!»

И эта святая его вера была предана и растоптана самыми его близкими и сокровенными друзьями. Этот удар был последним и сокрушительным. От него он оправиться не смог. Он ушел, отделив, таким образом, себя, свое светлое имя от тех, с кем в силу обстоятельств, време-

ни и места был так тесно связан, от тех, кто не вынес ниспосланных испытаний и запятнал себя навеки несмываемой грязью предательства.

И пусть для всех нас всегда звучит вовеки нетленным, написанный еще в заключении, но продолжающий звучать всей силой из небытия призыв к тем, кто знал и любил его:

Когда-нибудь при яркой вспышке дня

Грядущее мое осветит кредо:

Я в человеках тож: я вас не предал

Ничем.

Друзья, молитесь за меня!

Последний суд



---

# ПОСЛЕДНИЙ СУД

---

## ЖАЛОБА<sup>1</sup> (В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА) ПО ДЕЛУ И. Я. ГАБАЯ

*Председателю Верховного суда СССР <...>  
на приговор судебной коллегии по уголовным делам  
Ташкентского городского суда от 19.01.70 г.  
и на определение Судебной коллегии по уголовным делам  
Верховного суда Узбекской ССР от 16.03.70 г.*

Указанным выше приговором Габай И.Я., 1935 г. рождения, был осужден по ст. 190–1 УК РСФСР к лишению свободы сроком на три года. Определением Верховного суда Узбекской ССР от 16.03.70 г. кассационные жалобы Габая и его адвоката были отклонены и приговор оставлен в силе.

Габай И. Я. полностью отбыл наказание и в мае 1972 года вернулся к семье в Москву. Однако здесь он столкнулся с невозможностью жить полноценной жизнью, а именно: устроиться работать по специальности в соответствии с полученным образованием, участвовать в общественном правозащитном движении, за что фактически он и был осужден, публиковать свои поэтические произведения, которые он начал писать еще в школьные годы и продолжал до конца жизни. Все это вместе с глубокой психологической травмой, полученной от пребывания в ИТК в абсолютно чуждом ему мире уголовников, привело к глубокой депрессии, вследствие которой Габай И. Я. 20 октября 1973 г. покончил жизнь самоубийством.

Габай И.Я. рано потерял родителей, у него не осталось близких родственников в СССР. Его вдова с сыном и дочерью эмигрировали в 1974 г. в США и живут там. Мы, близкие друзья Габая И. Я., знали его как человека, безусловно не способного ко лжи и клевете. Он был убежденным гуманистом, что привело его к публицистической деятельности в защиту демократических принципов в СССР, в которой сейчас никто не усмотрел бы криминала. Мы убеждены, что преследовался он и был осужден необоснованно. Наше убеждение основано на имею-

---

<sup>1</sup> Жалоба в порядке надзора была подана 22 февраля 1989 г.

щихся у нас материалах — выписках из дела, записях, сделанных на судебном заседании, копиях обвинительного заключения, кассационного определения, текста последнего слова Габая. Эти копии и записи не заверены и поэтому не являются официальными документами. Но, опираясь на подтверждения свидетелей — участников процесса (Габай Г. В., Милошевича В. А., Кима Ю. Ч., Бaeвой Т. А.), данные ими еще во время пребывания Габая И. Я. в заключении, мы не сомневаемся в том, что имеющиеся у нас материалы соответствуют действительности, и на них основываем свою жалобу.

Уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает ни срока подачи надзорной жалобы на обвинительный приговор, ни круга лиц, имеющих право обращаться с просьбами о пересмотре дела в порядке надзора.

Поэтому мы, группа друзей Ильи Габая, считая его осуждение неправильным, обращаемся к вам с просьбой об истребовании доводов и о принесении протеста на приговор суда и определение Верховного суда Узб. ССР на предмет их отмены и прекращения дела производством за отсутствием в действиях Габая состава преступления.

Мы стремимся к посмертной реабилитации Ильи Габая, к возвращению нашему обществу имени еще одного поэта и правозащитника, к публикации его стихов и воспоминаний о нем близких друзей. Считаем безвременно погибшего Илью Габая жертвой извращений государственных и социальных принципов демократии, гласности и законности в годы брежневского застоя.

При проверке материалов дела Габая необходимо обратить внимание на следующие нарушения, допущенные в предварительном следствии и на суде:

I. Габай постоянно жил и работал в Москве, и все вменяемые ему приговором действия он совершил в Москве. И осужден он по УК РСФСР, а не Узбекистана. Тем не менее следствие по его делу велось в Ташкенте, куда он был переведен после ареста в Москве, и там он был осужден Ташкентским городским судом.

Сначала утверждалось, что в Ташкенте надо вести дело по месту жительства второго обвиняемого, Джемилева. Позже, 13 июня 1969 г. дело Джемилева было выделено в особое производство. 10 сентября 1969 г. дела Габая и Джемилева вновь были объединены. Все свидетели по делу Габая допрашивались в Москве, и все четыре свидетеля, допрошенные в суде по эпизодам, вменяемым Габаю, были вызваны из Москвы.

Таким образом, явно просматривается нарушение территориальной подследственности и подсудности.

II. Были нарушены установленные законом сроки ведения следствия: вместо четырех месяцев Габай пробыл под стражей до начала суда восемь месяцев — с 19 мая 1969 г. по 12 января 1970 г. Для прикрытия нарушения закона следователь Березовский имитировал бурную деятельность, собрав 20 (!) томов дела. В то же время, согласно постановлению следователя Березовского от 6. X. 69 г. «О признании по делу доказательств», по всем эпизодам, вменяемым и Габаю, и Джемилеву, вещественными доказательствами признаны только 32 документа, которые не составляют и одного тома. Почти все 20 томов заполнены материалами («документами») по эпизодам, никому не вменяемым и не имеющим никакого отношения к обвиняемым Габаю и Джемилеву. Приведем только три примера:

а) том II целиком (405 листов) заполнен сборником материалов по делу Гинзбурга, Галанскова и др., составленным П. Литвиновым. Ни «изготовление», ни распространение этого сборника ни Габаю, ни Джемилеву не вменялось;

б) том XI — это «машинописный экземпляр книги без заглавия и указания автора». Что это за книга, какое она имеет значение для дела — неизвестно;

в) том VIII содержит в себе 7156 подписей крымских татар (348 листов!). Ни сбор, ни распространение этих подписей ни Габаю, ни Джемилеву в вину не вменялось.

Разумеется, эти три тома в суде не только не исследовались, но и не открывались. Как, впрочем, не исследовались и многочисленные «документы», содержащиеся в других томах и не имеющие никакого отношения к делу.

III. Производился отбор публики, пропускаемой в зал суда, в том числе чинились препятствия родственникам и друзьям подсудимых. Таким образом, был явно нарушен принцип гласности, тем более, что председатель суда Писаренко неоднократно запрещал вести записи и позволял конвоирам вмешиваться в ход процесса возгласами типа: «Товарищ судья, вот этот записывает!»

IV. Явное нарушение процессуального закона было допущено при решении вопросов об отводе прокурора Бочарова и народного заседателя Усмановой.

В начале судебного процесса Джемилев и Габай заявили отвод прокурору Бочарову, так как он упоминается в документах, вменяемых обвиняемым, как участник разгона праздничного гуляния в Чирчике и, следовательно, является свидетелем по делу. Прокурор заявил суду, что он не участвовал в чирчикских событиях, а был там только очевидцем. И после этого суд отклонил заявленный прокурору отвод.

В дополнениях к судебному следствию Джемилев заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля народного заседателя Усмановой, так как она в 1966 г. была народным заседателем по его делу и может подтвердить, что «Последнее слово» Джемилева, которое вменяется Джемилеву как «клеветнический документ», изготовленный в период отбытия наказания, действительно было произнесено им в суде в 1966 г.

После разъяснения адвоката Джемилев заявил отвод народному заседателю Усмановой. И этот отвод был отклонен.

V. Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Каминской Д. И. (адвоката Габая), самого Габая и Джемилева, заявленное в заседании 15 января 1970 г., о вызове свидетелем Григоренко П. Г., несмотря на то, что на начальном этапе следствие по делам Габая, Джемилева и Григоренко велось совместно и что в списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, подписанном следователем Березовским, был указан в числе свидетелей Григоренко П. Г. Препятствий для вызова Григоренко, содержащегося в то время под стражей, не было.

Однако главным доводом обжалования приговора является явное отсутствие состава преступления в действиях Габая Ильи Янкелевича.

По действующей редакции ст. 190–1 УК РСФСР обязательными элементами состава преступления являются:

а) ложность излагаемых (распространяемых) сведений, то есть несоответствие действительности тех событий, которые в «Измышлениях» выдаются за факты;

б) заведомое осознание обвиняемым (подсудимым) этой ложности.

Субъективная оценка тех или иных событий (фактов), в действительности имевших место, то есть оценочные суждения, основанные на личных убеждениях, могут быть правильными или неправильными, но не могут быть признаны заведомо ложными, то есть клеветой;

в) ложные измышления должны порочить не отдельных лиц (в том числе и руководителей государства), не отдельные ведомства или органы власти, а государственный и общественный строй как таковой.

Исходя из этих бесспорных правовых положений, следствие должно было собрать доказательства того, что Габай заведомо лживо порочил советский строй.

Вместо этого следователь набивал тома не имеющими отношения к делу материалами, допрашивал обвиняемых и свидетелей только для установления: когда, где, кем составлен тот или иной документ, на какой машинке напечатан, кем и каким образом распространен.

Одновременно следователь, а затем и суд, выясняли воззрения, мнения, убеждения не только обвиняемых, но и свидетелей.

Криминальный же, клеветнический характер вменяемых обвиняемым документов просто резюмировался. Возьмем несколько примеров.

1) Габаю вменено составление и распространение документов с протестами против разгона милицией и сотрудниками КГБ праздничного гуляния крымских татар в г. Чирчике 21 апреля 1968 г. В этих документах говорится о том, что тысячи граждан, в большинстве женщины и дети, собравшиеся на свой национальный праздник «Дервиза», приуроченный к дню рождения В. И. Ленина, подверглись нападению солдат и милиционеров, были избиты, обливались из пожарных машин щелочной жидкостью.

Габай, так же, как Джемилев (как и тысячи других людей), именовали это событие произволом и беззаконием. Прокурор Бочаров (упомянутый в «клеветнических» документах как один из руководителей этой операции и сам в суде заявивший, что он был «очевидцем» чирчикских событий) в суде утверждал, что милиция не разгоняла мирных татар, а наводила общественный порядок, нарушенный лицами татарской национальности.

Как видно, оценка событий разная. Но самый факт события ни следствие, ни даже суд не пытались опровергнуть.

2) Габаю вменены в вину документы, содержащие протест против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г.

Факт неоспорим, и документы, составленные Габаем, не содержат «ложных измышлений». Официальные власти и официальная печать оценивали ввод войск как братскую помощь чехословацкому народу. Габай был твердо убежден, что это нарушение суверенитета Чехословакии и оккупация. Опять то же: судили Габая не за заведомо ложные измышления, а за оценку действительно имевших место событий, основанную на личном убеждении. Такая оценка, повторяем, не может быть признана заведомо ложной.

Надо добавить, что убеждения Габая и его оценку разделяли лица, совместно с ним подписавшие документы, но не привлекавшиеся за это к уголовной ответственности, и, кроме того, многие лица в нашей стране, не высказывавшие открыто своих мнений. Подобные взгляды открыто выразили представители французской, итальянской и некоторых других зарубежных коммунистических партий. В наше время близкие оценки появляются в печати (см., например, 35 газеты «Московские новости» за 1988 г.).

3) Габаю вменен в вину ряд документов, содержащих протесты против репрессий времен брежневского застоя, которые Габай считал возрождением сталинизма, против судебных преследований инакомыслящих, против приговоров, которые Габай считал неправосудными.

Между тем все эти документы были основаны на широко известных фактах и содержали критику судебной практики по этим делам, а все не заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй.

Мы думаем, что нет необходимости подробно анализировать в данной жалобе каждый из семнадцати вмененных приговором документов. Достаточно сказать, что ни по одному из этих документов не добыто ни одного доказательства лживости, измышлений, клеветы.

В течение шести дней судебного процесса Габай и его адвокат (так же, как и второй подсудимый Джемилев) пытались добиться, чтобы суд занялся рассмотрением существа дела: есть ли в документе лживые измышления, являлись ли эти измышления заведомой ложью, порочили ли они советский государственный и общественный строй. Все эти попытки были тщетны, и Габай, (так же, как и Джемилев) был осужден при полном и вопиющем отсутствии доказательств того, что в его действиях есть состав преступления, предусмотренного ст. 190–1 УК РСФСР.

Изложенные выше доводы и явная несправедливость судебной репрессии, допущенной в отношении Габая и приведшей к трагическому самоубийству честного, правдивого, чуткого к несправедливости человека, заставляют нас поднять голос в защиту его имени. Мы просим об отмене приговора и о прекращении дела производством за отсутствием в действиях Габая состава преступления, то есть о посмертной его реабилитации.

Кроме не заверенных копий приговора и определения (заверенные получить не имеем возможности) мы прилагаем имеющийся у нас текст последнего слова Габая И. Я. в суде. Этот текст был нами получен от него, и мы уверены в его подлинности.

Из последнего слова в суде неправосудность приговора видна ярче и безоговорочнее, чем из нашей жалобы. Это последнее слово сам Илья Габай уже не может предать широкой гласности. Он ушел из жизни до того, как наступила эра перестройки, эра нового мышления.

Мустафа Джемилев жив и на свободе. Мы не имеем от него полномочий подавать жалобу от его имени. Но мы надеемся, что при рассмотрении дела в отношении Габая в порядке надзора будет решен и вопрос о реабилитации Джемилева.

Прилагаем заверенные копии:

1. Приговора,
2. Определения,
3. Текст последнего слова Габая.

**Верховный суд Узбекской ССР**

10.07.89 г.  
№.4-190-89

гр-нам Харитонову М. С. (адрес)  
Гиляровой Е. Н. (адрес)  
Калистратовой С. В. (адрес)

Сообщаю, что по Вашей жалобе в порядке надзора было изучено уголовное дело и внесен протест в президиум Верховного суда УзССР на предмет отмены обвинительного приговора Ташкентского городского суда республики от 16 марта 1970 года в отношении Габая Ильи Янкелевича, осужденного по ст. 190–1 УК РСФСР и лишения свободы на три года.

Президиум постановлением от 30.06.89 г. удовлетворил протест и дело в отношении Габая И. Я. производством прекратил ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Как указал в постановлении президиум, уголовная ответственность по ст. 190–1 УК РСФСР может иметь место только в том случае, когда виновный сознает, что изготовленные им произведения содержат заведомо ложные измышления, порочащие государственный строй. Однако, в материалах уголовного дела такие данные отсутствуют.

Утверждение Габая о том, что он был убежден в правильности тех оценок, которые содержатся в вмененных ему в вину документах — ничем не опровергнуто.

Ошибочная же оценка определенных событий, в действительности имевших место и явившаяся результатом личного восприятия, не может быть признана клеветнической, то есть заведомо ложной.

Председатель Верховного суда  
Узбекской ССР

Б. М. Маликов



# Фотографии





Отец Ильи Габая — Яков Ихильевич Габай  
(1887–1946)



Дора Марковна Ридер-Габай — мать Ильи Габая



Сима и Миля Габай.  
Баку, 1937 г.



*«Мы с сестрой читали при свете керосинки» — Илья Габай.*  
Илья Габай с сестрой Симой.  
1942 г.



После смерти отца.  
Сима и Илюша. 1946 г.



Остатки родительского дома Ильи Габая, где он жил  
в раннем детстве до переезда в семью дяди.  
*Снимок сделан в январе 1974 г.*



Начальная школа в Баку, где учился Илья Габай.  
*Слева направо: Алеша Габай, Галина Габай,  
Марк Харитонов, Юлий Ким.  
Январь 1974 г.*



Крайний справа в нижнем ряду —любимый  
двоюродный брат Миша.  
*«Он баюкал моё детство» — Илья Габай*



Илья и Сима.  
*Москва, август 1950 г.*



Сима Яковлевна Габай —  
сестра И. Я. Габая. 1974 г.



*С сестрой Симой. г. Орджоникидзе, декабрь 1954 г.*



*В армии. 1956 г.*



Военный лагерь Самашки. *Июнь 1955 г.*



Студент 1-го курса МГПИ.

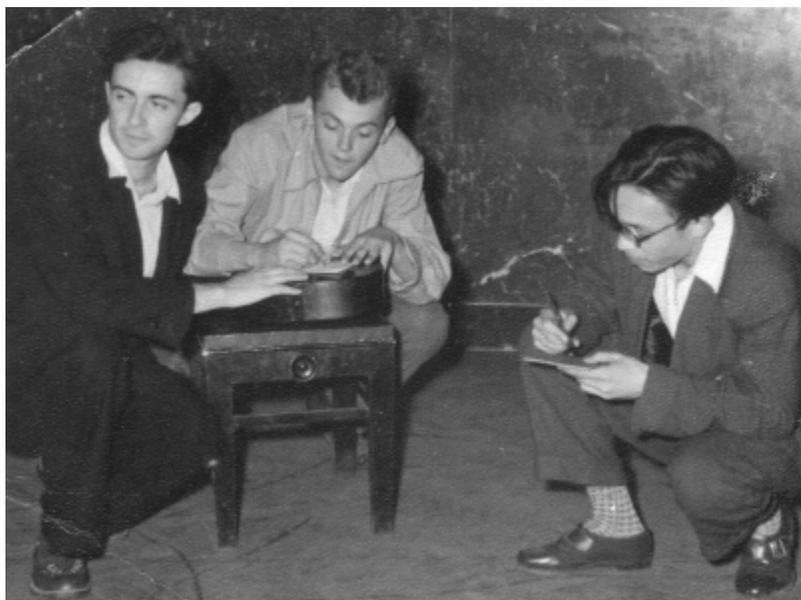
Чехарда с Владиком  
Прониным.  
Во дворе института.



Студент МГПИ  
Илья Габай — в подшефной  
колонии для малолетних  
преступников.  
*Звенигород, 1960 г.*



В перерыве между лекциями. Илья Габай — студент 1-го курса дефектологического ф-та МГПИ им. Ленина.  
*1957–1958 г.*



Институтские друзья, поэты и барды.  
*Слева направо: Валерий Агриколянский, Юрий Коваль, Юлий Ким. Москва, МГПИ, 1957 г.*



На целинных землях Алтая с сокурсниками дефектологического ф-та МГПИ им. Ленина. Лето 1958 г.



Студенты МГПИ в подшефной колонии малолетних преступников. Илья Габай — в центре. Владимир Соловьев — крайний справа. Звенигород, 1959 г.

Илья ГАБАЙ, II курс истфила  
«Чужое» горе

(из старых стихов)

Ленивый взгляд вокруг себя бросая,  
Из любопытства посмотрев назад,  
Мы очень часто мельком замечаем  
Нам непонятный и тоскливый взгляд.  
Наверно, боль легла ежом на сердце,  
Печаль сдавила горло, как лассо,  
И человеку хочется, поверьте,  
Прохожему поведать обо всем.  
Мелькнуло горе чужеродной тенью,  
Заставило задуматься на миг...  
Но мы прошли,  
Забыв в одно мгновение  
Чужую боль,  
Чужого сердца крик.  
Своей беды нам ворон не накличет,  
Беда других — ничтожна и мала...  
Наверно, от такого безразличья  
И повелись преступные дела.  
Мне говорят: опять мудришь.  
Не знаю,  
Неважно это, слишком мелко, что ли,  
Но я хотел бы, чтобы боль чужая  
Жила во мне щемящей сердце болью.



Одна из немногих прижизненных публикаций  
Ильи Габая. Газета «Ленинец» Московского  
Госпединститута за 12. IV. 1959 г.



Студент педагогического института Илья Габай  
на первомайской демонстрации.



Илья Габай среди коллег — учителей села Зелёная Роща в Алтайском крае, где он работал в 1961–1963 гг.



С институтскими друзьями Галиной Гладковой и Марком Харитоновым. 1964 г.



Среди родных и близких с 3-х летним Алешкой на руках.  
Слева направо: Г. Габай, Б.И. Шлифштейн, Илья с Алешкой,  
Т. А. Кузнецова (Томочка), сестра Г. Габай. 1965 г.



П.И. Якир и  
Илья Габай.  
1968 г.



В археологической  
экспедиции.  
Гобручи, Молдавия.  
Май 1968 г.



Илья Габай. Успенское под Москвой.  
*Весна 1969 г*

- V+ -
- Содержит " - на 13 местах.
- 7) Мам Коши фем V. Смуров -  
Сков 29 ав. 1968 - 7 мест
- 8) Мам Коши - Заса Лекторуд  
18/84 ав. - 7 мест <sup>(силь)</sup> доура  
доура Квай Векон.
- е) " О Книге С. Вильмуван " - 6
- и) " К гелителю Науки... " -  
сбращение Ладая V, Книга  
Муса - 4 места
- 3) Различные документы в ма-  
шинописных копиях - на 15 местах
58. Копия с Мисман, адресованная  
Ладая V. Я. от Дремло.
59. Мисмо надписанное "Тенри Штанду  
и др. - на 4 техср. местах
60. Стихи Миски Ладая - Мам  
Коши - на
61. Мисманованная Копия вем-  
наз бумала - на 26 местах.
62. " События друга " - от апреля 69,

Отрывок из протокола обыска 7 мая 1969 г., во время которого у Ильи был изъят архив крымско-татарских документов

- 7 мая 1921 г. Ширковский Илья  
 Сир Сидорович Ширковский Илья  
 Ширков с уполномоченными Бюро  
 Александром Ширковым и Марией  
 Александровной Ширковой. Всего по  
 списку и списку № 9. Секретные  
 инструкции - приложение к инструкции  
 ВЧК от 17/VII-21, № 46. Места  
 работы (Бюро)  
 Ширков (Илья)  
 Коммунистическая партия, У. Габа.  
 Сир Сидорович Ширков -

Протокол об изъятии на квартире Ильи и Галины Габай  
 «Секретной инструкции ВЧК от 17-VII-1921 г.»  
 (о вербовке осведомителей).

КГБ завело дело «Об инструкции», которое вёл следователь  
 Э.И. Ширковский. Было допрошено по делу множество свидетелей,  
 практически все, кто читал её. Арестов по делу не было.

## ЗАЯВЛЕНИЕ

От гр. Габай Павел Викторович  
(фамилия, имя, отчество)  
 Проживающего по адресу Москва А-55 Новосадский ул., д. 18 стр. 2 кв. 3  
(адрес местожительства)  
 Прошу принять передачу для Габай Ильи Михайловича  
(фамилия, имя, отчество)

### ОПИСЬ ПРЕДМЕТОВ ПЕРЕДАЧИ:

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ (Вещей)	Вес		Количество	Примечание
		кг	г		
<i>Книжки</i>					
1.	История гал. философия. Бертран Рассел. 1шт.				
2.	В. Словин. Критика эмпирических наук. 1шт.				
3.	Гамбетта Византийской литературы IV-X в.в. 1шт.				
4.	Гамбетта Византийской литературы IX-XIV в. 1шт.				
5.	Мишель Монтень "Опыты" (3-й том) - 1шт.				
6.	Эпистолы мистр. философия 1-й, 2-й т. - 2шт.				
7.	Рассел "Дебаты", "Древности", "Суд" - 3шт.				
8.	Гюльев. Узоры и рисунки - 1шт.				
9.	Киплинг. Рассказы - 1шт.				
10.	Данз.ч. "Горы и степи" - 1шт.				
11.	Альбер Кипинг Узоры и рисунки - 1шт.				
12.	Гюльев. Сравнительные антропология т. 1, 2 - 2шт.				
13.	Гюльев Малл. "История и география" т. 1, 2 - 2шт.				
14.	Корнейев Гюльев. "История", "История", т. 1, 2 - 2шт.				
15.	Мальков русского стихотворного перевода т. 1, 2 - 2шт.				
16.	Гюльев Малл. Статьи т. 1, 2 - 2шт.				
17.	Византизм. Философия искусства - 1шт.				
18.	Альбер. Вопросы истории и истории культуры - 1шт.				
19.	Альбер. История античной культуры - 1шт.				
20.	Философия искусства - 1шт.				
21.	Гюльев. Кемаль - 1шт.				
22.	Монтень. История Рима - 1шт.				
23.	Гюльев Верисе. Мириса - 1шт.				
24.	От Эрдана Роттердамского до Бертрам Рассел - 1шт.				
25.	Редрико Карриве Лорка. Мириса - 1шт.				
26.	Журналы "Новый мир" за 1969-1970 гг. № 4-13, 11 шт. (см. на обороте)				

Подпись Габай  
 Передачу принял Мас  
(подпись получателя)  
 Передачу получил \_\_\_\_\_  
(подпись получателя)

Часть списка книг, переданных Илье Габаю при выходе на этап

## СВОБОДУ СОВЕТСКИМ БОРЦАМ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА !

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право, которое невозможно беспристрастно прилюдно ограничить жизни и свободу мысли, совести, религии, мнения, вероисповедания, искусства, науки, а также правам и обязанностям гражданина.

от "Всеобщей Декларации Прав Человека, Статал 19.



**ГЕН. МАЮР Г.М.МАЗУР**

Москва.  
Беспрестанный борел  
против сталинизма,  
звеклин преле-  
дучих за убийд-  
ней, совещник кри-  
ско-татарского на-  
его праву борбе за  
арестован 25.1.1969г  
и объявлен  
"исчезнувшим".

Заставил  
участник  
борьбы крымских  
татар за свои  
права и возвра-  
щение в Крым.  
25.1.1969г. приго-  
ворен к 5-ти годам  
заставлен.



**ВАЛЕНТИН МОРГОС**

Москва. Боец  
против сталинизма, морж-  
ловия, протестовали прав чело-  
век и демократизация крымских  
татар. Арестован 19.12.1969г.



**КИРИЛ ГАЛАНОВ**

Москва.  
Борел с закон-  
ными демократиче-  
скими требованиями  
всестороннего разво-  
ра. Женат. 3 детей.  
Журналист "Фанкст"  
Объявлен в связи  
с НТС. Преступлен  
19.1.1969г.  
и 7-ю годам за-  
ставлен.



Дуда.  
Борел за право  
возвращения права  
украинского наро-  
да. В январе 1969.  
арестован и 5-ю  
годам заставлен.



**РОМАН КАЛЧЕВ**

Листовка в защиту И. Габая и других правозащитников,  
распространявшаяся в Москве в январе 1970 г.

12 Давиды - давиды - и некие

Давиды - давиды, послушай, как бы кто  
я как бы кто и слышишь что бы кто  
про и что бы кто что бы кто  
цветов слышишь - про что бы кто в Nichts  
без звука.

Какие судить все (что ты слышишь  
слышишь слышишь?) - и слышишь  
и слышишь слышишь слышишь  
и слышишь слышишь слышишь слышишь  
какие слышишь, когда ты и слышишь слышишь  
в слышишь слышишь и слышишь слышишь  
какие ты и слышишь слышишь  
цветов слышишь, и слышишь в Nichts  
без звука...

15 Солнце.

Ложь слышишь и слышишь  
и слышишь слышишь слышишь.  
Я слышишь слышишь: и слышишь и  
и слышишь слышишь в слышишь слышишь.

Фрагмент поэмы «Выбранные места...», написанной в лагере  
и переданной на свободу в марте 1971 г.

# П И С Ь М О Д Р У Г У

Пишу тебе из Пахры. В окно видны заснеженные ели, стволы без верхуш и крошечки. Прямо к стеклу с наружной стороны прилипает кормушка для птиц. На ней суетятся, поклевывая хлебные крошки и сало, палево-серые поползни с длинными клювиками и синицы с черными галстучками на светло-желтых грудках.

Вот всплыло откуда-то воспоминание об одном из сильных впечатлений, как открытий, детства.

Первый раз в жизни и побывал в театре, знаменитом тогда МХАТе, который и вправду был одним из лучших. Шла метерлианская «Синяя птица». Совершенно огулашенный, изголодавшийся, брел я после спектакля домой и старался хоть о чем-то думать, чтобы как-то сдержать расправившее меня чувства. Но даже мысленно все время неотвязно возвращался все к той же Синей птице. Я подумал о том, какое счастье было бы, если бы вот здесь, на московской улице, за поворотом, я увидел бы на ветке Синюю птицу. Но вдруг в голову мне пришла мысль, что Синяя птица замерзла бы, если бы мое желание осуществилось.

Была зима, трескучий мороз. По обе стороны и без того узкого Кансергского переулка (ныне проезд Художественного театра) возвышались сугробы. Они были такие большие, что с тротуара мне были видны только бородастые головы извозчиков, которые, морозно покачиваясь, проплывали мимо.

На мне-то был романовский полушубок с серой оторочкой, меховая шапка, черные валенки-чесавки, а

каково было бы на этом морозе Синей птице! Мне стало стыдно за мое эгоистичное желание.

А немного времени спустя я попал на Мнусскую площадь, где тогда находился птичий рынок. Был солнечный воскресный день. На площади тьма-тьмущая народа — кто с баночками и аквариумами, а которых прыгали циклопы, сверкали разноцветные рыбки, кто с клетками, плетеными ивовыми садками, провололочными ловушками, полными всевозможных птиц. Проталкиваясь без всякой определенной цели, я неожиданно попал в довольно большой круг зевак. В центре его стоял высокий человек в распахнутой, несмотря на мороз, шубе. В одной руке у него было несколько стоящих друг на друге клеток, а толстыми пальцами другой он с необычайной ловкостью открывал поочередно дверцы.

Птицы вылетали и, поджавшись высоко над толпой, над темпо-красной громадой мертвого собора, уносились куда-то в морозную дымку.

Человек отдавал пустые клетки мальчишкам, швырял им гривенники, а они подносили ему все новые и новые клетки и садки.

Я вспомнил про Синюю птицу, которая во моей вине чуть не погибла среди сугробов, и сердито спросил:

— Зачем вы выпускаете птиц! Они же замерзнут!

— Да это синицы! — весело отозвался высокий человек и даже подмигнул мне. Я весь напрягся: синицы — да ведь это же почти синие птицы!

— Ну и что же! — еще более сердито спросил я.

— Эх ты, москвич, ничего ты не понимаешь! — отозвался высокий человек. — Синицы привыкли жить в холоде. Кроме того, у них очень высокая температура — больше сорока двух градусов, они легко переносят мороз.

Вот оно как! Хотя человек говорил со мной высоко и даже несколько насмешливо, он отчего-то показался мне очень симпатичным, слушающим доверие, и я спросил его:

— А почему же у нас, у людей, нет такой температуры? Нам тоже легче было бы тогда переносить мороз и зиму.

Вместо ответа высокий человек неожиданно тяжело и надолго заикался. Успокоившись наконец, он задумчиво посмотрел на меня большими потемневшими цаганскими глазами и негромко сказал:

— Если бы у нас была такая температура, мы бы очень быстро умерли. Это дано только крылатым, мальчишка.

Надолго запомнил я тот разговор.

А когда много лет спустя рассказал о нем поэту Павлу Когану, с которым был в дружбе, он стал меня уверять, что высокий человек — поэт Эдуард Багрицкий; в отместку Павел не риз ходил с ним на птичий рынок.

...Ну вот, пора кончать письмо. Засыпаю еще хлебных крошек в кормушку. А тебе, наверно, пора запастись только что рожденными стикми. И ты, по выражению Багрицкого, услышишь, как на сосне в ответ синицы рассыпают бубенцы. И многое другое услышишь из того, что слышали и он и Павел, из того, что дано услышать только нам — крылатым.

ТВОЙ ГЕОРГИЙ.

*Я написал это письмо одному своему другу-поэту. Но мне подумалось, что, пожалуй, интересно оно не только ему. И я отправил письмо в редакцию.*

Доктор исторических наук  
Г. ФЕДОРОВ.

«Письмо другу», полученное Ильей в лагере в январе 1971 г., было напечатано в журнале «Наука и жизнь» следующим летом (номер 6 за 1971 г.).



Галина Викторовна Габай перед отъездом на первое свидание в Кемеровский лагерь.  
Ноябрь 1970 г.

*«...сын, книги и щенок: такой комплекс счастья».*

Из лагерного письма  
И. Габая жене.

Снимок сделан Л.В. Алексеевым  
7 ноября 1970 г.



*«Ждем очередного письма из Кемерова».*

Галина и Алеша Габай.  
1971 г. Снимок сделан  
Л.В. Алексеевым.

КГБ - УКГБ Форма В

Служебный изолятор  
КГБ при СМ СССР

19 мая 1972 г.

**СПРАВКА № 05310**

Выдана гражданину (име) Габаю  
Илье Янкелевичу

Год рождения 1935 национальность еврею  
уроженцу (име) г. Ташку

осужденному (он) Ташкентским горнарсудом  
19 января 1970 г. по ст. ст. 190-1 РСФСР УК  
три годам лишения свободы, имеющему (он)  
в прошлом судимости не судим

в том, что он (она) отбывал (а) наказание в местах заключения  
с 19 мая 1967 по 19 мая 1972 г.,  
откуда освобожден (а) по отбытии срока  
наказания [указать основание освобождения]

Указание - документ, по отбытию наказания, вынесения, помилования)

следует к месту жительства Москва,  
Лесная, 18, Корп. 2, кв. 83  
(город, село, район, область)

Начальник  
инспектора С. Димитров  
(подпись)




Справка об освобождении, выданная Илье Габаю при выходе из Лефортовской тюрьмы 19 мая 1972 г.



С женой Галиной после возвращения из тюрьмы. 1972 г.



С сыном Алешкой. После возвращения из тюрьмы.  
Май-июнь 1972 г.



С дочкой Машенькой дома на Новолесной. Москва, июль 1973 г.



«...у Ирочки (Якир) родилась полосатая девочка: полоска белая, полоска желтая. Такое милое существо с корейскими глазками и еврейской грустью в них...»

(Из письма И. Габая В. Гершовичу 13 февраля 1973 г.)

Илья Габай с Наташей Ким



На Москве-реке с друзьями.  
*Слева направо: Юлий Ким, Анатолий Якобсон, Илья Габай,  
Гера Копылов, Юра Гастев, Ира Якир.  
Полушкино, июнь 1972 г.*



В день отъезда семьи Гершович в Израиль. Илья с Суламитой Гершович на руках. *Москва, Лесная улица. Октябрь 1972 г.*



Галина Габай, Марк Харитонов и Юлий Ким после похорон у могилы отца Ильи Габая, в которой был захоронен прах поэта.  
*Еврейское кладбище, г. Баку. Январь 1974 г.*



Памятник «Возрождение» на территории Крымского  
индустриально-педагогического Университета.

Мемориал создан крымскими татарами борцам  
за возрождение их автономии и за возвращение их  
на исконные земли Крыма.

*Крым, Симферополь.*



Памятник «Возрождение» на территории  
Крымского индустриально-педагогического  
Университета. Фрагмент.

*Крым, Симферополь.*



Могила Ильи Габая. Осень 1976 г.  
Надгробье работы художника В. Сидура



Юлий Ким на вечере памяти Ильи Габая в Иерусалиме.



**Там, под пятой воинственных систем,  
В проверке человечности и мужеств,  
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:  
Вы дружества не предали. Ничем.**

**Я не судья вам — мне б один удел:  
Строжайшей и пристрастнейшей охраной  
Вас удержать от ссор и перебранок! —  
Да вот беда: далек я и в узде...**

.....

**Когда-нибудь, при яркой вспышке дня  
Грядущее мое осветит кредо:  
Я в человеках тож: я вас не предал  
Ничем.**

**Друзья, молитесь за меня!**

*Кемерово  
январь 1971 г.*

**M-Graphics PUBLISHING**

[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)  
[info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)

ISBN 978-1-934881-44-6

